

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1

1951

1951

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 1

Январь, 1951 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БОРИС ГОРБАТОВ. Донбасс, роман	3
МИХ. МАТУСОВСКИЙ. Эстафета мира. Улица мира, стихи	99
ДМИТРИЙ ОСИН. Красный бор, рассказ	101
Н. КУТОВ. Новый край. Здравствуй, море! На элеваторе, стихи	126
Т. ЕФИМЦЕВ. Степь, стихотворение	128

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ. Старые знакомые	129
--------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. КРАМИНОВ. Наёмники американских монополий	146
МИХ. ЛИФШИЦ. Чёрная паутина	162

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУКИ

ВЛАДИМИР ОРЛОВ. Русское солнце	182
--------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СУРКОВ. Вопросы языкознания и советская литература	205
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	229
-------------------------------	-----

Лауреаты Премии мира

Н. Асеев. Судьба поэта. — В. Кутейщикова. Эпопея борьбы за мир и демократию. — И. Константиновский. Выдающееся достижение румынской литературы.

* * *

В. Панков. На верном пути. — Л. Эйдли. Свидетельство друга. — Н. Абалкин. Начало важного разговора. — А. Котляр. Недостатки интересной повести. — Е. Книпович. Солдаты новой Болгарии. — С. Смирнов. Книга о борьбе простых людей Америки.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Борьба за мир. Международные отношения. История</i>	258
Полковник М. Толчёнов . Историческая победа китайского народа. — Академик Е. Тарле . За чтением журнала «Сторонники мира». — Кандидат исторических наук М. Позолотин . Страницы героической борьбы болгарского народа. — Б. Леонтьев . США — полицейское государство.	
<i>Экономика</i>	270
В. Левачёв . Слабая книга о транспорте.	
<i>Философия</i>	272
Кандидат философских наук М. Сидоров . Книга о советском социалистическом обществе.	
<i>Техника</i>	275
М. Голей . Новаторы отечественного машиностроения.	
<i>География</i>	278
Л. Михайлова . Покоритель льдов. — Кандидат географических наук Л. Каманин . Е. Донская . Журнал, которому нехватает занимательности.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Ноябрь — декабрь 1950 года)	284



БОРИС ГОРБАТОВ

★

ДОНБАСС

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

Два товарища

Глава 1

Жили два товарища. Одного звали Виктором, другого Андреем. В 1930 году им обоим вместе было тридцать пять лет.

— Уже лист желтеет! — с досадой сказал Виктор и показал на Псёл: кленовые листья плыли по реке. — Пора и решаться, брате!

Андрей только молча пожал плечами.

Они оба долго и с завистью глядели, как плывёт по реке, покачиваясь и кружась, жёлтый, лапчатый кленовый лист — всё вниз, всё вниз. к морю. Он плывёт, а они всё сидят на месте.

Они были ровесники, жили на одной улице, в школе сидели на одной парте. У них были общие учебники, общие голуби, общие мечты. Им и в голову не пришло бы, что дороги у них могут быть разные.

— Нет, надо ехать, ехать! — говорили они друг другу каждое утро и каждый вечер. А всё не трогались с места.

Они жили в Чибиряках — маленьком городке на Псле. Тут они родились — Виктор в беленькой хатке под узорчатой черепицей, Андрей в голубенькой, под зелёной железной крышей. Тут выросли. По этой траве бегали. На эти звёзды заглядывались. И вот решили покинуть всё — всё и навсегда.

— Отчего ж ты не хочешь в военные моряки, Андрей? — сердито спросил Виктор. — Моряк, брат, в океане плавает!

Они никогда не видели океана, ни даже моря, ни большой реки, ни большого города. Четырёхэтажный дом они видели только в кино.

Все свои семнадцать с половиною лет они прожили здесь, на этой улице; вот она вся — плетень к плетню. Она вся заросла сорной травой: лебедой и бурьяном. Сухая, серебристая пыль струится от лебеды.

Никогда по этой улице не проезжала машина, даже возы тут поскрипывают редко: шлях далеко. И следы колёс тут никогда не уходят в далёкую даль, а круто заворачивают во дворы, словно все дороги мира ведут к клуням и кончаются у амбаров.

— А то можно и на подводную лодку угадать, — сказал Виктор. — Очень просто. Мы парни здоровые. Ну, Андрей?

Вся улица, где они родились, была в садах, палисадниках и огородах; и сады тут были богатые, тяжёлые от плодов, и плетни — исправные, и огороды — любовно взлелеянные, прополотые, и выхоженные, и мальва под окном — пышнотелая, мясистая, розовощёкая, как красивая

и гордая деревенская девка на выданье. И хатки тут совсем терялись среди пышной и щедрой зелени. Хаты стояли вразброс, кое-как, словно главным на этой улице и в этой жизни были не хаты, а сады и огороды. И хаты здесь были маленькие, подслеповатые, мазаные и все одинаковые, только шапки на них были разные: редко — железные, чаще — черепичные, а больше всего было соломенных, по-казацки подстриженных в кружок или в скобку или покрытых седым и трухлявым очеретом. На таких крышах любят гнездиться аисты. Говорят, аист — к счастью. И много аистов жило на этой улице. По вечерам они, как часовые, выстраивались на своих крышах и так стояли, поджав одну ногу, строгие и важные, оберегали счастье, которое они принесли людям.

— Ни! — тихо сказал Андрей. — Я в моряки не хóчу!

— Так чего ж ты хочешь, Андрий? — в досаде закричал Виктор. — Чого ж ты, чёрт, хочешь?

Отца у Виктора не было. Его отец лежал в сквере в центре Чибиряк, в братской могиле. Он был большевиком. И почти каждое воскресенье, возвращаясь с базара, мать Виктора приносила на могилу маленький венок из цветов и, всплакнув по привычке, осторожно клала венок к подножью памятника. Могила была общая, братская, и это всегда конфузило мать Виктора. Даже после смерти муж не принадлежал ей — лежал с товарищами.

Она была женщина простая и добрая. Раньше робко любила мужа и боялась его, сейчас любила сына и тоже его боялась. Он рос своевольным, сильным, порывистым — в отца. И мать уже догадывалась, что ему нелюбо и душно в её гнезде. Скоро он улетит. Она уже вышивала ему рушники и сорочки на дорогу и плакала над ними.

— Может, учиться поехать, а? — робко сказал Андрей. — В райкоме путёвок много.

— Учиться? — фыркнул Виктор. — Мало ты штанов на парте протёр!.. Ну, не хочешь в моряки — ну, давай в лётную школу.

У Андрея были и отец и мать. Отец работал машинистом на паровой мельнице, и в детстве он казался Андриюше чародеем. Среди всех обсыпанных мукою рабочих на мельнице он один был чёрный, от него одного исходил сладкий, нездешний запах нефти и машинного масла, ему одному подчинялось чудо — двигатель. Андрей гордился отцом и втихомолку жалел его.

Отец Андрея любил рассказывать о своём прошлом, он умел хорошо рассказывать. Его истории всегда начинались так: «А было это ещё до того, как я женился». Его молодость прошумела в странствиях и приключениях. Он плавал на пароходах, служил на железной дороге, бывал во многих городах и портах. Он всегда был «при машине». Керосиновый движок направлял его хлопотливую жизнь. Потом отец внезапно женился и осел тут. Его истории так и кончались: «Ну, а потом я женился». Дальше рассказывать было нечего и неинтересно.

И Андрею казалось, что он понимает отца, — отец несчастен. Иногда хотелось подойти к нему и сказать просто, сочувственно: «А давай-ка сорвёмся отсюда, отец. А? Ты, я, Виктор — котомки за спину и айда!» Но он не делал этого. Мать крик подымет! Матери он побаивался. Он говорил ей «вы», а отцу — «ты».

А у отца Андрея не было несчастного вида. Он всегда и над всеми посмеивался: над собой, над женой, над соседями, посмеивался беззлобно, добро и лениво. Люди его любили.

Придя с работы, умывшись и пообедав, он уходил обычно в палисадник или огород и бродил там среди грядок. Этот зелёный мир не принад-

лежал ему, в нём царствовала жена, но отец Андрея, как и всякий рабочий человек, страстно любил зелень. Он любил сидеть на корточках среди грядок и, не уставая удивляться, следил, как за чудом, за ростом рассады, слушал музыку травы и жизни в траве, дышал запахами влажной земли и цветов... Была особенная тишина в этом зелёном мире, на этой улице и в его собственном доме. В этой тишине неслышно и незримо созревала, умирала и опять рождалась жизнь: лопались почки на вербе; полз по ниткам к крыше кручёный паныч и раскрывал навстречу солнцу свои синие с жёлтыми разводами граммофонные трубы и призывно трубил в них; на земляном полу в хате сладко и беззвучно умирали душистые травы; по вечерам в палисаднике вдруг мощно расцветали скромные матиолы, и их властный запах всё покрывал в мире и смешивался с добрым запахом махорки на меду — любимым табаком отца Андрея. И это было счастье.

Андрей, конечно, и подозревать не мог, что эта тишина и есть счастье отца. Счастье, что есть работа и добрый, честный хлеб, и в хате прохладный полумрак от прикрытых ставен, и хата своя, и на ночь можно запереть ставни болтами, и тишина над миром, и в тишине этой растут дети, из рассады вызревают помидоры, и кручёный паныч трубит в свои граммофонные трубы радостную хвалу жизни. Это было счастьем, хоть аисты и не гнездятся на железных крышах.

А несчастьем для отца и матери Андрея, и для матери Виктора, и для многих людей на этой улице было бы покинуть всё это выстраданное и насиженное ради неверных и утомительных странствий по чужим местам и чужим людям.

Так что ж оно такое — счастье?! Андрей и Виктор ужаснулись бы, узнав, что они приговорены жить, стареть и умирать в Чибиряках, на родной улице. Нет, нет, где угодно, только не здесь! Тогда пусть хоть Нежин, соседний и такой же захолустный Нежин, с его мукомольным техникумом — только не Чибиряки. Для мальчишек сейчас «жить» означало — «двигаться». В семнадцать лет ещё не умеют любить родной город, непримечательный ничем, кроме того, что вы в нём родились. Это приходит потом, как и любовь к старенькой, доброй, малограмотной маме в ветхой холщёвой запаске.

— Нет! — решительно и зло сказал Виктор. — Ей-богу, уже пора прийти к какому-нибудь знаменателю, Андрей. Время ж уходит...

Да, время уходит. Оно проплывает, как вода в Псле, исчезает неведомо куда. Каждый прошедший день — уже пропащий день. Нет, надо ехать.

Раньше, в детстве, эта круча над Пслом казалась мальчикам концом реального, знакомого мира. Там, за рекой, был уже мир фантастический: синие-жёлтый. Не по-здешнему был синим лес там, синим — небо над ним, жёлтым — песок, золотой — пшеница. Там, среди медно-жёлтых сосен синел курган-могильник: в нём догнивали кости не то запорожцев, не то шведов. Мальчишки тогда ещё не умели плавать.

Но потом они плавать научились и переплыли Псёл, и увидели, что мир здесь, как и в Чибиряках, — обыкновенный. И лес здесь не синий, а, как везде, — зелёный, и в лесу этом прохладно, темно и сыро, пахнет грибами и стоячей водой, и небо над лесом, как и над Чибиряками, — давно знакомое, и хатки в деревнях такие же, как и на их улице, только победнее. А на могильнике мужики пьют водку, закусывают огурцами и рассказывают друг другу разные истории, печальные или похабные.

Нет, ехать надо дальше, дальше — за Псёл. В мир большой и действительно фантастичный.

Да, надо ехать. Это решено. Что ж, так и просидеть всю жизнь за закрытыми ставнями? Ползти по нитке, как кручёный паныч? Жить и умереть в родном палисаднике, как эти глупые и самодовольные мальвы? Их по-украински называют «рожи». Краснорожие, кичливые мальвы — нет, надо ехать, ехать! Пух с тополей кружит над городом и зовёт в дорогу. Волна на Псле нетерпеливо стучит в дубовый човен.

Да, надо ехать. Они говорили это себе триста раз на день, а всё не трогались с места.

Они не могли выбрать дорогу.

Отец Андрея в молодости своей дороги не выбирал. Случайно оказался он при машине, и керосиновый движок потащил его за собой. Спокон веков уезжали в жизнь мальчики из Чибиряк, но никогда и никто из них не выбирал себе сам дорогу. Решал случай. Отец, уходя на промысел, брал с собой сына топтать исхоженную дедами дорожку, родственник вспоминал далёкого племянника из Чибиряк и вызывал к себе, чтобы пристроить. И мальчики из Чибиряк становились слесарями, штукатурами, половыми в трактире или конюшенными мальчиками на ипподроме не потому, что они так выбрали, а потому, что так нужда решила. Так вышло, и некого было проклинать, не на кого было плакаться, оставалось только тянуть да тянуть лямку.

Но Андрей и Виктор могли выбирать. Перед ними вдруг распакнулось множество дорог. Они могли выбирать любую. Им повезло, они родились во-время.

То был тысяча девятьсот тридцатый год — год великого разбега. Страна изготовилась для рывка в будущее. В один день ломалось и с грохотом рушилось učinённое веками. Великая и кровавая война шла на старых межах; класс, подрубленный под корень, уходил из истории огрызаясь, отстреливаясь, и комсомольцы, ровесники Андрея, бесстрашно ходили на аванпостах под дулом кулацкого обреза. Двух из них на днях привезли в сосновых гробах в Чибиряки и положили в сквере рядом с отцом Виктора.

Великое нетерпение вдруг охватило людей. Человеческая жизнь показалась им слишком короткой, чтобы успеть совершить всё, что они задумали, и увидеть свою мечту воплощённой. И они стали торопить время. Они хотели прожить пять лет в четыре, в три; они заставляли машины вертеться быстрее, быстрее, бетон застывать скорей, скорей, землю родить щедрей и чаще. Они не щадили себя и никого не хотели щадить.

Вдруг почувствовали люди человечью силу свою, мощь своих рук и коллективных усилий. Всё стало возможным: покорение пустынь и перекладка людей, осушка болот и переделка мира. Уже заканчивался Турксиб и начинался Беломорский канал. Покорялась Арктика и ждала топора колымская тайга. Арматурщики Сталинграда, закончив своё дело на Тракторном, долгими эшелонами уходили на восток, в Магнитную степь, о которой было известно, что она пустынная, рыжая, злая и что ветры над нею свистят свирепо.

Над страной в те годы стоял неумолчный скрип колёс. Всё сдвинулось, струнулось, всё было в дороге, всё двигалось, ехало, плыло, брело, и вагон на пустыре становился вокзалом, брезентовая палатка — домом, землянки — городом. Это были временные города и временные вокзалы, и люди здесь были временно, — кочующие люди с инструментом за спиною, — вечным было то, что они делали. То были дни великих, мучительных и радостных потрясений и свершений, волны их доходили и до Чибиряк.

Вся страна мечтала, — как же было не мечтать мальчикам из Чибиряк? Вся страна бредила темпами, просторами, дорогами, котлованами

и экскаваторами; вся страна была в пути, в движении, — как же было не тянуться вдаль и нашим мальчикам?

Надо было только среди тысячи чужих дорог найти и выбрать свою, единственную, но верную.

«Красивую», — как говорил Виктор; «правильную», — как говорил Андрей.

В том году необычайно высокой стала цена человека. Люди нужны были везде: школам и новостройкам, городам и пустыням. Цены не было человеческим рукам, даже неумелым. Обучали быстро. Стоило только сказать: хочу, желаю!

Но ни Андрей, ни Виктор ещё не знали, чего они хотят.

Они лежали на тёплом песке у Псла, смотрели, как плывёт по реке жёлтый лист, как отцветает камыш, и, зарыв по локоть руки в песок и гальку, в тысячный раз перебирали дороги и профессии. Они сами не знали, чего хотят. Их мечты были туманны и противоречивы. Сегодня они вновь воодушевлялись тем, что вчера уже отвергли. И, поиграв этой мечтой днём, к вечеру без жалости её отшвыривали или расходились, рассорившись, чтоб утром вновь помириться и вновь искать. В детстве мечты у них были согласные, дружные, они привыкли мечтать вместе и о том, как вместе будут жить. Но то была игра в мечту, сейчас пришло время мечту сделать жизнью. Они и не подозревали, что невозможно теперь выбрать одну дорогу, равно любезную обоим, они и не знали, насколько разные они люди, и судьбы им суждены разные. Они и не догадывались, что стоят уже на перекрёстке.

«А если в агрономы, а?» — начинал робко Андрей, но Виктор тотчас же возражал: «Меня к земле не тянет. Давай лучше в водолазы». «А что, если в лесной техникум?» «В лес? С волками жить? Та это ж тоска, брате!» «Нет, в лесу хорошо. Тихо. Из леса, знаешь, скрипки делают. Я читал. Называется резонансный лес». «Ты тишины ищешь, Андрей, — возмущался Виктор, — а сейчас время громкое. Какой тут, к чёрту, техникум! Давай прямо на стройку, в степь, а?.. Верхолазами, красота!»

Так они спорили каждый день. Не зная толком ни одной профессии, они беспощадно критиковали всё. Они рассуждали о жизни с наивной мудростью юности, которая думает, что всё знает, раз прочла две умных книги, и всё может, раз этого хочет. Они отшвыривали одну профессию за другой, словно галькой играли. Все камешки круглые, все блестящие и все не дороги — с лёгким сердцем можно любой запустить в реку, забавляясь кругами на воде.

И не было ни одной профессии, подходящей обоим.

В биографиях замечательных людей они читали, что те чуть ли не с младенчества предчувствуют своё призвание и затем всю жизнь следуют ему.

Но Андрей и Виктор были обыкновенными провинциальными хлопчиками, и никаких за ними талантов не замечалось, и в школе они учились средне, ни к какому предмету не чувствуя особенной нежности.

А если уж правду сказать, и мечты их были невысокого роста. Не собирались они стать знаменитыми. Не мечтали о почестях и славе. Им хотелось только найти себе по душе место в жизни, в самой гуще её, на главном направлении, как сказали бы теперь послевоенные мальчики.

Мечты к обыкновенным мальчикам обычно приходят из книг, из рассказов отца или учителя, или в наши дни — с экрана. Но в 1930 году романтичнее всяких книг и фантастичнее любых фильмов были газеты. Книги ещё не успели описать и песни не успели ещё воспеть то, что было фантастичнее всяких легенд и вымыслов: жизнь, творимую руками людей тридцатого года. Для мальчиков из Чибиряк даже объявления в

«Комсомольской правде» под рубрикой «Куда пойти учиться» звучали тревожной музыкой. И если они читали описания боёв на КВЖД, им уж хотелось стать пограничниками, а если сообщалось о походе «Седова» к Северной Земле — моряками или полярниками. И они пошли бы вслед за геологами на Урал, где только что открыли советский калий, о чём сообщалось сегодня, если бы на следующий день не узнали из газет о первом полёте советского дирижабля над Москвой. Их мотало от мечты к мечте; всё было заманчиво и всё сразу же тускнело перед новым видением.

Напрасно обижался на них секретарь комсомольской ячейки, которому уже надоело предлагать им на выбор путёвки в техникумы и маршруты на новостройки.

— Та что вы, як женихи, всё приглядываетесь? — досадовал он. — Берите любое. Нигде не пропадёте.

Он не понимал, что они и впрямь были женихами — сватались к жизни. И боялись ошибиться в выборе. В 17 лет кажется, что выбираешь раз и навсегда, на всю жизнь. Семнадцатилетние люди — очень серьёзные люди.

И напрасно секретарь ячейки соблазнял их «условиями» и льготами. Нет, ни сытой жизни, ни богатства, ни покоя, ни карьеры, ни даже славы не искали они. Они знали: пойдут работать — будет зарплата, станут учиться — получают стипендию. Они не были избалованы. Их не испугали бы ни нужда, ни лишения. Снежная яма полярника или дырявая палатка геолога казались им куда заманчивее, чем любой загородный дворец; пропахший дымом солдатский кондёр в котелке над костром — вкуснее любых ресторанных яств. Это-то им было ясно. Неясно было — что же всё-таки лучше: снежная яма полярника или дырявая палатка геолога?

А они всем ребячьим сердцем своим предчувствовали, что есть где-то их собственная доля, их судьба, их удача. Надо только найти её, и неизвестно было, где искать, — на воде или под водой, в облаках или на земле, в каракумских песках или в далёкой Арктике.

И только под землёй никогда — в мечтах своих — не искали они своей доли...

...Они были простые, славные и честные ребята, с глазами жадными и любопытными, с понятиями о мире туманными и бескорыстными, с мечтами смутными и беспокойными, с душой, широко открытой добру, — и я очень хочу, чтоб вы полюбили их, как я их люблю, и пошли вместе со мной и с ними до конца этой книги, рассказывающей об их судьбе.

Глава 2

И ещё один день прошёл, и два, и неделя, а они всё не трогались с места. Простодушные петухи удивлённым кукареку будили их на заре: кукареку, вы ещё тут, ребята?

Отец Андрея насмешливо поглядывал на сына. Он всё понимал и ни во что не хотел вмешиваться. Молодость сама выбирает дороги, советов она не терпит. Он и не знал бы, что посоветовать сыну. «Сиди дома? Вот тебе моя хата в наследство? Если крышу починить да покрасить — совсем новая?» Но он мог предложить сыну только хату — жизнь предлагала ему целый мир.

И всё-таки было любопытно поглядеть, что выберет сын.

«Беда, не гораздый он! — с сожалением думал об Андрее отец. — Не моторный, ох, не моторный!»

Досадно — тихим, молчаливым, даже робким рос сын. Не было в нём

современной бойкости, развязности, дерзкой отваги; смущался на людях, краснел при девушках. Он далеко не пойдёт!

«Так всё и будет за Виктором тянуться, — с горькой насмешливостью думал отец. — Виктор — бедовый!»

А ребята всё искали свою дорогу... Они бродили по городу, как по перрону вокзала, нетерпеливо скучая. Они уже были не здешние, проезжие люди; вот ударит третий звонок — и они уедут. Они уж простились со всем, с чем следовало проститься, и отодрали от сердца всё дорогое и милое, что надо было отодрать. И поезда то и дело проходили мимо них, дразня огнями, а их поезда всё не было.

Теперь Виктор захотел стать киноартистом. Где-то услышал он, что есть такой институт в Москве: не нужно ни экзаменов, ни путёвок туда, надо только иметь красивую морду, и из тебя артиста сделают. Он был красивый парень и знал это. У него было гибкое и упругое тело, глаза, полыхающие чёрным пламенем, дерзкий, разбойничий рот. Он имел привычку поджимать и прикусывать нижнюю губу, так и казалось, что вот он свистнет. Мальчишки дразнили его цыганом, девчата из-за плетней поглядывали с нежным страхом. Его-то примут в артисты.

Но что тут делать с Андреем? Куда девать его разлапистую, медлительную походку, соломенные волосы и этот простодушный вихор над лбом? Разве в комики?

«Ну, там видно будет!» — решал Виктор. Он не любил думать о препятствиях, когда чего-либо страстно хотел. Препятствия раздражали его, он просто от них отмахивался. Он всегда загорался от одной искры, так же быстро он и остывал. У него был темперамент кузнеца, а не токаря.

— Москва, брате, столица... кино... а?.. — растроганно бредил он. — А може, талант у нас? Може, это и есть то самое?

Андрей слушал молча. Он никогда не спорил с Виктором, он и не умел спорить. Терпеливо выслушивал буйные фантазии товарища. Молчал. Как будто соглашался даже. А потом тихо, словно извиняясь, бормотал:

— Ни. Не хóчу.

И сразу подрубал мечту под корень.

Виктор приходил в ярость.

— Та будь ты проклят, Андрий, чо́го ж ты, чёрт, хочешь? — брызгаясь слюной и чуть не плача кричал он.

А Андрей так же молча, только чуть наклонив голову и сбывшись, выслушивал брань товарища и снова говорил своё, тихо и упрямо:

— Ни. Не хóчу.

Уже тянуло от воды сентябрьским холодком, за рекою желтели рощи, жёлтые листья проступали сразу, и вдруг, в одну ночь, как морщинки на лице засидевшейся в невестах девки, — наступала осень; в отвергнутых мальчиками техникумах начались занятия; и ракете над Пслом надоело оплакивать отъезд ребят; стали желтеть и её листья.

Однажды мальчики не пошли на Псёл. Осточертело смотреть, как, топаясь, пробегает мимо них река, будто есть у неё какая-то важная цель впереди, а до бездельных мальчишек на берегу ей нет и дела.

Мальчики пошли за город, на шлях. Там, на выходе из Чибиряк, дремал старый курган, седой от серебряистой долины. Мальчики взобрлись на вершину и легли в траву.

Хорошо было лежать на вершине кургана, дремотно. Земля была прохладная, покойная, а трава сухая и тёплая, нагретая щедрым на прощанье сентябрьским солнцем. Полынь переливалась под ветром и ходила сизоватыми волнами, словно баюкала ребят. Говорят, раньше степные орлы любили залетать сюда, на курган; теперь тут и кобчика не

увидишь. Только в траве, если поискать, можно найти лошадиный череп и кости: дорога внизу совсем недавно была чумацким шляхом.

Она и сейчас ползёт и вьётся по-чумацки — петлями. Она, как и Псёл, плывёт куда-то вдаль, и возы на ней, как лодки, и пешеходы, как пловцы, и пыль, как волны.

Андрею не захотелось смотреть на дорогу, он повернулся, лёг на спину. Стал смотреть в небо.

Но и по небу, торопясь, бежали беспокойные облака: было в движении и небо; в нём всякую минуту что-то менялось, и тогда Андрей ещё раз перевернулся и уткнулся лицом в землю. Так будет лучше.

От полыни исходил горьковатый и спокойный запах смерти, так пахнет на кладбище и в церкви, когда отпевают и кадят ладаном. «Отчего полынь всегда пахнет могилою? — рассеянно подумал Андрей. — Или то, мабуть, могила пахнет полынью?» Он растёр между ладонями лепестки полыни и понюхал руки. «А может, куда и не надо ехать? — вдруг подумал он. — Оставаться дома. Пойти к отцу на мельницу. Говорят, через год и в Чибиряках начнутся стройки. Электрическую станцию будут ставить. Может, остаться?» И он снова задумчиво понюхал, как пахнет полынь.

А Виктор смотрел только на шлях. Странно молчаливым был Виктор в это утро, с товарищем не перекинулся и словом. Лежал и смотрел на дорогу. И всё было прекрасно на ней: и пыль, и скрип возов, и запахи бензина, овечьей отары и конского навоза; Виктору казалось, что он чувствует эти запахи даже здесь, на вершине. А запаха полыни он и не слышал.

Длинноногие, сухошавые и, как истинные пешеходы, густо покрытые пылью, бежали вдоль дороги тополя и скрывались за горизонтом. Передние из них уже, должно быть, подходят к Полтаве. «А в Полтаве, — думал Виктор, — можно сесть на поезд и тогда — куда хочешь: в Москву, на Кавказ или на Тихий океан». Ну, не станешь артистом — можно лётчиком, или грузчиком, или даже босяком, как у Максима Горького, бродягой, вольной птицей.

Он и это предлагал однажды Андрею. И Андрей, как всегда, молча выслушал, а потом только спросил недоуменно: «А с учётом как?» — «С каким учётом?» — не понял Виктор. «С комсомольским. Где на учёт будем вставать?»

Нет, так никогда не вырвешься из Чибиряк! Здесь всё держит: мать, Андрей, комсомол, каждый знакомый камень на дороге. Так никогда не вырвешься! А надо просто — вот сбежать сейчас с кургана и, не оглядываясь, не прощаясь ни с кем, не раздумывая, зашагать рядом с тополями — всё равно куда, всё равно зачем, только б итти, а не лежать в кладбищенской полыни.

Он сказал вдруг негромко и не глядя на Андрея, словно думая про себя, но вслух:

— А может, врозь?

— Что? — отозвался Андрей. Он не понял и виновато улыбнулся. Ему показалось, что Виктор что-то долго ему говорил, а он вздремнул, убаюканный полынью, и не слышал.

— Я говорю, — повторил Виктор, — может, попробовать врозь? Каждый как сам хочет.

Он сказал это, стараясь не глядеть на товарища. И подождал немножго. Вот Андрей сейчас вскочит, бросится к нему, крикнет: не бросай меня, брате, давай куда хочешь — только вместе...

Но Андрей молчал...

И тогда Виктор снова заговорил, он молчать больше не мог. Вот

сентябрь на дворе, сказал он с досадой, и осень, и многие ребята давно уехали, простые ребята, не хитрые, не переборчивые, как Андрей, а мы всё сидим в Чибиряках, золотой кареты ждём, счастья на блюдечке, и в том один Андрей виноват, ему всё не подходит, кабы не он, Виктор давно б уже был в Москве, в киноинституте, почему он должен от своей мечты отказываться, хотя бы и ради товарища?

Он говорил, всё более и более распаяясь. И, сгоряча бросая слова в лицо товарищу, сам знал, что слова эти несправедливые и обидные, и говорить их не надо, нельзя, стыдно, но сдержаться уже не мог. Запылённые тополя бежали вниз, вдоль шляха, в Полтаву; ветер раскачивал зелёные котомки за их спиной.

А Андрей всё молчал...

Он лежал, уткнувшись лицом в траву, и не шевелился. Он и понять не мог, как всё случилось. Вот была дружба, и общие мечты, и ребячьи, нерушимые клятвы, и свои звёзды над головой — Млечный путь, знакомый, как дорога на Псёл. Как же теперь? Как же теперь будет? Виктор прав. Он смелый, ловкий, расторопный. Он и один не пропадёт. Что ему Андрей? Только лишняя ноша.

А как же дружба? Вот так и дружба — до перекрёстка. И Андрею вдруг захотелось заплакать.

Бог весть, чем могла бы кончиться эта ссора. Уж очень хрупка, нежна и незрела детская дружба. Может быть, наутро они просто помирились бы, уступили друг другу и выбрали бы, наконец, дорогу, подходящую обоим. А может быть, так и расстались бы навсегда, разъехались, и судьбы их тогда сложились бы по-разному, независимо одна от другой. И много лет спустя, если б встретились, удивились бы, что могли когда-то мечтать об одной дороге, а может быть, и пожалели, что общей дороги не нашли. Всё могло быть после этого утра на кургане, когда Виктор, оборвав себя на полуслове, вдруг убежал один, а Андрей остался лежать в полыни, но вечером их обоих неожиданно вызвали в райком комсомола.

Они пришли туда врозь, там встретились.

В райкоме толпилось много комсомольцев, никто не знал, зачем их вызвали.

— Может быть, война? — предположил кто-то, и все засмеялись. Хотя, возможно, и война. Все жили тогда предчувствием войны.

Наконец, пришёл секретарь райкома Пашенко, как всегда озабоченный и взъерошенный. Этот голубоглазый юноша в сорочке, вышитой синими васильками, всегда жил в состоянии боевой тревоги. И простую фразу: «Товарищи, надо исправно платить членские взносы» — произносил так, словно звал на фронт. Чувством ответственности он был наделён в избытке, чувства юмора не имел совсем.

Он постучал карандашом о графин и, не дожидаясь пока все рассядутся и стихнут, закричал:

— Товарищи! В Донбассе — прорыв! — и перевёл дух.

Это было совсем неожиданно. Никто ничего не понял.

Чей-то девичий голосок простодушно спросил: «Ребята, а где это Донбасс?» — на девочку зашикали; Пашенко ещё раз тревожно и с силой крикнул: «Прорыв в Донбассе, товарищи!» — и неизвестный Донбасс вдруг придвинулся к Андрею, стал рядом, косматый, дымный и почему-то растерзанный. Гудки над ним метались и кричали всполошённо и вразной, как галки осенью... Вот и всё, что мог вообразить о Донбассе Андрей: дым, гудки, серый дождь. Он и догадаться не мог, какое же это отношение имеет к нему, к Андрею.

А Виктор жадно прислушивался. «Прорыв!» — он любил такие слова.

Вот сейчас Пашенко скамандует: «Вперёд, ребята! На штурм! На смерть!». И они пойдут. Пойдут! Виктор не знал ещё, какого подвига ждёт от них Пашенко: как и Андрей, он смутно представлял себе неизвестный Донбасс и ещё более смутно «прорыв в Донбассе». «Прорыв» — было тогда ещё новым словом в Чибиряках. Но неизъяснимое чувство восторга уже охватило и подняло Виктора, совсем как год назад, когда тот же Пашенко и так же встревоженно закричал им: «Товарищи, конфликт на КВЖД!». Как и все мы, Виктор принадлежал к романтическому поколению.

Теперь Пашенко говорил о пятилетке. Его голос то и дело взвивался — спокойно он говорить не мог. У него была симпатичная, истинно-комсомольская черта: всё принимать близко к сердцу. Для него не было далёких стран и чужих дел. Всё было своё, кровное: и хлебозаготовки в Сибири, и урожай хлопка в Узбекистане, и казнь коммунистов в Италии. Разгром стачки рурских горняков он переживал, как личную драму.

Он говорил сбивчиво, но безостановочно. Слова находились сами, может быть, и не те, какие были ему нужны, но он все слова окрашивал своею страстью и с ними свершалось чудо: неуклюжие слова хорошели, мёртвые становились живыми.

Когда у Пашенко пересыхало горло, он торопливо глотал воду из стакана с таким видом, словно в стакане был крутой кипяток, и сразу же, даже губ не вытерев, продолжал говорить дальше.

«Хорошо говорит! И не остановится ни разу! — с восхищением подумал Андрей и вздохнул. — Я б не смог так. Я б, если б заставили выступать, испугался бы... да убежал...» И, как утром, вдруг опять неожиданно подумал он, что никуда не надо ехать. Остаться здесь. Почувствовать у Пашенко, в комсомоле. Самому стать таким, как Пашенко.

Пашенко вдруг оборвал свою речь на высокой ноте и сказал уже обыкновенным тоном:

— А сейчас я оглашу вам решение райкома, — и стал шарить в своих многочисленных карманах: портфеля он принципиально не имел.

Виктор следил за ним нетерпеливым взглядом: вот сейчас объяснится, наконец, какого подвига ждут от них: он готов на любой. Но Пашенко долго не мог найти нужной бумажки, он вытаскивал из карманов всё не то, вдруг вытащил серебряную шоколадную обёртку — он любил сладкое — и страшно смутился, а все засмеялись. Но Виктор не улыбнулся даже, он ничего смешного и не заметил, он был сейчас в состоянии восторженно-жертвенном, и самое меньшее, чего он ждал от Пашенко, — приказа итти на костёр.

И вдруг он услышал:

— Чибиряцкий райком комсомола приветствует инициативу москвичей и ленинградцев и со своей стороны решает мобилизовать в счёт 30 000 и послать на постоянную работу на шахты Донбасса десять лучших комсомольцев, членов Чибирякской организации ЛКСМУ, а именно: Абросимова Виктора, Борисенко Митрофана, Воронько Андрея...

Андрей удивился, услышав своё имя: ему казалось, что в райкоме его и не знают вовсе, о нём и не вспомнят. И вдруг его назвали среди десяти лучших. Он покраснел.

«Вспомнили-таки!»

Но это чувство радостного смущения тут же и рассеялось. Он понял, что значит список десяти. «Значит, в шахтёры нас? В шахтёры?» — сообразил он и растерянно оглянулся вокруг себя. Сам того не подозревая, он искал Виктора.

Они сидели врозь — утром поссорились, но тут сразу же нашли друг друга глазами. Оба почувствовали, что сейчас и, может быть, навсегда

решается их судьба. Лицо Андрея выражало растерянность, лицо Виктора — обиду.

Да, обиду. У него даже губы дрожали по-детски обиженно. Словно Пашенко обманул его и зло над ним надсмеялся. Куда угодно можно было двинуть Виктора — в небеса и на море, под воду и за полярный круг. Но в шахту? Просто в шахтёры? Ещё минуту назад был готов он на любой подвиг, даже на смерть, — он и сейчас готов. Но где же подвиг? Просто в шахтёры. И он чуть не вскочил с места. Чуть не закричал в слезах: «Не хочу! Не имеете права!»

Пашенко во-время заметил лицо Виктора. Оно удивило и даже обидело секретаря. Нет, не таких глаз ожидал он в ответ на свою пламенную речь.

Он сказал сухо:

— Впрочем, если кто не хочет — может и отказаться...

Глава 3

В эту осень и я задумался над своей судьбой. Надо было выбирать дорогу и мне.

Срок моей службы в армии кончился. Я сдал экзамены и получил звание командира взвода. Теперь в моей воле было и оставаться в армии, и уходить в запас.

Я не знал, на что решиться.

Мне было двадцать три года, но, как все ребята моего поколения, я всё начал рано: мечтать, работать, жить. Иногда мне казалось, что я уже прожил жизнь большую и трудную, а иногда — что ещё и не жил вовсе.

С малых лет мечтал я стать писателем. Мальчишкой писал стихи, печатал их в комсомольской газете «Молодой шахтёр», очень гордился ими и подписывал своим полным именем: Сергей Бажанов. Но однажды меня вызвали в губком комсомола и посоветовали стихи полным именем не подписывать.

— Твои стихи очень плохие, — спокойно объяснил мне секретарь губкома. — Если ты станешь всамделишным писателем, тебе будет стыдно за них. Подписывай только хорошие стихи.

Но мне все стихи тогда казались хорошими, я обиделся.

Потом, в восемнадцать лет, я сам понял, что никакой я не поэт, и стихи писать бросил. Стал работать в газете.

В полку меня почему-то сразу окрестили «писателем».

Маленький и бравый командир моей роты сказал мне как-то, в той характерной, отрывистой, командирской манере, с какой, бывало, проводил занятия в роте или «вправлял мозги» на вечерней поверке.

— Вся рота, — сказал он. — Так? Очень. Гордится. Понятно? Что в нашей первой роте — писатель. Так? Служит. Очень! — и зачем-то приложил два пальца к козырьку фуражки, словно отдавая честь. Потом взглянул на мои бурые сапоги и в том же тоне закончил: — А сапоги — вымыть. И вычистить. Быстро. Стыд. Понятно? — И я весело побежал к ручью мыть сапоги.

Служить в армию я поехал охотно и радостно; кто был комсомольцем — меня поймет. Мы недаром были шефами червоного казачества и военно-морского флота. Правда, я просился в кавалерию, а попал в горную пехоту, но зато — на границу! Правда, не на дальневосточную границу, а на турецкую, но зато — горы! И пока наша весёлая теплушка новобранцев, словно лодка, плыла, покачиваясь, по воронежским, украинским и кубанским пшеничным полям, я успел намечтать с десяток

книг — в каждой были горы, чеченцы и подвиги на границе. Вы не забыли, что мне тогда и двадцати двух лет не было? Жизнь казалась мне только занятой темой для ненаписанных книг.

В полку нас сразу же взяли, как выразился старшина, в «сурьёзные руки»: таков уж был стиль пограничного полка. До романтики было далеко, дело началось со стрижки и заправки.

— По порядку номеров рассчитайсь! — скомандовал старшина.

— Двадцать седьмой! — не своим голосом крикнул я. Все вокруг засмеялись, а я вдруг почувствовал, что вот оно — свершилось. Теперь я только — двадцать седьмой, стриженный, с оттопыренными ушами. Ещё вчера, в штатском пальто, я как-то отличался от остальных. Сейчас великий демократизм военной гимнастёрки всех уравнивал. Теперь я только единица из тысячи.

И чтобы даже носок моего рыжего армейского сапога не выскочил из линии других рыжих носков, старшина скомандовал: «Равняйся!» Он пошёл потом вдоль шеренги, как плотник на ходу подстригивая рубанком шершавую доску. Из разнообразных человеческих тел он стал лепить идеальную прямую и скоро подчинил ей и живот моего соседа справа, и могучие плечи моего соседа слева.

Потом он скомандовал: «Направо-о!» — и шеренга, как ладный механизм, повернулась направо; я был только винтиком в нём. Потом старшина скомандовал: «Марш!» — и стоногое тело двинулось, и мои ноги тоже. Когда я сбился с ноги, старшина сердито закричал: «Эй! В седьмом ряду, взять ногу!» — и я торопливо поправился.

Мы шли через каменистый плац, и попадавшие нам навстречу командиры добродушно-насмешливо смотрели на новобранцев. Кто из них угадает, что в седьмом ряду слева марширует будущий писатель? Командиры привычным глазом прикидывали только, достаточно ли однообразно колышутся ряды.

Вот тогда-то всё и произошло. Мещанин, которого я доселе и не подозревал в себе, вдруг взбунтовался. «Не хочу! — закричал он во мне со страшным гневом, — не хочу подчиняться армейской арифметике и геометрии! Не хочу делиться на два, на четыре, на восемь! Не хочу жить по команде и сигналам. Не желаю, чтоб меня будили, когда я ещё хочу спать, вели обедать, когда я ещё не голоден. Почему я должен подчиняться моему косноязычному отделкому? Он беспартийный даже!»

Теперь смешно и стыдно вспомнить, а тогда мещанин меня одолел. Я шагал в строю с таким видом, точно меня обидели. Точно учинили надо мною чудовищную несправедливость, а исправить её некому, да и поздно.

Не знаю, чем бы этот «бунт» кончился, но пришёл политрук в роту и объявил, что вечером — полковое партийное собрание...

С тех пор много лет прошло, а я то собрание помню.

Вы, конечно, испытывали это: всякий раз, отправляясь на партийное собрание, волнуешься по-новому, будто впервой идёшь. Чувствуешь потребность пообчиститься, подтянуться, внутренне прибраться. Остаются позади мелкие каждодневные дразги; своё собственное, маленькое, частное делается совсем уж незначительным и никчёмным перед тем большим и общим, ради чего ты на собрание и идёшь.

Помню всякие собрания: и торжественные, и деловые, и весёлые, и яростно-злые, когда до хрипоты в глотке дрались мы, бывало, с уклонистами всяких мастей; вчерашний друг оказывался сегодня врагом; нам пришлось научиться беспощадности.

Помню долгие — до зари — собрания по «персональным делам»; на

весах партийной чести взвешивалась вина товарища, его достоинства и заблуждения. Мы хотели быть справедливыми. Мы судили не торопясь. Тогда каждый становился и психологом, и врачом. Голосуя партийный приговор, мы смотрели виновному прямо в лицо.

Помню собрания вдали от Большой Родины, от Большой Земли: где-нибудь на зимовке, или в полярной экспедиции, или в плавании; мы любили заканчивать эти собрания «Интернационалом». Он у полюса особенно хорошо звучит.

Помню собрания перед боем — в лесу, в горах, просто в траншеях. И одно собрание помню после боя. Это было на Карельском перешейке, зимой, на Вуокси-вирта — реке, скованной льдом; там дрогнул наш полк, побежал — и мы, коммунисты, не сумели остановить его.

Я это собрание помню. Даже те из нас, кто был в окровавленных повязках, потупившись смотрели в снег; была вина и на них — вина за всех.

Прямо с этого собрания полк снова пошёл в бой.

И ещё я партийные собрания помню, — на них мне доводилось бывать только гостем. Была вокруг чужая земля и чужое небо, и чужие — непохожие на наши — сосны, и речи звучали на чужом языке, и даже сидели люди на собрании не по-нашему — японцы, например, прямо на полу, на «тотами», поджав ноги. Но и без переводчика были мне понятны их речи, я их душой понимал. Мы все тут были люди одной веры, одной партии.

Несложен и целомудренно-прост ритуал наших партийных собраний — открытие, избрание президиума, голосование. Думаю, что нет и никогда не было в мире собраний скромнее и проще наших. Отчего ж так волнуют именно они? Что за чудесная в них сила? Отчего после них и в огонь, и в бой, и на смерть пойдёшь не дрогнув, — как ходили отцы на кронштадтский лёд в двадцать первом, как мы на штурм Берлина в срок пятом?!

Только мы сами знаем, в чём секрет этой силы.

Наши секретари редко баюкают нас утешительными речами. Как бы много и хорошо мы ни работали, им всего мало. Оттого чаще всех других слов на собрании звучит требовательное слово: «должен!». Мы слышим в нём не свист хлыста — мы все пришли в партию добровольно, — а песнь трубы, сигнал к бою.

Сидят на собрании рядом, плечо к плечу, генерал и солдат, слесарь и министр — члены одной партии; крутое слово «должен!» касается каждого и всех.

Здесь никто и никогда не скажет: мы сделали — теперь отдохнём, мы победили — теперь насладимся. Должен! — поёт труба. Да, мы должны свершить всё, что нам предназначено.

Оттого и запомнились мне все партийные собрания — все, все, сколько их было в моей жизни, — что каждое из них врубилось в мою память и в мою жизнь, как новая ступенька бесконечной лестницы. Я иду по ней рядом с товарищами, всё вверх, вверх, в гору, к сияющей вершине, теперь уже видимой ясно...

Такой ступенькой было для меня и первое партийное собрание в полку.

Я шёл туда, нянча свою «обиду». Теперь уж не помню, что собирался я сделать, — кажется, выступить с речью, да с такой, чтобы все ахнули и устыдились: вот какого «орла» не заметили мы среди серых шинелей. Но, попав в привычную, свойскую, немного шумную, немного взволнованную атмосферу партийного собрания, я как-то нечаянно-негаданно всю

свою «обиду» растерял; она растаяла, как ледышка, принесённая в тёплую комнату.

Командир полка делал доклад о задачах боевой подготовки: «мы должны сделать то-то и то-то»; и, слушая его, я понял, что это и я — «должен». Снова испытывал я знакомое с детства радостное чувство слияния «я» и «мы». И был счастлив этим чувством.

Мне и десяти лет не было, когда случилась революция. Мне едва двенадцать пробило, когда я робко постучался в двери укома комсомола: меня не приняли, но и не прогнали. Из таких же, как и я, недомерков сколотили «детскую коммунистическую группу при комсомоле» — я был счастлив и горд. Нас шутя называли «хвостом комсы», я не обижался. Только мечтал поскорее стать «комсой». Мне было четырнадцать, когда, наконец, приняли меня в комсомол, и девятнадцать, когда я стал коммунистом. Беспартийным я не был никогда.

Как же я мог «взбунтоваться» против дисциплины, я, выросший с детства в коллективе, в строю? Мне было стыдно. И я на всю жизнь запомнил это партийное собрание.

И вот окончился срок моей армейской службы. Я сдал экзамены и получил звание командира взвода. Теперь я сам должен был решать свою судьбу и выбирать себе дорогу.

Вечером того дня, когда был официально объявлен приказ о нашем производстве в командиры, ко мне подошёл командир второй роты Авсеенко. Насмешливо шуря свои и без того маленькие, хитрые и блестящие глаза, он поздравил меня и протянул подарок — два малиновых кубика.

— Спасибо! — смутился я и хотел сунуть подарок в карман.

Но Авсеенко закричал смеясь:

— Нет, нет. Так не пойдёт! Придётся водрузить знаки на петлицы. Или кубика тебе мало? — вдруг коварно спросил он, прицепляя знаки. — Впрочем, и Лев Толстой был всего подпоручиком. Зато, говорят, отлично стрелял и знал баллистику.

Это был огонь в мою сторону: баллистика была моим слабым местом.

— Ну, а теперь — гляди! — сказал Авсеенко и потянул меня к зеркалу в ленинском уголке. — Хорош! А?

Было странно видеть командирские знаки на моей гимнастёрке. Это была гимнастёрка заслужённая, солдатская; срок её носки окончился вместе со сроком моей армейской службы. Перед экзаменами я сам тщательно выстирал её в Куре. Но неистребимо чернел на плече знак ружейного ремня, на локтях и коленках остались следы «ползания попластунски»... О, колючки высоты 537,5, пыль и соль Кобулетского лагеря, ночи у костров высокогорных экспедиций — вы навсегда отпечатались на моей гимнастёрке! Было грустно думать, что теперь придётся расстаться с ней.

— Гимнастёрку мы тебе закажем завтра же, у моего портного, — продолжал тараторить Авсеенко. — Хорошо шьёт, каналья, с шиком! И недорого. Ну, года два покомандуешь взводом, потом дадут тебе роту, а там — батальон, полк, дивизию...

Я не слушал его больше. Смотрел в зеркало на курного парня в солдатской гимнастёрке и думал: а может быть, в самом деле, остаться?..

Вечером мы с Авсеенко и ещё тремя знакомыми командирами сидели в духане и «взбрызгивали» моё производство. Как всегда на Кавказе, пили только вино, не водку, и как везде, где вина много, — пили мало.

Авсеенко и тут донимал меня. Он был старше меня всего лет на пять. Но именно эти пять лет разницы позволили ему, — пусть мальчишкой, но всё же участвовать в гражданской войне, а я — опоздал, о чём и жалел горько и долго, может быть, всегда.

Он был отличный офицер, холостяк, остролов и щёголь. На экзаменах я пуше всего боялся его языка. Он носил военную форму с тем небрежным изяществом, какое только кадровым командирам даётся: его мягкие сапоги были без каблучков, гимнастёрка сшита на кавказский манер, будёновка, ни на чью другую в полку непохожая, напоминала не то французское военное кепи, не то шишак древнерусского витязя. Впрочем, эта авсеенковская будёновка возмущала меня: из неё словно выветрился романтический дух Первой Конной.

— Конечно, — разглагольствовал он, шуря свои хитрые, насмешливые глазки, — конечно, некоторым военным звание командира взвода кажется невысоким званием. Хорошо! Ну, тогда мы на литературные ранги переведём. Если Горький — командарм литературы, кто же ты будешь? Отделённый?

— Ездовой... — ответил я.

— Не спорю. Тебе видней. А тут, во взводе, под твоей командой — сорок штыков, сорок людей. Сорок че-ло-ве-ков!

— И четыре ручных пулемёта, — вставил Стаховский, помначштаба.

— Ну сколько, скажем, бывает в романе активных действующих лиц? — продолжал Авсеенко. — Двадцать, тридцать, пятьдесят?..

— Меньше, — буркнул я.

— Видишь. И всех их автор сам выдумал, и с каждым из них может сам расправиться, как захочет: и умертвить и вычеркнуть. А тут — тут в твоей руке сорок живых людей. И у каждого — характер. Не тобой выдуманный. И хотят они жить по-своему, не по твоей указке. И ты не смеешь, — слышишь, не смеешь! — ни одного из них ни потерять, ни вычеркнуть. И даже за смерть каждого из них, пусть в бою, ты, командир, головой отвечаешь! И всех этих солдат, живых и разных, ты обязан своей воле подчинить, иначе ты не командир, а... писарь!

— Верно! Ах, как верно, Саша! — в восторге закричал Стаховский. — Вот говорят: лямка, лямка, солдатская лямка. А ведь это — поэзия, если вдуматься!.. — и он потянулся с бокалом к Авсеенко. — Люблю, Саша, хорошо ты это сказал...

— Д-да... — задумчиво отозвался вечный комвзвода полковой школы Власов, которого в отличие от другого Власова, женатого, все в полку — даже солдаты — просто звали «Яшей-холостяком». — Вот тысячи стриженных ребят прошли через мои руки. А я каждого помню...

— Ты гордись, гордись! — закричал мне Стаховский, тыча толстым пальцем в малиновый кубик на моей петлице. — Ты чувствуй! Тебе этот кубарь легко достался. А нам, брат...

— Теперь и ромб получить недолго! — засмеялся молоденький Федорчук. — И у юристов — ромбы, и у канцеляристов — ромбы.

— По занимаемой должности, — объяснил Стаховский. — Не по выслуге лет, а по занимаемой должности. — Как и все настоящие служаки, он терпеть не мог «скороспелок». — Ну, что ж! — усмехнулся он. — Как говорится: дайте ему ромбу, да не давайте роту. С ромбой ничего не делается, а роту — погубит!

— Давай выпьем, Сергей! — сказал Авсеенко мне вдруг очень сердечно. — За тебя выпьем! — Мы чокнулись. — Конечно, ты сам хозяин своей судьбы. Что можем мы предложить тебе? Скромное место в полку, да нашу дружбу. Не много. Но вот что я тебе скажу, Сергей: оста-

вайся! Оставайся в полку! В армии не стыдно быть даже ездовым. А в литературе быть ездовым — стыдно, нельзя. — Он посмотрел мне прямо в глаза и опять чокнулся. — Оставайся, Сергей! Сорок живых человек лучше сорока книжных, вымученных!

— А мы вам поможем! — застенчиво сказал Федорчук, тоже подходя с бокалом, чтобы чокнуться.

— Поможем! Почему не помочь? — зашумел и Власов. — Я с тобой каждое занятие наперёд отработаю...

— И если надо уставчики, конспектики, пожалуйста! — подхватил Стаховский. — Замечательные у меня конспектики есть...

А я стоял растроганный, кокался с этими славными людьми и думал: а может быть, и в самом деле остаться?

— Подумай! — сказал мне командир полка, добрейший Павел Филиппович. — Мы тебя не торопим. Сам и решай! Хочешь оставаться в армии — милости просим. Дадим тебе взвод. А не хочешь — иди, станешь писателем.

И уже провожая меня к двери, спросил, деликатно понижая голос до шёпота:

— А ты как сам чувствуешь: талант в тебе есть?

Три дня было дано мне на то, чтобы выбрать себе дорогу. Я бродил по горам и думал.

Мы стояли на турецкой границе, в городке с превосходным именем Ахалцых, что значит — Новая крепость. Здесь, действительно, была крепость и в ней казармы. Когда-то в этих казармах квартировал 44-й Тенгинский полк. В витрине городского фотографа Балтурмянца («фирма существует с 1877 года») ещё желтели портреты господ офицеров-тенгинцев, и среди них — фотографии полкового батюшки, мужика ражего и сытого, с крестом, орденами и шашкой.

В Тенгинском полку, как известно, служил когда-то Лермонтов. Я не знаю, бывал ли он в Ахалцыхе, жил ли в крепости. Но тогда мне очень хотелось, чтобы жил.

Чтобы жил и бродил здесь, как я сейчас брожу, и глядел в раздумье на эти серо-зелёные холмы, на горы, на яблоневые сады и заросшие травой кровли.

К вечеру я возвращался в полк. Здесь всё было знакомо и любо мне. Все люди — от командира полка до Гриши Одинокого, вольнонаёмного «виртуоза на балалайке», неизвестно когда и как прибывшего к полковому клубу, да так навсегда и приросшего к нему; все здания — от знаменитой вышки, где под караулом, в сером чехле, хранилась святыня полка — знамя, — до конюшни хозроты. Здесь в стойле вечно дремал жеребец Ворон, мой нежный и некрасивый друг.

Он действительно был нескладен, этот огромный битюг с тонкой, как у гадюки, шеей. Но сорок дней и сорок ночей горного похода мы прошли с ним вместе, разве это забудешь?

Помню ночь над Коблиан-чаем... В ту ночь в полку никто не спал. Мы стояли — с артиллерией и обозами — на узкой горной тропе над пропастью и ждали зари. Было холодно. Внизу на камнях билась в пене река. Стоило сделать один неверный шаг — и загремишь в пропасть. В том походе полк потерял много коней: мой равнодушный, задумчивый Ворон вывез! Я бы мог и дальше продолжать ездить на нём. Если стать командиром пулемётного взвода, — лошадь положена.

Может, остаться?

Может быть, всё-таки остаться? Я думал об этом все дни напролёт. Будет жизнь трудная, беспокойная, гарнизонная. Ученья, походы, инс-

пекторские смотры, поощрения и нагоняи. И маленькие города на границе, где выстрел в ночи — быт, а приезд бригады артистов — событие. И праздники, когда по прекрасной полковой традиции жёны командиров в белых фартучках ухаживают в столовой за бойцами: подают обед солдатам, сладкий плов с изюмом и домашний хлебный бабушкин квас.

И будут будни, много будней. Волнение из-за каждого ЧП¹: из-за недочищенного Ивановым пулемёта, из-за вши, с ужасом обнаруженной санитаром в койке Петрова, из-за самовольной отлучки Сидорова, краваца и футболиста.

И будут ломкие ночи с наганом под подушкой на случай тревоги. И хрусткие, морозные утра в горах, когда в «обстановке, приближённой к боевой», карабкаешься по скалам, воображая себя Суворовым в Альпах. И летние зачётные стрельбы, когда лежишь со своим взводом на линии огня и стараешься казаться спокойным, и чувствуешь животом землю — сырую, добрую, пахнущую мятой, — и прижимаешься к ней плотнее, чтоб найти в ней силу и опору для удачного выстрела. Трепещет алый флажок на вышке: огонь! Разбуженные выстрелами горы отвечают долгим эхо. Тонко и насмешливо поёт труба: «По-пади! По-пади!» И так хочется попасть!

И будет много молодого счастья и удали в этой жизни, и тёплой, мужской дружбы, и поэзии, и прелести, и борьбы...

Может, остаться? А как же ненаписанные книги? И неисхоженные маршруты? И прежние мечты? И в моих ушах вдруг начинали звучать другие голоса, ещё смутные и неясные; словно то шумели ветры далёких странствий и заманивали, заманивали меня... Куда? Зачем?

И я уходил в горы или по узким и кривым улочкам сбегал в город, в самый центр его, толкался там, прислушиваясь к чужому гортанному говору.

Толпились на базаре горцы. Картинно подбоченясь, проезжал верхом усатый курд в рваном бешмете, с длинным старинным кинжалом в серебре. Медленно пробирался сквозь толпу задумчивый горец в коричневом башлыке, закутанном вокруг головы чалмою, в тумбанах грубой шерсти с огромным курдюком сзади, в тёплых чулках, спрятанных в мягкие лёгкие яманы. Он вёл в поводу ишака; на нём колыхалась величавая и толстая жена, с головы до ног закрытая тонкой белой шёлковой шалью. Бренчали монисты, звякала уздечка; колыхались жирные, крутые бока женщины.

Над базаром клубились густые запахи пищи: тёплого овечьего сыра, козьего молока, жирной баранины, лука, пресного лавашного теста, сушёной рыбы, знаменитых ахалцыхских яблок. Терпко пахло лошадиным потом и дымом. С дверей мясных лавок свисали распятые окровавленные бараны туши. Над раскалёнными камнями очагов на длинных железных цепях качались задымленные чугунные посудины. Скрипели цепи; казалось, вот-вот сорвётся посуда с якорей и отплывёт в дальнее плавание.

И всё звенело, стучало, шумело, кричало и торговалось вокруг. Двери лавчонок и мастерских были распахнуты настежь; серебрянщики, жестянщики, седельщики, цирюльники, красильщики, канительщики, столяры, кузнецы, сапожники работали на глазах всей улицы, товар выходил горячим из-под их умелых рук.

Седельщики мастерили знаменитые кавказские сёдла с серебряными насечками, с накладками из оленьей кости; кинжалы наперекрёст. Қа-

¹ ЧП — чрезвычайное происшествие.

нительщики тянули на ручном станке золотую и серебряную канитель, мохнатую бахромку, пёструю мишуру, шнурки. Чемоданчики делали огромные сундуки, расписанные яркими красками и разводами, ларцы с секретами, шкатулки с металлическими наугольниками. Молодые парни — сапожники — быстро и лихо шили мягкие чусты из серого брезента с толстой подошвой из старой автомобильной покрышки; автобусы и автомобили были тут теперь так же обычны, как и скрипучие арбы. Кузнецы держались ближе к базару, оружейники — ближе к горам; впрочем, в последнее время они больше чинили примусы и велосипеды, чем ружья.

И совсем уж особо жили ахалцыхского ремесленного мира — золотых и серебряных дел мастера. Они и работали и жили в своих саклях из серого, неотёсанного камня, с железными решётками на окнах — память об армяно-тюркской резне. Тощие, чахоточные, молчаливые, в узких очках на самом кончике синего в чёрных точках носа они трудились над медными узорчатыми поясами, брошками, безделушками из тусклого фальшивого серебра; настоящие золотые вещи мастерились тайно и бережно; ниточка к ниточке создавался сложный орнамент, хитрые узоры, ажурное кружево из податливого металла. Их редким ремеслом был славен город.

А я? Только шёл сквозь этот озабоченный, трудящийся мир. Сам я ещё не выбрал профессии себе по душе.

Однажды я ушёл совсем далеко — к Куре. Здесь, на берегу, я провёл почти весь день.

Мутная, жёлтая, всклокоченная река быстро проносила мимо. Ей было некогда; она тоже работала — несла плоты, лодки, барки.

Широко расставив ноги и навалившись на длинные шесты, стояли на брёвнах плотовщики, мокрые с головы до ног; старик был у правила. Он был бос, его узкие у шиколотки шаровары раздувались на бёдрах, как парус на ветру.

— Гауптхильды! — кричал он то и дело. — Берегись!

Плоты неслись между камней, рискуя каждую минуту разбиться.

— Гауптхильды! — кричал старик и вдруг наваливался всей грудью на правило. Он своё дело знал. Все люди вокруг меня знали своё дело.

И опять я услышал, как зашумели в моих ушах ветры далёких странствий.

Было бы славно вот так нестись по Куре, в брызгах воды, рискуя каждую минуту потонуть или разбиться о камни...

Я молод, здоров, все дороги мира распахнуты передо мной. Я могу остаться в армии. Могу уйти в плавание. Могу отпроситься в авиацию. Могу вернуться домой, в Донбасс. Я всё могу. Надо только выбрать. Скорее же выбирай по душе дорогу, Серёжа Бажанов, парень двадцати трёх лет. Пора!

А по Куре всё идут и идут плоты. И старик у правила тревожно кричит то и дело:

— Гауптхильды! — что означает: «Берегись!»

Глава 4

— Впрочем, если кто не хочет, может и отказаться! — сухо сказал Пашенко и в упор посмотрел на ребят.

Андрей и Виктор молчали.

Конечно, можно и отказаться. Можно встать и прямо объявить: «Ни. Я не хочу!» — Или схитрить: «Я б поехал, да мама больная... старая... одна».

Отказаться можно, да как жить потом, если уже в семнадцать лет сдрейфил, испугался, на первый же зов комсомола ответил отказом?

Ребята, ровесники мои, кто из вас не переживал этого гордого чувства: «Я мобилизован партией?!» Не завербован, не нанят, а — мобилизован!

Мы ходили и в счёт тысячи, и в счёт двадцати пяти тысяч, и во флот, и в деревню, и в лес. Нас «бросали» и на хлеб, и на дрова, и на транспорт. У иного вся биография состоит из одних мобилизаций, и это — биография нашей родины, география её магистральных дорог. Мы умели собирать сундучки быстро. Мы к любому климату приживались. Везде мы были свои.

Андрей тихо поднял голову и негромко сказал:

— Нет, мы согласны!

И сказавши, сам удивился, что так сказал, и понял, что сказать иначе было нельзя.

Долговязый Пашенко восхищённо всплеснул руками, а потом поднял их высоко над головой и первый стал аплодировать.

А Андрей стоял растерянный и смущённый, сам не понимая, отчего все аплодируют ему, и не чувствуя ещё, что это первая великая минута в его жизни; он будет вспоминать её потом часто и по-разному.

Потом были речи, и внезапно возбудившийся Виктор пламенно кричал, что если родине нужны шахтёры, то, пожалуйста, он идёт добровольно... Говорили все мобилизованные, кроме Андрея; ещё раз выступал Пашенко; а потом, всем собранием, взволнованные и разгорячённые, вывалились на улицу, пошли по городу провожать героев по домам.

Шли в обнимку, с песнями, по пятеро в ряд, прямо по середине улицы, как в девятнадцатом ходили. И доведя героя дня до ворот его дома, прощались долго и шумно, хором кричали здравицу, пускали «ракету» — ведь ещё вчера все были пионерами; а одна дивчина — та самая, которая спросила: «а где это Донбасс, ребята?» — даже поцеловала Андрея при всех, от всего сердца, и он смутился, а все захохотали. Это была великая минута, и в их жизни она запомнилась, стала датой. «Это было тогда, когда мы провожали наших комсомольцев на шахты». Потом проводы стали частыми. Родина требовала — мальчишки из Чибиряк уходили в большую жизнь: на учёбу, на новостройки, в армию. Их провожали всей организацией, как провожали Виктора и Андрея.

Оставшись один у своей калитки, Андрей не сразу прошёл в дом. Он ещё постоял под тихими вербами в палисаднике, послушал вечернюю песнь матиол. «Вот и свершилось! Значит, в шахтёры». И на душе вдруг стало легко и покойно. Выбор сделан. А там — видно будет!

Он вошёл в дом и сказал отцу:

— Послезавтра мы уезжаем. — Помолчал и прибавил. — На шахты.

Отец удивлённо вскинул на него глаза.

— Куда?! Это что же, Виктор твой придумал? — гневно спросил он.

— Ни. Комсомол мобилизовал.

— А-а! — Отец встал и заходил по комнате.

— А может, ещё отказаться не поздно? — нерешительно спросил он. — Похлопотать?

— Нет. Нельзя.

Они опять помолчали оба.

— Так это ж не надолго, сынок, а? — спросил, наконец, отец. — На месяц, может, на три?

— Того не знаю...

Отец вернулся к верстаку и снова взялся за прерванную работу — мастерил дочке куклу: он всё умел.

— А я-то думал, — сказал он, виновато усмехаясь, — ты учиться поедешь. Пока есть у меня сила-возможность... Ну, ничего! — и он низко склонился над чурбашкой: стал рисовать глаза.

И Виктор, придя домой, сразу же сказал матери, что уезжает на шахты.

— Ой, лышенько! — всплеснула руками мать и чуть было не бросилась сыну в ноги.

Но Виктор строго и резко остановил её:

— Мобилизация, мама.

Она услышала в этих словах знакомую нотку и притихла. Вот так, бывало, и отец Виктора на все её бабьи вздохи и слёзы одним только словом ответит: революция. Или — мобилизация. Приказ ревкома.

Она подавила вздох. С ревкомом спорить нельзя. И, пряча от Виктора свои тихие слёзы, сразу же стала собирать его в дорогу.

Весь следующий день был в суматохе, волнении, сборах, печении пышек на дорогу. Только мельком, в райкоме комсомола, виделись Андрей и Виктор.

А вечером нечаянно встретились у палисадников. Молча, не сговариваясь, пошли они к Пслу. Вчерашняя ссора была забыта, о ней оба и не вспомнили ни разу. Какая тут ссора. Теперь им долго итти вместе, может быть, всегда.

Они вышли на Псёл и долго молча смотрели на реку. Они прощались не только с ней; прощались с детством. Оно было хорошее, привольное, богатое. Спасибо тебе, река, спасибо вам, родные поля, родной город! Теперь у ребят начиналась трудовая жизнь. Они и то начинали её поздно. Отец Андрея свой первый кусок хлеба заработал в десять лет.

— Говорят, на шахте страшно! — тихо сказал Андрей. — Лошади и те слепнут.

— Это — брехня!

— Нет. Так и живут в шахте — слепые.

Тихо плескалась река, стучала в дубовый човен.

— Я как приеду на шахту, — хвастливо сказал Виктор, — сразу же стану ударником. Раз уж такая судьба вышла, так пусть хоть по крайней мере знают, какие мы есть! — и он озорно потянулся всем своим гибким телом.

— И ещё говорят, — сказал олять Андрей, — газов в шахте много. Спичку чиркнешь — и взрыв.

— И ты уж сдрейфил? — презрительно усмехнулся Виктор.

— Я? — спокойно переспросил Андрей. — Я — нет.

Уже совсем стемнело. Надо было возвращаться домой. Виктор отломил ветку ракиты и бросил в воду.

— Плыви!

И они оба долго, затаив дыхание, смотрели, как плывёт по тёмной воде ветка; нет, не тонет! — вот она совсем скрылась в темноте.

— А такой реки там не будет! — вздохнув, сказал Андрей и вдруг почувствовал, как что-то сжало его горло.

— Э, баба! — сердито сплюнув, выругался Виктор и пошёл прочь.

Рано утром следующего дня мобилизованные комсомольцы тронулись в путь. Их провожал оркестр. Подвода с сундучками ушла вперёд. Сами ребята решили шагать до станции пешком — всего семь километров, а провожающих — вся комсомолия города.

Оркестр дошёл до кургана, сыграл на прощанье весёлый марш. В последний раз оглянулись ребята на родной город и увидели — крыши, крыши, крыши, и на залитых солнцем крышах — жёлтые тыквы. Так и запомнилось навсегда: золотые тыквы на родных черепичных крышах...

И вот уж шагают рядом с ребятами по чумацкому шляху длинноногие тополя. И вот уж — бегут в окне вагона... Тополевый край, Украина!

В Полтаве чебирикцев посадили в специальный эшелон. Здесь уже были киевляне, черниговцы, житомирцы, полтавчане; на каждой станции подсаживались всё новые и новые партии: появились сумские комсомольцы, потом харьковчане; словно весь комсомол поднялся на уголь, двинулся в путь. Андрей уже знал, что едут они с Виктором в счёт 30 000.

— Тридцать тысяч! — восхищался Виктор. — Это ж армия!

Знакомились быстро. Ехали весело, шумно, с песнями. Удивлялись, глядя в окно вагона, что степь тут такая же, как и у них в Чибирьяках, и поля такие же — уже скошенные, с золотыми курганами-скирдами, и такие же беленькие и голубенькие хатки с расписными ставнями, и журавли над криницами, и тополя опять.

И даже когда вбежал, наконец, весёлый эшелон на донецкую землю — ничего не изменилось. Та же полынная степь, те же тополя, те же хатки-мазанки...

— Та нет, это не Донбасс! — разочарованно вскричал Виктор. — Не может это быть Донбасс.

Но проводники подтвердили: Донбасс. Красный Лиман, Яма, Артёмовск.

И только за Никитовкой, к вечеру, тревожно запламенели стёкла. Ребята бросились к окнам. Нет, это не пожар и не закат.

Так впервые явился ребятам Донбасс во всей своей красе и силе: в грохоте и пламени, в тучах чёрного густого дыма над тушильными башнями, в багровых отсветах доменных плавков, с огнями, загадочно мерцающими на шлаковых отвалах, с синими кострами на глеевых горах; с горьким запахом угля и едко-сладким — тушеного кокса; с беспокойными запахами газа, серы, железа и колчедана, тлеющего на терриконах; с дыханием трудным, тяжким, прерывистым, словно все воздуходувки, компрессоры и паросиловые станции не могли вдунуть достаточно воздуха в его богатырские железные лёгкие, и он сопел, пыхтел, дышал тяжело и со свистом...

Таким явился ребятам Донбасс в ночи — многотрубный, величественный, косматый и — непонятный...

«Здесь нам работать... И жить», — думали мальчики с восторгом и страхом. И всё смотрели да смотрели в окно вагона, как мимо, медленно покачиваясь, проплывал Донбасс...

Глава 5

Но они не скоро стали шахтёрами. Сперва они были гости. Их встречали оркестрами и речами. Местные комсомольские руководители суетились вокруг них. Было видно — они боятся, что новичкам тут не понравится.

Один из них, удивительно похожий на Пащенко, всё извинялся на каждом шагу: за дым, за пыль, за то, что зелени мало...

— Конечно, трудно будет, пока привыкнете — говорил он.

— А вы привыкли? — спросил его Виктор.

— Я? — он улыбнулся. — Я родился тут.

— Ну и как здесь, хорошо?

— Мне — хорошо! — Потом, точно сам проверяя, правду ли сказал, оглянулся вокруг: его глаза потептели и стали ещё более синими. — Во-он там, — показал он, — наша хатка. Где акация.

Поселили ребят в общежитии.

— Тумбочек пока нет, — объяснил комендант, — но выписаны. А также будут цветы в кадках, культурно.

Андрей выбрал две койки — себе и Виктору. Повесил фотографии. Их было всего три: семья Воронько в полном составе, с грудной Наталкой у матери на руках; пионерский лагерный сбор на Псле: Андрюшин выпуск Чибирякской семилетки. Больше карточек не было; в сущности, и эти три полностью исчерпывали всю биографию Андрея.

Потом он повесил над карточками рушник с алыми петухами — мать вышила на дорогу — и почувствовал, что устроился. У Виктора никаких карточек с собою не было.

Весь вечер в общежитие приходили люди, знакомые и незнакомые. Справлялись, хорошо ли устроились ребята, не нужно ли чего. Пришёл большой, грузный человек с наголо бритой головой и начальническим басом.

— Завшахтой! — шёпотом сказал ребятам комендант и побежал навстречу гостю. Скоро бас начальника загремел во всех углах.

— Да что тумбочки, тумбочки! Ты мне сушилку покажи. Сушилка есть?

— А зачем сушилка? — негромко спросил Андрей у комсомольца, похожего на Пашенку.

— Сушилка? А чтоб спецовку сушить, портянки...

— В дождливую погоду?

Завшахтой и комендант услышали и засмеялись.

— В шахте, милко, всегда дождь! — сказал комендант.

— Почему всегда? — встревожился комсомолец, похожий на Пашенку. — Бывают и сухие забои... И вообще, — метнул он на коменданта сердитый взгляд, — вы, дядя Онисим, лучше б оставили свою пропаганду. Только людей смущаете...

— Да что они барышни, что ли! — загремел завшахтой. — Одеколончиком на них прыскать? Им надо правду сразу говорить. Вы комсомольцы? — крикнул он ребятам.

— Комсомольцы, — нестройно ответило несколько голосов.

— Зачем сюда ехали, знаете?

— Догадываемся! — сказал уже один Виктор.

— Ну, вот то-то! — и завшахтой гулко расхохотался. Он был краснощёкий и смешливый человек.

И от этих весело сказанных слов у Андрея тревожно ёкнуло сердце: значит, действительно будет трудно!

А Виктору слова завшахтой понравились.

— А когда мы в шахту полезем? — озорно крикнул он. — Что нас как экскурсию водят? Тоска!

— А в шахту, брат, не лазят, — ответил завшахтой. — Это к бабе на печь залезть можно. А в шахту, приятель, едут.

— Ну так поедем когда? — не унимался Виктор.

— Скоро. Ишь, бедовый какой! — засмеялся завшахтой и вдруг прыгнул Виктора к себе, обнял. — Ну, если все у вас огольцы такие, тогда живём, живём, брат! Ничего!

Вместе с ним из общежития ушли и все гости. Комсомольцы остались одни. Разбрелись по койкам. Андрей достал из сундучка детскую сопилочку и стал тоскливо свистеть в неё.

На душе у него было смутно, тревожно. Он и сам не знал, отчего. Плохого они ещё и не видели. Встретили их ласково, хорошо. Может, и шахта не такая уж страшная? А на душе всё-таки было недобро. «Заплакали козаченьки в турецкой неволе», — сама собой высвистывала сопилочка; Андрей и не думал о том, что играет. Думалось о доме, о шахте, о том, что вот куда далеко-о захали они, письмо и то нескоро придёт. «А в шахте всегда дождь!» — вспомнилось вдруг.

Подсел Виктор, ласково обнял товарища.

— Ты чего зажурился, козак? — весело спросил он.

— Ой, погано, Витя, на душе погано-о... — тихо признался Андрей. — Хмарно.

— Та ну? — удивился Виктор. — Чего?

— Боюсь...

— Ох, и баба ж ты! — засмеялся Виктор. — Бою-юсь! — передразнил он. — Та ты что, в лес попал? К волкам? А по мне так хорошо тут, весело. И люди тут хорошие.

С охапкой травы вошёл Братченко, русский хлопчик из Кобеяк. Он ходил в степь, нарвал травы и теперь рассказывал:

— Степь тут хорошая, как у нас. Только мало её. Кругом — шахты. И степь — дымом пахнет...

Он разбросал траву по полу, и в общежитии сразу запахло родным домом — чебрецом, мятой и полынью.

И от этого стало ещё тоскливей...

— А давайте споём, хлопцы! — предложил кто-то. И запел. Песню подхватили. И поплыла она над шахтой, как над Пслем, над Ворсклой, над Днепром...

На песню пришёл комендант, дядя Онисим. Стал у притолоки, заслушался.

— Хорошо поёте! — сказал он наконец. — Вы какие будете, курские?

— Нет! — ответило ему несколько голосов. — Всекие.

— А-а! А я думал, курские. Раньше всё курские да орловские в Донбасс шли.

— А вы, дядя, были в шахте? — робко спросил Андрей.

— Кто — я? — обернулся к нему комендант. — От спросил! От вопрос задал! Та я тридцать лет в шахте, та я... — он даже задохнулся от ярости.

— Так чего ж вас сюда поставили?

— От и я говорю: чего? Бутенко всё. Предшахткома наш, беспокойная его душа. У него проценты не сходятся, а дядя Онисим отвечай. Он ко мне другой год подъезжает: надо тебя, дядя, выдвинуть, неудобно выходит, старый шахтёр, а... Та куда ж ты меня, говорю, выдвинешь, если я малограмотный? Вот он и придумал...

— А что в шахте, лучше? — спросил кто-то.

— Ясно лучше. Безопаснее. Тут, скажем, крыша потечёт или эти, будь они прокляты, тумбочки — сейчас дядю Онисима к начальству, к прокурору, туда, сюда... А в шахте — безопаснее. Я — крепильщик! — сказал он с такой гордостью, будто крепильщик это генерал. — Нет, вы лучше спойте, ребята!

Комсомольцы запели. Дядя Онисим присел на табуретку, стал слушать. Когда песня кончалась, он ничего не говорил, не просил ещё петь, а только крякал, вытирал слёзы и опять, подперев руками седую голову, был готов слушать. И они лились, эти бесконечные украинские песни, печальные и жалобные, и в них — душа плыла и пела. И такое было в этих песнях чудодейственное свойство, что самые жалостливые

не расстраивали, а утешали человека, словно всю тоску его песня брала на себя и развеивала по белу свету...

— Да, хорошо поёте! — сказал, наконец, дядя Онисим. Вздохнул, вытер слёзы и встал. — А шахтёров из вас не будет, нет!

Это было так неожиданно, что все расхохотались.

— Да отчего ж, дядя Онисим? — смеясь, закричал Виктор.

— Не будет. Нет! — махнул рукой старик.

— Да отчего?!

— Не на той каше вы выросли. Вот что!

— Что? Что?

— Вы ж, я вас знаю, гарбузячью кашу кушали. Маменькины сынки! Вы ж на третьей упряжке дёру дадите... Я ж вас знаю!

— А не дадим, не дадим! — раздались возмущённые голоса.

— Та дадите! — презрительно отмахнулся старик. — Мы ж таких бачили! От говорят, прорыв, прорыв... а отчего прорыв? Оттого и прорыв, от таких шахтёров. Мы, — вдруг ударил он себя в грудь, — мы и в двадцать первом прорыву не знали. Лебеду ели, а прорыва не было. Работали. Давали уголёк. А теперь, боже ж ты мой, что с Донбассом сделали? Ну, проходной двор, чисто проходной двор! Какие вы шахтёры? Покрутитесь тут на шахте — и лататы!

Он говорил это так горячо и убеждённо, что все стихли, не нашлись, что ответить.

Только один парень, всё время молчавший, хмурый и длиннорукий, — его фамилия была Светличный, из Харькова, — подошёл к коменданту и спросил негромко, но строго:

— Ты зачем, старик, каркаешь, людей смущаешь?

— Я не каркаю, — отмахнулся от него комендант, — я душой болею.

— А душой болеешь, так не каркай! — он внушительно посмотрел на него и обернулся ко всем. — Эй, ребята! Вот старик говорит: сбежим мы. Как скажете?

— Время покажет! — крикнул кто-то.

— Разные тут были, — сказал дядя Онисим. — И вольные, и вербованные. Вот раскулаченные сейчас попёрли в Донбасс за длинным рублём...

— Он нас с раскулаченными сравнивает, — сдержанно продолжал Светличный. — Ну, так как скажете?

— А может, набить ему морду? — спросил кто-то из дальнего угла. — Может, он сам кулацкий агент.

— Ты то пойми, старик, — выскочил вперёд горячий Мальченко, — мы — комсомольцы. Комсомольцы мы!

— Бывали и комсомольцы...

— Да ты какое имеешь право так о нас понимать? — вдруг взвизнул Виктор и чуть не с кулаками подбежал к коменданту. — Ты кто? Нет, ты скажи — ты кто есть?

Теперь загалдели все. Повскакивали с коек. Подступили к старику. Но Светличный одним властным жестом остановил всех. В нём сразу почуяли ребята жоака; уже потом узнали, что был он секретарём райкома и сам добровольно вызвался ехать в Донбасс. «Если агитировать — так примером», — сказал он, будто при этом.

Он был и старше, и выше всех ростом. Длиннорукий, лобастый, с хмурыми мохнатыми бровями и колючими недобрыми глазами, он был страшным в эту минуту, хоть и казался спокойнее всех.

— Так вот ты как нас встретил! — тихо сказал он старику. — Вот они, твои тумбочки...

— Так ты то рассуди, — растерянно пробормотал комендант, тоже почувывший власть в этом парне. — Нам-то, кадровикам, ведь обидно это пешее хождение наблюдать. Одежл не напасёшься — тянут! Да хоть бы и по-вашему, по-крестьянскому делу взять, — хорошо ль, когда через твой, скажем, баз или огород всякий прохожий идёт, и скотина, и худоба, и коза?..

— А может, в самом деле, — вдруг сказал Светличный, обернувшись к ребятам, — может, в самом деле есть тут такие, что уж собрались бежать? А? — он строго посмотрел на всех, и под его колючими глазами все сразу съжились.

— Ну, кто? — продолжал он. — Так выходи, прямо скажи... Не поздно ещё... Ну? Ты? — ткнул он вдруг пальцем в сторону Братченко — тот даже попятился.

— Что ты, что ты! — взмолился он.

— Или ты? — ткнул он в Андрея. — Ну, кто? Ты? Ты? Ты? — его палец словно протыкал каждого. — Нету таких? Так я голову оторву, если будет!.. — прошипел он и повернулся к коменданту. — Вот, старик, среди нас бегунов нету.

— Дай-то бог! — покачал головой дядя Онисим.

Андрей долго не мог уснуть в эту ночь. Всё ворочался на узкой своей койке. Сегодняшний день напугал его: все эти разговоры, намёки, шутки; и то, что все боялись за них, что они убегут; и дядя Онисим; и дыхание близкой и страшной — теперь он уже доподлинно это знал — страшной шахты; и всего более — колючий палец Светличного.

Андрей не собирался бежать. Он и сам знал, что бежать и стыдно, и нельзя. До той минуты у него даже и мысли о бегстве не было. Он и сейчас никуда не убежит; сам ведь сказал тогда на собрании в Чибиряках: «Нет, мы согласны!»

Но ведь недаром же так грозил пальцем Светличный, так сомневался дядя Онисим. Значит, на шахте и в самом деле страшно? Как же быть теперь?

«Я буду исполнять всё, как надо, — клялся себе Андрей. — Я всех буду слушаться. Я всё стерплю и не убегу. Кабы только духу хватило...»

И он с надеждой подумал о Викторе. Если что — Виктор выручит, поддержит! Виктор — смелый, отчаянный, геройский парень. Виктор — парень чудесный! У него и на двоих духу хватит!

— Витя, Виктор! — шёпотом позвал он.

Но тот уже давно и безмятежно спал. Если и снилась ему шахта, так весёлая, розовая, вся залитая рябым солнцем. Виктор даже улыбался и щурился во сне, будто по его лицу шаловливо бродили солнечные зайчики...

Глава 6

Только на четвёртый день комсомольцам сказали, что завтра они поедут в шахту. Андрей побледнел, Виктор обрадовался.

До сих пор их водили по поверхности: показали копёр, подъёмную машину, надшахтное здание, сортировку, скрипучую эстакаду, нарядную, ламповую, даже баню — общую и техническую.

Но Виктор на всё это смотрел равнодушно, чуть-чуть брезгливо. Ему нетерпеливо хотелось в шахту или, как он теперь говорил, — под землю.

— Под землёй будем работать! — хвалился он Андрею. — Чувствуешь? Под землёй! — Для него это теперь звучало так же, как «под

водой» или «в облаках». Он считал шахтёров людьми особенной профессии, как лётчиков, водолазов или пожарных.

— Тут под землёй тоже — стихия! — восклицал он. — Тут только рискованные люди могут работать!

И он с восторгом глядел на шахтёров.

Они подымались на-гора, как черти из преисподней: мокрые, чёрные. Они шли по посёлку той особой, развалистой, лениво-небрежной походкой, какой всегда идёт домой независимый мастеровой человек, всласть поработавший и понимающий своё законное право на отдых, на суетливое внимание жены, на миску жирного борща и добрую стойку водки.

Некоторые из них несли на плече, на топоре полено; это тоже было стародавнее право шахтёра. Одна стойка из крепёжного леса принадлежала ему: чтобы согреть воду дома и помыться. Уже давно была на шахте отличная баня, а право осталось. Впрочем, иные и сейчас любят помыться дома.

Они шли по посёлку, нисколько не стесняясь того, что грязные и чумазы, а даже гордясь этим. Это уголь — а не грязь — лежал на их лицах, благородный уголь, самое чистое, что есть на свете: шахтёр даже раны заживляет углём. В этом угле они рубились весь день, дышали им, жили им, давали на-гора — всё для вас, люди на поверхности, чтобы вам теплее жилось на холодной, неудобной земле.

От вечного ползания и ёзания по углю шахтёрская спецовка быстро превращалась в лохмотья, но то были самые живописные лохмотья в мире. Жирная, мягкая, бархатистая угольная пыль лежала на них. И шахтёр нес эти лохмотья так, словно то был чёрный бархат. Так казалось Виктору, когда он с восхищением глядел на этих чумазных людей.

— Ты смотри на них, смотри! — шептал он Андрею. — На глаза смотри! Ишь, блестят! В шахте, брат, не всякий может работать. В шахте можно только храбром.

И действительно, оттого, что на чёрном лице белели только оскаленные зубы да белки глаз, казалось, что все шахтёры глядят дерзко, отважно, озорно; даже девчата.

— Рисковые люди! — восхищался Виктор. — Каждый день со смертью в жмурки играют!

Всё зависит от того, какими глазами глядеть; Андрей смотрел на тех же шахтёров, что Виктор, и видел: просто идут с работы хорошие, усталые люди, им поест хочется, посидеть в палисаднике под акацией, покурить в холодке... Они чем-то очень были похожи на андюшиного отца.

Вечером в общежитии только и было разговоров, что о завтрашнем спуске в шахту. Принесли и роздали ребятам новенькие брезентовые шахтёрки, чуни, портянки... Дядя Онисим был уже тут! Объяснял назначение каждой вещи, давал советы, рассказывал всякие истории. Он помолодел с комсомольцами, ожил; в его рассказах причудливо смешивалось полезное с фантастическим.

— Главное, в шахте голову береги, ребята! — поучал он. — Не держи голову-то высоко, как раз лоб об верхняк расколешь. Шахта любит, чтобы ей кланялись, кормилице... — он иначе и не называл её, как матушкой да кормилицей; для него шахта была живым существом; это она любит, а того не любит. — А чтоб курить, и ни-ни! И спички дома забудь. Она этого баловства не терпит. Наша «Крутая Мария» — шахта сурьёзная, газовая...

— А что, взрывы часто бывают? — жадно спросил Виктор.

— Да нет, бог милует! Иногда где выпалит, да это так... — старик засмеялся. — Это Шубин пугает...

— Шубин? Это кто ж Шубин?..

— Шубин? — засмеялся комендант. — Как тебе сказать?.. Брехня, конечно. Старики выдумали. Будто бродит по шахтам такое существо, Шубин называется, шахтёров пугает... В дальних выработках он проживает или в брошенных... Ну, кому встретится — тому, значит, скоро амба: завалит!

— Это что ж, бог такой шахтёрский, что ли?

— Разное про него болтали... — уклончиво ответил старик. — Будто был шахтёр такой в стародавнее время, по фамилии Шубин. Ну, и будто хозяин-то шахты и невзлюбил его за характер. Больно смелый шахтёр был, характерный. Ну и стал его хозяин утеснять. И так утесняет, и этак. Ну, проще сказать, — эксплуатирует человека, и всё! А хозяин-то был немец. Тут прежде все хозяева немцы были, бельгийцы або французы... Иностраннный капитал. Ну, и так этот немец нашего Шубина прижал, что совсем шахтёр с круга сошёл: запил. И в куражном виде раз имел с хозяином такой разговор: «Ты, говорит, по какому праву нашу кровь шахтёрскую пьёшь?» А тот кричит: «Я — хозяин! Я что хочу, то и делаю!» «Ах, хозяин? — говорит Шубин. — Ну, так я тебе покажу, кто тут на самом-то деле хозяин!» И исчез он тут. Кто говорит — сам помер, а кто — будто полез пьяный в шахту и взрыв сделал. Всею шахту взорвал. И себя. Ну только вскорости объявился Шубин: там его видели, там... И где появится — сразу там взрывы, завалы, выбухи, наводнения... Это, — дядя Онисим значительно поднял палец перед собой, — это Шубин показывал, кто тут на самом-то деле хозяин! — он засмеялся и от удовольствия даже головой покрутил.

— Ну, а теперь что же, бродит Шубин по шахтам? — шёпотом спросил Виктор: он уже в Шубина верил.

— Теперь? — дядя Онисим хитро прищурился и подмигнул. — Ну, а как в семнадцатом хозяев-то прогнали, так и Шубин исчез. Значит, кончил свою упряжку. С тех пор и не видали.

— Вот черти! — засмеялся Мальченко. — У людей мифы как мифы: лешие, водяные, духи леса, воды, огня. А у них — пьяный шахтёр!

— Нет, тут не пьяный шахтёр, — сказал Светличный: он всю историю внимательно выслушал. — Ну, а ты, дядя, сам-то веришь в Шубина?

— Я? От спросил! — обиделся комендант. — Я и в бога-то не сильно верю, не то что в Шубина. Я не серый...

— А с Шубиным тебе-то самому встречаться не доводилось? — не смутившись продолжал Светличный.

— И опять-таки глупый разговор! — рассвирепел старик. — Так как же я мог его встретить, как я и сейчас живой? Кто встретит — тому, значит, скоро амба! Конец!

— Ну вот, — усмехнулся Светличный, — а говоришь — не веришь...

Все расхохотались, поняв манёвр Светличного.

Дядя Онисим молча встал и, ни на кого не глядя, пошёл из комнаты.

— Обиделся!.. — прошептал Виктор и вдруг, горячо сорвавшись с места, побежал за стариком.

В этот вечер долго не ложились спать. Братченко опять принёс из степи праву, молча разбросал по полу и лёг на свою койку. Ничком.

«Значит, и он боится шахты!» — догадался Андрей. Хотел подойти к нему, заговорить, утешить — и передумал: у самого на сердце непокойно.

Песен в этот вечер не играли. Виктор притащил всё-таки дядю Они сима обратно. Светличный извинился перед ним при всех.

— Я не сердчаю! — важно сказал комендант и через минуту уже рассказывал свои истории. Но Андрей не слушал. Лежал на койке и думал: «Значит, завтра!»

Утром комсомольцы сразу же оделись в шахтёрки и чуни и стали непохожими на себя. Шахтёрки были новенькие, не одёванные ни разу; от них ещё пахло сыростью склада. В них было неудобно и неуютно, словно сшиты они были не из брезента, а из древесной коры. Только Виктор говорил, что ему в шахтёрке — и хорошо, и ладно; с ещё большей радостью он влез бы в скафандр. Кепку он сразу же надел козырьком назад — подсмотрел у лесогонов; его и без того дерзкое, разбойное лицо стало совсем озорным.

За ребятами пришёл десятник-старик. Посмотрел, почему-то вздохнул и махнул рукой:

— Ну, пошли!

Они потянулись за ним, как цыплята за наседкой, через весь рудник. «Теперь этой дорогой будем каждое утро ходить! — подумал Андрей. — Теперь это — наша дорога...» Ему казалось, что все на них смотрят насмешливо.

— Ишь, чистенькие какие, хорошенькие! — сказала им вслед баба у «фонтана».

Десятник привёл ребят в ламповую. Гуськом, один за другим, подошли к окошку комсомольцы, называли своё имя и получали лампу. Лампочки уже были заправлены и горели. Днём, на солнце, их свет казался жалким, робким и ненужным. «Ну что такая коптилочка может?» — со страхом подумал Андрей.

— Все получили лампы? — спросил десятник. Он был озабочен и неразговорчив, не то что дядя Онисим.

— Вы, глядите! — строго сказал он. — В шахте от меня не отставать! Ещё потеряетесь, бог вас знает!.. — он сурово посмотрел на всех и сказал: — Ну, пошли!

Они пошли за ним через весь двор; потом стали подыматься куда-то вверх по крытой галлерее. Здесь было полутемно. На оконных стёклах толстым слоем лежала угольная пыль. Угольная пыль была и на стенах, и на полу, и уже — и на лицах ребят; Андрей почувствовал её даже на зубах.

У ствола им пришлось подождать немного: клеть была внизу, в шахте. Здесь, в надшахтном здании, возилось несколько девчат-откатчиц. Они с любопытством и без стеснения рассматривали новичков и пересмеивались на их счёт между собою. Шахтёрские девчата — девчата смелые, разбитные, особенно когда их несколько. Виктор подмигнул им, они засмеялись.

Подошла клеть. С силой лязгнуло железо, так что Андрей даже вздрогнул. Рукоятчица, здоровая рябая баба, вытолкнула из клетки вагонетку с углем. На ней мелом, крупно было написано: «Привет, Нюра!»

— Эй, Нюрка! — закричала рукоятчица. — Получай письмецо! Зажалное! — и толкнула вагончик. Он дрожа покатился по рельсам.

Откатчицы захохотали, а одна из них, вероятно Нюрка, — смутившись, приняла вагонетку.

— Да ну его, надоел! — сказала она и, тряхнув головой, покатила вагончик дальше, на сортировку.

Десятник подошёл к рукоятчице.

— Ты вот что, — озабоченно сказал он, — ты дай сигнал: осторожнее. Видишь, — метнул он лампочкой в сторону ребят, — кого везу.

— А что им сделается? — засмеялась рукоятчица. — Ишь, они какие! Их с ветерком надо. Вы, ребята, неженатые?

Но всё-таки дала сигнал, какой требовал десятник: четыре удара о железо — осторожнее, гости!

Эти четыре удара прозвучали в ушах Андрея, как погребальный звон. Побелел не он один, совсем белым стал Братченко. И заметив это, одна откатчица рассмеялась и лукаво запела:

Шахтёр в шахту опустился-и-и
С белым светом распростился-и-и...

— Ну, ты! — погрозил ей десятник лампочкой. — Входи, ребята!

Они вошли в клеть, как входят в холодную воду.

— Плотней, плотнее! — командовал десятник. Наконец, он и сам вошёл. — С богом! — Клеть дёрнулась и полетела вниз. Сразу стало сыро. Откуда-то побежала вода. Андрей почувствовал тонкую струйку за шиворотом, скользкую и проворную, как змейка. «В шахте всегда дождь», — вспомнил он.

Клеть быстро падала куда-то во тьму.

— Ой, страшно! — озоруя взвизгнул Виктор. — Ой, ужас! — Все невольно улыбнулись, даже Андрей. — Путешествие в центр земли, сочинение Жюль Верна...

— Сорок лет так путешествую, — вдруг сказал десятник. — Ничего, привыкнете!

— Я уже привык! — сразу же отозвался Виктор.

А клеть всё падала и падала; казалось, этому конца не будет. И куда-то далеко-далеко уплывало от Андрея всё, чем жил он до сей минуты: и тихие Чибиряки, золотые тыквы на крышах, и детство, и отец на корточках подле грядок, будто этого и не было никогда. И не будет, нет, теперь уж никогда не будет!

Откуда-то вырвался вдруг яркий свет, клеть стукнулась и остановилась.

— Приехали!

Андрей первым выпрыгнул из клетки — и попал под ливень. Так его встретила шахта. Смущённо отряхиваясь, от отошёл от ствола; дальше было сухо.

— Ну вот, — сказал десятник с неожиданной в нём теплотой, — вот и наше подземное царство. А? — и тихо, по-стариковски засмеялся. Он был сейчас совсем иной, чем на поверхности. Тут он был — дома. Ему хотелось, чтоб и озорникам тут понравилось.

Он сказал почти заискивающе:

— Шахта у нас красавица, хоть и старушка. Ровесница моя!

Андрей ещё раньше заметил, что старики всегда говорят о своей шахте ласково. Любовь ли тут или суеверие, только они никогда её не ругают, хоть не мало у каждого и ссадин, и рубцов от кормилицы. Вот и вчера вздыхал дядя Онисим: «Ох, и иссушила ж она меня, матушка, все соки выпила, голубонька!» Ребята знали уже, что дядю Онисима «выдвинули» оттого, что в шахте ему больше работать нельзя. У него острый антракоз — горняцкая болезнь. «У меня в каждом лёгком по вагонетке угля!» — грустно хвастался он и тосковал по шахте.

Итак, вот она — шахта, о которой столько думалось все эти дни и ночи! Андрей огляделся. На рудничном дворе было шумно, оживлённо, светло. У ствола, прямо под ливнем, работала молоденькая стволочная.

В своём резиновом плаще и в большой чёрной блестящей от воды шляпе она казалась похожей на моряка в шторм: мокрые плиты под ней были её палубой. Девка была красивая и проворная; не один Андрей засмотрелся на неё.

Откуда-то из тьмы шахты с дребезгом и грохотом вынеслась «партия». Чубатый коногон лихо свистнул и соскочил с вагончика.

— Эй, Люба! — весело крикнул он. — Прымай партию, крошка моя!

— Ну, как там на Дальнем Западе? — спросил десятник.

— Плохо! Стоит лава, не качает.

— От сукины сыны! — выругался десятник. — Порожняка, что ли, нет?

Андрей тихонько подошёл к лошади. Она стояла, понуриив голову, и, видно, уже дремала, чуть похрапывала. Он осторожно потрепал её гриву. Ему вдруг захотелось припасть к её шее и спросить тихонько, в самое ухо: «Ну, как тебе живётся тут? Не обижают? А я, понимаешь, мобилизованный»... Он опять ласково потрепал рукой по её шее. Она подняла к нему морду и взглянула добрыми, умными и кроткими глазами. Лошадь была зрячая.

И сразу все ночные и дневные страхи его разлетелись, развеялись, будто всё в том-то и заключалось, что лошадь — зрячая. Он засмеялся и уже другими глазами взглянул на окружающий его мир. Действительно, подземное царство! Низкие, пещерные своды, огни, люди в балахонах с капюшонами, похожие на гномов, — всё фантастично и красиво. Да, красиво! — удивился он сам.

— Ну, пошли! — сказал, наконец, десятник. — Только от меня, чур, не отставать!

И он пошёл вперёд лёгкой походкой горняка, неслышно ступая на носки, чуть ссутулясь и втянув голову в плечи. А за ним, спотыкаясь и путаясь, как слепые беспомощные кутята, потянулись все. Они ещё и лампочек-то держать в руках не умели; свет падал куда-то назад, а не вперёд.

Потом они привыкли к темноте и стали различать предметы. Увидели колею, канавку, в которой тихо журчала подземная вода, стены из брёвен, бревенчатый потолок...

Они шли квершлагом. И то, что показалось им потолком и стенами, было только крепью, делом рук дяди Онисима или его товарищей. И случись старина тут, он уж объяснил бы ребятам, что крепили тут, как обычно, неполным дверным ркладом: вот этот верхний столб потолка — «верхняк» или «матка», эти боковые — «стойки», а был бы ещё нижний столб, уж он был бы «лежан» или «порог», и тогда дверной оклад был бы полный. А стойки ставили тут трапецией: видишь — внизу шире, а кверху — уже; и замок делали прочно, в лапу; и на этой-то крепи всё держится, вся земная толща, и кабы не было дяди Онисима, всё б тут к чёрту рухнуло и завалилось...

Но Виктор и не стал бы слушать его сейчас. Он шёл по шахте как очарованный. И его пылкому воображению представлялось уже, что попал он в подземный дворец или в старинный рыцарский замок. Колоннады, колоннады, колоннады вокруг и длинный строй парадно распахнутых настежь дверей. А он идёт этой амфиладой, Шахтёр Виктор Первый, и под светом его лампочки расступаются перед ним арки и неслышно, незримо, как в сказке, всё распахиваются и распахиваются двери...

— Грибами пахнет... — вдруг раздался рядом голос Андрея.

Виктор очнулся.

— Что?

— Грибами пахнет... — удивлённо повторил Андрей.

— Это плесенью пахнет, — отозвался из темноты, как всегда резкий, голос Светличного.

— Нет, грибами! — упрямо повторил Андрей.

Как и Виктор, как, вероятно, и все ребята, внезапно притихшие в шахте, Андрей чувствовал, что из реального мира, в котором он до сих пор жил, он попал сейчас в мир сказки.

Ему казалось, что вокруг них — лес. Не обыкновенный лес, не такой, что синее за Пслем, а лес волшебный; смутно припоминалось Андрею, что уж он когда-то, давным-давно, слышал о нём. В детстве, что ли? От бабушки?

В этом подземном лесу нет на деревьях ни ветвей, ни листьев, ни шуршания папоротников под ногами, ни шорохов травы, ни птиц. Не шелхнутся здесь голые стволы, нет на них ни гнёзд, ни даже коры.

Это — уснувший, окаменевший, заколдованный лес. И течёт в нём подземная Река Жизни; кто искупается в ней — будет жить вечно.

Чем они были при жизни, эти голые стволы? Деревом, человеком, великаном? В этом очарованном лесу всё необычно. Здесь бродить интересно и чуть-чуть страшно...

— Эй, голову береги! — закричал впереди десятник.

Андрей во-время втянул голову в плечи: перед ним висела переломленная балка. Она болталась, как перебитая рука великана, а за ней дальше ещё и ещё свисали сломанные брёвна, словно была здесь недавно битва, словно могучий бурелом прошёлся тут по лесу.

— Это отчего же? — спросил из тьмы чей-то испуганный голос; Андрею показалось — голос Братченко.

— Жмёт! — коротко объяснил десятник. — Давит!

И все сразу поняли, что «жмёт», — и притихли.

«Жмёт» земля (шахтёр сказал бы: порода)! Жмёт сверху, давит с боков; Андрей заметил, что кое-где и боковые стойки выдавились из общего строя крепи, припали, как раненые, на одно колено. А за ними — грозно и тускло уже поблёскивала пустая порода...

И Андрею вдруг ясно представилось положение, в котором они очутились. Они были глубоко-глубоко под землёй. Маленькая горсточка беспомощных ребятшек да хиленький старичок с ними. Они шли по пустынному ходу, людьми же прорубленному прямо в земной толще. Ничего вокруг нет, кроме таких же ходков — просек. А над ними нависла вся огромная масса разбухенной и рассерженной земли. Маленький человек бесцеремонно вполз сюда, в это подземное царство, нарушил вековой покой этих могучих пластов, вмешался в плавное течение этих каменных рек — да что им стоит раздавить его, как козявку? Разве сдержат эти жалкие сосновые стойки их могучий напор? И Андрею стало немного жутковато...

Десятник вдруг остановился и обернулся к комсомольцам.

— А вы, часом, не устали, ребята? — благодушно спросил он.

Новички сразу же сбились вокруг него, как вокруг пастуха стадо.

— Немного есть... — сознался Светличный.

— А тогда и отдохнуть можно! — сказал старик и первый присел — по-забойщицки, на корточки. Ребята просто повалились наземь. Земля была сырая, влажная...

— Да, ремонтировать, ремонтировать этот ходок надо! — кряхтя сказал десятник и постучал лампочкой о стойку; посыпалась жёлтая труха. — Вот и сосна, а — слаба! Не выдерживают они здешнего климата: гниют. А ведь они, — сказал он, рассматривая крепь, — и поставлены недавно. — Он опять постучал по стойкам, как настройщик по клави-

шам: звук был больной, глухой, и обернулся к ребятам. — А я, — вдруг сказал он, хитро шурясь, — я вот сорок лет в шахте, а ничего. Живу! — и он даже хлопнул себя по коленкам.

— И не гниёте? — смеясь подхватил Виктор.

— И не гнию! — радостно взвизгнул старик.

Все засмеялись, Андрей тоже.

— Человек — не сосна! — смеясь сказал десятник. — Человек, он всё может, на то он и человек! Вы только по-первах носе не вешайте, ребятки, советую я вам. По-первах всё трудно, даже водку пить.

«Человек всё может! Ой, как же это хорошо, как верно сказано! — обрадовался Андрей. — Человек, он всюду пройдёт, и ничего-то ему не страшно. А как же я? — вдруг растерянно подумал он и вспомнил все свои страхи. — И что я за человек такой, всего-то боюсь?..» — рассердился он сам на себя.

Они шли уже долго, очень долго, всё какими-то ходками, штреками, просеками, и казалось, конца не будет их путешествию в центр земли. Было пустынно вокруг них, люди встречались редко, блеснёт где-то в стороне одинокий жёлтый волчий глазок лампочки и исчезнет. Это — ремонтный рабочий возится у путей или сидит, скучая, у вентиляционной двери девушка. Ребята пройдут мимо неё с шумом, похожим на выстрел пушки, хлопнут двери — и опять пустыня и тишина...

Комсомольцы не видели ещё ни одного человека, работающего в угле, да и угля ещё не видели: только матовый купол кровли над головой да сосновые стойки вокруг, словно и впрямь брели они не по шахте, а по лесу.

Стояла здесь какая-то особенная тишина, такой и в лесу нет: ни шорохов, ни ветерка. Только тихонько и сухо потрескивают сосновые стойки да где-то шепчется вода...

Эта тишина была приятна Андрею; в ней хорошо думалось. Он всегда любил тишину, а Виктору эта тишина была непереносна. Ему уж прискучил парад распахнутых дверей. Ему хотелось поскорей бы добраться туда, где битва; где рубятся в угле шахтёры, взрывают динамитом пласты, стоят лицом к лицу со смертью...

Он недовольно спросил:

— А что, доберёмся ли мы когда-нибудь до тех мест, где уголь рубают?

— Доберёмся, сынок! — бодро отозвался десятник и объяснил, словно извиняясь: — Старушка, шахта-то; выработки тут дальние...

— А если выработки дальние, — сердито сказал Светличный, — так людей надо подвозить. Ведь это сколько золотого рабочего времени и сил теряет попусту шахтёр, пока доберётся до забоя.

— Что же, трамвай пустить? — ехидно спросил десятник.

Все засмеялись.

— Трамвай не трамвай, — не смутился Светличный, — а подвозить людей надо. Оттого и в прорыве вы. Вот гляжу, — с досадой сказал он, — кругом кустарщина, каменный век. Работают, как при царе Горохе. Совсем механизации не видать... — и он презрительно сплюнул.

— А-а, механизация!.. — неожиданно тоненько и зло протянул десятник. И даже остановился. Его лицо стало обиженным и маленьким, как у ребёнка. — Вот, — сказал он ни к кому не обращаясь, — вот выдумали словечко и играютя им. А машину выдумать-то не могут! Нет, ты машину выдумай! — яростно замахал он лампочкой прямо перед лицом Светличного. — Ты такую машину выдумай, чтоб сама она тут по всем ходкам да закоулкам ползала бы, сама уголь искала, сама б за кровлей следила, за газом, сама б уголь рубала, да погружала б, да давала

на-гора, — вот тогда нас, стариков, можно и помелом отселева, прочь. — Он, видно, не со Светличным спорил; он с кем-то старый спор вёл.

— Машину всякую придумать можно! — пробурчал Светличный.

— Э, нет, брат, врешь! — взвизгнул старик. — Врешь! Шахта — не завод! — с азартом воскликнул он. — Тут условия не та! Тут машина не пойдёт, врешь! Тут ударит она не туда — и завал; искру случайную даст — и взрыв газа. Нет, — зло засмеялся он, — ты нам сюда такую машину давай, чтоб у неё и осторожность была, и понятие, и уши, чтоб слышать, как крепь-то скрипит, и нос...

— А для этого человек есть — управлять машиной.

— А-а! Человек! — торжествуя хихикнул старик. — Не могёшь, значит, без человека? То-то! — он махнул лампочкой, будто взял уже верх в споре, и спокойно закончил: — Нет, это всё от лени у вас, молодёжь. Ленив больно народ стал, — он засмеялся. — Всё ему желательно, чтобы за него дядя работал или машина, а уж он бы покуривал подле неё. А в шахте этот номер не пройдёт, не-ет! Тут, брат, всё надо горбом да на коленках.

Светличный больше не возражал старику. Не потому, догадался Андрей, что ответить нечем, а просто, что слова попусту толочь? Болтовнёй дела не исправишь. Вот обживётся Светличный здесь, — думал Андрей, — приглядится, да и возьмёт всех под рёбра. Уж он такой!

Теперь, бредя по штреку, он думал о Светличном. У Андрея с детства была привычка: обо всём, что увидел он или услышал, потом думать в одиночестве, про себя. В нём всегда происходила никому не видимая внутренняя работа, словно вертелись там медленные жернова и перемалывали, перетирали впечатления дня — туго, долго, мучительно, но зато — до конца. Сейчас его удивило не то, что сказал Светличный о механизации. Поразило, что Светличный вообще так смело пошёл на спор. И о чём же? О шахте! А ведь он, как и Андрей, был в шахте впервые и видел только то, что и Андрей видел. Но Андрею казалось, что всё как в этой шахте было, так и вообще на каждой шахте должно быть, и иначе быть и не может. Значит, так уж на шахтах принято, считал он.

А Светличный и слов-то таких терпеть не мог: положено, заведено, принято; они приводили его в ярость. Он принадлежал к беспокойной породе людей-плотников; таким людям всё хочется немедленно исправить, починить, переделать. Не сломать, а именно переделать. Попади такой на луну, он и там сразу же пойдёт с топориком: а нельзя ли эти лунные кратеры починить и переделать, чтобы и тут появилась жизнь?

Люди этой породы всегда и удивляли и восхищали Андрея; он им завидовал: сам он был, увы, не такой! Но его всегда смутно тянуло к ним: в Чибиряках — к Пашенко, здесь — к Светличному.

Обычно это были люди партийные. У этих цепких ребят была счастливая способность сразу схватывать всё — и детали и суть. Они как-то сразу входили в курс дела. Они всё принимали близко к сердцу. Они всегда и везде чувствовали себя хозяевами. И хотя Андрея и пугали насуленные брови Светличного и его колючие глаза, но он всей душой уже тянулся к нему. В восемнадцать лет невозможно жить без идеала.

В одном Светличный был уж наверняка прав: шахтёров надо подвозить к рабочему месту, это Андрей теперь и сам видел. Они ещё и до забоев не дошли, а уже сил нету. Мучительно ныло всё тело, особенно спина; уже давно ребята шли согнувшись, сложившись вдвое, как перочинные ножички, — кровля нависала совсем низко. Стало труднее дышать, да и нечем — горько-кислый воздух только больно царапал глот-

ку, его хотелось скорее выплюнуть прочь, а другого не было (Андрей не знал, что идут они сейчас вентиляционным штреком, по которому уходит из шахты струя отработанного воздуха). Больно колотилось сердце — это впервые в жизни Андрей услышал его.

А по лицу не катился, а полз тяжёлый, липкий и грязный пот, застилал глаза, капал в рот — солёный, и Андрей то и дело вытирал его рукавом колючей брезентовой шахтёрки.

«Только бы не упасть, не отстать, стыдно! — думал он на ходу. — Далеко ли ещё? Ой, не дойду!»

«В шахте, милоч, всему надо учиться сызнова, как ребёнку, даже ходить!» — вспомнил он слова дяди Онисима. — Ой, научусь ли я? Привыкну ли? И опять зацарапали душу сомнения и страхи: да когда же он избавится от них?

— Вот и пришли! — раздался где-то далеко впереди голос десятника.

Действительно, где-то там, во тьме, уже были видны огни. Ещё несколько шагов — и Андрей тоже вошёл в широкий, просторный штрек.

Ну, вот! Здесь были люди, кони, движение, жизнь. И высокая кровля над головой — можно разогнуться. И свежий воздух. Андрей жадно сделал несколько нетерпеливых глотков и чуть не захмелел: какой же это вкусный, сладкий, пьяный воздух, такого и в степи нет!

— Вот и Дальний Запад, ребята! — почти торжественно объявил десятник.

На его сухоньком лице не было ни росинки пота. Он, видно, и не устал ничуть.

— Мы сейчас в лаву полезем? — спросил Виктор.

— Полезем, благословясь, — благодушно сказал десятник. — Вам сегодня всё посмотреть предусмотрено. А уж завтра — и в упряжку. Пора! Пятый день уж рудничный хлеб кушаете...

— Мы свой хлеб отработаем! — обиженно сказал Виктор.

— А я не с погрёком, я к слову... — объяснил десятник. — Ну-с, все налицо? — спросил он, окидывая взглядом горсточку новичков. — Никто не отстал? Добре! Теперь мы, благословясь, в лаву полезем, ребята. Лава — это место, где добывается ископаемое, то есть уголь. Стоит из линии забоев. В этой лаве, куда мы полезем, забоев — десять. Пласт, как вам уж объясняли, небось, — круто падающий. Забой расположен уступами. Ну, да вы всё это на практике увидите, в лаве. Мы-то её промееж себя полем зовём, — усмехнулся он. — Да-а... Полем, полюшком. Чай, и мы не под землёй-то родились! — сказал он с каким-то вызовом. — Живали и мы на земле. В крестьянстве. Вот и — полюшко. Хоть и не пашем мы, а всё-таки... память. Как в песне поётся:

Шахтёр пашенки не пашет,
Косы в руки не берёт.
Чуть настанет воскресенье..

— Он к шинкарочке идёт!.. Знаем мы эту песню! — фыркнул Светличный.

— А что ж? — обиделся старик. — Из песни слов не выкинешь...

— Слова что! А шинкарочку выкинуть надо бы!..

Все засмеялись.

— Да уж выкинули, выкинули! — засмеялся и десятник. — Теперь непьющие мы, новобитные. В новом быте живём, горло квасом полощем. Ну, смешки в сторону, полезли, что ли?

— Да куда лезть-то? — воскликнул Мальченко.

— А сюда! — кратко объяснил десятник, показывая на какую-то щель в породе. Затем он прищёпил лампочку крючком к куртке, чтобы руки были свободны (все ребята машинально сделали то же), стал на четвереньки и, крикнув: — Ну, с богом! — первым нырнул в дыру. Все поползли за ним.

Глава 7

«Вот оно где начинается, шахта-то!» — догадался Андрей. Он полз во тьме, ничего не видя, не понимая, извиваясь всем телом, как червяк, и больно стучаясь то коленками о какие-то стойки, то головой о совсем низкую кровлю. А впереди и сзади него, так же стучаясь, пыхтя и сопя, ползли все. И Андрей невольно подумал, что вот так же, как они в пласт, вползает, вероятно, и червяк в древесину дуба, через выточенный им же самим и для себя «ходок», еле заметный человеку. Думает ли при этом червяк, что это он покорило дерево, что он — царь природы?

«Да нет, червяк ничего не думает! А человек — не червяк. Человек — всё может!» — «А ползём, как черви». — «Ну и пусть! Это оттого, что тут механизации настоящей нет. Вот возьмётся за них Светличный!» — «Да какая ж машина сюда сможет вползти? Тут и человеку-то тесно!» — «Машину всякую можно придумать». — «Да кто ж придумает? Небось, пытались уже». — «А может, это я, я придумаю!» — вдруг в запале сказал себе он и сам поразился этой мысли.

Он даже остановился на секунду, перестал ползти. Ах, как бы это было славно, как хорошо, кабы именно он придумал эту машину! Только бы придумать, а уж люди подхватят, сделают, да и Светличный поможет... Эта мысль восхитила его; и ползти даже легче стало; будто и щель раздвинулась, и кровля стала выше, обернулась небом.

Но тотчас же и вечный червячок пробудился в нём.

«Да где ж тебе придумать? Ты и не инженер вовсе!» — с сомнением пискнул червяк. — «Ну, и что ж! Инженером можно стать», — возразил в нём человек. — «Так для этого ж учиться надо много, где тебе!» — точил червяк. — «И буду! И буду! И буду учиться!»

Буду! — он с яростью полз теперь во тьме. Нет, он не убежит отсюда! Он останется. Он всё в шахте узнает. Его не испугаешь, нет!

А потом он поедет учиться... Он человек, а не червяк.

Это опять была великая минута в жизни Андрея, а он её опять не заметил. Он подумал только: «Надо сегодня же всё Виктору рассказать. У Виктора голова-то посильнее моей. Вместе план составим, как нам жить и учиться». Парень тысяча девятьсот тридцатого года, он понимал, что без плана — нельзя.

А Виктор полз где-то далеко впереди. Даже не полз, а плыл, как плывёт опытный пловец в новой, не знакомой ещё речке. И всё было интересно ему; чем ниже кровля — тем и лучше; чем опаснее — тем и веселее. «Вот рассказать в Чибиряках, как тут уголь добывают, — ахнут!» — с восторгом думал он. Вот он завтра сам пойдёт уголь рубать, уж он всем покажет! Размахнётся обушком — улица; повернётся — переулочек. Он парень сильный, ловкий; он и сейчас лучше всех ползёт; и устал он в шахте меньше всех. Он себя покажет!

Его удивляло только, что и тут, в лаве, нет людей.

— Это что, — громко спросил он, — мы лавой уж ползём?

— Нет, — отозвался где-то рядом десятник. — Это — печка. А вот сейчас и лава. Давай сюда!

Виктор быстро подполз к нему, и они оба стали махать лампочками, собирая ребят. Наконец, все собрались, сопя и тяжело дыша.

— Сюда давай! — тотчас же скомандовал десятник и опять пополз куда-то в сторону. Скоро оттуда донёсся его бойкий стариковский голосок. — Вот и лава!

Он подождал, пока все подползут к нему.

— Все тут? — торжественно спросил он. — Ну, смотрите, — вот и полюшко наше, шахтёрское наше раздолье... — и он высоко поднял лампочку. Виктор сделал то же, а за ними и все.

И ребята увидели уголь.

Свет лампочек дробился и дрожал на нём, на его блестящей поверхности, как на воде, и казалось — это река течёт, медленная, чёрная, блестящая, играет под светом весёлыми струйками, а потом вдруг круто падает куда-то вниз, куда и заглянуть страшно.

— Мощный пласт, хороший... — любовно сказал десятник и, отодрав угольную крошку, медленно и со смаком растёр её между пальцами; так и мужик свою землю ласкает. — Жирный пласт. Называется — Аршинка. Значит, в нём — аршин, от почвы до кровли...

«В этом аршине и работают люди!» — подумал Андрей и заглянул вниз. — Он увидел ровный ряд круглых столбиков, подпирающих кровлю; и в каждом столбике тоже аршин! Дальше всё терялось во мгле, свет лампочек туда не достигал. Где-то справа настойчиво и размеренно поклёвывал обушок, долбил уголь. «Как дятел!» — подумал Андрей.

Итак, вот что такое лава, шахтёрское раздольишко: длинная щель, где, скорчившись в своих уступах, рубают забойщики уголь, бесконечный ряд стоек, подпирающих кровлю, река угля, медленно сползающая вниз; и от земли до неба — один аршин.

«Значит, тут и мы будем теперь работать! — подумал Андрей. — Что ж, ничего, можно работать и здесь». Теперь, когда забрезжил перед ним ещё смутный, но заманчивый свет далёкой Мечты, — ему уж ничто не казалось страшным!

— Значит так, ребятки! — сказал десятник. — Сейчас мы полезем лавой. Механизация тут будет такая: садись на то, на чём всегда сидишь, и ползи ногами вперёд. Да смелей ползи! Не бойсь! Не сорвёшься! Руками за стойки хватайся, а ногами нижние стойки нащупывай... Понятно? Теперь в каждом уступе буду я вас по парочке оставлять. Вы посидите, приглядывайтесь, как шахтёры работают, привыкайте... А потом, обратным ходом, я вас всех и соберу... Ясна вам картина? — он подождал немного и взмахнул лампочкой. — Ну, с богом! Псехали!

И они действительно поехали, покатались вниз, как бывало катились в детстве с ледяной горки, без салазок... Это было даже весело и немного жутко: стремительно неслись они вниз, только стойки руками перещупывали. Виктор въехал кому-то ботинками в шею, тот сердито крикнул: «Эй, осторожнее, чёрт!», но тотчас же сам и захохотал: наехал на товарища.

— Теперь вправо, вправо бери! — донёсся снизу голос десятника.

Ребята взяли вправо, на свет, и очутились в забое.

Зацепленная за обапол лампочка нехотя освещала уступ. Здесь работал молоденький и тоненький парень, кучерявый, вероятно русский или даже рыжий, сейчас это было невозможно разобрать. Он рубал уголь стоя, зацепившись как-то очень ловко, по-обезьяньи, ногами за стойки: казалось, что он висит на трапеции, как артист в цирке. Его белая майка совсем почернела от угольной пыли и пота. Он работал красиво, это даже ребятам было видно; его гибкое, тонкое, почти девичье тело двигалось ловко, порывисто, умно — мускулы так и играли!

— Футболист! — с ласковой усмешкой сказал десятник, сам заглядевшийся на красивую работу. — Здорово, Митя! Бог в помощь!

— Спасибо, Афанасий Петрович! — отозвался Митя, не прекращая работы. — Только я и без бога могу. А вот без порожняка никак невозможно...

— А что, нет порожняка?

— Да-али... А всё утро стояли, хоть плачь!

— Д-да... дела-а! — сочувственно вздохнул десятник. — А я тебе, Митя, гостей привёл. Тоже — ваш брат, комсомолы...

Митя с любопытством посмотрел на ребят и перестал работать.

— Ну, здравствуйте, товарищи! — сказал он гостеприимно, как добрый хозяин. — Милости просим! Ну, как вам тут?

— Я тебе двоих оставлю, — сказал десятник. — Ты им покажи, как и что. Эй, кто хочет?

Вызвался Братченко, он совсем уже обессилел; на него было жалко смотреть. С ним вместе остался и Мальченко.

— Ты подожди, Митя, рубать-то, пока мы пролезем, — попросил десятник. — Я тебе тогда снизу крикну. Ну, поехали.

И ребята опять покатались вниз, до следующего уступа.

Андрей и Виктор остались в третьем уступе — почти в самом конце лавы (счёт шёл снизу вверх). Здесь работал пожилой забойщик с рыц-лым, почти бабьим лицом, на котором редкими кустиками неохотно росли волосы. Он сидел грузно, неуклюже, не по-шахтёрски растопырив ноги, и, кряхтя, отдирал обушком уголь от кровли. На ребят он сначала не обратил никакого внимания.

Только когда десятник ушёл, попросив его, как и Митю, не рубать, пока не проползут, — он, зевая, огложил обушок в сторону и спросил неожиданно тонким для такого грузного мужика и чуть гнусавым голосом:

— Вы откуда же взялись, ребята? А?

— А мы комсомольцы. По мобилизации, — охотно ответил Виктор. У него уже была наготове целая тысяча вопросов к забойщику; хотелось тут же и позволения попросить самому рубануть разок-другой обушком.

— И что это вам дома не сидится-то? — лениво спросил забойщик. — Что дома худо, что ль?

— Нет, отчего ж? — недоуменно отозвался Виктор.

— Хозяйство-то хоть хорошее у вас? Коровёнка есть?

— Да мы не деревенские. Мы из города.

— А? — он тупо посмотрел на них. — А зачем же из города-то?

— Комсомольцы мы...

— А-а! — прогундосил он. — Не своей, значит, волею. Это бывает, — он опять зевнул. Потом потянулся всем телом, крякнул и лёг на спину.

У Виктора сразу пропала охота задавать ему вопросы. Скучая, смотрели мальчики на забойщика: он одет был, как и все шахтёры, — в спецовку, только на голове у него была круглая, тёплая и потёртая барашковая шапка — такие татары носят.

— Э-эй, Свиридов, давай, можно! — донёсся снизу сигнал десятника.

Но Свиридов не шелохнулся. Он продолжал лежать и тупо, не мигая, смотрел на кровлю; так чабаны в степи лежат на солнцепёке и глядят в небо. Вдруг он беззвучно рассмеялся. Ребята удивлённо посмотрели на него: его дряблое бабье лицо прыгало и дрожало, как студень: вот оно сейчас и совсем потечёт...

— А то и такие чудачки есть, — сквозь смех еле выдавил он, — которые сюда за длинным рублём едут. Ай, чудачки, вот уж, чудачки-то! — и он опять подавился смехом.

«Так вот он о чём думал, глядя в кровлю!» — усмехнулся Андрей.

— Вот он, длинный-то рубль... — тыча пальцем в пласт, взвизгнул

Свиридов. — Он дли-инный, да поди-ка, утяни его, ах, чудак! — Он вдруг перестал смеяться и взялся за обушок. — Вы кто? — спросил он. — Комсомольцы? То-то мне! — он строго погрозил им обушком и ударил в пласт.

Ребята стали молча следить за его работой. Свиридов рубал уголь не как Митя; в его работе не было ни артистичности, ни красоты; он кряхтел, то и дело поплёвывал на руки, искоса поглядывая на ребят, рубал с насадой. И уголь у него не отваливался крупными глыбами, как у Мити, а крошился, тёк жидкой струйкой.

Вдруг он остановился и прислушался к чему-то.

— Тсс! — сказал он шёпотом. — Слышите? — На его лице изобразилась тревога. — Слышите? — спросил он, глядя на мальчиков как-то странно, боком.

— Не-ет... — нерешительно протянули ребята.

— А вы ухом слушайте! Трещит?

Они прислушались: действительно, что-то тихонько и сухо потрескивало вокруг.

— Это — лава играет... — сказал Свиридов и опять боком, искоса посмотрел на ребят. — Ой, беда, ребята. Беда!

— А что? — шёпотом спросил Виктор. — Может завалить?

— Вполне свободно. — Он опять прислушался. — Вот тут трещит! — ткнул он обушком в кровлю прямо у ребят над головой. Оттуда тотчас же что-то отвалилось.

— Сыплется уже! — сказал Свиридов. — Надо лаву спасать, ребята!

— Как же её спасать? — пролепетал Виктор.

— Ты — кто? — строго спросил Свиридов. — Комсомолец? Ну, то-то! — он опять прислушался, потом сказал: — Я, ребята, сейчас за крепильщиками побегу, а вы подоприте кровлю.

— Как подпереть?

— А вот так! — Свиридов стал на четвереньки, упираясь руками о стойки, и спиной подпёр кровлю. — Сможете так?

— Мы попробуем... — неуверенно сказал Андрей.

— А не убоитесь?

— Мы с ним ничего не боимся! — хвастливо сказал Виктор. Он вдруг повеселел. — Вы идите, дядя, — засуетился он. — А за нас не бойтесь, мы и не такое можем! — и он решительно подпёр спиной кровлю.

— Ну вот, молодцы, герои! Ей-право, молодцы!.. — он посмотрел, как они, уже оба, стоят на четвереньках, подпирая корж, — а я сейчас... в момент. Нет, молодцы ж! Об этом непременно в газетах напишут! — и он торопливо пополз вниз.

Ребята остались одни. Некоторое время они молчали. Плотнее прижимались спинами к холодному и скользкому коржу. Потом Виктор прошептал:

— Слышишь?

— Да-а... — тоже шёпотом ответил Андрей.

Им показалось, что трещать стало сильнее. Теперь, когда, затаив дыхание, они чутко прислушивались к тишине, — они слышали все самые затаённые шорохи и вздохи шахты. Лава уже не играла, она пела на все лады.

Странное дело, мальчики совсем не испытывали страха. Теперь, когда стояли они лицом к лицу с настоящей опасностью, — они ничего не боялись. Они даже и не думали о себе, застыв в неуклюжих и некрасивых позах. Успеет ли Свиридов? Спасут ли лаву?

И если в Викторе ещё бродили смутные мысли о геройстве их поступка — «вся шахта узнает... а может и в газетах напишут... а если

придавит — так похоронят, как героев, с музыкой...», — то Андрей ни о чём подобном и не думал. Стоя на четвереньках, он, впервые за эти дни, почувствовал себя человеком: он не боялся, он был спокоен, он делал нужное шахте дело, он был доволен.

Только спина уже ныла и затекали ноги...

— Что-то долго он ходит! — сказал Виктор. Он нетерпеливо и неосторожно повёл спиной, и от кровли тотчас же отвалился кусок присухи.

— Осторожней, ты! — зашипел на него Андрей, и Виктор опять замер.

Бесконечно, томительно долго текло время. Не забыл ли о них Свиридов? Сам спасся, а про лаву забыл...

И вдруг они услышали шум внизу. Они прислушались: это ползли люди. Уже слышны были голоса; вот где-то во тьме блеснул огонек лампочки... Вот ещё... Вот ближе...

Первым появился в забое Свиридов. Он осветил ребят светом своей лампочки и ликующе закричал:

— Держат!

Отовсюду подползали люди...

— Держат! — опять закричал Свиридов, и долго сдерживаемый хохот вдруг, как вопль, вырвался из его груди. — Держат! Ой, смерть моя, ой, шахтёры, — задом кровлю держат!

Ему ответил яростный взрыв хохота. Казалось, от этого регота многих могучих глоток лава задрожала и закачалась; вот рухнет кровля, так бережно оберегаемая нашими мальчишками... И ребята невольно пятились, защищаясь от этого хлёткого и злого, как ливень, смеха. Они уж догадались, что их разыграли.

А к ним всё ближе и ближе подступали хохочущие люди, каждому хотелось самому разглядеть героев лавы, которые... хо-хо-хо! — задом кровлю держат. Со всех сторон окружали ребят жёлтые, волчьи глаза лампочек, словно настигала их стая волков. Лиц не было видно, — только рты, разверзшиеся в хохоте, как пасти... Стало страшно...

И вдруг чей-то сильный, властный голос перекрыл хохот и шум.

— А ну, прекратить! Прекратить, говорю я вам! — сердито крикнул он. — Барбосы вы, совести в вас нет! Вы над кем смеётесь, сукины вы сыны?!

— Да ты что, Прокопий Максимыч! — ещё трясаясь от смеха пискнул Свиридов. — Это ж новичкам — крещение, святое крещение, святая купель...

— А, так это ты, Свиридов, твоя работа? — обрушился на него Прокопий Максимыч. — Сам-то давно ль не новичок? Ишь, кулацкое отродье, и откуда только вас черти понанесли сюда! Ты погоди мне!

— Да ты что, Прокопий Максимыч, ты что, бог с тобой! — уже испуганно забормотал Свиридов.

— Тебе кусок хлеба тут дали, ты и — никшни! И залезь в нору, чтоб тебя слышно не было. А ты вот что!.. Ну, погоди! — погрозил он ему лампочкой. — А вы тоже хороши! — обратился он уже ко всем. — Обрадовались. И ты тут, Логунов? Ай-я-яй, самостоятельный вроде человек...

— Да ты погоди, ты постой, чего в самом-то деле!.. — раздались смущённые голоса. — Шутка ведь это, шутейное дело...

— Шутейное?! — подхватил Прокопий Максимыч. — А ты вот на них погляди, на новичков... Каковы им шуточки? — он подполз вдруг к ребятам; они увидели усатое, свирепое на вид лицо шахтёра; он грузно присел около них на корточки и осветил их лампочкой. — Детвора ещё! — сказал он с неожиданной в нём нежностью. — Комсомольцы?

Ребята молча кивнули в ответ.

— Ну ничего, ничего, ребята! — ласково сказал он и обернулся ко всем. — Вот вы кого обидели! Комсомольцев! А? Хорошо?

Все смущённо молчали.

— То-то! — внушительно сказал Прокопий Максимыч. — И чтоб впредь никто, а ни пальцем, ни-ни! А не то! — он гневно раздул усы. — Ну, да вы меня знаете! — он усмехнулся и опять обратился к ребятам: — Если обижать будут, вы мне скажите. Визитных карточек у нас не водится, так вы так запомните: Прокопий Лесняк. Тут все знают. Фамилия известная, шахтёрская... — он засмеялся. — А теперь, давайте, я вас в штрек сведу... Нечего вам тут больше делать! А ну, посторонись-ка, народ!

Все поспешно уступили ему дорогу, и он пополз вниз по лаве с удивительной для такого огромного и грузного тела ловкостью; ребята — за ним.

В штреке он их оставил.

— У меня ещё пол-упряжки, — объяснил он. — А вы тут посидите, в холодочке. Я десятнику-то скажу... — он похлопал Виктора по плечу и смущённо прибавил: — А на народ наш не обижайтесь, народ — ничего, хороший. Это Свиридов всё. Да и серость... В забое-то скучно, в одиночку...

Он ушёл, а они и «спасибо» ему не сказали. Они ни слова ещё не произнесли с тех пор как вернулся Свиридов. В их ушах ещё звенел хохот шахтёров...

Они не могли сейчас сидеть «в холодочке» и, не сговариваясь, молча, побрели вдоль по штреку, куда глаза глядят, шлёпая по воде... Они шли долго и молча, каждый думая про себя, но оба — об одном.

— Теперь все смеяться над нами будут! — наконец горько прошептал Виктор. — Долго теперь над нами смеяться будут.

И Андрею пришлось его утешать.

— Никто не будет смеяться, Витя, что ты! Им дядя Прокопий не даст, вот увидишь! — об обнял приятеля за плечи и стал горячо шептать. — Этот Свиридов, он, видишь, — кулак, ты ведь сам слышал. Мы ещё покажем ему, вот погоди!

Сзади них уже давно нарастал и нарастал дальний гром, он становился всё ближе и ближе, а они и не слышали. И только когда где-то уж совсем близко раздался дикий, пронзительно-резкий свист, — они обернулись и увидели: на них несётся «партия». Уже было слышно, как хрипит лошадь, как что-то кричит им коногон...

И тогда они заметались между рельсами, не зная, что делать, куда спрятаться... И вдруг побежали по штреку. Побежали что есть сил.

— Скорей, Витя, скорей! — хрипло торопил Андрюша. Но их уже настигал резкий, как свист хлыста, коногонский свист, и только тогда догадались они, что надо просто сбежать с рельсов и прижаться к стойкам. Они так и сделали, и мимо них с грохотом пронеслась «партия». Чубатый коногон невольно захохотал, увидев бледных, перепуганных насмерть ребят, судорожно прижавшихся к стене.

Его хохот ещё долго звучал под сводами шахты, наконец стих... И тогда ребята услышали смех совсем рядом, — тихий, тоненький, какой-то восторженно-радостный и оттого ещё более обидный.

Они обернулись — смеялась девушка. Они увидели её сразу. Её нельзя было не увидеть: она вся светилась. На ней было семь или восемь шахтёрских лампочек; они висели у неё на поясе, болтались в руках, одна даже была на спине.

Девочка смеялась над ребятами, она видела, как они удирали...

— Ой, как зайцы, как зайцы косые! — в восторге взвизгивала она. Ребята мрачно пошли на неё.

— Ты чего ржёшь? — хмуро спросил Виктор.

Но девчонка только пуще залилась. Лампочки затряслись на ней, как бубенцы...

— А может, тебе морду набить, чтоб ты стихла? — предложил Андрей, и оба друга грубо схватили её за руки.

Она не стала ни вырываться, ни звать на помощь, ни визжать. Она только любопытными глазёнками посмотрела на ребят: неужто побьют, посмеют? А ну, как это будет?

Виктор легонько толкнул её от себя.

— И связываться не стоит, дура-а! Смотри, в другой раз не попадайся!

Она засмеялась.

— Зайцы, зайцы косые! — запела она. Но они уж пошли прочь. Как ни странно, а хоть и не отвели они душу, не избили девчонку — одну за всех, — а им стало легче. Этот день пройдёт и забудется; им ещё жить и жить! Ну, и пусть смеются, а всё-таки они не убоялись остаться одни в лаве, когда Свиридов ушёл!

Они знали теперь, что в шахте, как и в жизни, — есть и трудности, и радости, и хорошие люди, и злые...

Глава 8

В ту же ночь с шахты убежал Братченко. Об этом узнали только утром, когда все проснулись. Койка Братченко была не смята, на подушке лежал комсомольский билет. Не было ни письма, ни записки — только комсомольский билет на подушке. Но и так всё было понятно.

Комсомольцы собрались вокруг койки. Они стояли молча, будто гут на койке лежал покойник.

«Вот и первый!» — тревожно подумал Андрей.

Светличный взял билет с подушки и медленно вслух прочёл: «Братченко, Григорий Антонович».

— Запомним! — жёстко сказал он. — Братченко, Григорий Антонович, — и вдруг с силой швырнул билет на койку. — Подлец ты, Братченко Григорий Антонович!

— Он от воздуха затосковал, — смущённо сказал Мальченко, в эти дни подружившийся с Братченко; их койки были рядом. — Всё на воздух обижался. Он на свежем воздухе вырос, в степи. А тут на шахте...

— А мы что же, в пещерах жили? — зло перебил его Светличный. — Нам, небось, тоже свежий воздух люб. А не бегаем. Нет, видно легко ему билет достался, легко и кинул. Только врёт! Ничего! — угрозил он. — Теперь ему нигде свежим воздухом не дышать! Для него теперь везде воздух отравленным будет. Иуда!

— Надо в его организацию сообщить, — предложил Глеб Васильчиков, парень из Харькова.

— В газеты надо написать, вот что! — крикнул Виктор. — Пусть все узнают!

Ребята зашумели:

— И в газеты, и в ЦК комсомола. Пусть везде сообщат, чтоб ему нигде работы не было!

— А если матери его написать: вот какой у вас, тётенька, сын подлец, а?

— Мать здесь при чём?

— А пускай воспитывает лучше! Не растит подлецов!

— Смалодушничал он, может ещё сам вернётся, — раздался чей-то неуверенный голос.

— Вернётся. Жди! — захохотал Виктор. — Такие не вертаются!

Светличный молчал. По привычке он ещё вслушивался в то, как «народ шумит», — хорошо шумит, искренно! — а думал о себе. Он не мог понять поступка Братченко: билетом не швыряются. Он не мог понять и того, как можно убежать с шахты: с поста не бегают. Да и куда? Разве от себя, от своей совести убежишь?

Но невольно подумал он, что сейчас он мог бы быть не здесь, а в Харькове. В Харькове — весело. Он уехал как раз перед пленумом. Поговаривали, что его хотят вторым секретарём горкома... Многие удивились, когда узнали, что он сам добровольно вызвался ехать на уголь.

Но его никто не удерживал, не посмел удержать: он ехал по мобилизации. Это — святое дело.

Был ли это только порыв, горячая минута? Собрание, правда, было жарким... И он, конечно, поддался настроению. Сейчас у койки Братченко он проверял себя.

Он вдруг вспомнил всех харьковских комитетчиков. Некоторые из них пришли в комитет с завода, другие — прямо со школьной скамьи; этих он всегда называл «гимназёрами». Гимназёры как-то удивительно быстро старели, становились важными и солидными. Он представил себе их здесь, в общежитии, на шахте, — и засмеялся. Нет, он поступил правильно, верно. Нельзя всё других агитировать, других посылать. Надо сначала самому хлебнуть жизни, а потом... Но что с ним будет потом, он и сам не знал. Да и рано было об этом задумываться!

Он заметил, что «народ» притих и смотрит на него; ждут, что он решит. Они уж без собрания избрали его своим вожаком. Он рассердился. Зачем ему это бремя? Он сюда не в комитет приехал, а в забой. Нет уж, увольте! Тут свои комитетчики есть.

Но он сам знал, что непременно влезет, вмешается во всё. Не может он не вмешаться, не такая натура! Да и что, в самом-то деле, прятаться он сюда приехал, что ли? Он воевать приехал. Ещё разобраться надо, отчего у них тут прорыв, отчего тут с шахты люди бегают...

Он сказал:

— Можно и в ЦК, и в газеты написать! — и сделал паузу. Потом посмотрел на всех своими колючими глазами и прибавил: — А главное, пусть каждый у себя на носу запишет. Да зарубит! Ну, кто теперь следующий? — он давно заметил, что Андрей молчит, и угкнулся прямо в него. — Ты теперь, Воронько?

— Я не убегу... — хмуро ответил Андрей.

— Кто тебя знает! — усмехнулся Светличный, но усмешка вдруг вышла у него доброй. — Вот что, ребята! — тепло сказал он. — Надо нам, наконец, подружиться...

Вошёл взволнованный Стружников, секретарь комсомольского комитета шахты. Он уже знал о происшествии.

— Как же это вы не углядели, ребята? — прямо с порога крикнул он.

— В чужую душу не влезешь! — виновато пробурчал Мальченко.

— Значит, нет у вас настоящей комсомольской дружбы! — сказал секретарь. — Друг друга не знаете...

— Организации у нас и то ещё настоящей нет... — отозвался Светличный.

— И в самом деле! — вскричал Виктор. — Как-то беспартийно мы живём.

— Организация на шахте есть, — обиженно сказал секретарь, — зачем держитесь особо? Надо вам скорее с нашим народом смешаться. Мы на вас сильно рассчитываем, — и он посмотрел на Светличного.

— Работать нам скорей надо! — закричал Виктор. — Что нас всё как экскурсию водят? Сбежишь с тоски...

— Верно! — поддержал и Светличный. — Канителится долго...

— Сегодня к вам придут и разобьют по профессиям, — пообещал Стружников. — А завтра уж и в шахту!

— Только я в забойщики! — торопливо выкрикнул Виктор. — Никуда больше не хочу.

Все зашумели вокруг секретаря, о Братченко и забыли. Его билет так и остался сиротливо лежать на подушке.

Уже уходя, Стружников забрал его с собой...

Виктор попросился в забойщики, потому что слышал, что это самая почётная профессия на шахте. Его просьбу уважили, он был парень сильный, рослый. Не желая отставать от приятеля, попросился в забойщики и Андрей. Им пообещали, что завтра же их свезут в шахту и приставят к мастерам учениками.

— Поучитесь немного обушком-то владеть, а там и сами план получите.

— А учиться долго? — спросил Андрей.

— Да оно-то долго, да теперь долго нельзя. Прорыв! — ответили ему. — Нехватает забойщиков. Нет, вам учиться долго нельзя.

— А нам и не надо долго, — засмеялся Виктор.

Назавтра они были уже на наряде. Виктор попал в ученики к Мите Закорко, кучерявому пареньку, которого они уже видели в первый раз в шахте. На свету он действительно оказался рыжим.

— Вот тебе, Митя, — ученик! — сказал начальник участка, представляя Закорко Виктора, и усмехнулся. — Тоже, видать, такой же, как и ты, артист. Поладите! — начальник участка считал себя психологом.

Андрей достался пожилому, молчаливому забойщику Антипову.

— А это — тебе ученик, Антипов! — сказал начальник участка.

— А, ну пускай... ничего... можно... — равнодушно промямлил Антипов.

— Значит, ты его поучи, как обушок держать, как зубки заправлять, как рубать уголь...

— А чего ж... можно... конечно... Ну-ну!.. — и Антипов молча пошёл из нарядной, Андрей за ним.

Так же молча пришли они в забой.

Антипов привычно, по-хозяйски стал устраиваться в уступе, готовиться к работе: повесил лампочку, положил поудобнее мешочек с зубками, проверил, на месте ли лес.

Потом сел, посмотрел на ученика и почесал в затылке. Вот что с этим предметом делать, он и не знал.

— Значит... э... — нерешительно сказал он, — это уголь... а это обушок... опять же зубки...

— Понимаю, — прошептал Андрей.

— Д-да... конечно... хитрость не велика... Ну-ну!.. Чего ж ещё тебе?.. А? — Он вопросительно посмотрел на него.

— А я не знаю... — смутился Андрей.

— Д-да... история... а мне работать надо... видишь, как оно, дело-то!..

— А вы работайте! А я погляжу.

— Во-во! — обрадовался Антипов. — А ты погляди! Я-то... языком не того... не очень... Я... уж тебе... обушком покажу...

И он стал рубать уголь, а Андрей — смотреть.

За обедом он встретился с Виктором. Виктор был недоволен.

— Что в самом-то деле! — возмутился он. — Отдали меня в ученики к мальчишке. Только фасон ломает, себя показывает, а толку — грош.

Оказывается, они сразу же переругались. У обоих характер был петушинный. «Артист» стал выхваляться, Виктор его круто обрезал.

— Так и проругались всю упряжку! — мрачно заключил Виктор. — Ну, а твой как?

— Мой — ничего! — вздохнул Андрей. Потом вспомнил, как работал Антипов, и прибавил: — Нет, мне с моим хорошо!

Он и в самом деле скоро полюбил своего учителя. Антипов оказался мужиком добрым, хоть и молчаливым. Объяснить он Андрею, действительно, ничего не умел, а работал хорошо, старательно.

И, глядя на него, Андрей уже многому научился, и прежде всего — порядку в забое.

— Это дом... дом мой... тут живу... — по-своему, косноязычно объяснял Антипов. — А там, — показывал он вверх на-гора, — там — хата... там сплю... Только!

Поведал он Андрею и свой заветный секрет — как затачивать зубки. Тут он даже воодушевился, видно это и знал хорошо, и любил.

Глядя на него, научился Андрей и крепить и теперь часто сам крепил за Антиповым: забойщик раза два проверил его крепь и больше проверять не стал.

А как рубать уголь — этого он Андрею объяснить не умел.

— Рубай... вот... Вот так рубай... ну...

Но уголь не давался Андрею. Он рубал, что было мочи; гекая, со всей силой ударял обушком по углю, будто топором по дереву, а толку не было: уголь крошился, отваливался неохотно.

Андрей приглаживался к учителю, он хотел подсмотреть, в чём же он, этот заветный секрет мастера. И уловить не мог. Антипов рубал неторопливо, казалось, вполсилы, а уголь тёк да тёк из-под обушка ровной, весёлой струйкой или вдруг отваливался большой глыбой и с грохотом падал вниз.

Однажды Андрею показалось было, что дело у него пошло. Он увлёкся, разгорячился — уголь потёк! Самозабвенно рубал он и рубал, вспотел даже и вдруг услышал над ухом резкое, отрывистое:

— Брось!

Он оглянулся. Перед ним был Прокопий Максимович.

— Брось! — брезгливо приказал он. — Чего зубок зря тупить! — и Андрей растерянно опустил обушок.

— А теперь смотри сюда! — скомандовал Прокопий Максимович и поднёс свою лампочку к пласту (к «груди забоя», — как говорят шахтёры). — Ну? Что ты тут видишь?

— Уголь... — неуверенно пробормотал Андрей.

— Уголь! — усмехнулся мастер. — А в угле что? Ну, внимательнее смотри!

Андрей всмотрелся: он увидел тонкие жилки, прожилки, трещинки в пласту, сложный рисунок морщинок, словно он смотрел на лоб старого, умного и хорошо прожившего свой век человека.

— Ну? Что видишь?

— Жилки вижу... трещинки...

— А ты гляди теперь, как эти трещинки идут. Ну? Видишь?

Андрей видел, что все трещинки идут в одном направлении; они

словно сливаются вместе и образуют тоненькую, едва заметную глазу струйку.

— Это — струя, — объяснил Прокопий Максимович. — Учёные называют: кливаж. Вот ты по кливажу-то и клюй обушком. А то что вслепую махаешься! С умом обушком-то бей, с понятием — уголь самот и посыпется. Что ж ты ему этого не объяснил? — с укоризной сказал он Антипову.

— А того... конечно... вроде говорил я... а? Да какой я... профессор! — махнул Антипов рукой.

— А по этому делу мы с тобой — профессора, других нету, — гордо сказал мастер и повернулся к Андрею. — Вот так и работай, сынок! А я тебя ещё навешу.

— Конечно... — сконфуженно промямлил Антипов, когда Прокопий Максимович ушёл, — он мужик мудрый... партийный... не мы... И — профессор!.. Это уж того... это так...

Андрей попробовал теперь рубать по кливажу. Сперва не ладилось — струя всё ускользала, терялась. Он гонялся за нею, как за ящерицей, пытаясь прищемить её хвост обушком; она юлила, хитрила, не давалась. Потом мало-по-малу он научился проследивать её и не терять, рубать стало легче. Он обрадовался. Слышит ли Виктор, как он лихо рубает уголь?

Виктор был где-то тут же, в лаве, двумя уступами выше. Но встречались они только после работы.

С Виктором было худо. По его просьбе дали ему другого учителя — шахтёра серьёзного и знающего Но и с ним Виктор не поладил. Объяснения слушал он нетерпеливо, даже почему-то обиженно, а когда сам брался за обушок, у него ничего не получалось.

— А ты по кливажу попробуй! — посоветовал Андрей. — По кливажу — легче!

Но дело было не в кливаже, всё было в характере Виктора. Уж такой у него был характер! Он умел хорошо делать только то, что любил, а любил только то, что ему легко давалось.

Так было и в школе, так было и в детстве. Он научился плавать как-то нечаянно, само собой, будто он просто в реке родился, и плавал отлично, лучше всех ребятшек. И он проводил все дни на реке, устраивал состязания, заплывы и, побеждая всех, был и счастлив, и горд. А лыжи ему сразу не дались. Он дважды осрамился при всех и тотчас же лыжи забросил.

Он привык и любил быть везде первым парнем, а если не первым — так уж тогда никаким.

Если б уголь сразу дался ему в руки, если б с первых же дней пошла по шахте слава о Викторе, как о лучшем среди новичков, — он полюбил бы и шахту, и ремесло забойщика. И уж тогда не было б на шахте парня старательнее и ревностнее его. Он горы бы своротил!

Но уголь не дался в руки, и шахта сразу опостылела Виктору. Он шёл теперь в забой, как на дыбу: опять будет сердито выговаривать ему учитель, опять будет посмеиваться десятник и коситься Светличный, вновь избранный комсорг участка; у самого Светличного, говорят, хорошо идут дела в забое.

Виктору надо было бы немедля отпроситься из забойщиков в коногону; у него и характер-то был коногонский, лихой; на всей шахте не было бы коногона отчаяннее. Но он сам не догадался, а никто не посоветовал. Да и стыдно было бы: ведь сам просился в забойщики.

И он уныло тянул лямку в забое.

Он опустил плечи, затосковал. По вечерам молча валялся на койке. От лихого Виктора не осталось и следа. Вид у него теперь был ожесточённый и жалкий.

— Эх, не повезло нам, Андрюша! — горько плакался он приятно. — Не угадали! Нам бы на новостройку, в Магнитную степь! Какие бы дела делали!

— Так ведь поначалу везде трудно... — робко возразил Андрей.

— А я разве трудностей боюсь? Что ж ты меня не знаешь? Я, брат, труда не боюсь. А только там — красивый труд, а тут! — и он презрительно махнул рукою. Он совсем забыл, что всего десять дней назад говорил другое. Но он умел быстро забывать.

— Мой отец говорил: всякий труд — красивый, — пробормотал Андрей.

— А он был в шахте, твой отец? — набросился Виктор. — От, ба-чишь! А мы с тобой были. Понюхали, почём фунт лиха. Вот сегодня мой учил меня, как законуриваться. Законуриваться, — едко скривил он рот. — И слово-то какое! Будто мы собаки... Так и будешь тут всю жизнь — в конуре...

И Андрей не знал, чем помочь другу. Ему самому тоже было тяжело, но он уже видел просвет впереди. Теперь только держаться кливажа! Он благодарно вспомнил Прокопия Максимовича.

— Ты б с Прокопием Максимовичем посоветовался, — нерешительно предложил он.

— А что мне с ним советоваться! — пожал плечами Виктор. — Я не больной, а он не доктор...

— Он — профессор! Он, брат, всё понимает. И к тому же — партийный. Давай пойдём к нему домой. В гости.

— В гости! — усмехнулся Виктор. — Звали тебя туда, что ли?

— Звали. Сам звал.

— Когда ж это?

— А сегодня. Он нас уже другой раз приглашает...

Виктор с сомнением посмотрел на приятеля: не врёт? Но приглашение польстило ему. Значит, не совсем уж он последний человек на шахте, раз зовёт его в гости сам мастер угля Прокопий Максимович Лесняк.

Но ответил он небрежно, словно нехотя:

— Ну что ж! В выходной можно и пойти...

Глава 9

В выходной день оба тщательно вымылись и приоделись. Каждый достал из своего сундучка лучшее, что у него было: Виктор — почти новенький костюмчик из темносинего шевиота, сорочку с вышитой крестиками грудью и фуражку-капитанку с большим, чёрным, лакированным козырьком; Андрей — косоворотку, вышитую голубыми васильками, кручёный пояс с кистями, пиджак, совсем новый, подаренный отцом на дорогу; брюки он заправил в хорошие хромовые сапоги.

Тумбочки в общежитии ещё не появились, но зеркало было. Оба выглядели, как женихи. Только под глазами уже синела неотмываемая кромочка угля — глаза казались подведёнными.

Дом Прокопия Максимовича они нашли сразу; мастера в посёлке все знали.

Это был домик маленький, аккуратный и весь белый, даже крыша на нём была белая, этернитовая. Никто не любит так белый цвет, как шахтёры, и никто так не любит зелень. Андрей невольно вздохнул,

заметив тоненькие ниточки, протянувшиеся от земли до крыши веранды: кручёный паныч уже завял. Но астры ещё цвели почти у самого крыльца, и на акациях ещё болтались гроздьи сморщившихся жёлтых листьев — до первого осеннего ветра.

Было как-то по-хорошему грустно в этом маленьком, уже тронутым осенью саду. Стояла особенная, ленивая тишина воскресного полдня; ставни на окнах были полупритворены. И, глядя на них, представлялось сразу, что в домике прохладно, сумеречно и чисто, пахнет яблоками, ванилью и воскресными пирогами, и живут здесь простые, хорошие люди, живут мирно, трудолюбиво и счастливо.

Ребята постоянно немного у калитки. Калитка была простодушно распахнута, но они не решались войти. Им казалось, что так будет... некрасиво. Они ведь не просто пришли, а в гости. Надо постучать или ещё лучше — позвонить. Но ни стучать, ни звонить было не во что.

Они церемонно поёживались в своих парадных костюмах, не знали, что делать. Вдруг они заметили, что от погреба к дому бежит девушка в ситцевом платье, с кувшином.

— Будьте добры, гражданочка!.. — вежливо позвал её Виктор.

Девушка подошла к палисаднику, и ребята почти с ужасом узнали в ней ту самую девчонку, что так безжалостно смеялась над ними в шахте, когда они бежали от коногона...

Потом они изредка встречали её в шахте, но всегда поспешно сторонились, а она, узнав их, смеялась вслед. Они не знали, ни чья она, ни где живёт, ни как её зовут. Знали только, что работает она лампоносом, и шахтёры прозвали её Светиком; она, действительно, точно свет появлялась в забое, чтобы дать шахтёру новую лампу вместо его потухшей.

Сейчас она была чистенькая, беленькая и — хорошенькая в своём ситцевом платье, бледно-розовом с цветочками. Но они её сразу узнали.

И она узнала их.

— А вы что же тут делаете? — подозрительно спросила она, глядя на них через палисадник.

— А ты что тут делаешь? — рассердился Виктор.

— Я? Вот новости! — засмеялась она. — Я тут живу. А вам чего надо?

— Мы не к вам... — поспешно сказал Андрей. — Мы в гости.

— А это ты меня в шахте прибить хотел? — угрожающе обернулась она к нему и вдруг совсем как шахтёрский мальчишка завизжала: — А ну вдарь, вдарь! Ну?

— Мы не драться... мы в гости... — пролепетал Андрей.

— Таким гостям — поворот от ворот. Ну, убирайтесь, пока целы! — закричала она. — А то... вот! — и она хохоча плеснула на них квасом из кувшина. Хорошо, что Виктор во-время отскочил, не то пропал бы его парадный костюм.

— Ты, осторожней, дура! — сердито взвизгнул он.

— Проваливайте, проваливайте! Давай полный ход от ворот! — и она, вложив по-коногонски два пальца в рот, лихо свистнула.

— А вот мы не уйдём! — вдруг озлился Андрей. Его трудно было разозлить, но девчонка сумела. Теперь никакая сила не заставила бы его сдвинуться с места. Он был упрям. И тот, кто знал его, — догадался бы, заметив, как потемнели его глаза и сдвинулись брови, как по-бычьему подалась вперёд голова, что теперь его трогать не надо, он всё равно будет поступать по-своему.

Но девчонка не знала этого.

— А вот я сейчас собак спущу! — сказала она и громко позвала. — Эй, Полкан, Трезор!

Но тут появился сам хозяин, Прокопий Максимович. Он вышел на крыльцо и крикнул:

— Эй! Что за шум, а драки нету?

— Драка сейчас будет! — стозвалась девчонка.

— Здравствуйте, Прокопий Максимович! — сказал Андрей и снял кепку.

— А-а. вот это кто! Пожалуйста, пожалуйста! — и мастер, радушно протянув руки, пошёл им навстречу. — Ты что ж моих гостей конфузишь? — на ходу упрекнул он дочь.

— Такие гости, что собачьи кости... — немедленно огрызнулась та.

— Цыть, коза! Здравствуйте, молодые люди! — мастер потряс ребятами руки. — Прошу, прошу!..

Они пошли за ним.

— Сердитая она у вас! — хмуро сказал Андрей, всё ещё косясь на девчонку. — Вы её на цепи держите. На людей кидается.

— А я её скоро на цепь-то прикую: замуж выдам, — пошутил Прокопий Максимович и ввёл гостей в дом.

Там, неожиданно для них, оказалось большое общество. Собирались обедать. Ребята смущённо замерли на пороге.

— Вы входите, входите! — засмеялся хозяин. — Стесняться нечего! Все свои. Это — фамилия моя да родня, все — шахтёры. А это, — представил он Андрея и Виктора. — комсомольцы, к нам на подмогу приехали. Прошу любить да жаловать! Вы курские, что ль? — спросил он ребят. Почему-то все их здесь считали курскими.

— Полтавские...

— Вот и хорошо! — благодушно сказал хозяин. — Прошу покорно садиться. Сейчас мать наша выйдет, мы и закусим.

Мальчики сели на указанные им места. Они чувствовали себя неловко: большое общество совсем смутило их. И фуражки... Они не знали, куда их деть, мяли в руках на коленях.

Они никого, кроме хозяина и дочки, не знали. Здесь собрались всё пожилые люди; только паренёк с смешными веснушками на носу и зачёсанными назад волосами был их ровесником. Он сидел в стороне и небрежно щипал струны гитары.

С дымящейся кастрюлей в руках легко и быстро вошла женщина, ещё не старая на вид и худенькая, как девсчка.

— А вот и хозяйка моя! — провозгласил Прокопий Максимович, — Настасья Макаровна. Народный комиссар нашей кухни.

Настасья Макаровна усмехнулась, — глаза у неё были насмешливые и быстрые, как у дочери, — и, поставив кастрюлю, подошла к ребятам.

— Здравствуйте, очень рады! — певуче произнесла она. — А фуражки ваши позвольте-ка сюда...

Они растерянно отдали ей фуражки. Она взяла их и унесла; двигалась она проворно, но не кругло, как пожилые бабы, а как бы лёгкими, стремительными голчками. «Видно, откатчицей была!» — невольно подумал Андрей. Он уже давно заметил, что на шахте толстых баб не бывает. Тут у всех женщин фигуры молодые, стройные, а лица — старые, старше своих лет. Отчего это, он и сам не знал, но объяснял, как и всё, что здесь видел, одним словом: шахта. Это от шахты.

— Ну, что же! — сказал хозяин. — Борщ на столе, пора и за ложки!

— Это мы моём! — засмеялся маленький и сухонький старичок с до-

бродушно-ехидным лицом и причёской ёжиком, — нам всё едино, что работать, что хлебать. Нам абы гроши да харчи хороши.

Все смеясь пошли к столу, стали шумно рассаживаться.

— Вы сюда, сюда, пожалуйста! — указал хозяин место мальчикам поближе к себе.

— А где ж мама? — громко спросил высокий, как и хозяин, но не в пример ему хмурый и молчаливый шахтёр лет сорока пяти, с синими рябинами на лице.

— Мама сейчас придут, — торопливо ответила Настасья Макаровна и обернулась. — А вот и мама!

В комнату неслышно вошла очень высокая, прямая и совсем белая старуха. Все молча встали. Она низко поклонилась гостям.

— Кушайте на доброе здоровье! — хриловатым, приятным голосом произнесла она и пошла на своё место.

Она шла без палки, не горбясь, бодрой и лёгкой походкой, удивительной для её семидесяти пяти лет. Она совсем не была похожа на тех маленьких, суетливых или расслабленных старушек, каких привык видеть Андрей дома, в Чибиряках.

Что-то гордое и независимое было в этой мужественной старухе. В её прямой, не умеющей гнуться спине, в её смелом, открытом, почти мужском мускулистом лице, в её глазах, не потухших и мудрых.

Такие любят говорить про себя: «Я никогда из чужих рук хлеба не ела, я — всё своим горбом». Но трудовая жизнь не сгорбила, а даже выпрямила её, научила встречать невзгоды грудью, никого и ничего не бояться, ни от кого не зависеть и верить только в свои руки.

И глядя на неё, можно было понять и объяснить всех здесь собравшихся, отчего они такие и как такими стали, отчего в этом маленьком домике под этернитовой крышей — покой, дружба и счастье.

— Это — наша мама! — очень почтительно и как-то растроганно сказал Прокопий Максимович. — Мне и Ивану — рódная, а всем тут на шахте — названная. Вы кого угодно спросите про Евдокию Петровну, — прибавил он не без гордости, — каждый скажет: это — шахтёрская мать.

— Много их у меня... шалапутов... — усмехнулась слегка смущённая мать.

— Старуха знаменитая! — шепнул мальчикам старичок с ёжиком, оказавшийся за столом их соседом. — Она и про пятый год рассказать может — участвовала!

— Сейчас мама гостит у нас! — сказал Прокопий Максимович. — Это она по шахтам ездит, всем своим детям смотр делает.

— И делаю! — засмеялась старуха. — Это моя последняя вам ревизия. Вот всех объеду — и помру.

— Что вы, Евдокия Петровна! — воскликнул старичок с ёжиком. — Вам ещё жить да жить!

— Нет. Помру. Поработала — пора!

— Что, аль болеете?

— Болеть не выучилась. А... пора.

— Мы, мама, вам про смерть и думать запрещаем! — сказал Прокопий Максимович. — Нельзя вам помирать, слишком много сирот оставите. Вот и этих, — показал он на Андрея и Виктора, — прошу во внучата взять, приласкать...

— А-а, очень приятно, молодые люди! — ласково закивала им старуха. — Как звать-то?..

— Меня — Андрей.

— Я — Виктор...

— Молоденькие! — улыбнулась она. — Здешние?

— Нет, из Полтавы они, — сказал Прокопий Максимович.

— А-а! — покачала она белой головой. — Скушноовато вам, небось, на чужой сторонущке? Без матери-то каквово?

— Нет, ничего! — браво отозвался Виктор. — Мы — не маленькие.

— К нам почаще заходите, милости просим! Мой-то, Прокоп, гостей любит. Говорливый он! — все засмеялись. Она испуганно оглянулась на сына. — Что, аль опять я не так сказала?

— Так, мама, так! — смеясь ответил тот. — Говорливый я, поговорить люблю. Отчего и не поговорить, коли есть о чём?

— Артист! — ехидно вставил старичок с ёжиком. — Он не только заговорит, он ещё и спектакли вам покажет! — сказал он мальчишкам. — Он у нас на всё — богатырь!

— А что ж не пьёт никто? — вдруг всполошился хозяин. — Неужто подносить? Ну, измельчал народ, мама, пожалуюсь я вам, измельчал. Помните, как прежде-то пили? — сказал он, наливая из графинчика водку.

— Ты бы что хорошее вспомнил! — отозвалась мать. — А про это..

— Не-ет, хорошо пили, дружно, артельно.. Всё пропивали, до последних портков, аккуратно! — усмехнулся он. — Земляночку-то нашу помните, мама? Как не пить! А вы, — обратился он к ребятам, — пьёте?

— Не пробовали ещё... — сознался Андрей и вдруг густо покраснел, словно в чём-то стыдном признался. Светик немедленно прыснула.

— А я пью! — храбро сказал Виктор и протянул рюмку. Прокопий Максимович чуть насмешливо взглянул на него, но ничего не сказал и налил — полную.

— Эх, и не пил бы, да дуже просят, — крикнул Прохор, широкоплечий, рыжеватый, с вьющимися на кончиках молодецкими усами ссед Андрея.

Все засмеялись.

— И отчего это, — продолжал он, рассматривая рюмку на свет, — отчего о нас такая слава по свету идёт, будто все шахтёры — пьяницы? А есть и такие, что больше нас пьют..

— Ну, больше тебя-то вряд ли кто! — поджимая губы, сказала его жена.

— Жёнам сегодня слова не даю! — закричал весело хозяин. — пейте и ешьте, дорогие гости, что народный комиссар приготовил. А больше у нас ничего нет. Всё на столе, не взыщите!

Было Андрею как-то по-особенному душевно тепло в этом доме, среди этих добрых людей. «Какие они все простые, хорошие, весёлые! — восторженно думал он. — И нами, мальчишками, не побрезговали. Принимают, как взрослых. Это оттого, — догадался он, — что мы теперь тоже шахтёры, уголь рубаем. Значит, выходит — товарищи». И он невольно почувствовал гордость оттого, что он с Прокопием Максимовичем — товарищи, в одной лаве работают.

И Виктор здесь душевно обмяк, отошёл. После второй рюмки он почувствовал себя развязнее; ему не терпелось вмешаться в общий разговор и тоже сказать что-нибудь своё — хорошее и умное. Только Светик, сидевшая напротив, ещё смущала его; она то и дело поглядывала из-за своей тарелки и тихонько смеялась; особенно когда он пил и после этого кашлял.

— А что, молодые люди, — вдруг обратился к нему, хитро щурясь, старичок с ёжиком, — всё спросить вас хочу, вы уж извините. Вы как же к нам на шахту попали? Своей охоткой или как?

— Мы по мобилизации, — объяснил Виктор.

— А-а! — засмеялся старичок мелким, дробным смехом. — Значит, сами не думали-то в шахтёры?

— По правде сказать — нет! — засмеялся и Виктор. — У нас, признаться, другие мечты были! — значительно прибавил он и посмотрел на дочь хозяина.

— Небось, в лётчики? — насмешливо спросила Настасья Макаровна. — Теперь вся молодёжь с ума сошла: в лётчики хочет. Вот и наш тоже... — кивнула она на сына. Тот смутился и покраснел.

— Нет! — развязно возразил Виктор; он уже чувствовал себя здесь, как дома. — Андрей вот в лесники собирался. Он у нас тишину любит, лес... — кольнул он приятеля.

— А Виктор — в артисты! — дал сдачи Андрей.

Все засмеялись, Светик — громче всех.

— Ну что ж, я и не скрываю, — с достоинством произнёс Виктор. — Я, собственно, в киноартисты хотел, — сказал он, небрежно играя пустой рюмкой. — Призвание такое в душе чувствую. Да, — вздохнул он, — мечтали-то мы высоко, а угадали — в шахтёры! Законоурились! — с презрительным смехом закончил он.

— Что?! — тихо, каким-то свистящим шёпотом спросил Прокопий Максимович. Его лицо вдруг покрылось бурными пятнами. Он медленно поднялся со своего места — все сразу затихли, почуяв недоброе, — и вдруг с силой ударил кулаком по столу так, что всё задрезжало.

— Вон! — взревел он, не помня себя. — Вон! Вон из моего дома, сукин ты сын! Вон!

— Что ты, что ты, Прокоп? Опомнись! — потянула его за рукав жена, но унять его было уже невозможно.

— Во! — крикнул он ещё раз. И Виктор послушно поднялся с места. Он ещё сам не знал, что натворил, чем обидел хозяина, но уже готов был провалиться сквозь землю или бежать, бежать скорее... куда-нибудь. — Значит, высоко вы мечтали, а мы низко живём? — крикнул Прокоп Максимович. — Низкие мы, выходит, люди, в угле возимся?

— Сядь, Прокоп! — властно приказала мать, и он дёрнулся, но сел. — Что ж ты на дитё кричишь? — спокойно сказала она. — Его учить надо.

— Да я... я и не хотел ничего... такого... — жалобно пробормотал Виктор, готовый заплакать.

— Ты, брат, не меня обидел! — сказал, уже успокаиваясь, Прокоп Максимович. — Ты вот кого обидел — шахтёрскую нашу мать. Ты — кто? Ты сам-то кто есть?

— Я... я — никто ещё... — пролепетал совсем уничтоженный Виктор.

— То-то что никто! — строго сказал мастер. — Никакого инструмента ещё в руках не держал, никакого ремесла не знаешь. Куска хлеба и то, поди, самостоятельно ещё не заработал. Отец твой кто?

— У него нет отца... — пришёл на помощь другу Андрей. — Его отца белые зарубили. Он — большевик был.

— А-а? — удивился Прокопий Максимович, будто у Виктора и не мог быть такой отец. — Ну, а дед твой кто?

— Я деда не знаю... — пробормотал Виктор и подумал с тоской: «ох, убежать бы скорей от стыда!..»

— Вот! Своего роду-племени не знаешь! — довольно усмехнулся мастер. — Аристократ! Ну, а мы — низкие, мы свой род хорошо помним. Дашка! — громко крикнул он через весь стол дочери.

— Ну, сейчас спектакль будет, — хихикнул Макар Васильевич, старичок с ёжиком, и радостно потёр ручки.

— Дашка!

— Я тут, папа, — отозвалась Светик. «Значит, её Дашей зовут», — подумал Андрей.

— Кто твой отец, Даша? — строго, словно на экзамене спросил Прокопий Максимович.

— Мой отец есть потомственный шахтёр-забойщик, — звонко, как молитву, отбарабанила Даша.

— Так. А дядья твои кто?

— И дядя мой чистых кровей шахтёры.

— Ну, а дед твой кто был?

— И мой дед был шахтёр. Погиб при взрыве газа.

— Царство ему небесное, — вздохнула жена Прохора, — хороший был человек.

Но Евдокия Петровна сидела как каменная. Так она, говорят, и смерть мужа встретила, не заплакала.

— Ну, а прадед твой кто же был? — вскричал Прокопий Максимович. — Мой, значит, дед?

— Прадед тоже был шахтёр.

— Верно! — закричал хозяин. — Он сюда пришёл — тут голая степь была, волки бегали... Трёхаршинный был мужик, волка руками душил... А прапрадед твой, Даша, берёт свой корень из крестьян Орловской губернии, Мценского уезда... Но ту родословную я не считаю! — махнул он рукой. — То — крестьянство, то — другой счёт! Вот, — торжествуя посмотрел он на Виктора, — вот мы какого роду-племени. Мы хоть не аристократы, а свой корень помним! Нами эти шахты пробиты, мы этой степи жизнь дали — наша фамилия! Вот как!

— Да и наша фамилия... тоже... не первый тут день! — проворчал задетый Макар Васильевич. — Чай, тридцатый номер мой-то дед вместе с твоим проходили...

— А я, папаша, и не спорю! — согласился хозяин. — В одной они артели были. Небось, через стряпуху мы с вами давно родственники!

— Кабы была на земле справедливость, — сказал Прохор, играя усами, — так не по хозяйским дочкам шахты бы назывались Мариями да Альбертинами, а по именам шахтёров, кто те шахты проходил. Хоть по твоему деду, Прокоп Максимович...

— И назовут! И назовут! — убеждённо закричал мастер. — ВЦИК указ сделает — и назовут! Мы хоть и низкие, по-твоему, люди, — обратился он опять к Виктору, тот даже на стуле заёрзал, — а и большие люди к нам своё ухо преклоняют, прислушиваются... Да, вот! — вспомнил он. — Жена! А кто это у нас недавно в гостях был? Ещё на том месте сидел, где я сейчас сижу?

— Да будет тебе, хвастун! — смеясь, отмахнулась от него Настасья Макаровна.

— Нет, ты скажи, кто?

— Вячеслав Михайлович Молотов был, — трубно выпалил сын хозяина. И смутился.

— Да. Сам Вячеслав Михайлович, — с тихой гордостью подтвердил хозяин. — Вот кто. Не посчитал нас низкими людьми, приехал. Из Москвы приехал, из самого Кремля, во-от с какой высоты, да на шахту... Здесь сидел. — показал он на своё место, — беседовал с нами.

— Большие люди часто у нас бывают, обижаться не можем! — сказал кум Прохор.

Макар Васильевич вдруг залился тихим, радостным смехом.

— Ты чего? — удивился Прохор.

— Нет, пускай он... Прокоп-то... — сквозь смех еле выдавил Макар

Васильевич, — пусть расскажет... как это он одному большому человеку... спектакль сделал.

— Что-то не помню я... — смутился хозяин.

— Как не помнишь? Вся шахта помнит. — Приехал как-то к нам на «Крутую Марию» большой человек, — обратился Макар Васильевич уже прямо к мальчикам. — Ну, и с места в карьер — в шахту.

— А, вот ты про что! — покрутил головою Прокоп Максимович и усмехнулся.

— Да-а... И как раз к Прокопу в забой. Ну, в шахте не видно, какой человек, тем более он в спечовке, но слух-то уж по всем лавам прошёл, у нас это быстро! Да и сразу видать — не здешний человек, большой. Ты ведь знал это, доподлинно знал? — спросил он хозяина.

— Ну, знал! Что ж с того! — засмеялся тот.

— Ну, вот! Сидят они, значит, в забое, беседуют. То да сё, да как добыча, да почему механизации мало. Ну так часа полтора побеседовали. Стали прощаться, а Прокоп и скажи: «Вот, говорит, товарищ, мы с вами полтора часа побеседовали, а я тем временем угля-то не рубал. Так как же мне теперь с нормой? Я свою норму отродясь выполняю». «А я, — говорит большой человек и смеется, — я скажу, чтоб учли, что беседовали мы». «А вы, — говорит Прокоп, — кто будете?» «А я, говорит, буду народный комиссар». И фамилию называет. «А! — спокойненько говорит наш Прокоп. — Очень приятно! А я буду забойщик Лесняк, Прокопий Максимович. Будем знакомы!» — и ручку ему. Так друг дружке руки-то пожали, будто большими приятелями сделались... — все засмеялись.

— А что ж! — подхватил Прокопий Максимович. — У него своя служба, у меня — своя. Он — большой человек, да и я не маленький! Я уголь даю!

— Вот, видали! — всплеснул руками Макар Васильевич и засмеялся. — Он и Вячеславу Михайловичу тоже сразу же: мы, говорит, с вами старые друзья!

— Э, нет! — горячо возразил хозяин и даже взволновался. — Это вы, папаша, зря! Не мог я такого сказать. Я себя помню. А что знакомы мы давно, это я Вячеславу Михайловичу доподлинно сказал, не отрицаю. Знакомы ведь, Иван? — обратился он к своему молчаливому брату.

— Знакомы! — коротко подтвердил тот.

— Это в двадцатом году было, так, что ли?

— В двадцатом. Осенью.

— Да, верно! Мы, видишь ли, — неожиданно мирно обратился он к Виктору, — как раз с Иваном с фронта пришли. Да... А шахта стоит затопленная и никто качать не разрешает: нет на это средств — и всё! Мы и туда, и сюда, и в совнархоз, и в Цепекапе,¹ — мы его цоб-цобе называли, для лёгкости, — усмехнулся он. — Нигде нам согласия нет. Вот и придумали мы с меньшим братом, с Иваном, податься в губком партии. Так я рассказываю, Иван?

— Так...

— Вот заявляемся мы в губком. Спрашиваем секретаря. И выходит к нам... Ну? — вдруг весело посмотрел он на ребят, — ну кто тогда был секретарём губкома партии? А? Не знаете?

— Не знаем... — смутился Андрей.

— Вот. Не знаете вы, ребята, истории большевистской партии, хоть и комсомольцы... Это нехорошо! — покачал он головой. — Однако выхо-

¹ ЦПКП — Центральное правление каменноугольной промышленности.

дит к нам человек роста среднего, сложения крепкого, кругого. Мологов Вячеслав Михайлович. Так я рассказываю, Иван?

— Так...

— Вот про эту встречу я и припомнил Вячеславу Михайловичу, когда он у нас в гостях был, — засмеялся Прокопий Максимович. — Говорю: «А мы ведь шахту-то откачали тогда, Вячеслав Михайлович, с вашей-то помощью!» А он мне: «Откачали, говорит, это хорошо. А теперь её омолодить придётся». «Как, говорю, старух-то омоложать? Не слышали про это. Да она и так, не сомневайтесь, говорю, проскрипит ещё, даст уголёк-то!» «А нам, говорит, этого угля мало. Нам надо, чтобы она вдвое больше давала. Сможет?» «Нет, говорю, не сможет старуха». «А надо! Нам теперь много угля требуется, мы большую стройку затеяли». Вот и загадал он мне загадку-то, а?

— Он и отгадку дал! — внушительно сказал Прохор.

— Да. Дал и отгадку. «Вы, спрашивает, чем уголь рубаете? Обушком?» «Обушком, чем же его ещё брать?» «Отсталая ваша техника, говорит. Надо машинной уголь рубать или отбойным молотком. С обушковым Донбассом, говорит, пора уж кончать. Реконструировать надо шахты и новые строить». Да-а, большие он тогда перед нами горизонты-то раскрыл! Помнишь, кум, на митинге-то он сказал: «Шахтёры! На вас Сталин смотрит!»..

— А Афанасий Петрович говорит, — нерешительно вставил Андрей, — машина в шахте не пойдёт.

— Это какой же Афанасий Петрович? — нахмурил брови мастер. — А! Десятник ваш! Так он же — баптист! Баптист, как же! — расхохотался он. — В штунду ходит. Он и ко мне, в семнадцатом году, когда мы на тридцатом номере революцию делали, тоже с советом пришёл. «Не насильничай, говорит, Прокоп! Не твори насилия, побойся бога!» А я ему отвечаю: «Я не то что бога, я и господина пристава Каюду не боюсь, вчера его под арест взял!» — все захохотали. — Нет, вы его по этому делу, ребятки, не слушайте! Он старых взглядов человек, у него глаза на затылке, назад смотрят.

— А механизацию надо начинать с откатки! — неожиданно сказала Светик. Все обернулись на неё, но она не смутилась — видно, привыкла быть в семье баловнем и общей любимицей.

— Это кто же там высказывается? — усмехнулся хозяин. — Голос слышу, а от стола не видать.

— Это я высказываюсь, папа, — смело сказала Даша. — Я про откатку...

— А вот я давно до тебя добираюсь — не доберусь! — сказал отец, стараясь спрятать усмешку в усы. — Тебе кто позволил опять в шахту пойти?

— Я сама...

— Ну погоди, коза, вот гости уйдут! Видали экземпляр? — развёл он руками. — Люди скажут: вот старый Прокоп дочку не может прокормить да выучить, в шахту её погнал. А кто её гонит-то!.. Чтоб я тебя больше в шахте не видел, слышь, ты! — уже строго прикрикнул он на дочь.

— Так я семилетку кончила. Куда ж мне теперь? В контору, что ли? — презрительно тряхнула она кудряшками. — Вот ещё!

— В техникум иди! На курсы! Дальше учишь, пока я жив. Вот и этот, — сердито кивнул он на сына, — футболист! Тоже на учёбу не погонишь. И что это за молодёжь растёт! — горестно воскликнул он. — Да кабы мне в их годы сказали только: учишь, Прокоп! Так я б, боже ж ты мой!..

— Я, папа, давно у вас в лётную школу прошусь! — с упрёком сказал сын. — Вот при всех скажу!.. — и голос его задрожал.

— В лётную! — раздражённо воскликнул отец. — Летунов и без тебя много в Донбассе: летают с шахты на шахту, как саранча. А инженеров — не видать! А нам инженеры нужны! — горячо сказал он. — На Казимире-то Савельиче далеко не уедешь!

— Да уж... Казимир Савельич!.. — засмеялся Макар Васильевич.

— Казимир Савельевич — это тип! — объявил Прохор. — Я и то думаю, уж не шахтинец ли он? А? Скрывшийся?

— Вот! — укоризненно сказал сыну Прокопий Максимович. — Слышишь? А откуда ж новые инженеры возьмутся, когда у наших детей — ветер в голове, учиться не хотят?

— Казимир Савельич — старого закала инженер! — хихикая сказал Макар Васильевич, — беспокоиться он не любит.

— Он и то жалуется, что в шахту часто ездить приходится, — сказал Прохор. — Раньше-то, говорит, главный раз в месяц в шахту ездил, а то и раз в три месяца, и ничего, говорит, работали!

— Не лю-юбит! — засмеялся Макар Васильевич.

— А нам такие нужны, чтоб шахту любили, — крикнул хозяин и даже ладонью по столу ударил. — Чтоб болели за шахту. Свои нужны, нашей кости... не барчуки...

— Лёгкое слово сказал: свои! — воскликнул Макар Васильевич. — Инженер — не гриб, от одного дождя не вырастет!

— А я про что же? Вот пускай и учится молодёжь. Возможность есть. А как выучится, — Казимиров-то Савельичей — в сторонку, пусть не путаются...

— Да и заведующего заодно, — буркнул Иван.

— Да, заведующий у нас не того, не вышел! — согласился Макар Васильевич. — Шуму от него, верно, много, а толку... — он махнул рукой.

— Необразованный! — кратко сказал Иван.

— И откуда взялся только? — удивился Прохор. — Он, говорят, и не шахтёр.

— А ты, Прокоп, Егора Трофимова-то помнишь? — вдруг, улыбаясь, спросил Макар Васильевич.

— Как же, как же!

И все старики вдруг заулыбались тепло и радостно, улыбнулась и Евдокия Петровна. Видно, дорог был им этот человек, если даже воспоминание о нём почтили они тихой и светлой минутой задумчивого молчания. А может быть, просто вздохнули о молодости?

— Это кто же был такой? — робко спросил Андрей.

— Егор-то? — засмеялся хозяин. — Э, брат, о нём сразу и не расскажешь! Да и что про Егора в сухую? — вдруг весело вскричал он. — Выпьем за него, что ли?

— Дай ему бог здоровья и многие года!.. — сказал, подымая свою рюмку, Макар Васильевич. — Он ведь тоже, как и мы грешные, — не любил выпить. Живой он ещё?

— А что ему делается! Он всех переживёт! Бо-ольшой сейчас человек по углю.

— А — чудак! — засмеялся Макар Васильевич. — Помню, объявился он в двадцать первом году на шахте и сейчас же шахтёров собрал. «Ну вот, говорит, барбосы, я теперь ваш красный директор шахты». Ну, все смеются, конечно. Чудно! Егорку-то все знали. Наш. Здешний.

— По первоначально некоторым действительно в удивление было: свой шахтёр — и вдруг директор. А тут как раз Егор себе выезд завёл. Вы фазтон-то его помните. папаша?

— Как же! — захохотал тот. — Пара вороных. И кучер с бороною.

— Да-а! — заблестев глазами, продолжал Прокопий Максимович. — Ну, шахтёры и говорят: забурел наш Егорка. Совсем буржуй стал. Дошло и до него. «Ладно, говорит он, покажу я вам фэзтон!» А тогда такой порядок был: деньги для получки в городе получали, а ехать за ними обязательно должен был сам директор с кассиром. Вот пришло время получки, берёт Егор Трофимович кассира, — старичок у нас был кассир, вскоре помер, — да и отправляется с ним в город... пешком. Да, пешком! — воскликнул он и засмеялся. — Ну, день проходит, второй. Ни Егора, ни получки. Стали наведываться в контору шахтёры. «Где Егор?» «В город пошёл». «Как, пошёл? У него фэзтон есть». «Нет, не знаю, говорит бухгалтер, пешком с кассиром пошли». — Прокопий Максимович сделал паузу, как опытный рассказчик. — Две недели он так то ходил, все его ждали! — с эффектом сказал он. — Нашёл себе в городе дело, не иначе! Наконец, является. Ну, все к нему. «Ты что же так долго, Егор?» «А не ближний свет, отвечает, пешком — двадцать вёрст». «Да ты б на фэзтоне поехал!» «Нет, говорит, ну его, с фэзтон-ом-то! Ещё забуреешь. Я, говорит, теперь всегда пешком буду». Ну, тут уж все взмолились: «Да мы, тебе, говорят, чёрт, сложимся, — аэроплан купим, только не томи ты нас!» «А! — говорит. — Поняли, зачем директору фэзтон нужен?!»...

Все расхохотались.

— Чудак был! — нежно повторил Макар Васильевич — А простой, свойский. Уж он со всяким шахтёром и водку выпьет, и в кумовья пойдёт. А на работе — не-ет, на работе он — волк. Боялись его. Да и то сказать — шахту он знал так, как другой инженер не знает.

— А как бастовали-то, помнишь? — вдруг сказал Иван. Видно, воспоминания разворовали и его. Он словно оттаял.

— А-а! — засмеялся Прокоп Максимович. — Было и это. Как же! Забастовали, догадались. Вы, ребята, — неожиданно обратился он к Андрею, — небось и забастовки-то никогда не видели?

— Нет... где же?

— Да. И не увидите теперь! Разве что за границей! А мы до семнадцатого бастовали часто. Как же! Да-а... А тут, в двадцать втором, наши забастовать догадались. При своей-то власти! Уж не помню, чего требовали. Конечно, трудно тогда было. Разруха. А ни хлеба, а ни картошки... Вот и забастовали. Собрались у конторы, сидят, на солнышке греются, а в шахту не едут. И коноводом у них — Кваша, вредный такой был старик! Ну, мы, значит, всей ячейкой пришли к ним: объясняем, уговариваем, сралим. Ничего не действует! Да и сами-то мы, по тем порам, малограмотными были. Больше на совесть напирали. А Егора Трофимовича — нет! Он в городе по делам. Вот беда какая!

Он посмотрел на ребят, потом усмехнулся.

— Наконец, приехал Егор. Докладывают ему: так и так, мол, — забастовка. «Ладно! — говорит. Я сейчас сам к ним приду!» Ну, выходят, значит, ребята к забастовщикам, объявляют: не расходитесь, мол, подождите, сейчас с вами разговор будет. «А что, — спрашивает Кваша, — Егор, что ль, приехал?» «Приехал. Сейчас сам придёт». Постоял-постоял Кваша, в затылке почесал, потом говорит своим: «А ну, давай-ка лучше в шахту, ребята! Егор приехал. Что с ним, с чёртом, связываться!» Ну, Егор Трофимович на крыльцо вышел, а забастовщиков нет. Все уж в шахте работают!

— Боялись его! — сказал Макар Васильевич. — Не власти его боялись, а — личности. И языка тоже! Ух, и язык был — нож! А сам он, сам — никого не боялся.

— А меня — боялся! — сказала вдруг Евдокия Петровна.

— Да-а! — удивлённо подтвердил, подумав, Макар Васильевич, — её, верно, боялся.

— И сейчас боится! — прибавила Евдокия Петровна и засмеялась.

Андрей посмотрел на неё с уважением и некоторой робостью: он её уже тоже боялся. Боялся, а чувствовал: случись беда, горе, к ней надо идти за советом, будто в ней одной — вся мудрость житейская и вся правда шахтёрская; она худое не присоветует.

Она сидела за этим столом, как патриарх, прямая, молчаливая, строгая; ей — семьдесят пять лет; самой старой донецкой шахте меньше. Она пришла с отцом сюда в степь, когда тут ничего не было, волки бегали. Сколько же всякого — и красивого, и худого, а больше всего горького и страшного видели её мудрые, приметливые глаза?

Вот сидит она сейчас за этим столом, строгая, но ласковая, гордая своими детьми и внуками. Слушает ли она, о чём дети шумят? Или о своём думает? О чём?

Ему захотелось вдруг встать перед ней на колени, тихо попросить: благословите, бабушка, на шахтёрскую жизнь! Теперь твёрдо знал он, что шахтёром — станет.

Он и сам не понял, как это вышло и откуда отвага в нём явилась, что он действительно встал — не на колени, правда, а во весь рост, когда все сидели, — и сказал дрожащим от волнения, не своим голосом:

— Я... я... сказать хочу...

И только когда вдруг все стихли и с любопытством уставились на него, понял он, что произошло, и растерялся, забыл, что хотел сказать и зачем поднялся.

— Говори, говори! — весело закричал ему хозяин.

— Что же ты? Говори!

А он стоял как потерянный и не знал, что сказать, что сделать.

Все невольно засмеялись, глядя на его смущённое, красное от испуга лицо, и только она одна, бабушка, не улыбалась даже. А смотрела на него покойно и ласково, будто говорила: что же ты, мы всё поймём, — скажи!

И он выдал из себя слова, не те, разумеется, что так задушевно пели в нём, а совсем другие — жалкие и беспомощные, не умеющие выразить то, что он сейчас чувствовал.

— Я о бабушке... то есть об Евдокии Петровне... Чтоб все выпили за неё... то есть за её здоровье...

— Ура-а! — зычно закричал хозяин и вдруг встал, подбежал к Андрею, схватил его в свои богатырские лапы и расцеловал.

— Молодец! — горячо дыша в самое ухо Андрея, прошептал он. — Дорого ты сказал! Дорого! — Потом, всё ещё держа юношу за плечи, он повернулся к старухе и крикнул: — Так берём, мама, этого шахтёрчонка во внуки?

Все захлопали, закричали: мужчины с рюмками в руках пошли к Евдокии Петровне — чокнуться.

— Семеро нас, мама, осталось от отца, — сказал Иван. — Всех вы, мама, выкормили, людьми сделали. Низкий поклон вам!

— Спасибо, спасибо вам, детки! — отвечала смущённая и растерянная старуха. — И я с вами до хороших дней дожила. И тебе спасибо, Андрюшенька! Первый раз вижу тебя, а — родной. Спасибо тебе! И всем добрым людям — спасибо! — она поклонилась. — Не забываете старуху, мне это лестно. Вот теперь заплакать бы! — сказала она совсем неожиданно, — да беда: плакать я не выучилась. Али заплакать, что ль, Настя? — крикнула она невестке.

— Так ведь в радости-то вроде не плачут, мама! — смеясь, ответила та.

— Ну, а с горя я и сроду не плакала!

После обеда хозяин сам пошёл провожать ребят. С Андреем он был особенно ласков, но и на Виктора уже не хмурился, был приветлив и с ним.

— Вы заходите ко мне, ребятки, — говорил он, идя с ними по двору. — Как вздумается, так и заходите! Эх, денёк хорош! — прищурился он на солнце. — Последний. Осенью у нас — нехорошо. Дожди замучат.

Он подошёл с ними к калитке и остановился.

— Хорошая у вас улица, зелёная... — сказал Андрей. — Липы какие!

— Сами садили, — ответил мастер. — Нам ведь здесь — жить! Во-он там, где плетень, видите — там тесть мой живёт. Вы как раз под его огородом и работаете...

— То есть как? — не понял Андрей.

— А так! Наша лава как раз так и проходит... под его огородом. А вон туда — пласт «Мазурка» пойдёт. А коренной штрек — тут вот... — он чертил рукою в воздухе, и Андрей изумлённо следил за его пальцем, словно то была волшебная палочка: перед нею недра распахивались. — Да-а! А как бы вы думали? Двухэтажный у шахтёра дом... Хоромы! Значит, там внизу я работаю, рабочий кабинет там мой, а тут — отдыхаю, водку с друзьями пью, — он засмеялся. — Ну, заходите! Дорогу теперь знаете. А Дашку я на цепь прикую. Так что без опаски заходите! — и он протянул приятелям руки.

— Вы меня простите, Прокопий Максимович! — вдруг сказал Виктор: он всё время хотел это сказать и волновался. — Я тогда за столом глупость сказал, обидел вас... вы — простите. Я — как дурак...

— Да нет, нет, что ты! — сердечно перебил его забойщик. — Я уж и забыл!

— А я не забуду... я теперь — никогда...

Андрей удивлённо взглянул на друга; в первый раз слышал он, что бы Виктор сам винился; но он ничего не сказал.

Они простились с Прокопием Максимовичем и пошли домой. Некоторое время шли молча.

— Ты хорошо сказал... про бабушку... — вдруг тихо произнёс Виктор. — А я — свинья!

— Что ты, что ты, Витя!

— Нет, ты молчи. Я сам знаю. Свинья. — И он мрачно пошёл вперёд, уже не оборачиваясь на товарища.

Глава 10

«Шахтёр, дай добычь!» — такой плакат висел теперь напротив койки Виктора. Просыпаясь, он замечал его раньше, чем свет в окне. Знакомые слова сами бросались в глаза. Они гудели в его ушах, как и будивший его гудок «Крутой Марии». Иногда они даже снились. Он вставал. Так начинался день.

Торопясь, шёл он знакомой дорогой на шахту. На стенах домов, на заборах, висели такие же плакаты. «Шахтёр, страна ждёт от тебя угля!» — кричала надпись на проходных воротах.

— Как добычь? — спрашивал он, встречая у клетки ребят из ночной смены. — Как добычь? — спрашивали его самого, когда он подымался на-гора. — Как добычь? — этим жила вся шахта. Об этом справлялись из горкома; об этом звонили из центра; о добыче кричали каждое

утро газеты. Шахтёрские жёны обсуждали вчерашнюю добычу в очередях у водоразборных колонок.

В те дни, когда шахта выполняла план, высоко над копром зажигалась маленькая алая звёздочка. Это был праздник. И отставной шахтёр дядя Онисим приказывал чисто вымыть полы в общежитии и позволял себе четвертинку. Но такие дни выпадали редко, совсем редко — шахта была в прорыве. «Прорыв», — это слово стало таким же ходким, как и «добычь»! Увы, они шли в паре, как заморенные клячи.

— Мы задолжали стране огромное количество угля! — с горьким стыдом восклицал на собраниях Прокоп Максимович. — А? Красиво это? И кому задолжали? Стране! И сколько? Восемнадцать тысяч тонн! А я сроду гривенника никому должен не был, вот пусть соседи скажут!..

Только один человек на шахте не признавал прорыва и вслух об этом говорил — главный инженер Казимир Савельевич.

— Откуда прорыв? — брезгливо морщил он свой осёдланный золотым пенснэ нос. — Работаем, как всегда работали. Ни завалов нет, ни нарушения кровли, ни иных происшествий чрезвычайного характера.

— Но план, Казимир Савельевич, план-то!..

— Значит, в бумаге у вас прорыв, — сердито отвечал он. — Прорыв вашего бумажного плана. Зачем же вы такие планы сочиняете, которые выполнить невозможно? — ехидно спрашивал он.

У него были последователи, сторонники тайные и явные; сам бритоголовый заведующий шахтой в глубине души был с ним, хоть и кричал на собраниях, брызгаясь слюной: «Костями ляжем, а план выполним!» И уже кипела на шахте яростная война защитников плана с его противниками.

Война бушевала и на соседних шахтах, и во всём Донбассе, во всей стране, — в городе и в деревне, — война нового с косным, старым. Разбитое в деревне кулачье появилось теперь на шахтах; Свиридов был ещё самым тихим из них. Они пришли сюда не зализывать раны, а драться снова: пустынные штреки шахты казались им подходящим полем боя. Враждебно косились они на всё; в каждом механизме уже видели врага; это был тот же трактор, который выкорчевал их из мильных, лампадных маслом пропахших гнёзд. И они ломали машины; тупо, злобно и в одиночку — друг друга боясь — вредили; сеяли вздорные слухи. Обречённые на смерть, они только огрызались да кусались, и иногда — больно; остановить наступление нового они уже не могли.

А между обоими лагерями, путаясь и мешаясь, слонялся по Донбассу всякий случайный, пёстрый, разнообразный люд. Были тут и кулаки, и рабочие; и профессиональные «летуны», босяки; и крестьяне, мечтающие найти такую шахту, где уголь — помягче, а заработки — побольше; и воры, бежавшие из мест заключения, даже монахи из закрывшихся за оскудением монастырей. Были тут и совсем тёмные личности, непонятные, молчаливые, безликие; эти не любили расспросов, зато сами расспрашивали много.

Весь этот стихийный, произвольный и многотысячный поток заливал шахты, лихорадил их, превращал в проходной двор. Неожиданно приходили люди, неожиданно никому не сказав ни слова, уходили; и начальник участка, придя на наряд, никогда не знал, сколько у него сегодня шахтёров пойдёт в «упряжку».

Эти люди приносили на шахту и правы постоянного двора: им ничто здесь не было дорого, они ни за что не отвечали, ничего не любили. Они слонялись по руднику, пили, буянили, дрались ножами, играли «в три листика» на базаре, торговали полученной вчера спецовкой и

одеялами из шахтёрского общежития; потом вдруг «снялись» с места и перекочёвывали на другую шахту, чтобы и там пить, скандалить в общежитии и торговать ворованным.

Под землёй они работали неохотно и плохо, зато давали прекрасную возможность заведующему шахтой восклицать на собраниях:

— Чего ж вы хотите, товарищи! Текучка, проходной двор, настоящих кадров мало! — и, потирая бритую лысину, сокрушаться. — Эх, кабы кадры, кадры нам!

Оттого-то так любовно и радостно встретили кадровые шахтёры мобилизованных комсомольцев; в них чаяли найти не смену, а подмогу; надеялись, что они омолодят Донбасс, внесут в борьбу комсомольский задор, революционный пыл молодости. Большие надежды были на комсомольцев у таких «стариков», как Прокопий Максимович, было бы стыдно эти надежды не оправдать!

Это отлично чувствовал Фёдор Светличный, оттого так и «болел душою». Каждый бежавший с шахты комсомолец был не просто дезертиром: он становился изменником, перебежавшим в лагерь врага. Каждый плохо работающий в забое парень был уже не просто лодырем, он становился предателем, подводившим всех. Сотни глаз — и дружеских и вражьих — следили теперь за комсомольцами.

— Мы на линии огня, ребята! — твердил каждый день Светличный своим товарищам. — В наступление пошла наша партия! — и он рассказывал о том, что происходит в стране.

Андрей особенно ревностно слушал Светличного. Впервые в жизни почувствовал, себя Андрей в строю, — в большом и общем строю. От Белого моря до Чёрного пошли в наступление цепи; он был в одной из них. Его место — забой, обушок — оружие. Ученичество кончилось для него и для Виктора и неожиданно, и слишком рано: шахта нуждалась в забойщиках. Оба приятеля получили в самостоятельное владение уступы, каждому из них ежедневно давали задание на наряде. В общем плане шахты их доля была мизерно малой, но Андрей и этим гордился.

— Ты знаешь, какой план дали шахте? — говорил он приятелю. — Ох, большой план! Прокопий Максимович говорит: трудно нам будет этот план поднять с нашими порядками...

Но Виктор не знал нового плана шахты. Его и не интересовал этот план. Его ничто сейчас не занимало, только — собственная норма, только то, что он сам должен дать.

Его мир как-то странно сузился. В сущности, всем его миром теперь был один его уступ. В этом мире он жил, работал, думал. Это был крохотный мир — один аршин в высоту, один уступ в длину, но даже и этот мирок он не мог победить, он, мечтавший когда-то завоевать целый мир!

После того памятного воскресенья у Прокопа Максимовича Виктор сказал себе: я должен стать шахтёром! Нравится, не нравится — должен! Не бежать же с шахты в самом деле!

Сперва он горячо взялся за дело. Он был ещё учеником тогда. Стал прислушиваться к учителю; сбил в кровь руки, пытаясь овладеть обушком.

Но уголь упорно не давался ему, и он отстал. Теперь ему приходилось убеждать себя работать.

— Это необходимо, необходимо, необходимо! — твердил он себе. Необходимо трудиться. Без труда всё равно нельзя жить, невозможно. Конечно, он мог бы работать на Магнитке, или в Сталинграде на Тракторном, или даже плавать на китобойце в Охотском море... Но так вышло, что попал он в шахту. Пусть! Значит, надо трудиться в шахте.

Надо рубать уголь, будь он проклят! — Надо, надо, надо! — говорил он себе. И рубал... Рубал, скорчившись, обливаясь потом, задыхаясь от терпкой угольной пыли и чуть не плача... Рубал, а всё не мог вырубить нормы.

Все мечты его свелись теперь к одному: вырубить сменную норму. Митя Закорко легко вырубал две.

Имя Мити Закорко сейчас гремело на шахте. Это был тот самый Митя-футболист, первый учитель Виктора, с которым он сразу не поладил. Сейчас Митя имел право посмеиваться над Виктором. Вчера он вполз к нему в уступ и сказал насмешливо:

— Эй, Виктор! Я две нормы сделал, могу взять тебя на буксир. Подмогну, а?

Но Виктор и не гнался за Митиными рекордами, он уж о славе и не думал. Ему бы только вырубить норму в смену и потом прийти в общежитие и швырнуть Светличному в лицо, прямо в лицо:

— Я норму сделал. Ну?

Он знал, что Светличный и не заметит дерзкого тона, а радостно вскрикнет:

— Молодец! — и схватит за плечи. — А не врешь?

Но он ни разу ещё не вырубил нормы...

Он приходил домой усталый и сразу валялся на койку. Вокруг него шумели ребята — собирались в клуб, в кино; он лежал и тупо смотрел в потолок. Даже с Андреем он разговаривал теперь неохотно.

Андрей тоже пока нормы не выполнял. Он трудился усердно, шахта полюбилась ему — её мудрая тишина и задумчивое одиночество забоя. — он нашёл уже радость в молчаливом, не видном людям труде шахтёра, — но он был медлителен, неповоротлив, неуклюж; он никак не мог управиться с нормой.

Он и сам не замечал, куда убегает время; оно словно между пальцев у него текло. Он научился у Антипова обстоятельности и аккуратности в работе; сноровку мастера он перенять не успел.

Андрей и по природе своей был тяжеловесен и не быстр, в школе его недаром прозвали «тюленем»; он ворочался в норе забоя медленно, туго, посапывая, как тюлень, только к концу упряжки удавалось ему разойтись и размяться, да поздно: нормы не было.

Пристыженный, понуро подымался он на-гора. Он тоже страдал, как и Виктор, от своей неудачи, но по-своему. Винил он только себя. Какими глазами посмотрит он теперь на Прокопия Максимовича и Светличного? Но Прокопий Максимович ещё утешит: ну, что ж! Не сразу. Научись! Светличный же ничего не прощал.

Он и не умел прощать. На все «не могу» и «невозможно» он отвечал кратко:

— А почему я могу?

Он никогда не требовал от людей того, чего не мог бы потребовать от самого себя. Но он никогда и не спрашивал с людей меньше, чем спросил бы с себя: словно все люди должны были мочь то, что он может.

Отчего Андрей так боялся Светличного? Светличный не был ни начальником, ни даже бригадиром. Но он был комсоргом, то есть больше, чем властью, — совестью.

Как собственная совесть, беспощадно спрашивал он Андрея: ну, как добычь? И Андрей молча, виновато опускал голову.

— Эх, ты! — презрительно махал рукой Светличный. — Только людей подводишь!

На это нечего было ответить. И он, и Виктор, и Мальченко и Глеб Васильчиков, парень из Харькова, действительно подводили всех,— всю комсомольскую лаву.

Комсомольская лаву была детищем Светличного. Это он настоял на том, чтоб комсомольцам дали отдельную лаву — поле, где они смогли бы показать себя, ни за чью спину не прячась. Поддержавший Светличного Стружников предложил, чтоб работали в этой лаве не только мобилизованные, а и местные комсомольцы. Это было разумно: среди местных комсомольцев были настоящие мастера. Так родилась комсомольская лаву. Митя Закорко был её гордостью, Виктор — её позором.

Как бы ни «законуривался» в своём мирке Виктор, как бы ни сопел в забое Андрей,— они были видны всем — их дела были на доске соревнования у самого входа на шахту. Люди могли видеть: эти комсомольцы работают плохо.

— Позор! — хмурясь, вздыхал Стружников. — Хоть с шахты беги!

По вечерам Светличный «исповедовал» ребят. Он подсаживался на койку к Виктору и начинал донимать его:

— Тебе что мешает работать? Ты скажи! В чём причина?

— Отстань! — тихо просил Виктор.

— Не отстану, ишь нервный! Должна же быть причина? — допытывался Светличный.

— Отстань! Уйди!

— И что ты за человек — не пойму! Ты хоть то понимаешь, что по твоей милости мы и семидесяти процентов не выполняем?

— Тебе процент важен! — горько усмехался Виктор. — А человек?

— Да, процент! — спокойно отвечал Светличный. — Процент — он и есть показатель человека. Вот Митя Закорко, он две нормы даёт. Он и выходит двухсотпроцентный парень, он трёх таких, как ты, стоит. А ты какой — семидесятипроцентный, недоделанный? Эх, ты! — он махал рукой и шёл к Андрею, Васильчикову, Мальченко: «исповедовать» тех.

— Я по вашу душу пришёл,— говорил он. — Ненавидите меня, а? Ну-ну! А вы другого комсорга изберите, подбробнее.

— Нет, мы тобой довольны,— заискивающе отвечал Васильчиков.

— А я тобой — нет. Как норма?

— Так разве же я не хочу? Я б всей душой... Так если не могу я?..

— А почему я могу? Почему Осадчий может? Почему Очеретин может?

В самом деле, почему Очеретин может? Очеретин — это было особенно удивительно.

Серёжка Очеретин был вертлявый, конопатый, скоморошьего типа парень; в нём всё как-то непристойно подмигивало, не только глаза и лицо, а и плечи, и руки, и бёдра. Такого на каждой деревенской вечерке встретишь, их призвание — потешать людей. Всерьёз их никто не берёт.

— Я, ребята, — хулиган! — отрекомендовался он сразу же, ещё в эшелоне. И сияя, посмотрел на всех своими синими, лучистыми глазами. В те редкие минуты, когда он не подмигивал, оказывалось, что у него хорошие, чистые глаза, цвета синего неба.

Но тут он опять подмигнул:

— Из-за меня, ребята, целый пленум два дня заседал,— хвастливо сказал он. — Да-а! Целых два дня! Чи меня исключать, чи куда на перевоспитание отдать. А потом догадались: сдали в шахтёры.

Всю дорогу он рассказывал о своих успехах на вечерницах, о том, сколько женских сердец разбил. Все видели: врёт парень! Но он врал артистично, красиво и как-то очень добродушно, не требуя себе веры и не обижаясь, когда ему в глаза говорили, что он заврался.

— Ну и вру! — соглашался он. — А ты зачем же слушаешь? Значит, я хорошо вру. Я, может, писателем собираюсь стать. А? Что?

Все потешались над ним, а когда он уж очень надоедал своей болтовнёй, — просто говорили ему: «Уйди, Серёжка! Надоел!» — и он уходил.

Всерьёз его и тут никто не брал. Только Светличный озабоченно следил за ним: «Этот сбежит первый!».

Но он не сбежал, а как-то, даже раньше всех других, вошёл в частную жизнь рудника, обзавёлся приятелями, хвастался даже, что и девчат имеет знакомых. Дважды приходил он в общежитие поздно и навеселе. Когда Светличный стал распекать его за это, он кротко всё выслушал и вздохнул:

— Правильно объясняешь. Хулиган я. Так и наш секретарь выговаривал, бывало. — Потом с любопытством посмотрел на комсорга. — Теперь исключать будете, чи как?

Когда ребят распределяли по профессиям, на Очеретине споткнулись.

— Ну, а этого вертлявого куда? В коногоны или в лесогоны?

— В ветрогоны его, — сосрился Мальченко.

Определили Очеретина в лесогоны, но через несколько дней он сам уже как-то перевёлся в забойщики.

— В забое, ребята, заработки лучше! — объяснил он, подмигивая. — Я как первую получку получу, кашне себе куплю. Шёлковое, с кисточками. И галоши. Сроду я в галошах не ходил, интересно!

Ребят, убежавших с шахты, он искренно не мог понять.

— И куда бегут? В деревню! Вот новости! Так разве ж можно деревню с шахтой сравнить? На шахте ж — культура! Кино каждый день, и в воскресенье — футбол. От чудак!

Разумеется, никто ему не поверил, когда он объявил однажды, что сегодня он норму вырубил.

Все засмеялись только.

— Ох, и здоров же ты врать, Серёжка!

И он сам засмеялся. Подмигнул. А потом стал врать про свой роман с ламповой Надькой.

— Ужасный роман получается, ребята. У Надьки жених во флоте...

А норму он действительно выполнил. И на следующий день — тоже. И на третий день опять. В комсомольскую лаву он пришёл уже как надёжный забойщик.

Теперь по вечерам в общежитии он хвастался тем, сколько заработал и что купит на эти деньги.

— Я, ребята, себе костюм куплю, чистой шерсти. И туфли «Скорход». А Надьке, так и быть, джемпер подарю, шёлковый. Пусть пользуется... — Недавний батрачёнок и сирота, отродясь целой десятки в руках не державший, он словно опьянел сейчас от возможности покупать всё, чего душа хочет; в своих мечтах он уже накопил больше, чем заработал. — А ещё я гитару себе куплю или велосипед. Буду на шахту на своём велосипеде ездить, как буржуй... Красота, ребята!

— Рвач ты, Серёжка, вот ты кто! — зло сказал ему однажды Глеб Васильчиков, сам ни разу ещё не выполнивший нормы.

Очеретин опешил.

— Кто я? — спросил он, часто моргая своими белыми ресницами.

— Рвач ты. Душонка кулацкая, — повторил Васильчиков.

И Серёжка, ещё ни разу в своей жизни ни на кого не обидившийся и привыкший ко всяким поносным словам, вдруг почувствовал себя оскорблённым.

— Отчего же я рвач, Светличный, а? — жалобно обратился он к

комсоргу. — Ну, хулиган я, это да, не отрицаюсь. А зачем же рвач? Я ни у кого не ворую...

— Ты что про Серёжку сказал? — тихо спросил Светличный Васильчикова, и брови его сдвинулись вдруг к переносице.

— Рвач он. Видишь — он за длинным рублём сюда приехал...

— А ты приехал зачем?

— Я? Я — по сознанию... — важно ответил Глеб.

— Значит, ты сознательно свою норму не выполняешь? — спросил Светличный.

— Это... это ни при чём здесь...

— Нет, при чём. Грош цена твоему, сознанию, когда за ним дела нет. Болтун ты... сознательный пустозвон, вот кто! А Серёжка, — сказал он громко, чтобы все слышали, — Серёжка — молодец! Он смело может всякому в глаза смотреть: за ним долга нет. Он свой уголь даёт. А деньги он заработал честно...

— Честно, честно, вот именно!.. — обрадовался Серёжка и подмигнул, сразу развеселившись.

На другой день после этого разговора его имя впервые появилось на красной доске. Указал на это Очеретину Андрей, сам Серёжка и не заметил бы.

— Вот, читай! — сказал Андрей без зависти: — С. И. Очеретин.

Серёжка тупо посмотрел на доску и испугался:

— Это кто же С. И. Очеретин? Зачем? — спросил он растерянно.

— А это ты и есть.

— Чудно! — недоверчиво протянул он и ещё раз прочёл надпись. — А откуда ж они узнали, что я — Иванович?

— В документах прочли. Ну, пойдём, — похвастаешься в общежитии. Но Очеретина теперь невозможно было оторвать от доски.

— Так это я и есть? — осклабился он и вдруг во всё горло захохотал. — Правильно! С. И.! Как в аптеке! Постой! — испугался он. — А может, это ошибка? Не я? А? Как думаешь? Может, завтра сотрут?

— Если плохо станешь работать — сотрут.

— Ну, да... Конечно... А так... не имеют права стереть?

— Нет. Ну, идём же!

Они пошли, но Серёжка ещё долго оборачивался на доску.

Вечером ему торжественно вручили красную книжку. В общежитие пришёл фотограф с магнием фотографировать ударников. Когда очередь дошла до Серёжки, все ожидали, что он выкинет какую-нибудь штуку. Он действительно подмигнул ребятам и, вихляясь, сел в кресло, но тотчас же и растерялся. «Эта карточка на доске будет висеть! — вспомнил он и даже вспотел. — Это уж не шутки!» Таким он и получился на фотографии — растерянно-испуганным, с петушиным хохолком на лбу.

— Как фамилия? — спросил равнодушно фотограф.

— Сергей Иванович Очеретин, — чужим голосом ответил Серёжка. Он был явно не в своей колее. Старая, скomorошья линия поведения была уже невозможна для С. И. Очеретина, новая линия — не находилась.

Несколько дней он бродил, как неприкаянный, потом пришёл к Светличному.

— Я сегодня сто двадцать процентов дал, — сказал он угрюмо. И посмотрел на комсорга.

— Хорошо! Молодец! — обрадованно ответил тот.

— Да, — помялся Серёжка. — А теперь что?.. — спросил он.

— Теперь? — засмеялся Светличный. — Теперь — полтора ста давай.

— Хорошо. Дам полтора ста.

Он потоптался на месте, потом вздохнул.

— А имею я право Митю Закорко вызвать? — вдруг спросил он.

— Отчего же? Только он две нормы даёт.

— Хорошо. Две дам.

Он опять потоптался, потом, не глядя на Светличного, сказал:

— А выпивать я теперь, значит, не имею права... поскольку ударник?

— Нет, отчего же! Если в меру — можно.

— А за это не вычеркнут?

— Если в меру — нет, — засмеялся комсорг.

— Ну-ну! — пробурчал Серёжка и вдруг радостно, от всей души расхохотался. — Чудно-о! Если в наш район про меня написать, не поверят, ну, ей-богу, не поверят! — он хотел подмигнуть, как бывало, но это у него теперь не получилось. — Ну, до свидания пока! — солидно сказал он и вышел.

Светличный ласково посмотрел ему вслед.

— Ишь ты! — усмеялся он и покрутил головой.

Весь этот день он был в празднично-радостном настроении. Вспомнил Серёжку. Как он, хмыкая носом и топчась, выпрашивал себе новую цель: а теперь что? «Это в нём — человек проснулся! И какой человек! Гордый, с чувством собственной силы и достоинства».

«Но это не я в нём разбудил! — честно признавался себе Светличный. — Я его и не заметил. Это шахта разбудила, труд. Как же мне теперь разбудить огонёк в Викторе Абросимове, в Мальченко, в Васильчикове? Нет, плохо я работаю, плохо. Надо мне серьёзно взяться за них».

И он «брался» за отстающих, стыдил, ставил Серёжку в пример, накачивал. Он и сам ещё был молод и неопытен, он думал, что стоит «накачать» человека, — и он полетит, как воздушный шар. Сложная наука воспитания человеческого характера была ещё неведома ему; он просто и не умел разбираться в душевных тонкостях и настроениях ребят.

Он злился, кричал на них, срамил на собраниях, — помочь им он ещё и сам не умел. Особенно Виктору.

А Виктору надо было помочь. С ним было совсем плохо.

Глава 11

Однажды утром Виктора разбудило какое-то странное дребезжание — нет, жужжание — оконных стёкол. Он прокинулся, вскочил, прислушался. Стёкла жужжали. Казалось, тысяча звонких пчёл билась в окна, требуя, чтобы их впустили...

— А-а! — с тоской догадался Виктор. — Зовёт уже! — и вдруг почувствовал, что сегодня он уж никак не сможет заставить себя встать и пойти на шахту. Да и не хочет!

Он опустил голову на подушку — подушка была добрая, родная, — но глаз не закрыл. Перед его койкой попрежнему висел плакат: «Шахтёр, дай добычу!» Как всегда, слова сразу же бросились на Виктора, едва только он неосторожно повёл головой. Сейчас эти слова были неприятны ему. Особенно второе, требовательное: дай!

— А я не хочу! — сказал Виктор и, натянув одеяло на уши, шумно повернулся на левый бок.

Стёкла продолжали дрожать и тренькать. Это только спросонья могло показаться парню, что они жужжат. Они просто звенели, сотрясае-

мые необыкновенным хором гудков, никогда ещё не бывшим таким согласным и дружным, как в это утро. Обычно гудки возникали поодиночке, отставая друг от друга на пять, десять, даже пятнадцать минут. А сегодня они взревели все вдруг, разом, словно сговорились растормошить Виктора.

Он спрятал голову в подушку. Не хочу! Не хочу вставать!

Но над ним уже наклонялся Андрей.

— Эй, вставай, вставай, Витя! Вставай, братику! Пора! — говорил он, бережно, но настойчиво расталкивая товарища, казавшегося ему спящим. — Вставай! Слышишь — гудки...

Виктору пришлось приподняться.

— Что это они сегодня взбесились? — недовольно пробурчал он, ещё не решив, что делать — притвориться ли больным или сказать прямо и дерзко: не желаю больше! — У, чёрт, как воют! — поёжился он и не встал.

— Та я думаю, что то просто к празднику часы везде поставили по радио, — вот гудки и заревели разом! — объяснил Андрей. — А ты вставай, вставай, Витя! — умоляюще прибавил он. — Ну, что же ты, ей-богу! Ну, нельзя ж!

«Да, да, завтра — праздник, седьмое ноября, — вспомнил Виктор. — Как же я не подумал об этом? Придётся, значит, вставать. Ничего не поделаешь».

Он нехотя отбросил одеяло и стал одеваться. Андрей торопил его:

— Быстрой, Витя, быстрой!

Виктор вяло подчинялся. Своей воли у него уже не было. Послушно потащился за товарищем в умывалку, в сушилку, в столовую...

Из столовой, как всегда, вышли гурьбой, во главе со Светличным, и гурьбой же пошли к шахте. Когда-то, в первые дни, Виктору нравилось и наблюдать, и самому участвовать в этом торжественном утреннем шествии на работу. В этот ранний час никого, кроме шахтёров, нет на улицах посёлка, как на поле боя нет никого, кроме воинов. Зато шахтёры — везде. Со всех сторон сходятся они к шахте. Гуськом, по бесчисленным тропинкам идут они через степь; спускаются с холмов, переходят балки, где в одиночку, где группками, кто — торопливым шагом, кто — даже бегом; но всё это по-утреннему молча, даже как-то сурово, торжественно; громких голосов нет, разговоров и смеха не слышно, только изредка раздаются возгласы приветствий — как переключка часовых в тумане... Чем ближе к посёлку, тем всё больше густеют шахтёрские цепи; в светлорозовой дымке утра обушки кажутся Виктору боевыми секирами, огни лампочек — факелами, нераздутыми до поры... Что-то грозно-воинственное есть в этом движении чёрных людских толп через степь, может быть оттого, что все движутся в одном направлении, словно связанные общим, тайным согласием, единой волей и одной целью. Здесь, как в армии, нет случайных, посторонних людей; есть незнакомые, но нет чужих; все люди разные, но все — шахтёры... Через час всё это дружное войско будет уже рубиться под землёй.

А пока оно властно захватывает улицы посёлка. На всех перекрёстках присоединяются к нему новые отряды вооружённых людей; из всех переулков, дворов и палисадников выходят и вливаются в молчаливый поток новые вооружённые люди, и у всех у них общее оружие — топор или обушок, и единая воинская форма — чёрный шахтёрский «бархат»...

Об одном только горевал тогда Виктор, что и сам он, и его товарищи ещё не выглядят настоящими шахтёрами. Всякий сразу заметит это, только глянув на их новенькие, чистенькие спецовки, на их робкий, дыплячий вид...

Сейчас горевать было не о чем. Уже никто не отличил бы наших ребят от заправских шахтёров. Они чувствовали себя на руднике, как дома. Они смело шагали по улице. Их спецовки давно уж не были ни новенькими, ни чистенькими, они повидали виды, от них крепко пахло углем и шахтой, как от шинели бывшего солдата пахнет порохом и окопом... Единственное, что выделяло ребят в общем молчаливом потоке, — это звонкая ревность их голосов.

Они шли по улице, весело болтая на ходу.

— А я умою сегодня Митю Закорко! — хвастался Серёжка Очеретин. — Я его перекрою, вот плюньте мне в глаза, если совру...

— Да, это хорошо б, кабы удалось встретить праздник каким-нибудь рекордом! — отозвался Светличный.

— Меня, ребята, лес держит! — сказал Осадчий. — Чёрт его знает, что у нас с лесом. Ты б на это обратил внимание, Светличный!

— Лес, действительно, не стандартный, — вставил Андрей и вздохнул. — Много времени зря уходит на подгонку...

Виктор не участвовал в разговоре. И не хотел, и не мог. Что сказал бы он ребятам? Они говорили только о шахте, всё время о шахте. Они уже ею жили. Она сделалась главным делом их жизни. Для них шахтёрский труд стал уже радостью, для него ещё был постылой необходимостью. Чёрт его знает, отчего так неудачно вышло у него! Может, перевестись на другую шахту да там попроситься в коногоны? Всё-таки коногонить веселее, чем рубать уголь. А ещё лучше — поступить бы в кавалерийскую школу. И на границу. Куда-нибудь далеко-далеко, на самый Дальний Восток. В тайгу. Ловить диверсантов.

Ему никто не мешал мечтать и строить любые воздушные замки. Ребята словно забыли о его существовании, хоть он и шёл рядом. Даже Андрей, увлечённый беседой со Светличным, не трогал его. И когда Виктор остался, наконец, один в своём уступе, он был не более одинок, чем всё утро на людях, на поверхности...

Он даже обрадовался этому одиночеству в первый раз в своей ребячьей жизни.

Работать ему не хотелось. Он, правда, заправил зубок, повертел обушок в руках, но тотчас же и отложил в сторону. Он ещё успеет сбить руки в кровь. Всё равно нормы не вырубишь. А чуть больше половины или чуть меньше — какая разница!

Да, хорошо б в кавалерийскую школу!.. Или в дальнее-дальнее плавание. Плыть себе под парусами по всем морям и океанам, и горюшка не знать. Он лёг, подложил руки под голову и стал смотреть в кровлю. В её матовом зеркале можно было, как на экране, увидеть всё, о чём думаешь. Конечно, далёкое плавание — это глупая детская мечта. Этого никогда не будет. И под парусами теперь никто не плавает. Но тайга — это возможно. Ну, пусть не пограничный отряд, пусть — новостройка. Сейчас начато много строек в тайге... Говорят, в тайге, как и в шахте, нет неба. Его там из-за деревьев не видно. Но в тайге не так черно, как тут. Там всё — зелено, зелено, зелено... И хвоей пахнет... Кедр... Это та же сосна, но больше...

Незаметно он уснул. Но приснилась ему не тайга, и не граница, а какая-то совсем необычайная, незнакомая, жаркая страна с высоким-высоким небом. И в этом небе, одновременно похожем на голубой Пёсел, всё время беспечно кувыркался и плыл Виктор, размахивая руками, как крыльями... И не было ничего счастливее этого парения...

Его растолкал десятник.

— Ну вот, полюбуйтесь! — с отчаянием вскричал он. — Вот какие у нас ударники! Как хотите, товарищ Ворожцов, а никаких больше сил моих с ними нету!..

— Да-а... — хмуро сказал человек, которого десятник назвал Ворожцовым. — Добрые люди к празднику с достижениями идут. А у нас вот какое достижение!.. — он поднёс свою лампочку прямо к носу Виктора и осветил его лицо. — Ты чей будешь? Кто? Как фамилия? — строго спросил он.

Но оглушённый Виктор ничего не смог ему ответить. Он сам ещё не понимал, что с ним стряслось. Что тут произошло? Откуда взялись в его уступе эти двое? Кто они?

— Абросимов ему фамилия! — сердито ответил за Виктора десятник. — Комсомолец.

— Комсомолец? — недоверчиво переспросил Ворожцов. — Совсем плохо. Сон на посту... да... За это, брат, в армии — расстрел. — Он опустил лампочку и коротко приказал: — Давай, работай! Потом поговорим с тобой.

Виктор поспешно схватил обушок. Ворожцов некоторое время молча смотрел, как он неумело, но яростно рубает уголь, потом, ничего не сказав, покинул забой. Только по его уходу Виктор вспомнил, что Ворожцов — это новый секретарь шахтпарткома. Значит, вот кто нашёл его спящим в уступе... Впрочем, теперь уже всё равно — хуже чем есть не будет.

К концу смены, как всегда, приполз Андрей. Он работал в верхнем уступе.

— Ну, как дела, Виктор? — нетерпеливо спросил он. — Вырубил норму?

Виктор ничего не ответил.

— Неужели не вырубил? — ужаснулся Андрей. — Как же ты, брат, а? — Он с сочувствием посмотрел на товарища. — Ведь такой день завтра. А я вырубил! — На его лице появилась застенчивая и счастливая улыбка. Ему хотелось во всех подробностях рассказать о своей удаче. Но он понял, что сейчас это будет неприятно Виктору.

— Ну, ничего! — сказал он, желая утешить приятеля. — Ты только духом не падай! В следующий раз — вырубишь. Знаешь, это вполне возможное дело... Только захотеть...

Но сочувствие товарища только разозлило Виктора. Не нуждается он ни в снисхождении, ни в утешении! Он с досадою закричал:

— Я б и сам вполне свободно вырубил норму. Ты не думай! Только я болен. Болен! Слышишь? У меня всё нутро болит! — чуть не со слезами вскричал он. — Всё болит! Тут я прилёт немного... понимаешь? А Ворожцов подумал: сплю...

— Так что же ты... Что же ты утром молчал, Витя? — встревоженно воскликнул Андрей и, схватив лампочку, торопливо придвинулся поближе к товарищу. — Может, тебе и в шахту не надо было ехать? Плохо тебе сейчас, да? Плохо? — Он поднёс лампочку к его лицу, совсем так, как недавно Ворожцов; лицо Виктора было красным.

— Ничего я не болен — хрипло сказал Виктор. — Я просто спал в забое. Спал, как сукин сын. — Он схватил инструмент и, не глядя на Андрея, быстро пополз из лавы. Окончательно сбитый с толку, Андрей пополз за ним. Он только одно понимал в эту минуту: приятелю плохо, очень плохо, а он не знает, чем ему помочь.

На рудничном дворе они встретили Светличного. Тот уже знал о том, что случилось с Виктором в забое.

— Опять ты отличился, Абросимов! — с досадою сказал он Виктору. — Ты что это, нарочно делаешь, что ли? Нет, ты скажи мне, что ты хочешь доказать? И кому?

— Да он болен, болен... — поспешно вмешался Андрей. — Федя, ты ж посмотри на него — он совсем больной.

— Болен? — недоверчиво спросил Светличный и внимательно посмотрел на Виктора. — Непохоже что-то... Ну, ладно! Успеем ещё поговорить. А теперь — пошли получать зарплату. Может, с получкой и болезнь придёт.

— Немного-то нам получать придётся, — сконфуженно сказал Андрей.

— Как работали, так и получите.

Но, видно, совсем плохо работали оба приятеля, — даже кассир удивился и насмешливо покрутил головой:

— Значит, здоровье своё бережёте, молодой человек? — сказал эн, вручая Виктору деньги. — Ну-ну! Здоровье, конечно, всего важней.

Виктор смял бумажки в руке и ничего не ответил.

А как гордо мечтал он ещё недавно о первых заработках! Твёрдо определил, что пошлёт большую сумму матери в Чибиряки. «Вот, мол, мама, знайте, что сын ваш уже стал на ноги. Теперь не журитесь, мама!» Но, видно, долго ещё придётся маме ждать подарка от непутёвого сына. Того, что заработали они с Андреем, и на еду нехватит. Как будут они жить до новой полочки? Брать взаймы у богатых товарищей? Как странно переменялись эти старые категории: богатый — бедный. Серёжка Очеретин — богач, потому что хорошо работает, а Виктор Абросимов — бедняк, потому что спит в забое. И никто не должен жалеть его, бедняка. И бедностью этой нельзя гордиться. Постыдная бедность. Позорная бедность. Он сам сейчас стыдится её.

Вечером в клубе состоялось рабочее собрание. Виктору пришлось пойти, на этом настоял неумолимый Светличный. Комсорг даже сел рядом с Виктором, словно боялся, что тот убежит. Но Виктору и бежать-то было некуда. Разве что провалиться сквозь землю. Он понимал, что не зря привёл его на собрание Светличный. Значит, приурочено здесь, на собрании, что-то специально для него, для Виктора. Но что? Это не может быть ничем хорошим — хорошего Виктор не заслужил. Значит, что-то тяжко позорное, худое. И, видно, очень худое, если Светличный предполагал, что Виктор не вытерпит, сбежит. Но что, что это? И когда и как это будет?

Этого можно было ждать всякую минуту. С той самой поры, как поднялся на трибуну секретарь шахтпарткома Ворожцов, живой свидетель того, что случилось с Виктором в забое, — Виктор уже покоя не знал. Он с трепетом слушал доклад секретаря и, замирая, ждал, что вот сейчас, через секунду слетят с уст Ворожцова роковые слова и навсегда запятнают бедное имя Виктора Абросимова. Но Ворожцов имени Виктора не назвал.

Потом чествовали лучшую бригаду забойщиков — бригаду Прокопия Максимовича Лесняка, вручали ей красное знамя, и Виктор смотрел, как бережно и с достоинством принимал старый Лесняк знамя из рук секретаря и потом нёс знамя через весь зал, держа прямо перед собой вытянутыми руками, уважительно и нежно. И Виктор машинально хлопал и старику, и знамени, потому что хлопали все — весь зал.

Затем стали чествовать лучших ударников, и на сцену, среди других, вышли сконфуженный Осадчий, совершенно растерявшийся от счастья Серёжка Очеретин и огненно рыжий, чисто вымытый и приодевшийся Митя Загорко. И опять Виктор машинально хлопал вместе со всеми и глядел, как моргает белёсыми ресницами Серёжка и как развязно, без капли смущения, словно артист, кланяется народу Митя Загорко;

прижимая левую руку к сердцу. И так велико было сейчас расстояние от сияющей вершины славы, на которой были и Митя, и Серёжка, и Володя Осадчий, до дна пропасти, в которой барахтался сам Виктор, что он даже не посмел позавидовать товарищам. Они были недосыгаемы. Виктор мог только хлопать им. И он хлопал. И при этом думал: «Ну, а когда же мой черёд? И что это будет, что, что?»

Наконец стихли аплодисменты, и Ворожцов сказал уже совсем другим, чужим голосом:

— Ну, а теперь воздадим по заслугам и тем, кто хуже всех работал! — и взял какой-то список со стола.

И сразу всё переменялось в зале. Только что это собрание было таким добрым, таким благодушным, даже ласковым; люди так весело и добросердечно хлопали героям, смеялись от всей души... А сейчас собрание притихло и как бы нахмурилось, и Виктор понял, что это пришёл его черёд. Он торопливо облизал губы. Горло пересохло.

Ворожцов назвал первое имя. Оно было незнакомо Виктору, но собранию известно.

Сразу раздалась голоса:

— На сцену его! На сцену!

— Прогульщик известный!

— На сцену!

— Пусть перед людьми встанет!

— Пусть народу глаза покажет!

И, странное дело, прогульщик пошёл на сцену. Спотыкаясь и пряча от всех глаза, шёл он по проходу, красный, взъерошенный, сразу ставший жалконьким и маленьким, шёл под свист всего зала, под насмешливые хлопки и крики. Но всё-таки шёл! Если б приказал ему взойти на помост Ворожцов, если б этого потребовало начальство, — он стал бы протестовать и не подчинился бы ни за что. Но против собрания своих рабочих товарищей, против их приговора он пойти не посмел. Только руки сконфуженно и виновато протянул к ним, когда уже взошёл на сцену: мол, пожалейте, братцы, не сильно срамите-то!

И вслед за ним пошли на помост все, кого называл Ворожцов: бракоделы, летуны, лодыри, прогульщики, «сборная команда чемпионов прорыва», как уж кто-то из зала окрестил их. Собрание всех их наказывало по-своему, по-рабочему: не штрафами, не взысканиями, а самым страшным, чем может наказывать трудящийся человек лодыря: презрением.

Наконец пришёл черёд Виктора.

— Я не пойду! — глухо сказал он, когда услышал своё имя, и умоляюще посмотрел на Светличного.

— Надо итти, — печально ответил тот, и Виктор, сгорбясь, стал подыматься с места.

— Ничего, ничего! — дружески шепнул ему Светличный. — Иди. Ничего. Надо.

Виктор пошёл. Светличный провожал его взглядом. Ему видна была только спина Виктора. Но и этого было достаточно. Светличный знал уже, что никогда не забудет этой спины. «А я ничем не помог ему! — вдруг впервые горько упрекнул он себя. — Только ноносил, срамил, ругал. Ни разу я с ним по-человечески не поговорил. Ключа к его душе не нашёл. Я, в сущности, не знаю даже, какой он парень. И вот он идёт на помост... А я сижу — и спокойно гляжу на это. И никто меня, комсорга, за это не казнит. А он идёт один... Все смотрят на него... Ну, подыми же голову, Витя! Подыми!» — И когда взошёл Виктор на помост, он уже был для Светличного самым дорогим, самым близким человеком на земле, — человеком, за которого надо бороться.

Но Виктор не знал этого. Он не видел ни Светличного, ни Андрея, вообще никого — в отдельности — из людей в зале. Он видел только: много глаз смотрят на него, и ему было страшно посмотреть в эти глаза. Страшно смотреть в глаза народу, когда ты виноват перед ним. Он опустил голову. Но прямо перед ним, в первом ряду, сидела старуха в будёновке, и её не увидеть он не мог. Она смотрела на Виктора в упор строгим, недобрым взглядом, словно пронизывала насквозь: «Отчего она так смотрит на меня? Что я ей сделал?» — испугался Виктор. А старуха всё продолжала смотреть на него. И всё в ней — от колючих пальцев до острого шпиля будёновки — было колючим и непримиримым. Она не знала Виктора. Но она на каждого из «сборной команды» смотрела таким же взглядом. Для неё все они были на одно лицо — виновники позора «Крутой Марии». Зачем они пришли к ним на шахту, эти чужие люди без стыда и совести? Позорить нас? Им наше не дорого. Они тут ни крови не проливали, ни слёз, ни пота. Они за длинным рублём сюда приехали, а мы за «Крутую Марию» жизни не жалеем. Они вог спят в забоях, бессовестные люди, — а наши вечным сном успокоились в братской могиле у шахты. И мой Никифор среди них.

И старуха с горючей ненавистью смотрела на Виктора.

Ворожцов вызвал последнего из списка:

— Свиридов! — объявил он. — Известен вам такой человек?

— Знаем, знаем его! — раздался голоса. — Рвач!

— На сцену его!

— Да зачем этого на сцену? — с сомнением возразил чей-то хриплый, простуженный голос. — Этот всё одно не застесняется. Стыда в нём нет.

— Всё равно, — на сцену, на сцену!

И Виктор с ужасом увидел, что к нему на сцену идёт Свиридов, тот самый Свиридов, который так обидно разыграл его и Андрея в лаве. Он был всё в той же круглой потёртой барашковой шапке, в сером воротнике, в ватных штанах, на его горле болтался пёстрый мохнатый шарф, на ногах были валенки с галошами, — словно Свиридову было очень холодно на этой земле и он всего себя укутал войлоком и ватой. Но на сцену он шёл действительно без всякого смущения, даже как-то весело, развязно, на ходу подмигивая знакомым, а взойдя на помост, přátельски подмигнул Виктору и даже игриво толкнул его локтём в бок. И это было последним и самым страшным унижением Виктора в этот вечер. Итак, вот до чего он докатился: он был в одной сборной команде со Свиридовым, под одним флагом...

Глава 12

Ему и восемнадцати лет не было. В сущности, он был ещё очень желторотый молодой человек. То, что случилось с ним на шахте, было всего-навсего житейским испытанием, не больше, его ошибки были первыми ошибками юноши, критика на собрании — первой суровой критикой в его жизни. Просто жизнь оказалась сложнее, грубее и строже, чем об этом мечталось на розовом песке у Псла. И, главное, — требовательней. Она всё могла дать молодому человеку в награду за его труд, а даром ничего не давала...

Но Виктору, со свойственной ему пылкостью и беспорядочностью воображения, всё теперь представлялось в густочёрном свете, как раньше в светлорозовом, он всё преувеличивал и считал себя глубоко и непоправимо несчастным, чуть не конченным человеком в восемнадцать лет.

Ему казалось, что на шахте все сейчас только и думают, что о его позоре, что теперь всегда и везде будут встречать его смехом и свистом, что он навеки заклеимён печатью «сборной команды», что даже ребята, и те уже брезгливо отвернулись от него, не хотят водить с ним компанию. Он забыл, что сам же первый убежал от них после собрания и нарочно пришёл в общежитие, когда все уже спали. Только Андрей и Светличный тревожно ждали его. Но и от них он торопливо отделался пустыми словами, юркнул в постель.

А уснуть не мог. Он, видно, простудился в этот вечер, когда без цели и смысла бродил под дождём по посёлку. Утром он не смог пойти на октябрьскую демонстрацию. Он лежал один в пустынном общежитии и думал о своей судьбе.

Сквозь стёкла струился тощий, осенний свет. Косо падал дождь над шахтой. За окном виднелся копёр, звезда над ним не горела. Только тонкая ленточка бледножёлтого дыма развевалась над кочегаркой, как знамя...

Раньше Виктор всегда нетерпеливо ждал октябрьских дней. Заранее сговаривался с товарищами: всем выйти в юнштурмовках. Это придавало мальчишкам воинский вид. Туго затягивали они ремни и портупей. Девчонок беспощадно гнали в хвост колонны. Мальчики сурово смыкали ряды. Тревожно бил барабан. «Ма-арш!» — звонким, срывающимся ликующим голосом кричал секретарь ячейки и вёл ребят на площадь, как на баррикаду.

Их ячейка считалась самой голосистой в городе. Комсомолец-учитель, недавно приехавший из Москвы, научил ребят песням, никому в Чибиряках не известным. Они пели «Бандьера росса» по-итальянски и «Красный Веддинг» — по-немецки и гордились, что знают эти песни. Всё детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наёмных солдат, и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас — винтовка; а остановка, отдых, покой — только в Мировой Коммуне.

В этих песнях для Виктора было образно сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули — он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах.

Но среди всех песен, что лёгким горлом пели он и его товарищи на демонстрациях, и на собраниях в ожидании председательского звонка, и по вечерам в клубе, и ночью на тихих улицах Чибиряк, — ни одной песни не было о труде, о шахте, о пятилетке. Тогда ещё не были сложены эти песни, а может быть, Виктор их просто не знал. И не было такой песни, что научила бы его тому, что сейчас делать.

Нет, он не мог пойти на демонстрацию рядом со Светличным, Очерстиным, Митей Закорко; нельзя ему итти, стыдно; и петь ему теперь нельзя; и на шахту он завтра не пойдёт; и на рудничную улицу никогда больше не выйдет, не посмеет выйти...

Но и лежать он больше не может. Он встал, оделся, подошёл к окну. Дождь всё падал и падал... Он, как коногонский кнут, хлестал рудничную улицу, и та вся съёжилась под его ударами и почернела. Была похожа она сейчас на мрачный и узкий штрек старой шахты. Так же низко висела над ней кровля осеннего тёмного неба; так же хлюпала вода и ползла по стенам грязными подтёками; лежала на всём мокрая, липкая угольная пыль; и дождь был — чёрный, и земля — чёрная; и голые, бурые тополя вдоль улицы казались не деревьями, а стойками

органной крепи, и колеи были засыпаны чёрно-рыжей жужелицей, как подъездные пути; и не было ни ветра, ни запахов трав, ни дыхания степи, а только уголь и дым, да едкий запах серного колчедана с террикона...

«Даже дождь тут пахнет не дождём, а шахтой!» — тоскливо подумал Виктор и пошёл к другому окну.

Но и в этом окне была шахта... Над нею нахохлился мокрый, хмурый копёр, и на его вершине монотонно-медленно вертелось колесо подъёмной машины.

«Никогда я не привыкну тут! — мрачно подумал Виктор. — Только зря пропаду!»

Эх, если б можно было начать жизнь сначала! Сначала и на новом месте. Как бы замечательно работал он на новом месте! Всё равно где, только бы далеко-далеко отсюда, там, где никто и никогда не узнает о его позоре, не напомним, не усмехнётся. Как бы он замечательно работал там! Он бы начал всё сначала, ни одной ошибки бы не повторил, сперва скромно учился бы у мастеров, а потом и сам стал мастером. Только бы позволили ему начать всё сначала и на новом месте. Он не знал ещё, что жизнь — не беговая дорожка стадиона, где после неудачного старта можно вернуться на линию и начать бег сызнова, по пистолетному сигналу. В жизни приходится стартовать именно с того места, где споткнулся или упал, если уж упал.

Он опять прилёг на койку. Его знобило. Он натянул одеяло. «А на шахте я не могу больше, как хотите!» Без славы ещё можно прожить, — как жить с худой славой?

Пришли ребята с демонстрации — мокрые, счастливые... Пустыня, в которой лежал доголе Виктор, вдруг заселилась голосами, смехом, жизнью. беготнёй.

Подошёл к койке Андрей, участливо посмотрел на друга.

— Ну как, легче?

— Нет.

У Виктора действительно началась лихорадка. В эту ночь он плохо спал; тревожно метался на горячей постели, рвал с себя одеяло, бредил... Смутно вспоминал он потом чью-то прохладную ладонь на лбу, обрывки видений, отзвуки голосов... Пьяный Шубин в шахтёрке из рваной рогожи куда-то звал его, тащил и всё подмигивал, как Очеретин. «Я, брат, бог, меня все боятся, со мной не пропадёшь!»

— Надо доктора позвать! — вдруг услышал он над собой знакомый голос.

Он очнулся. Было утро. Вокруг койки собралась вся смена: ребята были уже в шахтёрках.

— Мы сейчас к тебе доктора позовём! — повторил Светличный, и его голос прозвучал участливо, дружески.

Виктор увидел встревоженное лицо Андрея, испуганное — дяди Онисима; ему стало неловко, досадно; он вдруг рассердился: что они в самом деле! Я же ещё не умер!

— Мне... доктора... не надо! — прохрипел он. — Не надо! — и приподнялся на локтях, злой и взъерошенный.

Светличный снова посмотрел на него, на этот раз долгим-долгим взглядом. Но ничего не сказал, молча отошёл. Остался один Андрей. Он беспомощно топтался на месте, не зная, чем помочь другу.

— Отчего ж ты не хочешь доктора, Витя, а? — умоляющим голосом спрашивал он. — Мы ж хорошего доктора найдём, не сомневайся!

— Мне... доктор не поможет...

— Як же не допоможе? Он же доктор, учился этому...

— Отстань! — тихо попросил Виктор, и Андрей смолк.

Растерянно топтался он у койки, переступая с ноги на ногу, — топтуном его ещё мать прозвала, — потом побежал куда-то, принёс кувшин с водой, поставил на табуретку подле кровати Виктора.

— Может, тебе пить захочется...

Ему вдруг захотелось приласкать товарища, — никого на этой шахте не было для него дороже, — но он не знал, как это делается. Не целоваться же! В их давней и крепкой дружбе нежностей никогда не было. Они стыдились нежностей, они не девочки.

Между тем, во второй раз и уже настойчиво, сердито гудел гудок «Крутой Марии», требовал Андрея в «упряжку». Андрей ещё раз посмотрел на товарища и, словно извиняясь, сказал:

— Так я пойду, Витя, а?.. — Он подождал ответа и, не дождавшись, убежал.

Виктор остался один. И обрадовался, что остался один. Присутствие ребят раздражало его. Они, правда, ни словом, ни взглядом не напоминали ему о том, что произошло. «Проявляли чуткость», словно сговорившись. Но их молчание было ещё оскорбительней. Лучше бы уж ругали в открытую, как он сам себя ругает, только бы не молчали! И не прятали бы от него своих насмешливых или сочувственных глаз. Их всё равно не спрячешь! С той минуты, как взшёл Виктор на помост, глаза товарищей стали ему страшнее любых, пусть самых резких и беспощадных слов.

Неожиданно пришёл врач, добрый, разговорчивый старичок.

— А ну, покажитесь-ка, молодой человек, что тут у вас? — Он стал внимательно выслушивать больного. — Так, так, чудесно, хорошо!.. — весело приговаривал он при этом. — А ну дышите! — Виктор послушно исполнял всё, что требовал доктор: высовывал язык, дышал и не дышал, а сам всё время думал: «Был ли доктор на собрании? Знает ли? Отчего об этом молчит, не спрашивает? Или тоже проявляет чуткость?».

— Ну-с, ничего опасного! — объявил, наконец, доктор. — Грипп. Самый вульгарный грипп. Ничего более. — Потом шутливо похлопал больного по плечу. — Всё-таки полежать придётся денёк-другой. Что? Не хочется? В ваши годы и я терпеть не мог лежать. Впрочем, и теперь не люблю! — Он выписал бюллетень, прописал лекарство и ушёл. Эх, если б мог он прописать Виктору перемену климата!

Днём зашёл дядя Онисим, комендант, зашёл специально проведать больного.

— То ничего, ничего! Пройдёт! — сказал он. — У меня у самого в каждом лёгком по вагонетке угля, а — дышу! И хорошо, замечательно дышу. Это через то, что я углём дышу. Оно ж, як голубиное дыхание, — естество!..

Он хотел развеселить болящего, с тем и пришёл. Стал рассказывать всякие басни про шахту. Ни про что другое он и не мог бы рассказывать, потому что ничего другого и не знал. Всю свою жизнь провёл он под землёй; на поверхности только отсыпался.

— Это с того у тебя приключилось, — неожиданно сказал он, — что ты ж не крещёный.

— Что?.. — рассеянно переспросил Виктор.

— Не крещёный! Раньше, бывало, як новичок в шахту едет, ему обязательно скажут: ты ж, хлопче, не забудь в шахте под благословение подойти, не то — пропадёшь! Завалит тебя или так убьёт... «А к кому ж, спрашивает, подойти? Разве ж на шахте поп есть?» «А как же! Без по-па нигде нельзя. Есть специально шахтёрский поп. Отец Спиридон. У ствoла стоит. К нему и подходи». А у нас действительно ство-

ловой был — Спиридон. Мужик бородатый, видный. Ну, дадут ему сигнал, что новичок едет, — он уже готов. Новичок из клетки вылезет, оглянется, видит — действительно стоит Спиридон. Ствольные и тогда балахоны носили, с капюшоном, как и сейчас. Верно, на монаха смахивает, и борода — чистый поп. Новичок шапочку скинет, да и к ручке, робея... «благослови, отец Спиридон!» А тот, сукин сын, ведёрко возьмёт, — специально имел! — да мокрым помелом и благословит: «благословляю тебя, раб божий, в шахте ищачить, на хозяина горб гнуть! Аминь!». Вот як бувало... — и он засмеялся.

Виктор бледно улыбнулся тоже.

— От! — продолжал старик. — От як бувало... А вы... вы ж шахты так и не бачили. Э, ни! Разве ж теперь шахта? Теперь — курорт!.. Добрее стала шахта к человеку, — а ни завалов, а ни выпалов. И работа легче. Ты скажи, пожалуйста, — удивился он, — всё человеку мало! От теперь на машину всё переложить хотят. Только и слышно кругом: механизация та механизация... Ой, предчувствую я, — заведут-таки моду, чтобы в белых перчатках уголёк рубать...

Но Виктор уже не слушал его. С тоской думал он, что завтра, послезавтра снова придётся лезть в шахту, закопуриваться, долбить уголь, толкаться боками о породу, головою о кровлю, как птица в клетке...

— Так не понравилось тебе у нас? — тихо и словно невзначай спросил дядя Онисим. Он давно уж сидел молча и смотрел на Виктора внимательно и печально.

— Да, не понравилось.

— Ну-ну! — обиженно покачал старик головой. Потом встал и сказал с сердцем: — Эх, не видали вы горя, привередники, маменькины сынки! Лёгкого вы пуха люди... тьфу! — и ушёл рассерженный.

Обед Виктору принесла уборщица, тётя Ньюша. Он съел его равнодушно, без аппетита, даже не заметив, что ест.

В это время вернулись ребята с шахты. Они вошли, продолжая горячий спор, возникший, вероятно, ещё под землёй.

— А я ж вам говорю — это переворот! — страстно кричал черноокий Осадчий. — Это ж революция! Вот пусть Светличный скажет.

— Переворот твоего воображения... — насмешливо возражал Глеб Васильчиков. — А на деле — пшик! Пшикнул — и скис.

— Так это ж только начало! Ты то пойми — начало! Аэроплан тоже не сразу полетел!..

— Вот сравнил! Аэроплан и... отбойный молоток.

— А отчего ж не сравнивать? — запальчиво спросил Осадчий.

— А оттого, что аэроплан — машина, а отбойный молоток...

— А отбойный молоток?

— А отбойный молоток так... инструмент... да к тому же не-со-вершённый.

Виктор не стал даже прислушиваться к спору; то, о чём они спорили, было далеко-далеко от него...

— Ой, Витя! — сказал, подходя к его койке, Андрей, он тоже был, как и все, возбуждён. — Жаль, болен ты... А то б...

— А что? — вяло спросил Виктор.

— Мы сегодня отбойный молоток видели! Дядя Прокоп принёс...

— А-а!.. — равнодушно отозвался Виктор.

Но Глеб Васильчиков был уже тут как тут.

— А отчего ж тогда твой дядя Прокоп и обушок с собой в лаву взял? — ехидно спросил он Андрея. — Нет, это ж зрелище!.. Работать хотят отбойным молотком, а обушок тут же рядом лежит. Это всё равно, как если б сели в автомобиль, а телегу рядом пустили...

— Действительно... — смущённо сознался Андрей, — обушок пока... тоже...

— Так это ж начало, начало! — заорал Осадчий и тоже подбежал к койке Виктора. Теперь тут собрались все спорщики.

— Понимаешь, Виктор, — торопливо, боясь, что Васильчиков его тут же и перебьёт, сказал Осадчий, — тут всё дело в воздухе. Когда воздух есть, так молоток этот, як часы... Обушку за ним, — та куда там, действительно, як телеге за паровозом. Ну, а когда воздуху нема или слабый воздух...

— Вот тогда — обушок! — перебил Васильчиков и засмеялся.

— Так что ж ты хочешь, раз это — пневматика?..

— Тебе б понравилось, Витя... — робко сказал Андрей, и всё лицо его осветилось тихой радостью. — Ей-богу!.. Ой, как же я рад! — вдруг засмеялся он. — Теперь и работать легче будет... не то что обушком...

— А обушку что же, значит, — совсем каюк? — тихо спросил Серёжка Очеретин. Он всё время растерянно прислушивался к спору.

— Каюк-каюк! Аминь! Точка! — загремел Осадчий. — И со святыми упоко-о-ой!

— Ну, это ещё тётушка надвое сказала... — немедленно возразил Васильчиков. — Вот твой дядя Прокоп молотком всего час работал, а всё остальное время — обушком... — Спорил он, впрочем, только потому, что не спорить не мог. Если б все были против молотка, он бы так же страстно защищал его, как сейчас страстно ругал.

— Скорпион ты! — с досадой сказал ему Мальченко, и Васильчиков радостно захохотал, словно получил орден.

— От, значит, какая выходит история! — грустно вздохнул Очеретин и часто-часто замигал своими белыми ресницами.

— А ты не журись, не журись, Серёга!.. — сказал подошедший Светличный. — Ты на отбойном молотке ещё хлеще себя покажешь!

— Нет! — уныло ответил Очеретин. — То — техника. То, мабуть, я не смогу. То — для образованных... — и он опять горько вздохнул, уже представив себе, как стирают его имя — С. И. Очеретин — с красной доски.

Но тут Васильчиков, как молодой петушок, налетел на Светличного. Он даже очки свои снял, «чтоб не забрызгались», как острили ребята, намекая на его манеру обильно брызгаться слюной в пылу спора.

— Да неужели ты, — наседали он на Светличного, — ты, умный, с понятием человек, веришь в эту железку с дутым воздухом? Разве ж это серьёзная машина? И ты веришь?

— Верю... — ответил Светличный и трижды перекрестился широким, размашистым крестом. Все засмеялись. — А ты, козаче, не веруешь?

— Нет! Не верю...

— Ну, тогда — геть с нашего куреня!

— Геть! — ликуя заревел Осадчий, и все с хохотом схватили под руки Васильчикова.

— Да бросьте вы, — отбивался тот, — вот дуrolомы! Да я сам за механизацию... Только я за серьёзные машины, а не за железку...

— Ага! — закричал Светличный. — А вот эта железка и потребует теперь для себя серьёзных машин. Теперь конякой уголь не увезти, теперь электровозы надо. В общем, — закончил Светличный, — как сказал наш донбасский поэт Павел Беспощадный:

Он идёт, этот сильный век,
Слышу грохот и лязг его брони.
На всю шахту один человек
Будет будто шутя коногонить

— Так, что ли, Виктор? — вдруг неожиданно обратился он к Абро-симву.

— Что?.. Вероятно, так! — вяло ответил Виктор.

«Да что это с ним?» — удивился Светличный. Он никогда ещё не видел Виктора таким вялым, безразличным, безжизненным. Окоченел он, что ли? Было б куда лучше, если б парень бесновался, огрызался, даже злобился. Странное оцепенение Виктора испугало его. «Значит, крепко подшибла его эта история!» И Светличный решил, что должен, наконец, по душам объясниться с Виктором. Он и так слишком долго откладывал этот разговор.

Он дождался вечера, и когда все ребята пошли в клуб, на собрание, задержался у койки Виктора.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он, присаживаясь.

— Хорошо.

— Можно с тобой говорить?

— О чём?

— О тебе.

Виктор подумал немного и равнодушно ответил:

— Давай!

— Ты веришь, что я тебе друг?

— Ну, допустим.

— Нет, ты скажи прямо, веришь или нет?

Виктор вдруг порывисто приподнялся с койки и схватил Светличного за руки.

— А ты на самом деле друг? — спросил он.

— Ну, конечно!

— Так если друг... отпусти меня! Отпусти! — жарко прошептал он.

— Куда отпустить? — не понял Светличный.

— Отпусти, Светличный! Не вышло у меня на шахте... Осрамился я. Сам виноват. Знаю. Винюсь. А ты — отпусти!

— Да куда же, куда?..

— Я ж не на лёгкую жизнь прошусь! — продолжал шептать Виктор, всё ещё держа руку Светличного в горячей своей. — Та пошли меня куда хочешь. На Камчатку. На Сахалин. К чертям в зубы. Лес валить, тайгу рубить, что хочешь... Я докажу там, какой я парень есть на самом деле. Вам же и райком про меня потом напишет... Отпусти!

— Но как же я могу тебя отпустить, Виктор? — слабо улыбнувшись, спросил Светличный.

— Не можешь?

— Нет у меня такой власти. Кто ж может солдата с поля бря отпустить? А мы, брат, с тобой солдаты...

— Значит, не можешь? — ещё раз спросил Виктор и выпустил руку Светличного из своей.

— Да и зачем? Ты и здесь, Витя, прекрасно будешь работать. Послушай, давай как взрослые говорить, — ласково улыбаясь, начал Светличный, но Виктор перебил его.

— А не можешь — так не трогай! Слышишь, не трогай! Не говори! — иступлённо закричал он.

— Да ты успокойся, Виктор! Что в самом-то деле! — нахмутив брови, сказал Светличный.

— Не трожь! — ещё раз крикнул Виктор и с шумом отвернулся к стене.

Светличному пришлось уйти. Недовольный и собой, и Виктором, он пошёл на собрание, решив, что поговорит ещё раз с парнем, когда тот выздоровест.

А Виктор сразу же после ухода Светличного вскочил и поспешно стал одеваться. Он и сам ещё смутно понимал, что делает. Он знал только, что ни минуты больше не может остаться тут. Жизнь надо начинать сначала и на новом месте.

Значит, бежать? Бежать с шахты? Он остановился в испуге посреди комнаты. Живо представилось ему, как собираются вокруг его опустевшей койки комсомольцы; долго и молча смотрят на постель; кто-нибудь зло сплюнет; Светличный презрительно сдвинет густые брови и скажет сквозь зубы: «подлец!»; а Андрей ещё ниже опустит голову. Бедный Андрей, он, может быть, даже слезу прольёт над ним, как над покойником; Виктор и будет тогда покойником; жирной, чёрной чертой вычеркнут его имя из комсомольских списков; и среди живых ему, дезертиру, уж нигде не будет места, — нигде и никогда.

Но тотчас же представилась ему и другая картина. Виктор всегда мыслил картинками. Представилось, как придёт через два дня снова идти на шахту. Снова входить в нарядную. Там будут все, кто был на собрании. Они узнают его... Деликатничать они не станут. Сразу подымут на смех. Будут показывать пальцами. А Свиридов обязательно и нарочно подойдёт к нему, как к приятелю, при всех, и что-нибудь скажет, чтоб все слышали: мол, ничего, не порть себе здоровье! Гляди на меня!..

Он поспешно схватил сундучок. Нет, надо бежать, бежать!.. А там — будь что будет!.. «Я ж не в Чибиряки убегу. Не к маме. Не на лёгкую жизнь. Я в тайгу пойду! Я там так буду работать, что все аж ахнут! Я там такое сделаю, что мне всё простят». Беспорядочно швырял он в сундучок вещи. «Не забыл ли чего? А, всё равно!» Только бы скорей уж оторваться от этого пола, пуститься в путь... «Надо б записку оставить...» «А зачем? — тут же спросил он себя. — Что я в ней напишу? Я и сам знаю — сейчас мне оправдания нет».

«Ну и пусть я сегодня — подлец, — стиснув зубы, подумал он, — зато завтра...»

Он схватил сундучок и бегом бросился к дверям.

«Эй, Виктор, остановись! Что ж ты с собой делаешь?!» — подумал он уже в дверях. Но только махнул рукой, и — как с обрыва в реку — головой вперёд бросился на улицу...

Глава 13

Уже стемнело.

Дождя не было. И первые ноябрьские заморозки уже стали осторожно сколачивать хрупкие ледовые плоты на лужицах и озёрках; в тишине рудничного вечера было слышно, как звонко постукивает, смерзаясь, молодой лёдок, словно то стучат тонкие молоточки.

Не разбирая дороги, с хрустом ломая ледяную корку, разбрызгивая грязь и чёрную дождевую воду, бежал Виктор через посёлок, бежал, что было духу, словно гнались за ним и люди, и призраки.

Между тем никто и ничто не подстерегало его в кривых и узких тупичках и переулках; ни знакомые — их у него в посёлке было мало, ни воспоминания — а их совсем почти не было. Он был новый, пришлый и ещё чужой здесь человек; недавно пришёл, не зацепился душой за шахту и вот — уходит. Убегает прочь.

Ну, и с богом! — насмешливо провожала его шахта. — И — с богом! Мы и без тебя проживём! И без тебя так же будет ровно дышать силовая, и вертеться колесо на копре, и скользить канат вверх-вниз; и будут со свистом и грохотом мчаться «партии» по штреку, и, весело постукивая

на стыках, бежать вагончики по дощатой эстакаде; и будут всё расти и расти ввысь сизые терриконы — пирамиды шахтёрского труда. Немного-то и добычи ты давал, парень, только зря занимал место в забое. Мы и без тебя отлично проживём. А вот ты-то как?!.

Но Виктор уже не мог остановиться.

Беглым шагом пересёк он посёлок, и только когда вышел на шоссе, перевёл дух. Ну, вот. Теперь три километра до вокзала — и всё. Завтра он уже будет далеко.

Он огляделся. Вокруг него, на шоссе, не было так пустынно, как ему сперва показалось. И тут, и там, и впереди его, и сзади брели в тумане люди, так же, как и он, с сундучками или с мешками за спиною; ветер доносил их хриплые голоса, топот их шагов. Виктор догадался — это летуны. Это было неприятно ему. «Еще, чего доброго, и меня за летуна примут». И тут же подумал с горечью: «А кто ж ты теперь такой? Терпи!».

Ещё там, в посёлке, никто не мог бы угадать в нём дезертира. Даже сундучок не был уликой; можно было подумать, что просто идёт человек в баню...

Но тут, на привокзальном шоссе, всё — очевидно! Теперь не отодрать, не обособить Виктора от этой тёмной толпы. Тут все — одного поля ягоды, все — бродяги, перекасти-поле, люди без роду и племени, без стыда и совести, без любви и правды... В них всё фальшиво — и паспорта, и имена, и души...

И вот теперь и он среди них. Он — их попутчик. Он им принадлежит, их тёмному, безродному, цыганскому племени, и не только на этот короткий путь до вокзала, а надолго, может быть на всю жизнь. Что из того, что в боковом кармане его пиджака аккуратно лежит его подлинный, нефальшивый комсомольский билет, который он из трусости — да, да, из трусости! — не кинул на полушку, убегая с шахты? Он никому не посмеет его предъявить. Да, он уж и права на него больше не имеет! «Комсомольцы не бегают!» Теперь он должен скрывать, что был когда-то комсомольцем. Скрывать, что удрал с шахты. Всё про себя скрывать. И жить под тяжестью тайны, фальшивой жизнью среди чистых, незапятнанных людей. Да разве ж такой жизнью можно жить?!

Снова послышались шаги сзади, кто-то тяжело дышал, настигая Виктора; Виктор глубже втянул голову в плечи, приподнял воротник пальто.

С ним поровнялся человек в старенькой шинельке без петлиц и в кожаной фуражке. Виктор украдкой посмотрел на него — человек был ему совсем незнаком. Он облегчённо вздохнул. Поднял голову. Теперь можно идти спокойнее... Они шли рядом, искоса поглядывая друг на друга. Человек в шинельке тоже был с сундучком — летун, вероятно. Свой.

«Свой? — возмутилось всё в Викторе. — Нет, я не такой, как они!» «А какой же?»

Человек в шинельке вдруг издал резкий, пронзительный звук, — так цапли кричат на болоте. Виктор испуганно оглянулся: что это с ним? Плачет? Он всмотрелся: нет, смеётся! Какой странный, злой смех...

— Вы что? — невольно спросил он.

Человек опять засмеялся своим странным, колючим смехом.

— Чёрт от лада бегаёт... — сказал он. — А вы от чего?

— Кто, я? — растерялся Виктор.

— Все! — и он показал на дорогу. Там в тумане брели неясные, смутные фигуры, не люди — призраки. — Я б их всех собрал в кучу и головой в шурф, к чёртовой матери! Разве ж с такими социализм построишь?!

Виктор не отозвался.

— Саранча... — сказал человек в шинельке. — Чисто саранча... И откуда только взялось? Сроду такого не было... А вам стыдно! — неожиданно повернулся он к Виктору. — Комсомолец, небось?

— Да-а... Но...

— Стыдно! — сердито сказал шахтёр. — Эти пускай! Кулачье. Грызуны. Им сам бог ихний велел. А вам — стыдно!

— Но я... не шахтёр! — чуть не плача от стыда и отчаянья, закричал Виктор. — С чего вы взяли? Я... случайно... Я у товарища был... в гостях... — Он видел, что человек не верит ему, смотрит на него искоса и подозрительно. Неужели теперь все, всю жизнь будут на него так смотреть? — Я... в гостях был... А сам я в городе работаю... — торопливо бормотал он. — Ей-богу!.. Хотите, я вам документы покажу? Честное слово!

«Зачем же ещё честное слово дал? — тут же рассердился он на себя. — Окончательно становлюсь скотиной!»

Но ему так хотелось, чтобы поверил ему хоть этот незнакомый, странный человек в старой шинельке и кожаной фуражке!

— А-а! — протянул, наконец, тот. — Ну, тогда извините... — Он слабо улыбнулся и объяснил: — Душа болит на такое смотреть. Я б их всех, бродяг, голову в шурф!.. Самый это ненавистный мне человек — бродяга. Вы с «Марии» идёте?

— Да-а... да... С «Марии».

— Не видал я вас на «Марии».

— Я же говорю, в гостях был... Недолго... — обрадованно затараторил Виктор. — Там товарищ у меня... Андрей... А сам я в городе живу... Разве б я позволил себе... убежать? — сказал он, по-детски краснея и сам чувствуя, что краснеет, и злясь на это.

— Ну, да! — благодушно сказал шахтёр. — А то показалось мне, что где-то я вас видел... Бывает!

На шоссе появились фонари. Вокзал был уже близко.

Человек в шинельке бросил косою взгляд на попутчика, — Виктор теперь не ёжился, не прятался, старался открыто смотреть, прямо в глаза, — и повторил:

— Да, бывает!.. Вот теперь я вспомнил: я тебя на собрании видел.

— Что?.. — испуганно остановился Виктор.

Человек в шинельке подошёл к нему вплотную, взял за борт куртки и сказал шёпотом, дыша прямо в лицо:

— Теперь удираешь, сволочь?!

— А ты... а ты?.. — разозлился Виктор. — Ты ж тоже с сундучком... Ты тоже...

— Я в армию, на сборы!.. — сказал шахтёр и брезгливо оттолкнул от себя Виктора.

И Виктору пришлось бежать от этого человека в шинели.

Глава 14

Запыхавшись, вбежал он в вокзал и направился прямо к кассе. Скорей бы поезд!.. Скорей бы уж уехать отсюда прочь. Но касса была ещё закрыта, а в справочном бюро ему сказали, что поезд на юг будет через час, а поезд на север только ночью. «Если не запоздает!» — равнодушно прибавила девушка в справочном бюро.

Он отошёл от окошка. Он твёрдо решил, что поедет на север. Не на юг, на лёгкую жизнь, и не в Чибиряки к маме, а — на север, на самый дальний север, так далеко, как только возможно заехать. Там, в сибирских просторах, он завоюет себе и оправдание, и прощение.

Но поезд на север будет только ночью, если не запоздает. А здесь на вокзале его всякую минуту могут увидеть и узнать. Опять придётся встретиться с шахтёром в старой шинели. Каждый взгляд, каким окидывают сейчас его и его сундучок люди на вокзале, — как плевков в лицо.

«А поезд на юг будет через час», — вспомнил он.

Может быть, поехать на юг? На Кавказ? К морю? На минуту он почувствовал себя счастливым и свободным. Он может поехать куда хочет. Он был, как птенец, впервые свободно захлопавший крыльями и почувствовавший, что даны ему эти крылья для полёта. Вот стоит он сейчас на перроне маленькой станции в степи, а весь мир лежит перед ним. Захочу — и завтра у моих ног зашумит тёплое, ласковое море. Захочу — и будут горы.

Но поедет он всё-таки на север, только на север. Пусть никто и никогда не сможет швырнуть ему в лицо, что бежал он с шахты ради лёгкой жизни.

Он поедет на север, хоть бы поезд и опоздал на сутки!

Однако незачем толкаться в здании вокзала или — у всех на виду — на перроне.

Он вышел на площадь. Был тот ноябрьский вечер в Донбассе, когда небо низко-низко спускается к земле, и нет уже ни земли, ни неба, а только туманная сырая мгла; в ней тревожно перекликаются паровозные гудки и людские голоса; звуки бродят в тумане, а огни — неподвижны; и степь ещё пахнет мёртвой травой и вчерашним дождём — последними запахами осени.

Ещё не холодно, но свежо, и земля, скованная ранними непрочными заморозками, лежит, оцепенев в предчувствии первого снега, и жадно ждёт его, как летом дождя.

В такие вечера самый сладостный запах на земле — запах жилья и дымка из трубы над хатой. В такие вечера семейные шахтёры любят сидеть дома и пить водку с друзьями. Хозяйки то и дело бегают в погребок за огурцами и солёной капустой; огурцы ещё не досолились, и если так пойдёт дело — им досолиться не удастся.

В такие вечера каждый человек на земле обязательно подумает об угле; уголь — это тепло, и даже мысль о нём согревает душу. Надо запастись углем на зиму, и в такие вечера все селекторы, телефоны и телеграфные аппараты заняты только им — углем.

В такие вечера приятно чувствовать себя шахтёром. Хорошо, вырубив свою норму угля, выйти на-гора и помыться парной водой в горячей бане и, смело глядя людям в глаза, пойти через весь посёлок домой. В такие вечера обязательно надо иметь свой дом, свою семью и спокойную, чистую душу...

Но у Виктора нет дома. Вот сидит он на своём сундучке на площади у вокзала. Даже птицы уже закончили свой осенний перелёт, он только его начинает. Что ждёт его? Что будет с ним? Он сейчас как перекасти-поле...

Стало холодно. Если придётся продавать пиджак и куртку, как же сумеет он добраться до цели? Он почувствовал вдруг, что голоден. Сейчас хорошо бы стакан горячего чаю. Он вспомнил, что здесь же на площади, неподалёку от сквера, есть закусочная. Её легко найти по шуму и песням, что и сейчас доносятся оттуда. Подхватив свой сундучок, он пошёл.

У закусочной стояла негустая, но весёлая толпа. Виктор хотел было пройти мимо, но, невольно прислушавшись, остановился.

В центре толпы посиневший от холода босяк в тряпье и шахтёрских чунях выстукивал деревянными ложками нехитрую мелодию, приплясывал и сыпал частушками-скороговорками; толпа встречала их хохотом и подхватывала припев.

До Виктора доносились только обрывки:

Шуба рвана, без кармана,
Без подборов сапоги... —

сыпал ложечник.

А дальше шло уж что-то густое, непристойное, что тонуло в хохоте и в восторженном взвизге толпы, и сразу же, как лаком, покрывалось припевом:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

Ну, что ж, и это — развлечение! Поезд придёт не скоро, даже если и не опоздает, а чая можно напиться и позже. И Виктор затесался в толпу.

Там нарыты ямы-норы,
Где работает шахтёры... —

старался ложечник, и толпа подхватывала припев:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

И прихлопывала в такт ладошами, почти заглушая сухую дробь деревянных ложек. А ложечник всё приплясывал, пытаясь выбить чунями чечётку, словно хотел высечь искры из мёрзлой земли, и всё тряпье его сотрясалось на нём, и тряслись синие от холода губы и щёки.

Прощай, шахта и Донбасс,
Не увидишь больше нас! —

— Ой, чешет! — восторженно взвизгнул босяк рядом с Виктором и самозабвенно подхватил припев:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

А ложечник, ободрённый успехом и уже немного согретый, «чесал» дальше:

Прогуляем — сколько знаем,
Прокутим — сколько хотим.
А завтра рано, чуть светочек
Из Донбасса улетим.

Да что ж это? Куда попал Виктор, зачем затесался в эту грязную толпу? Босяки, рвань, золотая рота, бродяги, вся накипь, выброшенная прочь шахтой, не принявшей их в свои чистые недра, — что делать ему здесь среди них?.. Он решил немедленно же уйти прочь и даже сделал движение, но ложечник уже заметил его, такого непохожего на всех, ещё чистенького и аккуратного, ещё отмеченного печатью комсомольской ячейки — сотрётся она не скоро, — и подмигнул ему, подошёл ближе и стал прямо перед ним, дёргаясь всем своим тряпьем.

— С посвящением и приветом! — гнусаво крикнул он Виктору. — Персонально вам, молодой человек!..

И вдруг рассыпал яростную дробь ложек:

Рябина цветёт, осыпается,
Комсомольцы из Донбасса разбегаются...

— О-о-о! — восхищённо взревела толпа.

Теперь все смотрели на Виктора. Кто-то панибратски хлопнул его рукой по плечу. Кто-то крикнул: «Эй, птаха, держи голову выше!» — и опять радостно зареготали сиплые, простуженные глотки.

Виктор рванулся из толпы, но десятки рук ухватили его за куртку и сундучок и не пускали... «Эй, хлопче, куда же ты? Мы ж ещё с тобой потанцуем!..»

— Пусти! — не помня себя, дурным голосом закричал Виктор и рванулся. Его выпустили, так страшен был его напор. Расталкивая людей перед собою, он побежал сам не зная куда...

А вслед ему ещё долго неслись крики и хохот, и насмешливое, густое, стадное:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

Он вернулся на вокзал. Куда ж ещё ему было идти? Уже смутно чувствовал он, что, бежав с шахты, сделал ошибку, чудовищную и непоправимую, сам, собственной рукой пустил свою жизнь под откос. Но теперь возвращаться вспять было уже поздно.

«Отчего же поздно? — вдруг, спросил он себя. — Ещё никто ничего не знает. Скажу — ходил пройтись...» «А сундучок?» Да, сундучок... С сундучком гулять не ходят. Значит, придётся в сё рассказать и Андрею... и Светличному... всем. Будут смеяться. Нет, хуже, будут «окружать заботой» раскаявшегося грешника... Будут долго припоминать ему эту ночь, побег и возвращение. И следить за ним, как бы не повторилось...

«Нет, вертаться нельзя! — угрюмо подумал он. — Надо ехать... А там — будь, что будет!» Он упрямо сдвинул брови: брови были отцовские, крылатые, смелые. Но отец сроду ни от кого не бежал.

Поезд на юг уже ушёл. С ним уехал, вероятно, и шахтёр в старой шинели. Его нигде не было видно. Виктор опять подошёл к справочному бюро. Да, поезд на север опаздывает.

— А может, в пути нагонит? — нерешительно спросил Виктор.

— Возможно, нагонит, — равнодушно согласилась девушка.

Виктор прошёл в зал ожидания, отыскал свободный уголок, поставил сундучок на пол и сел на него. Здесь в углу было полутемно; если закрыть лицо воротником куртки, никто его не заметит. Он так и сделал.

Он очень устал и душой, и телом. Только сейчас почувствовал он, как смертельно устал. Он закрыл глаза и хотел было вздремнуть немного. Но вдруг что-то испугало его. Что?

Он не стал даже раздумывать над этим; им уже бесконтрольно владел инстинкт затравленного зайца и, повинувшись ему, он бросился бежать.

Ему послышалось, что кто-то окликнул его по имени; он не оглянулся. Какая-то дверь оказалась на пути, он с силой рванул её — стёкла задребезжали — и выбежал прочь.

Оказывается, он попал на перрон. Всё равно. Он перевёл дух. За ним следили! Он почувствовал это не сознанием, а кожей. Его спина физически слышала шаги сзади, торопливые и настойчивые. Он опять побежал.

— Виктор! — уже явственно донеслось к нему из тьмы.

Не останавливаясь и не оглядываясь, побежал он через железнодорожные пути и вдруг уткнулся в товарный состав. Он заметался. Куда теперь?

И тогда пришла простая и счастливая мысль. Ему не нужно ждать поезда на север. Вот этот состав с углем, он уж, конечно, пойдёт на север. Паровоз был под парами, подле него суежилась бригада. Вероятно, эшелон скоро тронется в путь. Надо только сейчас же забраться сюда, пока его не настигли. А к утру он уже будет далеко! Главное, далеко от этой проклятой станции, где все его знают, все за ним следят...

Он ухватился за борт платформы.

— Виктор! — опять услышал он голос из тьмы.

Кажется, голос знакомый. Или померещилось? Всё равно, медлить теперь нельзя. Он забросил сундучок на платформу и, подтянувшись на руках, влез и сам.

На платформе лежал уголь, и когда Виктор животом упал на мокрые холодные груды, на минуту почудилось ему, что он снова в забое. Неповторимо пахнет уголь! Виктор вдруг подумал, что, может статься, груды, на которых он сейчас лежит, добыты им, им самим, — ведь это, наверняка, уголь «Крутой Марии». Может быть, это его уголь. Хватит ли всего угля, что нарубал за свою недолгую шахтёрскую жизнь Виктор Абросимов, на одну паровозную топку в дальнем пути на север? Пожалуй, нехватит!

Лёгкая дрожь прошла по всем суставам поезда; как кости, хрустнули и заскрипели вагоны и платформы. «Потягивается!» — радостно подумал Виктор. — Сейчас тронемся!» И ему впервые за всё это время стало легко и покойно.

Какой-то человек, пыхтя и сопя, взбирался к Виктору на платформу. Виктор замер, всем телом приник к углю, даже затаил дыхание. Человек влез и тоже плюхнулся на уголь, рядом.

В ту же минуту поезд ещё раз дёрнулся — и пошёл!.. Сначала медленно, словно пробуя, ощупывая путь, потом всё быстрее и быстрее застучали колёса. Резкий сквознячок просвистел над платформой. Виктор поёжился. Холодно. «Если засну — замёрзну».

— Виктор? — тихо спросил человек рядом.

Виктор вздрогнул. Его первым движением было схватить сундучок и прыгать! Но поезд теперь шёл полным ходом, только телеграфные столбы мелькали.

— Виктор! — ещё раз позвал человек рядом, и Виктор с ужасом узнал знакомый голос.

— Это ты, Андрей?

Глава 15

Я, конечно, не мог знать тогда, осенью тридцатого года, что поезда, который вёз меня из армии домой, в Донбасс и опаздывал, выбившись где-то между Прохладной и Ростовом из графика, так нетерпеливо ждёт на маленькой станции в степи некий молодой человек по имени Виктор Абросимов.

Тогда совсем не знал я этого парня. И даже имени его никогда не слышал. И не думал я и не гадал, что когда-нибудь войдёт он в мою жизнь...

Проклиная и поезд, и машиниста, и всё железнодорожное начальство на свете, стоял я в тамбуре вагона — в купе уже не сиделось — и тоже ждал, ждал страстно, нетерпеливо, влюблённо, — ждал встречи. И не с друзьями — их я обниму только завтра — и даже не с матерью,

а с ним — с суровым и нежным другом моего детства и моей озорной юности — с Донбассом.

Там я родился и вырос. Там съел первый кусок хлеба, заработанный собственными руками. Там, неожиданно для себя, сложил первые стихи и убежал с ними далеко в степь, и на кургане, плача от гордости и счастья, читал их сам себе, а ветер уносил слова.

Там впервые поцеловал я девушку. У неё были каштановые волосы, золотистые на концах. Всю ночь просидели мы с ней на кургане; её губы пахли полынью, и сладостно-горькими и жуткими были наши поцелуи, казалось, все звёзды над степью видят их — и не одобряют!

Но старый курган был за нас и за нашу любовь, и отродно было лежать в его душистом чебреце и полыни и слышать, как жарко и томно дышит добрая земля, и, пьянея от запахов трав, земли и ветра, без конца говорить о любви и о будущем. В ту ночь всё казалось возможным и близким, даже звёзды в небе.

Так просидели мы до зари, пока гудок «Крутой Марии», вдруг властно прокатившийся над степью, не вспугнул нас и не напомнил, что, кроме поцелуев, есть ещё жизнь, и труд, и доска табельщика у проходных ворот. Взявшись за руки, сбежали мы с кургана и у самого посёлка рассгались, смущённые и счастливые, не смея глядеть в глаза друг другу...

Теперь эта девушка забыла меня — недаром её губы пахли полынью. Говорят, она вышла или собирается выйти замуж за другого. Вероятно, я сейчас её и не встречу.

Зачю на курган я и теперь смогу взойти. И с него опять откроется мне мой родной край, всеми трубами будет меня приветствовать. Старый, преданный друг! Он, как мать, — никогда от тебя не откажется, никогда тебя не обманет.

И я трепетно готовился к встрече с ним, как к встрече с матерью. Какой он сейчас? Изменился ли? Постарел?

Да нет! Говорят, помолодел. Все письма из дому, получаемые мною в полк, и начинались, и кончались так: «Ты теперь Донбасса не узнаешь!»

«Приезжай скорей, Серёга! — писал мне товарищ, — ты Донбасса не узнаешь. Началось такое, такое, что и не описать! Революция, брат, великая революция в Донбассе. Обушковому Донбассу приходит конец. На крутых пластах появляются отбойные молотки — ты и не знаешь, что это такое! — на пологих — новые врубовые машины. Коногонам — скоро точка, о них только песня останется на память. Теперь на откатке будут электровозы. Новая техника потребует новых людей. Нет, ты приезжай, Сергей, всё увидишь своими глазами».

Я читал и перечитывал эти письма, они звучали для меня, как музыка. Даже когда товарищ писал о трудностях, — а о них он писал много и зло, — о нехватке продовольствия, о вредителях и «проходном дворе», о тупицах, которых давно пора выгнать, — даже эти злые строки были для меня как музыка, как музыка боя...

«Да-а... — думал я с невольной завистью, — вот где подлинная жизнь, вот где интересно...»

Мать тоже писала мне, что Донбасса я теперь не узнаю. Было странно читать эти строки в её милых, знакомых письмах, обычно наполненных тихими семейными новостями и поклонами от родственников. Но, оказывается, как смущённо призналась она в последнем письме, моя мать теперь «общественница».

«Наши бабы, — писала она, — взяли теперь за посёлок. Ну и я, старая дура, с ними! Так что я теперь — общественница, ты не смейся! Тут кругом, сынок, такая стройка, такая стройка начинается! — словно

оправдываясь, объясняла она. — Никак невозможно от людей отставать. А для шахтёров теперь коттеджи строят», — она так и писала «коттеджи», а не домики, не бараки, не казармы; значит, и это чужое слово теперь прочно вошло в шахтёрский быт. — «Аккуратненькие такие коттеджи. Чистенькие. На две квартирki. И кухня отдельная. И даже ванна есть».

И даже ванна есть...

И мне вспомнились наши Собачёвки, и Шанхай, и Копай-города... И землянки с мокрой подушкой в окне. И кособокие «каютки», более тесные, чем забой, и такие же тёмные, грязные и сырые. И шахтёрские казармы с нарами в три этажа. Старый, неприятный Донбасс! Здесь люди рождались, чтоб скорее стать в упряжку, и жили, пока не падали, задавленные лямкой. Они спали где придётся, и ели что случится, и, случайно полюбив друг друга, сходились в семью, чтобы родить новых людей для «упряжки». Собачёвка — страшное это было слово, но ещё более страшная жизнь скрывалась за ним! С этой собачьей жизнью шахтёры тридцать лет назад покончили. Теперь пришёл конец и Собачёвке.

А меня нет в Донбассе в такие дни!

Но самую важную и для неё, видно, самую дорогую новость мать припасла под конец.

«А на Главной улице, Серёженька, — писала она, и я чувствовал, что при этом рука её дрожала, — разбиты теперь клумбы и там будут живые розы, мы сами сажали».

Розы на шахте!... Моя мать всегда любила розы, это я с детства помню. Выкrojив из полочки пяточок, она покупала их в воскресенье на рудничном базаре и, стыдясь, приносила домой. Розы были большие, как лопухи, и яркоалые, и жили они долго, очень долго. Всю зиму пылились они над зеркальцем в углу и над фотографиями на стене. Они никогда не умирали, потому что уже были мёртвые, бумажные. Но других роз я в детстве никогда не видел и безмятежно считал, что все розы такие, — холодные, шершавые и без запаха. Я их не любил.

Да, в нашем детстве цветов не было. Ни цветов, ни зелени, ни реки. Только горькая полынная степь, да курганы, да лысые холмы рыжей обнажённой глины...

Есть такой рудник в Донбассе — Лысая Гора. Я был там когда-то, один раз в жизни, и всего два часа, но запомнил на всю жизнь.

Я попал туда в жаркий воскресный полдень, когда сухим зноем пылают и степь, и небо, а воздух недвижим, и солнце беспощадно, и нет человеку места на земле... В такие дни шахтёры не любят вылезать нагору из прохладной шахты, остаются там.

Ни одного деревца не было на этой лысой, совершенно лысой горе, ни куста зелени, ни травы, ни бурьяна или чертополоха. Только бурокрасная, вытопанная сапогами и растрескавшаяся от зноя глина под ногой; трещины в ней казались кровавыми.

А на самой вершине горы вразброс, там и сям, вытянулись длинные, серые бараки. Подле них не было ни заборов, ни палисадников, ни огородов, ни сараев, никаких человеческих признаков жилья и семейного, домашнего счастья, словно в этих домах люди не жили, а только спали, а проснувшись, поскорее уходили отсюда прочь.

Даже отхожие места здесь не прятались стыдливо по-за домами, а стояли прямо на дороге, на юру. Их двери были распахнуты настежь, и оттуда на весь рудник разило горячей и душной вонью.

Да, страшной была эта Лысая Гора! Я прошёл через весь рудник и, уже спускаясь с горы, вдруг увидел воду. Это была не река, не озеро, не пруд, не ставок. Просто большая, очень большая лужа или ка-

нава, наполненная, вероятно, шахтной водой. И в ней лежали люди: взрослые, дети... Они не плавали — плавать тут было негде — и не плескались, и не мылись даже, а просто лежали в воде, тихо и счастливо наслаждаясь прохладой...

Теперь, вспоминая Лысую Гору, я понимаю, что, родись я на ней, я бы и её любил, как сейчас люблю «Марию», и Лысую Гору считал бы самым дорогим мне местом на земле. Потому что я здесь родился. Потому что родину любят не за розы.

Говорят, любить — значит со всем смириться, всё принять и всё простить.

Но странной, беспокойной любовью любим мы, советские люди, свою землю. Любим, а ни с чем мириться не хотим, ни с Собачёвками, ни с Лысой Горой. Любим, а терпеть Собачёвку не желаем.

Мы любим родину верной и требовательной любовью сына. И каждая её улыбка — счастье, и каждая её морщинка — горе. Никогда и никому не позволим мы надругаться над нею, но над каждым её изъёмым горько плачем сами. А потом — поплюём на руки и возьмём инструмент, вот изъёна и нет!

И хочется нам, чтобы была она вечно молодой и прекрасной, чтобы хорошела и цвела, очищаясь и молодея. Чтобы была она всех в мире краше, и могущественней, и счастливей. И для этого стоит и трудиться, и жить, и даже жизнь отдать без вздоха...

И мне захотелось вдруг сейчас же, немедленно перенестись в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, как цветут розы на Лысой Горе, как исчезают Собачёвки и возникают новые города, и врубовая машина хозяйкой входит в лаву.

Эти письма разрешили мучительные мои сомнения о том, что мне с собой делать. Теперь я знал.

В тот же вечер я пришёл к командиру полка.

— А! — приветствовал он меня, как всегда, чуть-чуть насмешливо. — Ну, что скажешь?

Я сказал, что получил письмо из дому.

— Да? — нахмурился он. — Магушка больна? Ну, езжай, езжай!..

Он подумал, что я нашёл-таки повод уехать из армии.

Я засмеялся.

— Нет, магушка здорова. Она теперь розы сажает..

И я рассказал ему, что мне пишут из Донбасса.

Он просиял. Стал спрашивать. Жадно заинтересованный, он засыпал меня целым ворохом вопросов. «А ты сам-то раньше эти машины видел? Ну, как — сильно?»

— Да-а... — сказал он, наконец, и улыбнулся своей тёплой, доброй улыбкой. — Ну что ж, поезжай! Напиши хорошую книгу о Донбассе, а мы читаем.

— А я, Павел Филиппович, не собираюсь книгу писать...

Он удивлённо посмотрел на меня:

— А что ж ты собираешься делать в Донбассе?

— Не знаю... — беспечно ответил я. — Может, в шахту пойду...

— Зачем?

— Как, зачем?

— Ты разве горный инженер?

— Нет.

— Техник, механик?..

— Н-нет... Да какое это значение имеет, Павел Филиппович? Я просто в шахту пойду.

Он не ответил. Пожевал сухие губы — сердится! — Потом, не глядя на меня, произнёс:

— Да-а... Плохо мы тебя военному делу учили. Плохо!

Я растерялся.

— Что вы, Павел Филиппович?

— Целый год учили, — свирепо рявкнул он, — не выучили! Взаимодействия не знаешь, в родах оружия не разбираешься. Плохо! Из гаубиц не стреляют по самолётам, пистолетом не пытаются сокрушить дог, а в конном строю с клинками не атакуют танков. Ты про это слышал?..

— Слышал...

— А ты кто? — вдруг строго спросил он. — Какое оружие? Гаубица ты, пистолет, клинок? То-то! — сказал он, успокаиваясь, как всегда, сразу. — Ты сначала разберись, какое ты оружие. А потом применяй себя. Строго применяй! Слышишь?

Скоро мне пришлось вспомнить этот разговор.

... И вот в последний раз стоим мы в строю на плацу перед полковой школой. Прощаемся с полковым знаменем, с командирами и товарищами, с высотой 537,5, синеющей за казармами, с нашей весёлой военной молодостью — это не повторится!

И вот — колонною по четыре — проходим в последний раз через Ахалцых, и люди с тротуаров кричат нам вслед дружески и сердечно:

— Швидобит, швидобит, товарищи! До свиданья!

И девушки машут платками... Сколько раненых сердец остаётся в этом яблоневом городке у границы!

И вот уж мчит нас поезд вдоль быстрой Куры; пахнет рекою и лесом; дымом костров на берегу и тёплым овечьим сыром; и бьют о стёкла вагона тяжёлые ветви кипариса; и осенним пожаром пылают горы — среди багряного листопада голые тоненькие стволы молодых дубков, как нежные сгрудки дыма; и нет ничего прекраснее, роскошнее и избытнее на свете, чем земли Грузии в осень. Но я покидаю эту прядную красоту ради голых холмов Донбасса — и не жалею.

Поезд мчит нас — сотню стриженных ребят, отпускников — через Кавказ, Кубань, Дон, каждого — навстречу своей судьбе. Никто из нас не знает, что станет с ним. У каждого — свои планы, надежды, мечты. Иногда мы разговариваем о них, спорим до хрипоты в глотке. Двадцать два года каждому, для нас — всё возможно, всё — доступно, самая дерзкая мечта может обернуться явью.

Но никому из нас не дано заглянуть вперёд и до конца угадать свою судьбу, хотя судьба каждого уже заложена в нём; она — в его руках, в его стриженной голове, в его сердце — добром или холодном.

На больших станциях, а иногда и на полустанках наши вагоны подвергались атакам красноречивых мужчин в дождевых плащах, сапогах и с брезентовыми портфелями подмышкой. Самые предприимчивые из них подсаживались к нам в вагон и ехали до следующей большой станции.

Это были вербовщики. В те памятные дни тридцатого года они были всюду. Где-нибудь в знойном Сальске соблазняли они молодых ребят прелестями Сибири и Колымы, в станице Невинномысской искали охочих людей для Магнитки и Днепростроя. Им нужны были люди всякой квалификации и даже без всякой квалификации; они клялись, что на их стройке в три недели человека обучают золотому ремеслу. Люди, люди — люди были самым драгоценным капиталом в эти дни великой всенародной стройки, и вербовщики искали людей, как старатель ищет золото, — страстно и всюду...

Вагоны с отпускниками были для них золотыми россыпями. С жадностью ощупывали они глазами этих здоровых, крепких и умелых ребят. Тут, среди армейских гимнастёрок, можно было найти мастеров какого угодно дела.

Мы и сами это знали. Смеясь, говаривали мы, что если б нашу теплушку вдруг невиданным ураганом занесло куда-нибудь на необитаемый остров, мы и там не пропали бы. Среди нас были механики и земледельцы, зоотехники и хлебопёки, строители и кожевники, металлурги и каменотёсы, и даже один зубной врач — Волков-второй.

Забравшись к нам в вагон, вербовщик обычно начинал беседу невинным вопросом:

— А вы далеко ли едете, ребята?

— В Москву! — хором отвечала теплушка, хотя едва ли треть её действительно ехала в Москву.

— Ну? — насмешливо шурился вербовщик. — И что это вам даст? — Потом делал недолгую паузу и торжественно вопрошал: — А слышали ли вы, ребята, про Хибиногоры? А? Нет? Ну так слушайте!

И он начинал рассказывать о Хибинах.

Ей-богу, они были поэтами — эти краснолицые, обветренные ловцы душ в рыжих дождевых плащах! Какие грандиозные картины разворачивали они перед нами! И часто случалось, что тот или другой из нашей сотни не выдерживал и тут же подписывал контракт...

Подвергался атакам и я.

— А вы, молодой человек, извиняюсь, кто будете? — подсаживался ко мне вербовщик. — Случаем, не теплотехник?

— Нет, я не теплотехник...

— Жаль... Дефицитная квалификация... Ну, ничего! Может, вы механик, монтажник, электрик?

— Нет.

— Или бухгалтер, плановик, счетовод? Дозарезу нужны хорошие бухгалтеры.

— Нет, я не бухгалтер.

— Тогда угадываю — инструктор физкультуры! Я сразу оценил! Знаете, давно ищу хорошего инструктора для нашей площадки... Ну, по рукам?!

Но я не был ни инструктором физкультуры, ни даже сносным спортсменом. Вербовщик напрасно польстил мне. Не был я ни коксовиком, ни медником, ни педагогом, ни агрономом — «агрономы дозарезу нужны!» — шепнул мне вербовщик. — Хотим овощи разводить в Заполярье!», — ни радистом, ни мыловаром... Никем я не был. И мне вспомнились вдруг строгие слова моего командира полка: «А ты сам кто, какое оружие?»

— Так, может, тогда учиться согласитесь? — наседал вербовщик. — Имеем курсы, техникум, учебный комбинат. Хорошая стипендия, общежитие...

Учиться? А чему учиться, какому ремеслу, какому роду оружия?

Опять вспомнились мне слова командира полка: «А что ты, собственно, собираешься делать в Донбассе?» В самом деле, что я намерен там делать? Читая письма из дому, я хотел только одного — быть там и видеть. Своими глазами увидеть революцию в Донбассе.

Но нельзя же, в самом деле, здоровому парню двадцати трёх лет только ходить, да смотреть, да восхищаться работой других, — надо и самому работать? Где? Кем? Пойти в шахту, что ли?..

Чем ближе подъезжали мы к Донбассу, тем всё более одолевали меня эти мысли. «Э, там видно будет!» — пробовал я отмахнуться от них — и отмахнуться не мог.

Уже где-то в Ростовской области в наш вагон сел новый человек. С виду он совсем не был похож на вербовщика: для этого он был слишком тучен. Все вербовщики, каких доводилось видеть, — тощие, беспоконные, подвижные — их, как волка, кормят ноги.

Этот же человек был медлителен и тучен. Войдя в вагон, он сразу же плюхнулся на лавку подле меня, снял белый полотняный картуз и, пыхтя, стал вытирать мокрую лысину. Потом распахнул плащ, пиджак, ворот украинской вышитой сорочки, вытер платком могучую красную шею и вздохнул:

— Ф-фу, жара! — хотя за окном были осень и дождь.

Мы разговорились. Он оказался директором совхоза. «От мой совхоз. Гигант!» — показал он не без гордости в окно. Он ехал теперь в областной центр по делу.

— Та прочув я, — объяснил он, раздувая густые пшеничные усы, — прочув, что едут отпускники. От я и зайшов к вам... Чи не найду тут хочь якогось... хочь завалыщенького зоотехника. Га? — и он маленькими хитрыми глазками сразу окинул нас всех.

Вот так, вероятно, забегает он «ненароком» и на чужой склад, или на базу, или в железнодорожный пакгауз и, хитро щуря свои острые, хозяйские глазки, высматривает какой-нибудь «завалыщенький» движок, или шестёрню, или бочку с драгоценным горючим и, вцепившись в них мёртвой хваткой, тащит к себе.

— А вы, часом, не зоотехник? — тотчас же вцепился он и в меня.

— Нет.

— А кто же вы будете?

Проклятый вопрос! Который раз уж задают его мне. Как могу я сказать ему, кто я буду, когда я сам не знаю, кто я?!

— Он у нас писатель! — вдруг, смеясь, сказал Паіша Жихарев; до сих пор ребята меня не выдавали.

— Та ну? — удивился директор и недоверчиво посмотрел на меня. — Невжели правда?

— Правда, правда... — закричало сразу несколько голосов; я смутился.

— Голуба мой! — вдруг в непонятном волнении и даже в восторге вскочил директор и схватил меня за плечи, словно боялся, что я убегу или что меня другие директора перехватят. — Так я ж... так я ж, голуба ты моя, я ж тебя аж три месяца ишу... Та невже ж в самом деле писатель? — обернулся он к ребятам, недоверчиво щурясь, но уже не выпуская меня из своих цепких рук.

— Какой я писатель! Что мне у вас делать?

— Как шо?.. От тоби здрасте!.. Многотиражку делать, нашу газету. Таки дали нам газету!.. Та машину я достав, шрифт достав, наборщика в Ростове найшов, а редактора... Таки ест у меня... такий завалыщенький... ну, не писатель! Слухай, голуба моя! — опять вцепился он в меня. — Ей-богу — поедем! Я ж тебя чистым салом та молоком буду кормить... Совхоз же богатый, гигант!..

— Да зачем вам газета?

— Як зачем? — даже обиделся он. — Славу богу, не в Туреччине живём! Газета у нас — це ж великий двигатель. Показывает передовиков, подтягивает отстающих, а як же! Я хоть и мужик, и степняк, и хозяйственник, а тоже понимаю... Печать — це великая сила! Так поедем?

— Нет. Я домой еду, в Донбасс.

В Ростове мы расстались с директором. Он всё жалел, что не хочу я с ним ехать в совхоз, звал приехать хоть в гости — летом, на травку. Я пообещал.

Была уже ночь. Поезд сильно опаздывал. Я вышел в тамбур поку- рить. В тёмном окне бежали тихие степи.

Через час, через два я увижу Донбасс. Ещё раньше чем увижу — услышу, почую его ноздрями, как лошадь за версту чует запах родной конюшни; мне кажется, что я уже слышу запах тлеющего угля, но это, вероятно, от паровозной топки.

Завтра я уже буду на шахте.

Да, я не габуица, не мортира, не танк; может быть, никогда не удастся мне выпалить в мир большой, настоящей книгой. Но разве не могу я овладеть лёгким скорострельным пулемётом журналиста? Честное слово, это тоже хорошее оружие!

Закинув свой пулемёт за плечи, смогу я тогда бродить по всей необъятной нашей земле, где захочу. И я увижу всё! Всё. Всё, что может увидеть человек с жадными, влюблёнными в жизнь глазами: и как впервые запрыгает, застрекочет на груди забоя отбойный молоток, и как последний коногон, отчаянно свистнув на прощанье, переломит о колено свой старый и уже бесполезный кнут...

Глава 16

— Так это ты, Андрей? — тоскливо сказал Виктор. — Зачем?

И вспомнилось ему, как всего два месяца назад, по той же дороге ехали они весёлым комсомольским эшелоном. На каждой станции их встречали цветами и музыкой; девушки в белых платьях посылали улыбки, а иногда — когда эшелон уже трогался — и поцелуи. А они с Андреем стояли, обнявшись, у окна и смотрели, как, то пламенея, то застилаясь лёгкой синей дымкой, разворачивается перед ними Донбасс; и мечтали о большой и славной жизни здесь; и верили, что эта жизнь — будет! Отчего ей не быть? Тогда они были добровольцами, героями...

— Мы пришли с собрания... — сбивчиво рассказывал Андрей. — А тебя нет... И ребята говорят: может, он пройтиться пошёл... А Светличный...

— Что Светличный? — глухо спросил Виктор.

— Нет, он ничего... Только сказал: нет, вряд ли! А я подывився под койку... а сундучка нема... И я догадался... О, ой, Виктор, как же мне страшно стало! Як же ты?! И я теперь как же — один?!

Да. Та же дорога, и рельсы те же, и опять Андрей рядом. И так же, где-то за балкой, пламенеет небо, и кучерявится дым, и мокрые хлопья пара оседают на лицо и плечи. А под животом всё соваётся и соваётся уголь, словно Виктор с Андреем лежат не на железнодорожной платформе, а на рештаке. И железная лента трясёт и подбрасывает их, как пустую породу, и безжалостно выносит вон — из лавы, из шахты, из Донбасса, из жизни... Куда, зачем?

— Зачем ты это сделал, Виктор? — с тихим укором спросил Андрей.

«А ты, ты зачем?» — хотел было зло закричать Виктор в ответ. Но не закричал, а только упал лицом вниз, на холодные, уже покрывшиеся инеем груды угля и просвистел сквозь зубы:

— Сволочи мы... сволочи... — словно только сейчас во всей своей страшной правде представилось ему его падение. А мимо них всё бежали да бежали телеграфные столбы, провода, фонари на стрелках; и каждый верстовой столб, точно осиновый кол, сам вколачивался в душу...

Вдруг Виктор стремительно вскочил на ноги и схватил сундучок. Поезд, замедляя ход, подходил к станции.

— Ну! — слы-ю крикнул Виктор товарищу. — Прыгай! — и, ничего не сказав больше, спрыгнул с платформы в темень, Андрей — за ним.

Они упали на мягкий, но мокрый гравий. Эшелон медленно прополз мимо них. Фонарь на последней площадке подмигнул и растаял в тумане:

— Ты цел? — спросил Виктор.

— Вроде цел, — отозвался Андрей и подошёл к товарищу.

— Ну, так пошли! — скомандовал Виктор, подымаясь на ноги. Он не сказал, куда, а Андрей не спросил. И так было ясно, куда идти; у них был только один путь — назад, на «Крутую Марию»...

— А где ж твой сундучок? — спросил Виктор. — На платформе за был, эх ты, шляпа!..

— А я... я без вещей... — растерянно признался Андрей. — Вещи там... в общежитии остались.

Виктор пристально посмотрел на товарища. Вдруг захотелось ему подойти к Андрею и обнять его. Но он не сделал этого, не сумел сделать. Он только мотнул головой и сдавленным голосом сказал:

— Ну, пошли!

И они пошли...

Они не знали, что от станции, где они спрыгнули с эшелона, есть прямая степная дорога на «Марию»; поэтому просто пошли назад по шпалам.

Они шли молча. В ночной тишине гулко отдавались их шаги.

Вдруг Андрей радостно засмеялся.

— А я знал, знал! — смеясь, воскликнул он. — Знал, что ты всё-таки окончательно не убежишь. Не такой ты парень! Да, Виктор?

Виктор не отозвался.

А Андрей не мог сейчас идти молча. Ему хотелось сейчас говорить, говорить, смеяться, болтать, петь. Сколько пережил он за эту ночь! Во всю свою жизнь не переживал столько.

Когда увидел он, что нет под койкой знакомого сундучка Виктора, когда догадался, что тот бежал, просто бежал с шахты, словно был это не Виктор — гордость Андреевой души, а какой-нибудь гад Братченко; когда понял он, что навеки потерял друга и остался на шахте один, совсем один, — ему стало так тяжело, так непереносно тяжело, что хоть в петлю!

Сам себя не помня, выбежал он тогда из общежития и побежал на вокзал. Он решил найти друга, остановить его, уговорить, умолить вернуться. Он был уверен — Виктор вернётся.

Он боялся только, что не найдёт Виктора на вокзале, уже не застанет его. Он так обрадовался, увидев товарища в дальнем углу пассажирского зала, что невольно закричал и разбудил его. Он побежал потом за ним на перрон и дальше — к товарному составу. Теперь он знал, что уже не упустит.

— Слушай! — сказал он вдруг. — Если к рассвету придём, так никто, ни одна душа не узнает, что с нами было, ты не сомневайся!.. — Он знал, что именно об этом всё время мрачно думает Виктор.

— Нет! — жёстко мотнул тот головой. — Я Светличному всё сам расскажу.

— Д-да?.. — растерянно пробормотал Андрей. — Ну, пусть! А если кто смеяться станет, так я так морду набью...

— Пусть смеются, всё равно...

— Нет, я смеяться не дам! — проворчал Андрей. Угрожающе сдвинул брови и сбылся.

Некоторое время приятели шли молча...

— Дай теперь я понесу сундучок, Витя... — сказал Андрей.

— Нет, ничего. Я сам...

— А то понесу, а?..

Но Виктор не отозвался, и они опять пошли дальше молча...

— А помнишь Псёл, Витя, а? — вдруг сказал Андрей и тихо, радостно засмеялся. — Вот река! Тут такой и нету...

— Д-да...

— Он теперь уже замёрз, небось...

— Нет, рано ещё...

— А чего ж рано? Скоро замёрзнет... А тебе не холодно, Витя? А то...

— Нет, ничего...

— Я сейчас про Псёл вспомнил, и так хорошо стало... А помнишь Фросю Вовк из седьмого «а»? Вот здорово на коньках каталась!

— Да.

— Лучше всех девчонок. Она только с тобой и любила кататься...

А давай ей письмо напишем, а?

— Зачем?

— А так! Живы, мол, здоровы, вспомнили про тебя... И — с шахтёрским приветом известные вам Виктор и Андрей... А?

— Очень ей интересен твой шахтёрский привет!

— А что? И очень даже.

— Она всё считала, что я непременно лётчиком стану, — усмехнулся Виктор. — Знаешь, мы с нею один раз даже поцеловались...

— Да ну?! Я и не знал...

— На лодке. Это почти нечаянно вышло... А потом мы сюда уехали.

— Ну и что ж, что шахтёры? — горячо сказал Андрей. — А что шахтёр — это позор, что ли?

— Я ничего не говорю...

— Шахтёр, может, для людей поважнее лётчика будет! — волнуясь, продолжал Андрей. — Шахтёр подземное солнце на-гора достаёт. Если хочешь знать, так уголь — это, брат, человеческое солнце: и светит, и греет, и энергию даёт...

— Д-да... — протянул Виктор, думая о своём, и криво усмехнулся. — В лётчики я не вышел, а в летуны... чуть-чуть не угадал.

— А ты не думай об этом! — умоляюще закричал Андрей и даже остановился. — Я тебя, как друга, прошу: ты об этом больше не думай!

— Как же не думать, Андрюша? — просто и грустно сказал Виктор.

— Не думай! Вот поверь мне... Витя... да теперь ты такое, такое в шахте покажешь! Нет, ты постой, ты со мной не спорь, — торопливо проговорил он, боясь, что приятель его перебьёт. — Знаешь, я как увидел отбойный молоток, я, ей-богу, сейчас же про тебя подумал. Ведь отбойный молоток. это какая машина? Это как раз для тебя машина. Она проворного человека требует. Грамотного. Молодого. Моторного. Нет, ты постой!.. Слушай, ведь на «Марии» никто, ни одна душа ещё на отбойном не работает... Понятия никто не имеет. Один дядя Прокоп. Ты ж первым станешь, Витя!.. Ты ж им такое, такое покажешь!..

— Ты расскажи про отбойный молоток подробнее... — тихо попросил Виктор.

— Рассказать? — обрадовался Андрей. — Это... это ж як пулемёт, тебе понравится... Это ж такая сила, разве ж можно с обушком равнять? Даже в руки взять страшно... так и трясёт... Это в нём сжатый воздух...

И он, торопясь и захлёбываясь, стал рассказывать про отбойный молоток.

Только к рассвету пришли они на «Крутую Марию». На косогоре остановились, чтоб передохнуть, посмотрели вниз, на шахту — и не узнали её.

За ночь пал на посёлок первый иней и всё чудодейственно преобразил и принарядил. Словно лёгкая и трепетная венчальная фата опустилась на шахту, и та заневестилась, похорошела. Иней лежал на деревьях, на крышах, на трубах, на терриконе, — старый террикон стал похожим на снежный Эльбрус.

А из-за копра уже подымалось молодое солнце, лучи его весело и проворно побежали по земле, всё на своём пути преобразуя. Запылало надшахтное здание; в стёклах ламповой брызнули и заиграли разноцветные искры; иней на крышах стал розовым и кремовым, а на терриконе — темнофиолетовым, почти вишнёвым.

А там, куда ещё не проникли солнечные разведчики, — всё утопало в синей предрассветной дымке. Там ещё трепетали и боролись за жизнь ночные тени, отползали в овраги и балки и клубились туманами...

Но уже просыпалась жизнь в посёлке — кричали петухи, хлопали, отворяясь, ставни — и первые дымки, выпорхнувшие из труб над хатами, уже окрашивались солнцем в радостный розовый цвет. И, словно объявляя, что день настал, встрепенулся железный петух шахтёров — гудок «Марии» и раскатился над степью...

А ребята всё стояли на косогоре и восхищённо смотрели вниз на розовую шахту — они и не знали, что может она быть такой красивой.

И всего лучше на ней был — копёр. В этом чудесном утреннем превращении он один остался самим собой, не нуждаясь в прикрасах, ни на что другое непохожий, гордый своей собственной железной красотой. Его ажурный силуэт чётко и строго вырисовывался в пламенеющем небе; его шкивы уверенно вертелись в вышине, а канаты трудолюбиво сновали вверх-вниз, вверх-вниз, не зная ни усталости, ни покоя... Копёр был прекрасен той мудрой простотой человеческого сооружения, равной которой в природе ничего нет.

— Смотри! — вдруг взволнованно прошептал Виктор. — Нет, ты на копёр посмотри. Видишь?

Теперь и Андрей увидел то, что взволновало товарища: над копром, над самой вершиной его и скромно, и горделиво адела маленькая звёздочка. Значит, шахта вчера выполнила, наконец, свой суточный план.

— А мы — бегаем!.. — невольно вырвалось у Андрея.

— Больше мы бегать не будем, — строго сказал Виктор, — больше мы никогда не побегим, слышь, Андрей?

— Да, Витя...

— Никогда! — повторил Виктор. — А сейчас мы не просто на шахту придём с позором. А мы вот что сделаем. Мы с тобой законтрактуемся за шахтой до конца пятилетки. Слышишь, Андрей? И всех ребят вызовем. А бегать больше мы не будем. Никогда! — глядя на шахту, опять повторил Виктор, и слова его прозвучали, как клятва.

Глава 17

Уже светало, когда наш эшелон прибыл, наконец, в Донбасс. Я простился с товарищами и нетерпеливо выскочил из вагона. Теперь я был дома.

Ну, здравствуй, Донбасс, здравствуй, родной край! Резкий, пронзительный ветер ударил мне в лицо. Я усмехнулся. «Неласково же ты встречаешь сына!»

Но и в этом холодном, истинно донецком, степном ветре были тёплые и с детства знакомые запахи жжёного угля, заводского дыма, жизни; даже в самые лютые морозы эти запахи созревают, если не тело, так душу.

Я закинул вещевой мешок за плечо и пошёл на «Крутую Марию».

Знаю, донецкая степь многим людям покажется и серой и убогой, особенно сейчас, в осень, когда полынь пожухла, а земля скована заморозками. А для меня нет ничего прекраснее, чем эта степь, даже в осень. И не только потому, что я в ней родился, а и потому, что знаю я такие её прелести, каких нигде на земле не найдёшь.

Нет спору, трогательно-хорош тихий сельский пейзаж: небыстрая речка, а за ней золотое пшеничное поле, и лесок, и колокольня с вечерним звоном. Есть что-то мирное и умильное в этом пейзаже. Хорошо лежать на песке у воды да глядеть, как неторопливо скользит река в извечных берегах. Душа отдыхает... И легко тебе, и сладко, и по-хорошему немножко грустно, и никуда тебя отсюда не тянет... Да и куда может потянуть? Здесь всё вокруг давным-давно известно: пшеничное поле до самого горизонта, а за ним опять поля да тихие нивы, да перелесок, да маленькая деревенька над оврагом или над той же речкой...

Мне куда более по сердцу тревожный пейзаж Донбасса; он словно создан для мечтателей.

Вот стою я на дороге в степи, а окрест меня, куда ни глянь,—волнуется и шумит жизнь. Вся степь населена людьми. На всех её холмах, во всех её ярах и балках — жизнь, трепетная, непонятная, незнакомая... Что это дымит там, за холмом, на западе?.. Словно многотрубный корабль... Завод? Какой? Как вырос? А там — на востоке — что за синие горы, что за новые копры? Что там? Какие люди живут там, откуда они пришли, что делают, чем мучатся, чего хотят, что любят?.. А там — на юге — как красиво разбежался вверх по горе новый белокаменный посёлок. Постой! Я узнаю это место. Это же Стенькин хутор. Да когда же успел он обернуться городом?

Каждый шаг по степи полон радостных открытий и откровений. Каждый дымок на горизонте — новая загадка, новая тайна. И хочется идти и идти через эту степь, входить в её бесчисленные города и посёлки, останавливать незнакомых людей на дороге и жадно расспрашивать, выведывать, узнавать... Потому что самое интересное и самое красивое на земле — человек.

Человек! Тем и дорог моему сердцу донецкий пейзаж, что создан он человечьими руками. Да, природа обидела, обделила мой родной край, не дала ему ни вольных рек, ни зелёных лесов, ни медвяных трав. Но человек не захотел помириться на скудных дарах природы. Он сам стал богом и создал себе в степи и леса, и реки, и горы. Оттого-то в Донбассе не говорят «роща», а говорят «посадка», не говорят «озеро», а говорят «водоём». Даже самый большой и самый красивый лес здесь — Велико-Анадольский — весь насажен руками человека.

Эти синие горы на горизонте — их создал не бог и не геологический переворот. Их — лопата за лопатой — выбросил из-под земли на-гора человек и сложил в пирамиды. Это зарево над степью — не зарница, не солнце; это человек выпустил плавку из доменной печи и властно размахнулся на полнеба. А вон — сказочным, неземным, голубым светом затрепетала даль — как красиво! Нет, это не звезда покатила по небосводу, это человек, электросварщик трудится на новостройке. А там — смотри, смотри! — что за разноцветный мост картинно изогнулся в небе? Нет, это не радуга, и не хвост блестящей кометы, и не северное сияние. Это идёт из печи добела раскалённый коксовый пирог и, ломаясь на рампе, излучает все цвета спектра — нет на земле зрелища прекраснее и фантастичнее этого!

Вся степь и живёт и дышит трудом человека. Она вся опоясана электрическими огнями, всё небо — в кудрявых облаках фабричного пара: и нежный, и голубоватый дым, волнуясь, подымается из сотен труб, сложенных руками человека.

Да, не травой, не медовым клевером пахнет сейчас донецкая степь — крепким человеческим потом. Ну, что ж! Хороший запах! Слава, слава Человеку Труда, его могучим мудрым рукам, его неукротимому сердцу!

Взволнованный, подходил я к «Крутой Марии». Ещё один, последний косогор, а за ним уже — посёлок.

На косогоре, спиной ко мне, стояли двое юношей и смотрели на шахту.

— Здравствуйте,— сказал я, поровнявшись с ними, и остановился. Они искоса посмотрели на меня и неохотно ответили:

— Здравствуйте.

— На «Марию» идёте?

— Да-а... — не сразу произнёс один из них. — На «Марию».

В его руках я заметил сундучок.

— Приехали на шахту работать? — догадался я.

— Н-нет... Мы — здешние.

Я удивлённо посмотрел на сундучок, потом опять на ребят. Мне показалось, что они смутились. Но неудобно было расспрашивать их, хоть и хотелось.

— Ну, что ж! — весело сказал я. — Значит, мы — попутчики!

Они поколебались немного, затем тот из них, что был с сундучком, решительно сказал:

— Пойдёмте...

И мы зашагали рядом

(Продолжение следует)



МИХ. МАТУСОВСКИЙ

★

ЭСТАФЕТА МИРА

В Париже — смятение, в Марселе — тревога,
На Ниццу и Брест перекрыта дорога:
На всех ненадёжных составлены списки,
Набиты свинцом пулемётные диски,
Агенты разведки толкутся, как в ступке,
От злости хрипят телефонные трубки...
И всё же все взоры, все мысли, все лица
Сегодня направлены в сторону эту —
Туда, где, минуя любые границы,
Защитники мира несут эстафету.

Вчера её видели в доках Тулона,
Сегодня держал её ткач из Лиона.
Кузнец передал её в руки шахтёру,
Она от портнихи попала к лифтёру.
Моряк её вынес в холщёвом кармане,
Монах её прятал в широкой сутане.
Сжимал сталевар её в жёсткой ладони,
И всадник её увозил от погони.

Бидо объявляет её вне закона.
В неё автоматчики целят с балкона.
На каждом разъезде, у каждой заставы
Её ожидают ночные облавы.
Её броневыми машинами давят,
Её полицейскими шавками травят.
Но там, где один выбывает из строя,
На место его поднимаются трое.
Идёт эстафета от края до края,
Тепло человеческих рук сохраняя...

Мы с вами живём в беспокойные годы,
Когда из посевов рождаются всходы,
Когда доставалось нам счастье земное
Немалою кровью, нелёгкой ценою;
Когда наша правда шагает по свету,
Когда палачей призывают к ответу...
Несут эстафету, несут эстафету,
Защитники мира несут эстафету!

★

УЛИЦА МИРА

Здѣсь любят весною подростки
С гармонью бродить наугад,
И в фартуках школьных берѣзки
На Улице Мира стоят.

Такие здѣсь в небе зарницы,
Такая здѣсь в реках вода,
Что все перелѣтные птицы
Слетаются летом сюда.

Здѣсь ветренно в марте и сыро
От шумных потоков и льдин.
Пишите нам: Улица Мира,
Дом — десять, квартира — один.

Парторг со строительства едет,
Поѣт над коляскою мать —
О каждом из наших соседей
Неплохо б роман написать!

Вот слесарь — мой давний
знакомый
Со свѣртком идѣт неспеша —
Вчера из родильного дома
Жена привезла малыша.

Ещё не поднялся, не встал он,
Не вышел навстречу судьбе,
Но криком на четверть квартала
Уже заявил о себе.

А завтра он горы разроет,
Найдѣт в Заполярье руду,
Неведомый остров откроет
И новую в небе звезду.

Расти же, крикун и задира,
Свой двор и соседей любя.
Недаром на Улице Мира
Вчера прописали тебя.

В любое окно постучитѣ —
Ответит вам мирный народ:
Вот там поселился учитель,
А каменщик рядом живѣт.

Вот слышен спокойный и тяжкий
Соседа-литейщика шаг, —
Он весь от сапог до фуражки
Дымком горьковатым пропах.

Вот в люльке своей без опаски
Маляр закачался с утра, —
И небо завидует краске
В железном ведре маляра.

Я посвист отчаянный слышу
Из окон квартиры своей —
Мальчишки, забравшись на крышу,
Гоняют шестом голубей.

Земля хорошеет, светая,
И в небе теряется взгляд.
И турманы белою стаей,
Как голуби мира, летят.

А там, за чертой городской,
Светло от степной бирюзы
И свежестью веет такую,
Как в августе после грозы.

На трудной дороге к Победе
Знакома нам каждая пядь,
И, значит, сумеют соседи
За счастье своё постоять!

Приветлива наша квартира,
Просторен и солнечен дом.
Недаром на Улице Мира
Мы с вами сегодня живѣм.



ДМИТРИЙ ОСИН

★

КРАСНЫЙ БОР

Рассказ

1

Коммутатор помещался на почте за перегородкой; через окошечко было видно, как горбатенькая телефонистка, вертясь по-сорочьи на некрашеной табуретке, включает и выключает штепсели. А сама почта находилась в Хлястицах — большом, заново отстроенном селе на старинном большаке, по которому день и ночь, гудя, спешат тяжело нагруженные машины, осторожно и неохотно сворачивающие с накатанной колеи при встречах, чтобы пропустить друг друга.

Натопленная печь отогревает заледеневшую душу, веки тяжелеют. Лампочка, мигающая под потолком, становится похожей на золотой шар солнцезвезда, вытягивающий дрожание, острые стрелы лепестков почти до самых глаз.

А горбатенькая телефонистка всё крутит ручку коммутатора, всё так же раздаётся сухое пощёлкивание штепселей, и сонно, как большие, зажившиеся с осени мухи, жужжат откидывающиеся крышечки номеров.

— Почта! Я — почта. Райисполком, говорите с «Заветами Ильича»! Нища, вы кончили... кончили?

А в поле за Хлястицами дорога круто сворачивает вправо и расходится в стороны. Одна — колея, что идёт мимо озера и скрывается на горе в лесу, замечена сразу же за плотиной, и трудно понять — пройдут ли по ней тяжёлые полутоннажные машины с электропильными агрегатами или здесь от века не ездил никто и увязнешь, даже не добравшись до настоящей дороги.

Яростно воя, стегая по днищу кузова концами надетых на колёса цепей, точно подгоняя сама себя, первая машина врезается в перемёт, разбрасывая крыльями снег, сбавляет скорость и, пройдя сугроб, грузно увязает в следующем. С трудом отодвинув дверцей снег, Полушкин выглядывает наружу, потом глушит мотор и вылезает.

— Дальше, видно, не проедем, — вздыхает он, покосившись на механика треста, сонно посапывающего в кабине. — Идите грейтесь, пока снег обомнётся!

Королькевич просыпается и, выбравшись на дорогу, маленький, круглый, проходит, утопая в снегу, вперёд.

— Засели, — вернувшись, говорит он недовольно. — Переждать надо было, а не соваться в такую погоду...

Сзади идёт ещё одна машина с электростанцией, а за ней — полутурка с горючим. В кузове её, нахохлясь, как большие, отяжелевшие птицы, сидят возвращающиеся на участок девчата.

Полушкин, взглянув на них, крикнул:

— Замерзли, красавицы?

Девчата зашевелились. Одна из них — самая рослая, в стёганных армейских шароварах, валенках и заношенном полушубке, с цветным платком поверх поднятого, заиндевшего воротника, спрыгивает прямо в сугроб, выбирается, отряхиваясь, на обочину и, подойдя к Полушкину, просто и деловито спрашивает:

— Помочь, что ль? Давай крутану...

Королькевич невольно пятится от неё в сторону.

— Да что помогать? Гляди, как перемело, **Устя!**

— Ну и что ж такого. — всё так же, с готовностью говорит Устя и требовательно оборачивается к Полушкину: — Где у тебя лопаты?

— Тут прежде сообразить надо, дуром не возьмёшь, — сердится Королькевич. Когда он горячится, серые его глаза темнеют от гнева, округляются, словно обкатанные речные голыши.

Забравшись в кузов, Полушкин достаёт моток проволоки, сует в руку Усте:

— Разматывай лучше, зови девчат! Чего они там мёрзнут, — и идёт договариваться с другим шофёром.

Размотав проволоку, девчата срачивают её и, надев на крюк заднего моста, тянут к второй машине. Полушкин садится за руль, просит Устю:

— Ну-ка. крутани разок!

Устя, наклонясь, легко, словно играючи, проворачивает ручку — раз, другой. Мотор начинает работать, кажется, он вот-вот взнесёт полоторку над снегами, над заметённой дорогой.

Обе машины одновременно дают задний ход, цепи яростно хлещут по днищу, и за воём моторов отчётливо слышно, как, натягиваясь точно струны на колках, всё тоньше-тоньше звенит проволока. Потом она не выдерживает, с жалобным стоном лопается где-то посередине, и машина Полушкина грузно съезжает в вырытую задними колёсами траншею.

— Лапнику надо, — решает Устя. — Девки, за мной!

Девчата достают из кузова топор, верёвку. До леса за плотиной не меньше двух километров.

Полушкин обескуражен.

— Идите грейтесь, — говорит он Королькевичу. — Всё равно до утра провозимся!

Королькевич охотно соглашается и, выбравшись на дорогу, отправляется в Хлястицы. Тесная, неуютная прихожая на почте, тёплая печь кажутся ему необыкновенно желанными. Из Хлястиц можно даже позвонить в трест, поговорить, отвести душу. А ещё лучше — укрыться с головой и, забравшись на голые, обжигающие кирпичи лежанки, согреться, уснуть, а утром ехать в Красный бор, на Нишу.

В поле стемнело; морозный ветер гонит позёмку, ночная стужа дышит в лицо. С трудом переступая тяжкими, непослушными ногами, Королькевич идёт и думает о том, что электропильные агрегаты, которые, наконец, они получили и везут в Красный бор, должны завтра же с утра работать на делянке. Начальник участка Тимчик давно обещал приберечь лес получше... План заготовок не выполняется, участок отстал, и новую технику нужно сразу же пустить в дело на решающем направлении.

Как все, кому не приходилось воевать, Королькевич особенно любил этот условный язык штабных приказов и донесений и, когда говорил о решающих направлениях и новой технике, самозабвенно чувствовал себя тоже фронтовиком и штабистом.

Звёзды уже высыпали; высоко в тёмном зимнем небе роятся Стожары, а чуть правее и ниже морозно горит перевязь Ориона с пронзающим тьму мечом. А ещё ниже, на снежном взгорке, по которому поднимается дорога, живым и тёплым, земным светом пылают звёзды электрических огней в Хлястицах и зовут к уюту и теплу.

На почге попрежнему безлюдно и тихо; пощёлкивают штепсели, жужжат откидывающиеся крышечки номеров коммутатора; горбатенькая телефонистка, отрываясь от книжки, привычно командует:

— Челищцево, говорите с райсельхозотделом. — И снова кому-то: — Товарищ Козырев только недавно приехал и сейчас отдыхает. Что у вас — сводка? По льну? Даю дежурного райкома... говорите.

На Королькевича телефонистка оглянулась так, будто была уверена, что он обязательно вернётся.

— Не пробились?..

Голос у неё совсем не похож на тот, каким она только что разговаривала с абонентами — мягкий, домашний.

— Застряли, — хмуро отзывается Королькевич. — На плотине...

— А вы в МТС сходите, помогут, — подсказывает телефонистка. — У них три трактора гусеничных, только с завода. Пробьют дорогу...

Под окном зашумела, остановилась машина. Кто-то громко хлопнул дверцей, затоптал на крыльце.

«Неужто Сиверцев? — Королькевич прислушивается, узнавая по стучку с переборами в моторе одну из своих трестовских машин. — За нами вдогонку...»

Телефонистка щёлкнула штепселем.

— Почта. Говорите с Россонами. Собрание назначено на завтра. В семь тридцать. Да-да, обязательно. Агитбригада выедет тоже...

Дверь распахнулась. В клубах холодного воздуха на пороге действительно показывается инженер Сиверцев. Он — в чёрном, дублёном полушубке, туго подпоясанном широким командирским ремнём, в мягких валенках и мохнатой пыжиковой шапке с опущенными наушниками.

Увидев Королькевича, Сиверцев шагает навстречу, улыбаясь словно бы виновато.

— А я за тобою вслед, Андрей Петрович. Только вернулся из Борковичей, и сюда. Давно не был на Нише, недели полторы уже. — И с всегдашней заботливостью, которую так не переносит Королькевич, спрашивает: — Застряли, небось? В низинке, за озером? Та-ак... чуяло моё сердце.

— Застряли, — едва сдерживается Королькевич. — Снегу выше пояса, перемёты...

— Снег, перемёты, — зябко ёжась, повторяет Сиверцев. И, прищурившись, вдруг смеётся — широко и открыто: — А не обогреться ли нам с тобой, а? Что-то меня трясёт всю дорогу. Простудился, наверно.

— Обогрейтесь, обогрейтесь, — улыбается телефонистка. — И в МТС сходите — помогут!

Услышав об МТС, Сиверцев воодушевляется.

— Верно! Зайдём-ка к директору. Уговорим, чтобы пустил трактор дорогу проутюжить.

— А может, позвонить лучше? — заколебался Королькевич. — По телефону договоримся...

Он умел и любил договариваться по телефону — солидным, рассудительным баском, составлявшим обманчивое впечатление о его фигуре.

— Нет уж, просители, брат, ногами ходят, — решительно возражает Сиверцев. — По крайней мере, не испортим дело.

— Ладно, идём, — не без сожаления соглашается Королькевич, подвязывая ремешки на шапке-ушанке. — Если будут искать нас, Надя, скажи: скоро вернёмся.

— Я в МТС тогда позвоню, — обещает телефонистка и опять берётся за книгу.

— Ладн~~ы~~, ладн~~ы~~, — говорит Королькевич и выходит.

Из каждой поездки он привозит что-нибудь: то присказку, то слово, то повадку. Недавно Королькевич ездил в Крестцы и привёз оттуда это словечко.

Сиверцев чувствует: недомоганье валит его с ног.

«Должно быть, прохватило вчера, — думает он, вспоминая, как тепло, уютно сейчас дома, в новой, чистой и поместительной квартире. Дети, наверно, ловят музыкальную передачу из Москвы, а жена беспокоится о нём и корит за то, что не взял меховой жилет. — Водки бы сейчас... с аспирином, — зажмуривается он. — А тут, как назло, не проехать!»

2

Большой новый столб возле почты до самого траверса мохнато оброс инеем. Провода гудят протяжно, зовуще и отчуждённо. Куда они зовут среди этой ночи, зимы и снега — чуть не на краю света?

Королькевич и Сиверцев подходят к магазину. Он закрыт, но на другой половине просторного, доброго дома обнадёживающе светятся два окна. Золотые причудливые пальмы на стёклах словно нарочно нарисованы морозом, чтобы Сиверцев ещё сильнее почувствовал стужу и озноб.

Собравшись с духом, он стучит в раму. Тотчас же женский сердито осуждающий голос отзывается:

— В чайную! В чайную идите! Магазин закрыт...

В чайной, конечно, лучше всего, а что она открылась — они даже не знали.

«Сколько ж я тут не был, в Хлястицах? — пытается вспомнить Королькевич. — С осени? Засиделся в тресте...»

Сиверцев идёт за ним, и ненадолго ему кажется, что он не простудился, а просто перемерз; стоит только согреться — всё станет хорошо, и можно будет ехать дальше.

В чайной — светло, уютно. Не раздеваясь, они присаживаются к столику и, пока официантка подаёт стаканы и закуску, испытующе и молча оглядывают друг друга.

— Значит, из Борковичей и за мной вдогонку? — спрашивает Королькевич, положив на стол красные, озябшие руки с припухшими пальцами.

Сиверцев посмеивается:

— Давно не виделись...

Он снимает ушанку, приглаживает русые, коротко подстриженные волосы с редкими иголками седины за ушами и на висках, и становится серьёзнее:

— Захотелось на электропилы посмотреть. Как работать будут, как девчата приладятся...

— Девчата, девчата, — Королькевич неожиданно «вскипает», будто инженер нечаянно наступил ему на мозоль. — План выполнять надо, а

не с утопиями носиться. В Крестцах вон не каждому кадровику новую технику доверяют.

И не давая Сиверцеву вставить хотя бы слово, он горячо и возбуждённо рассказывает о том, что видел в Крестцах, в передовом и образцовом лесхозе. Там давно уже все лесорубы вооружены не лучковками, а электропилами, созданы единые производственные бригады и смены, заготовка леса идёт поточным методом...

Слушая его, Сиверцев согласно похлопывает ладонью по столу. Здесь, в Красном бору, разработки начались совсем ещё недавно, да и трест — тоже создан всего год назад. Техническое вооружение участков по сути дела только ещё начинается, кадры не обучены. Работать при таких обстоятельствах нелегко, и по-человечески он понимает, что Королькевич, вернувшись из командировки и повидав, как поставлено дело в Крестцах, невольно растерялся и даже пал духом.

— Что ж ты решил? — спрашивает он механика.

— Не знаю ещё...

— Бросить всё и уехать?

Королькевич невольно поёживается.

— А ты бы не задумался об этом? — вдруг спрашивает он, убирая руки со стола.

Сиверцев чуть бледнеет:

— Я бы подумал о том, кем меня назовут после этого, — медленно произносит он. — Понимаешь?..

— Да я ж ещё не собираюсь удирать, — Королькевич смеётся. — Чего ты на меня накидываешься!

Он хочет сказать Сиверцеву, что думает совсем о другом, но не решается. Электропилы нужно отдать не наспех обученной бригаде Усти, а самым опытным, старым лесорубам, которые сумеют обеспечить выполнение плана.

Официантка приносит водку. Они привычно чокаются стаканами, выпивают: Сиверцев — залпом, Королькевич — неторопливо, в два приёма.

— Когда-нибудь и к нам будут стремиться люди, — мечтательно говорит Сиверцев. — У Красного бора всё, брат, ещё впереди!

Он родился и вырос далеко отсюда, совсем в другом краю, но во время войны немало бродил по Белоруссии и, видно, навсегда привязался душой к её лесам и землям. А Королькевич — родом из ближнего района. Вернувшись после войны, он не остался на прежнем месте, а стал главным механиком треста.

— Скучно у нас тут, — признаётся Королькевич. — Развернуться негде, да и не на чем...

— А ты попробуй, покажи на что способен, — подзадоривает его Сиверцев.

Закусив, они выходят из чайной.

Ярко, на мороз, разгорелись звёзды, всё сильнее гудит в тёмном поле.

Усадьба МТС — на противоположном краю села, в стороне от большака. На просторном дворе, исчерченном колёсами машин и шпорами тракторов, расположены механические мастерские, кузница, гараж, а поодаль, под берёзками, чернеет погреб с горячим.

Сторож в тулупе встречает их у ворот.

— Директор дома? — требовательно спрашивает Сиверцев.

— В конторе... с полчаса как, — уступая дорогу, говорит сторож. — А вы кто же будете? Издалека?

— Из области, — солидно отзывается Королькевич. — Как его по имени-отчеству?

— Сергей Сергеевич, ай не знаете? — сторож искренне удивляется. — Красовский Сергей Сергеевич наш директор. Это уж все на сорок вёрст в округе знают.

В первой комнате, где помещается контора, темно, но из-под двери кабинета пробивается свет. Красовский сидит за столом, наклонив крупную бритую голову с открытым, шишковатым лбом. Увидав вошедших, он поднялся, шагнул навстречу.

— Из области, из треста, — не отказывая себе в удовольствии подчеркнуть это, представляется Королькевич. — Главный механик...

— Заместитель директора, — назвался Сиверцев.

Красовский пригласил их сесть. Казалось, он знал Сиверцева и Королькевича уже давно, и то, что они появились в такое неурочное время, не считает необычным и неожиданным.

— Слежу, слежу, — признаётся он, не сводя с них пристальных, требовательно щурящихся глаз. — Мы, районщики, — народ ревнивый! Как у вас там с планом в Красном бору? Что-то, помнится, около семидесяти процентов в райкоме называли?

— Семьдесят три и восемь, — всё так же солидно подтверждает Королькевич.

— Вывозка?

— Нет, вывозка — шестьдесят один, — поясняет Сиверцев.

— Вот-вот, если сложить да разделить, то так оно около семидесяти процентов и получится. Отстаёте!

Красовский поднялся, посмотрел на карту деятельности МТС, пофронтному, старательно, разрисованную разноцветными значками и обозначениями, и потёр голову.

— Как-то я проезжал там, заглянул в вашу лесную епархию. Вручную работаете. Из техники — узкоколейка только, да и та — на конной тяге.

Сиверцев распахивает полушубок. Ему жарко от вина, от поднимающейся температуры, от слов Красовского, словно подслушавшего заветные его думы.

— Вот везём электропилы, — словно оправдываясь, говорит Королькевич. — Обещают скоро трелёвочные тракторы...

Угадывая в Красовском работника большого масштаба, удивляется, почему тот оказался здесь, в Хлястицах.

А Красовский, почти зная, что занесло к нему нежданных гостей, думает о другом. Систему трестов в лесном деле он давно считал устаревшей и в организационном и особенно в технико-производственном отношении. Заготовки леса следует организовать сейчас на новой машинной основе, а для этого нужно создать, подобно МТС, мощные, вооружённые новейшей техникой машинно-механизированные станции, которые должны не только вести лесные разработки, но и сажать, выращивать леса в зоне своей деятельности, вести научно-разработанный и налаженный лесооборот...

И, увлечшись, Красовский стал развивать свои соображения по этому поводу.

— У меня, только теплом повеет — семьдесят машин в поле выхоят. А сколько плугов, дисковых борон, сеялок — счёту нет! И в лесу пришло время всем фронтом наступать. Технику туда нужно двинуть, не только валить лес, но и распахивать лесосеки, засеять наново, растить, прореживать, чистить! Вот тогда лесооборот и пойдёт...

Сиверцев слушает его взволнованно, с ревнивым интересом. Крупный, высокий, в несношенном армейском костюме и длинных, за колени, бурках — Красовский похож на фронтовика-штабиста, привычно ориентирующегося на большом и сложном оперативном участке. Сиверцев, не удержавшись, восхищённо машет рукой:

— Вам бы министром у нас, лесников, быть! Ей-богу!

Красовский поглядел на него внимательно.

— Ну, куда там. Я скорее практик... районщик. — И засмеялся: — Оружие ближнего боя!..

Королькевич сидит молча. Вмешательство директора МТС глубоко задевает его, а поведение Сиверцева, как бы подлакивающего Красовскому, возмущает. И Королькевич ждёт только подходящей минуты, чтобы повернуть разговор по-иному.

«И чего оправдываться, — негодует он, глядя на Сиверцева. — Какое им дело, что у нас семьдесят? Пускай лучше о своём плане беспокоятся!»

Королькевич забыл, зачем они пришли, и хочет только защитить себя, свою честь, честь треста.

«Тоже механизатор, — думает он о Красовском. — Небось, на каждого работника по двадцать — двадцать пять машинных сил государство дало, так можно перед другими напоказ выставляться».

Красовский, словно опомнившись, остановился посреди комнаты:

— А люди-то, небось, у вас на морозе танцуют? Мы тут в мечтания ударились, а они...

Лицо его посуровело; губы сжались. Сев за стол, он приготовился слушать, что привело гостей в такую пору.

«Горючего, наверно, нехватило или масла, — не без пренебрежения думает он. — Придётся дать, хоть и влетит мне когда-нибудь за отзывчивость!»

Зябко запахиваясь в полушубок, Сиверцев объясняет, в чём дело.

— Застряли за плотиной, всей колонной застряли. Без трактора не пробьёмся...

— Ну, трактор я вам дам, пускай поможет, — недолго раздумывая, соглашается Красовский. — Только уговор: горючее ваше! А то я уж перерасходовался в эту зиму, отвечать придётся.

— Заправим, пусть подходит, — облегчённо вздыхая, поднимается Королькевич. — И в запас останется!

Красовский внимательно поглядел на него и стал одеваться, собираясь отдать распоряжение трактористам.

— А знаете, кто нас послал к вам? — вспомнил Сиверцев, идя по двору. — Телефонистка!

— Надя? Вот я ей уши надеру, чтобы районом не командовала, — засмеявшись, пригрозил Красовский и, пропустив Сиверцева и Королькевича вперёд, пошёл к общежитию трактористов.

Морозная позёмка гудом гудела в поле, когда тяжёлый шестидесятисильный трактор на гусеничном ходу вышел, развернувшись, во двор и, утюжа снег, выбрался на дорогу. Сиверцев и Королькевич, едва поспевая за ним, побежали, забрались в будку.

Красовский остановился на крылечке, прислушиваясь к скорговорке мотора, поглядел на часы и, улыбаясь чему-то, пошёл в контору.

3

Полушкин, Устя, её подруги и шофёры с других машин коротают время в избе мельника неподалёку от плотины. Тут же стоит и электростанция, которую после полуторачасовых усилий, подостлав лапник, выташили из сугроба.

Шофёры сидят за столом в горнице, пьют чай; девчата закусывают, ожидая пока освободится посуда. А в передней, на скрипучем кухонном столе, накрытом широкой, составленной из двух половинок доской, работают шерстобиты.

Хозяин-мельник, тяжёлый, словно куль с крупчаткой-мукой, кипятил им воду, а когда ввалились с мороза проезжие, пришлось уступить самовар. Оставшись без дела, он ждёт, скоро ли гости обогреются и уедут.

Шерстобиты валяют валенки. Одну пару они уже сработали и поставили на лавке возле порога, как свидетельство своего мастерства. Крепко сбитые, аккуратные, чёрной, шлёнской шерсти — валенки легки и изящны — не тем показным, франтовским изяществом, что, бросаясь в глаза, привораживает с первого взгляда и обычно обманывает потом, в носке, а добротным и чистым мастерством, которое знает себе цену и не обманывает никогда.

— Всё бы ничего, — рассказывает старший из шерстобитов, ловкими, привычными движениями плотно раскатывая на доске пласт свалёной, пахнущей квасцами шерсти, — санитария только сильно одолевала. Была у нас в отряде докторица одна, из Полоцка, перед самой войной медицину свою окончила, — зачерпнув ковшиком ладони горячую воду, шерстобит плеснул её на доску. — Хуже всего нас одолевала! Приедет — и в баню, в баню всех, как ребят малых...

— Баня в таком случае первоющее средство, — рассудительно подтверждает хозяин и косится на шофёров, передавших, наконец, посуду девчатам.

— А где в лесу. в ходу баня? — прихлопнул каталкой шерстобит. — Ну летом ещё так-сяк, а зимой, на снегу, в шалаше — пару не напасёшься. Но ребята и тут приладились. Знаешь мельничку в Челищеве, на самом краю, под горкой?

— Так её же немцы ещё в сорок первом спалили, — вспомнил хозяин.

— А банька-то возле уцелела, — оглянувшись, прищуривается шерстобит. — В ней-то мы и парились! Нагрнем, бывало, полицаев распугаем, а сами на полбк, санитарию свою в порядок приводить. Но один раз, — рассмеялся он, обнажая белые, вкусно блеснувшие в бороде зубы, — шугнули нас немцы из миномётов: в чём мать родила к лесу уходили...

Молодой шерстобит рассмеялся тоже. То ли он не раз слышал об этом, то ли участвовал во всём вместе со старшим.

Хозяин не скитался по лесам, он оставался на мельнице и при немцах, рискуя собою каждый день.

— Времячко, — вздыхает он, как бы умывая ладонью пухлое, без бороды и усов, лицо, — не тем будь помянуто!

Шерстобиты наперебой дробно застучали каталками.

Один из шофёров, накинув полушубок, выходит взглянуть на машины.

Дождавшись очереди, девчата пьют чай с конфетами. Устя вполголоса экзаменует подруг:

— Чтобы не портились выключатели электропил, надо оберегать коробку от снегу, от сырости, а ещё лучше... что ещё? Ну, кто скажет?

— Лучше всего пускать пилу повыше, чтобы...

— Кто это тебе позволит выше сорока сантиметров брать? — возражает Устя и вдруг прыскает со смеху: — Лучше всего не работать, а держать инструмент за пазушкой, как цацу какую!

Шофёр, ходивший приглядеть за машинами, возвращается.

— Похоже, трактор шумит, — говорит он, обивая у порога валенки. — Слышно, мотор прогревают...

— А ну-ка, — делает знак Полушкин, и все стихают. Далеко в ночи колотится нарастающая тракторная скороговорка.

Полушкин надевает полушубок, шапку.

— Пошли, — коротко командует он. — Сейчас здесь будут!

И поблагодарив хозяина за приют, за ласку, выходит в сени. За ним прощаются шофёры, торопливо одеваются девчата.

Трактор вырывается из-за поворота, как танк — стремительно, на всём ходу. Электрические фары на радиаторе освещают бегущую, в отпечатках автомобильных шин, дорогу. Возле избы трактор сбавляет ход, останавливается.

Сиверцев выпрыгивает из будки, здоровается со всеми.

— Заводите, поехали! — командует Королькевич.

— Может, поужинаете, чаю польёте? — предлагают девчата.

— Ужинать в Красном бору будем, — возражает Сиверцев и оглядывается на механика: — Так, Андрей Петрович?

Девчата помогают шофёрам заводить машины, потом забираются в кузов, накрываются брезентом. Трактор, осторожно перебирая гусеницами, проходит вперёд: к нему на буксир прицепляют машины с электропильными агрегатами.

Высунувшись из будки, тракторист машет рукой:

— Трогай!

Шофёры прибавляют газу. Сиверцев едва успевает вскочить в будку.

— Ну, свадьба! — пренебрежительно хлопая рукавицей по баранке, говорит Королькевичу Полушкин. — Не дай где увязнем — молодых поморозим!

— Не увязнем, — уверенно отвечает Королькевич. — Трактор этот, как танк, по любому снегу пробьётся...

Плотина кончается. Впереди чернеет полузанесённый позёмкой лапник, за ним — сплошные перемёты. Трактор с ходу врывается в них почти по самые фары, подминает снег, натужно гудит, но не останавливается, не вязнет и ведёт за собой вереницу машин.

Полушкин старается держать по проложенному следу. Чувство признательности к умной и сильной машине, выручающей их из беды, переполняет его.

— Ишь, пряники выдаёт, — восхищённо кивает он на белые сахарные плитки прессованного снега, вылетающие из-под гусениц. — Ни дать, ни взять — тульские!..

Сидя в будке, рядом с трактористом, Сиверцев всё ещё думает о разговоре с Красовским. Ему, инженеру треста, давно видны недостатки разработок в Красном бору, отсутствие техники. В архангельских, карельских, сибирских лесах давно уже работают по-новому, валка леса и разделка древесины идут потоком, новые машины, электропильные агрегаты помогают добиваться невиданной производительности. А в Красном бору лесорубы вооружены ещё лучковками, только сейчас трест получил передвижные электростанции и новые пилы. Но скоро изменится всё и здесь.

И, размечтавшись, Сиверцев видит, как и у них на делянках работают трелёвочные тракторы, как лес вывозится к разделочным эстакадам, а мотовозы бегут по узкоколейке с платформами брёвен к реке, и гулкое лесное эхо чутко отзывается на сигналы встречных поездов.

Электропильщики идут всё дальше и дальше в чащу, а вековому бору — нет конца. Леса здесь на сотни лет, а при правильном и налаженном лесообороте — навек...

И Сиверцев узнаёт не старые, вразной зарастающие молодняком лесосеки, а разделанные посадочными машинами лесища, засеянные вновь. Ровные, словно по ранжиру подобранные шеренги сосенок-трёхлеток, едва достающие до колен, бегут перед его воображением, а за ними — темнеет густой мальчишеский подсед десятилетних заказов, шумит говорливый подлесок постарше, встают молодые, идущие на смену старым, леса...

«Последняя сосна, которая упадёт здесь когда-нибудь под электрической пилсой, — радостно и взволнованно думает он, — всё-таки не будет последней. На смену подымутся другие, новые, — выращенные человеком!»

Иногда трактор останавливается, будто у него перехватывает дыхание от натуги, и, немного попятившись назад, снова врезается в сугробы. Псади бешено клубится снежная мгла, которую едва пробивает свет идущих следом машин.

Под горкой, в лесу, они задержались. Дальше дорога полегче, но трактористу необходимо заправиться горючим. Пока открывают бочку, переливают лигроин, Сиверцев и Королькевич курят на дороге. Огонёк папироски, вспыхивая, освещает усталое лицо инженера, широкие скулы и прищуренные глаза.

— Ах, чёрт, интересно он говорил о лесе, — Сиверцев, усмехнувшись, взмахивает рукой и припускается танцевать на дороге, будто мёрзнут ноги. — Правильно разбирается — пора! Вернусь в трест, соберём совещание, на открытое партийное собрание вынесем...

Королькевич помалкивает, держится солидно, будто хочет казаться выше ростом. Заиндевевшая щётка усов выглядывает из мохнатого меха опущенных наушников.

Он понимает, что Сиверцев не зря поехал вслед за ним. По решению, принятому в тресте, Королькевич должен поставить на электропильных агрегатах женскую бригаду, но сейчас не хочет и не считает возможным сделать это. Намереваясь поговорить с Сиверцевым обо всём, он выбирает удобную минуту, в сотый раз повторяя про себя доводы и обстоятельства, заставляющие поступить так, а не иначе.

— Поехали! — наконец кричит Полушкин, бросая в кузов пустую банку из-под лигроина.

Шофёры заводят машины.

— Ну как, девчачочки? — спрашивает Сиверцев, приподымая брезент, которым укрылись Устя и её подруги. Из-под него дышит девичьим теплом, уютно, особенно волнующим на морозе.

— Хорошо-о, -- вразной сонно отзываются они. — Залезайте к нам греться...

— А примете?

Казалось, Сиверцев и в самом деле собирался забраться под брезент, но Королькевич неожиданно предлагает:

— Садись-ка ты в кабину, Матвей Афанасьич! А я поеду на тракторе. Лады?

— Лады, лады, — безотчётно повторяет, соглашаясь, Сиверцев и, забравшись в кабину к Полушкину, как только трогаются дальше, — приваливается в угол, начинает дремать.

В лесу тихо, тепло; покачивает на колеях, и, согрившись, Сиверцев не слышит, как ещё дважды трактор пробивает заносы на вырубках в овраге и возле Челищева, как машины перебираются по льду через Нищу, и просыпается только под утро, когда приезжают на место.

4

Ночной костёр с грудой подёрнувшихся сизоватым пеплом углей одиноко догорает под старой шатровой елью. Ветви её, когда-то спускавшиеся чуть не до земли, опалены; только на высоте человеческого роста за чёрными, обезображенными огнём лапками зеленеют живые иглы.

Отсюда, с разделочной площадки, начинается и идёт к Нище узкоколейка, по которой заиндевшие от стужи кони, стуча копытами, возят на рюм платформы с грузом.

В лесу сумрачно, тихо; следы саней-волокуш уходят куда-то в дремную глубину и, кажется, пропадают без возврата. Запас хлыстов, вывезенных для погрузки, невелик и, наверно, днём, во время работы, его нехватает.

Общежитие лесорубов, кухня, склады и хозяйственные постройки виднеются в сторонке. Красный флажок на крыше, схваченный морозом после недавней оттепели, стоит в недвижном воздухе жёстко, как флюгер. Разгорающаяся заря будто раздувает в нём пламя.

Даже после ночи в дороге Королькевич не чувствует усталости.

— Матвей Афанасьич, приехали! — окликает он Сиверцева, выпрыгнув из будки. — Вставай, сейчас чайку напьёмся, обогреемся — и на делянки!

Взобравшись на машину, в которой ехали девчата, Сиверцев слёргивает брезент, в лицо сыплется успевшая насориться за дорогу по лесу хвоя. Не то прося, не то предупреждая, он говорит Усте:

— Чтобы меньше пятнадцати фестов на каждую пилу сегодня не было!

Девчата удивлённо поднимаются:

— Ух, ты? Да мы почти по столыку на ручной валке выкладывали!

Золотые свечи сосен жарко пылают на солнце, озаряя видимую глубину бора трепетно-радостным, праздничным сиянием. Голубовато-сиреневые тени лежат поперёк просеки, на которой стоит общежитие лесорубов, и в замёрзших окнах его светятся причудливые узоры.

Королькевич решает поговорить с Сиверцевым откровенно. Сейчас, утром, всё видится ему в резком и ясном свете и требует не оставлять никакой недоговорённости.

— Ты понимаешь, — небрежно начинает он, отводя Сиверцева к костру, чтобы не подслушали девчата, — вооружать надо не слабых — только потому, что они слабы и, получив технику, станут сильнее, — а наоборот — сильнейших! У них-то в руках техника и даст наибольший эффект...

Сиверцев сразу понимает его.

— О чём ты? — невозмутимо спрашивает он, протирая уголком платка глаза. — О какой технике?..

— Да об электропилах, — Королькевич готовится к самому трудному и как можно мягче поясняет: — Я всё же хочу на агрегаты

кадровых лесорубов поставить. План-то нам надо выполнять или нет?

Мягкая у него повадка, но то, за чем охотится, — Королькевич хватает цепко.

Сиверцев знает это.

— Нет, это не выйдет, — спокойно возражает он. — Что решено, то решено...

— Ну тогда давай шесть этих пил разделим между двумя бригадами. Пускай девчата осваиваются пока на трёх, а три остальных...

— Что им осваиваться? — не сдаётся Сиверцев. — Они курсы окончили.

— Краткосрочные, — напоминает Королькевич. — Такие курсы я проведу здесь со всеми лесорубами.

Сиверцев засовывает руки глубоко в карманы полушубка.

— Вот затем-то я вдогонку за тобой и поехал, — признаётся он. — Кроме плана и техники, есть, брат, ещё и политика. Ведь первая на всю область женская бригада электропильщиц...

Перебив, Королькевич терпеливо объясняет ему, почему следует сделать так, как он предлагает.

— Политика политикой, — соглашается он. — И женская бригада у нас будет. Но наступать надо ударными силами, ты же понимаешь...

— Вот потому-то и не нужно делить их, — предчувствуя долгое и трудное объяснение, напоминает Сиверцев. — Красовский бы на нашем месте решил так же.

— Ну, лады, будь по-твоему, — неожиданно сдаётся Королькевич. — Поглядим, как оно получится, поправиться всегда сумеем.

— После завтрака пойдём выберем делянку, — Сиверцев не знает ещё, верить ему или нет. — Мотористы отдохнут пока, выспятся. А с обеда начнём...

И боясь, что Королькевич будет настаивать на своём, торопливо направляется к общежитию.

В кухне топится печь; стряпуха готовит завтрак. Умывшись, Сиверцев и Королькевич закусили, напились чаю.

Лесорубы слушают последние известия, завтракают, потом запасаются хлебом и расходятся по делянкам. Обожжённые стужей лица их будто отлиты из тёмной бронзы.

Контора разгорожена струганой дощатой переборкой: в одной половине — служебное помещение, а в другой — квартира начальника участка Тимчика, живущего тут с женой и маленькой дочкой. Во время войны Тимчик был помощником секретаря районного комитета партии Козырева, командовавшего партизанским отрядом. Он умел всё: водить машину, написать приказ, разобрать и починить пулемёт, сварить обед, и обладал счастливым даром сходить на короткое время к семи. После войны Козырев звал его в город, предлагал хорошую работу, но Тимчик, отказавшись, остался в лесу.

Как-то летом он принёс дочке полуживого зайчонка, выходил его, и тот живёт с тех пор на участке, забыв дорогу в бор. Подражая белчиному цокотанью, Тимчик мог выманить любую белку, и когда шёл куда-нибудь по лесу, они часто провожали его целой ватагой, перепрыгивая по деревьям.

— Собрал бы ты их, Сергей Иваныч, — балагурили лесорубы, — да отвёл под командой к скорняку в мастерскую...

— Жинке на шубу!

— Далеко вести, — отшучивался Тимчик, но карие его глаза глядели неулыбчиво, будто видели что-то ещё.

На делянку начальник участка вёл Сиверцева и Королькевича не той дорогой, которой возили лес и ходили лесорубы, а целиной, по недавней лыжне, проложенной между соснами. После оттепели её прихватило морозом и можно было идти не проваливаясь.

Неглубокий и лёгкий след чьих-то копытцев — подтаявший, сторожкий — ровными клиночками пересекает лыжню и, дыша совсем недавним живым теплом, уходит в чащу.

Тимчик останавливается, словно оберегая лесную тайну. Лицо его задумчиво и мечтательно.

— Козюля, — показывает он Сиверцеву. — В сорок восьмой квартал прошла.

Сорок восьмой квартал начинается сразу за просекой, выходящей одним концом к дороге, а другим — к Нище. Развернув план разработок, чем-то отдалённо напоминающий самодельную партизанскую карту, Тимчик объясняет, как будут идти лесорубы дальше. Начав осенью с самых отдалённых кварталов, они сходятся сейчас к Нище, выигрывая расстояние. Пока не было снега, срубленный лес возили к узкоколейке и на речные рюмы издалека; сейчас расстояние сократилось больше чем наполовину, а к середине зимы, когда сугробы завалят все дороги вокруг, лесорубы подойдут почти к самой реке. Нестрашен тогда будет и снег.

— Кто это придумал? — спрашивает Сиверцев, не скрывая одобрительного восхищения оперативной находчивостью начальника участка.

— А тут и придумывать нечего было, — мягко отзывается Тимчик, ничем не обнаруживая, что ему приятно это одобрение. Свернув планшкетку, висящую через плечо, он ведёт их по просеке к реке.

Лес тут как на подбор — ровный, чистый, не старше шестидесяти пяти—семидесяти лет. Невысокое солнце пронизывает его длинными багряными копьями, и если бы не лесники-дятлы, хозяйственно стучавшие на высоких стволах сосен, да не сварливое беличье цокотанье — ничто бы не нарушало тишины.

Глядя на план, расчерченный условными обозначениями, цифрами и стрелами, ещё можно было представить, что всё это скоро будет вырублено. Но в лесу этому никак не верилось. Невозможно было представить себе, что все эти деревья через несколько дней будут свалены, и на голых, обнажившихся порубках заведут хоровод належавшие выюги. И хотя это не было бессмысленным уничтожением, как на войне или во время стихийных бедствий, больно было почти так же и с тою же силой.

Не доходя до реки, Тимчик остановился.

— Ещё и с миноискателем полазить придётся, — замечает он, показывая остатки немецких укреплений на берегу. — Тут у нас с ними вроде граница одно время была. По ту сторону Нищи — временно оккупированные, по эту — наш, партизанский район!

— А где же минёры? — Сиверцев знал, что скажет начальник участка, и не ошибся.

Тимчик засмеялся, открыв мелкие белые зубы.

— Были бы миноискатели, а минёров хватает. Всякие есть: и армейские, и партизанские, и артисты-любители вроде меня!

— Да, тут, видно, жарко бывало, — Королькевич нагибается к сосне и разглядывает следы минных осколков, затёкшие смолой.

— Что тут, — Тимчик машет рукой. — В самых глухих чащобах пуль да осколков не счесть! Лесорубы не успевают пилы править...

Действительно, возле реки лес иссечён осколками, покарёжен разрывами снарядов и бомб. Голые, расщеплённые стволы торчат, зарастая молодым подседом, поднявшимся на израненной, горелой земле.

И Сиверцев снова вспоминает о лесообороте, о давних своих думах и о том, что при разумной помощи человека всё здесь, в Красном бору, должно быть по-иному.

С Нищи они направляются туда, где работают лесорубы. За просекой, на разделанных в снегу площадках, пылают огромные костры, с пороховым азартом трещит хвоя, далеко несёт жирной смолистой гарью. Шепелявая разноголосица пил, звонкий на морозе клёкот топов, стон падающих деревьев сливаются воедино в оживлении дружного и ладного труда.

Но Сиверцев глядит на всё это и видит иное. Ему представляется, что лесорубы, возчики, девчата-подсобницы работают совсем по-другому, — будто не в лесу, а в каком-то просторном цехе. Гулко, размеренно гудят электропильные агрегаты, лесорубы валят лес легко и споро, тракторы трелюют его к накатанной ледовой дороге, по которой одна за другой подходят, разворачиваются новенькие пятитонные машины. Разделанная древесина идёт потоком с делянок на погрузку, как в Крестцах.

На такую работу можно глядеть — не наглядеться.

Сбросив полушубок и оставшись в меховом жилете, Королькевич сменяет какого-то рослого мальчика, стоящего в паре с чернобородым, кряжистым стариком на двухручной пиле, и, подзадоривая, налегает на толстую, матёрую сосну.

— Давай, давай, Прохорыч, — весело покрикивает Тимчик. — Держи-ись, а вечером на беседе о Китае приходи!

— Приду, отчего не прийти, — неторопливо, не сбивая дыхания, отвечает лесоруб. — Больше самоходом пилу пускай, — замечает он Королькевичу. — Она у нас свою обязанность знает...

Когда, обойдя делянку, Сиверцев возвращается обратно, Прохорыч работает пилой-одноручкой, а Королькевич, накинув на плечи жилет, сидит рядом, на стволе сваленной сосны, и сосёт снег.

— Умаял. — жалуется он виновато. — Двоих умаял, не гляди, что борода седа!

— Не я, а лес умаял, — посмеиваясь, возражает Прохорыч. — Вот режем-режем, валим-валим, — оглядывается он на Сиверцева маленькими медвежьими глазками, — а что на смену идёт? Ни в чём на свете нет, наверно, такой траты, как в лесе, а?

— Потребность, значит, такая, — равнодушно определяет Королькевич.

Сиверцев несогласно поводит рукой:

— Старик прав: потребность — это одно, а расточительность — другое. Но дело даже и не в этом, а в том, как идёт выращивание новых лесов.

— Самосевом, — коротко отзывается Прохорыч, останавливаясь и оставляя пилу в наполовину раскряжёванной сосне. — Я чуть не до Чёрного моря с плотами ходил — нигде настоящего нового лесу ещё не видал...

— Лес, он от века самосевом растёт, — сдержанно-ласково подтверждает Тимчик, — да нам сейчас этого мало.

— Делянку срезал, к примеру, — делянку посади, — соглашается Прохорыч, как-то особенно тепло произнося это.

Оба они — и Тимчик, и Прохорыч — любят лес требовательной, хозяйски заботливой любовью, как любят то, что не только украшает жизнь, но и всегда должно служить на потребу и радость людям. И слушая их, Сиверцев с радостью видит, что был прав, когда писал о своём замысле в министерство, и что давно пора в лесном деле организовать всё по-другому, так, как это настойчиво подсказывается интересами государства...

Просторнее, шире раздвигаются высокие, смолистые стены бора. Зелёные его вершины, казалось, отступают, пятась от топоров и пил, от костров и людей, теряя на делянке макушку за макушкой. Запах горелой хвой особенно вкусен на морозе, дым от костров, столбами поднимающийся в небо, затмевает солнце.

Сиверцеву не терпится скорее пустить в дело электропилы, и с делянки он загоропился назад, в общежитие.

Электростанции стоят в затишье на солнышке. Полушкин возится возле своей машины. Он и не прилёт после бессонной ночи, успев только позавтракать да выпить чаю. Устя с подругами помогают ему опробовать электропилы.

— Ну, как у вас, — спрашивает, подойдя, Сиверцев. — Можно выезжать?

— Можно, — не сразу говорит Полушкин, заглядывая куда-то внутрь кузова, где масляно поблёскивают открытые части агрегата. — Только одна пила пошаливает. Завчера проверял — всё в порядке было, а сегодня — разладилось.

Королькевич берёт у девчат пилу, вскинув, осматривает на свету.

«Что у тебя ещё?» — казалось, спрашивает его взгляд.

Полушкин пустил машину. Электропильный агрегат заработал, спугнув с изгороди сорок. Сильный, гулкий рокот разбудил эхо, дремавшее где-то далеко, встревожил бор вокруг.

— Постой-ка, — крикнул вдруг мотористу Королькевич. — Выключай!..

Машина стихла. Сиверцев ожидал, что механик сейчас исправит разладившуюся пилу, и она заработает, как все остальные. Он даже собирался подразнить Полушкина: «Что ж ты, мастер! С таким пустяком не справился?», — но Королькевич неожиданно протянул пилу мотористу и озабоченно проговорил:

— Отключи-ка её, вечером разберём, поглядим — что такое?

Обернувшись к девчатам, Тимчик бросает:

— Берите лопаты в кладовой. Дорогу расчищать придётся!

5

Любопытницы-белки привыкли к отдалённому стуку топоров, визгу пил, надсадному урчанию машин и совсем не пугались, встречая лесорубов. Играя, они носились с сосны на сосну, словно стараясь обратить на себя внимание. Темнобурый их мех с нежными пежинами на подбрюшье был под цвет сосеннику.

Но когда электропильщики разошлись по отведённым местам, растянули кабель и Полушкин пустил агрегат — всё живое испуганно шархнулось в сторону. Замолчав, тревожно побежали по стволам сосен ковали-дятлы, вспорхнули краснозобые снегири на опушке, а в далёкой яруге, под вывороченной елью, очнулась отяжелевшая медведица.

Возле просеки работа идёт полным ходом. Устя и обе её подружки — Лена и Поленька — двигаются вдоль дороги. У каждой из них — своя

подсобница, подрубающая деревья в том месте, где пильщица должна пускать пилу, а потом, когда дело шло к концу и сосна начинала шататься и трещать, — упорной вилкой направлявшая её в ту сторону, куда следовало валить.

До этого все они — и Устя, и Лена, и Поленька — работали с год на ручных пилах и, втянувшись в нелёгкий труд, сделались заправскими лесорубами. Переход на электропилы они восприняли вначале, как некое баловство, как игру, и, занимаясь на курсах, беспокоились о том — будет ли сохранён им тот заработок, который они имели прежде.

Работая на участке, они хорошо знали, что заработок каждого лесоруба зависит от количества фест-метров деловой древесины и что прогрессивно-премиальная система оплаты не только в строгой точности соответствует затраченному труду, но и обладает постоянным свойством звать их вперёд в соревновании за высокие показатели и отличное качество.

Тот, кто работал в лесу с пилой, знает, что это такое. После первого часа — отдыхаешь, после второго — почти выбиваешься из сил, а после двух дней чувствуешь себя разбитым. Но зато после недели — втягиваешься, приобретаешь необходимые навыки и приёмы, облегчающие труд, и с увлечением работаешь потом, месяц за месяцем, весь сезон. Выносливость лесоруба в конце концов равна его умению.

А с электропилами оказывается совсем иное. Устя со своей подручной Марфочкой, которую она выбрала подстать себе самой, работают в первой паре. Обе они, как на подбор, рослые, сильные и с ручной пилой легко и привычно оставили бы далеко позади всех остальных. Но с электропилой дело не ладится.

Устя видела, что за Марфочкой задержки не было. Пока она сама делает своё, та успевает обмять снег вокруг следующего дерева, подрубить кору и перебраться дальше. Двигаясь от сосны к сосне, Устя сразу пускает пилу во всю силу, стараясь только оберегать коробку с выключателем от пухлого, глубокого снега, в котором приходилось работать. И всё ей казалось: не то подрубка мала и пилу зажимает, не то древесина слишком наволгла, не то нейдёт сама пила. Раньше, на ручной работе, Устя знала, что сила — в её руках, в ней самой, — и умело и соразмерно управляла ею. А теперь эта сила, приводившая в движение пилу, находится где-то вне её, — и пильщица никак не может приладиться, управлять ею как следует.

Сиверцев догадывается об этом. Несколько минут он с часами в руках внимательно следит за работой Усти, потом делает знак выключить пилу.

— Дай-ка мне, — озабоченно просит он. — Что-то у тебя трудно-то идёт...

Переняв рукоятку, инженер с усмешкой замечает:

— Ишь, нагрела! — и, чуть оттянув режущее полотно на себя, нажимает выключатель. Пила пошла, заговорила, далеко откидывая сырую смолистую крупу. Ровно через полминуты, покончив с одной стороной комля, Сиверцев перенёс, пустил пилу с другой — на четверть повыше прежнего надреза. Старая, коренная сосна дрогнула, затрещала и, хватаясь дремучими, зелёными лапами за соседок, тяжко и гулко рухнула в снег, подняв облако летучей морозной пыли.

Высоко задравшийся комель мелко дрожит ещё некоторое время, пока Марфочка, пробравшись к макушке, не начинает обрубать ветви. Живица, выступившая из распила, медленно застывает на холоде.

— Легче, легче пускай, — советует Сиверцев, передавая пилу Усте. — Как смычком играй, — смеётся он, довольный сравнением, — а то вон девчата переиграют тебя, кажется!

— Как бы не так, — Устя несогласно поводит бровями. — И мы с Марфочкой скрипачки не последние!

Перейдя дальше, она снова пускает пилу, но как ни старается, та попрежнему захлёбывается, словно не может пережевать крупу на распиле, и идёт тяжело и неловко.

«Должно быть, рука у меня тяжёлая, — с досадой думает Устя. — У Ленки вон невпример легче... всех ухажоров на танцах отбивает!»

У Лены Лосевой, действительно, дело шло спорее, как будто и вправду — под лёгкой её рукой пила ровно ведёт неумолчную свою песню и сосны валятся, как им назначено.

Начиная первую делянку от просеки, Тимчик рассчитал и разметил валку деревьев наискосок, под углом в сорок-сорок пять градусов к дороге. Так было удобнее для чистки и вывозки хлыстов к рюму на Нище, и лесосека не загромождается беспорядочными завалами. Лесорубы, шедшие навстречу, валят деревья наперерез срубленным, в ёлочку, и чем шире расступается делянка, тем яснее обозначается на ней этот сразу же оправдавший себя умный и дельный распорядок.

Тимчик не знал о споре Королькевича с Сиверцевым. К трём другим электропилам он хотел поставить молодых, подбористых сержантов, недавно пришедших из армии и, как сам он, умевших всё на свете. Когда он заговорил об этом с Королькевичем, тот сердито буркнул:

— С инженером договаривайся! Вам план выполнять...

Не догадываясь ни о чём, Тимчик пошёл к Сиверцеву. Что-то высчитывая, инженер стоял в сторонке, прислонившись плечом к сосне, и делал записи в блокноте.

Предложение Тимчика не удивило его. Понимая, что Королькевич всё равно сделает по-своему, лишь только он уедет с участка, Сиверцев решает:

— Ну ладно. Ставь своих сержантов, пускай воюют...

Пока они договаривались, Полушкин, не дожидаясь, успел уже объяснить лесорубам, как устроены электропилы и как ими работают.

— Хороша машина, — поняв его с полуслова, переговариваются они. — Электрика только сложновата.

— Ничего, после алгебры арифметика не страшна!

На делянке лучше всех дело идёт у Поленьки. Ловкая, проворная, она как-то сразу поняла секрет работы и действует уверенно, расчётливо и смело. Помогает ей и знание внутреннего строения древесных пород, которое Поленька приобрела, готовясь после семилетки к поступлению в лесной техникум.

— Камбий, — шепотком приговаривает она, легко, без нажима пуская пилу в растрескавшуюся, податливую кору заматерелой семидесятилетней сосны. — Сейчас за корой камбий пойдёт, — и чувствует, что пила действительно идёт уже в слоисто-пористой его толще.

После камбия начинается нежный паренхимный слой, и Поленька пускает пилу ещё вольнее, самоходом, вспоминая всё, что знает из учебника по лесоводству. Тут нельзя нажимать, подгоняя пилу, — режущее полотно увязнет в мягком слое, забьётся.

— А теперь сердцевина, — шепчет Поленька, следя, как меняется цвет крупы, вылетающей из-под распила, — вначале она была темно-коричневая, крупная, как гречка, потом — желто-смолистая, дроблёная, как перловый передел, а теперь — мягкая, нежная точно манна.

За два первых часа Поленька прошла больше всех. Сиверцев сразу же заметил это и решил завтра с утра расставить пильщиц по-новому. Электропилы явно не позволяют работать по старинке, в одиночку; нужно переходить на коллективные методы, организовать единую бригаду.

«Лену и Псленьку следует поставить на валку деревьев, — прикидывает он, — а Устю перебросить на раскряжёвку. Подсобницы пускай чистят хлысты, сжигают сучья...»

Боясь, что Устя не поймёт, в чём дело и ещё обидится, Сиверцев хочет начать издали; но та, видно, тоже думает об этом и, созвав подруг, предлагает:

— Давайте завтра по-другому работать, девчата. Одной бригадой! Поленька, ты впереди пойдёшь, — у тебя дело ладится. Рядом с тобой — Ленка, у неё рука лёгкая. А я — сзади, на раскряжёвке. Не отстану, не думайте!

— Бригадой лучше дело будет, — Лена задумывается. — А в одиночку этим пилам и ходу настоящего нету.

Сиверцев поддержал её.

— Завтра с утра начнём. Я на вас надеюсь, девушки!

— Надейся, надейся, да смотри — за Надюшку на почте не сватайся, — смеётся Устя. — А то на всю округу куковать будешь...

6

Ксротькевич доволен: агрегаты работают хорошо, энергии хватает с избытком.

«Сиверцев побудет и уедет, — думает он, как будто стараясь оправдать себя перед кем-то. — Он не отвечает ни за электростанции, ни за внедрение новой техники. А я должен план обеспечить...»

Чёткая, чистая скороговорка мотора далеко и звонко разносится по лесу, рождая в тёмной его глубине отзывчивое, многоголосое эхо. Полушкин то подтягивает ключом крепления, то, следя за уровнем масла в картере, берёт маслёнку. Лицо его с красными от бессонницы веками озабочено, а на правой щеке от носа к уху темнеет жирная масляная тесёмка.

Отсюда, от машины, стоящей в нескольких шагах за просекой, хорошо видны все пильщики, уходящие дальше и дальше в лес, насколько позволяет чёрный резиновый кабель, который тянется по вырубке от электростанции. Там, в тёмной чащобе, лесорубы останавливаются вдруг перед неожиданным чудом. Две подружки-берёзки, молодые, тсненькие, как две заблудившиеся девчонки, взявшись за руки, выбегают навстречу людям из тесной чащи расступившегося сосенника, словно обрадовавшись простору и вольному свету. И пильщики обходят, не трогают их, оставляя посередине вырубки, как будто берёзки те и в самом деле оказались им не берёзками, а бог весть кем ещё.

Во время передышки девчата разожгли высокие, жаркие костры, весело и жадно запыхавшие на делянке, стали печь в золе картошку, жарить на прутиках сало.

— Сегодня вечером баня, — морщась от дыма, бившего из обуглившегося прутка и потешно хватая вытянутыми губами горячее, стрелявшее дразнящим соком сало, тараторит Марфочка. — Чур я первая на полók, ладно?

— Я париться не умею, — задумчиво говорит Поленька. — У меня голова слабая...

— Девочки, возьмите меня за банщика, — смеясь, просится Королькевич. — Всем ужожу!

Сиверцев не заметил, когда успел промёрзнуть опять. Греясь возле костра, он чувствует, что мороз пробирает спину, а зябкая дрожь ползёт по плечам. Поворачиваясь к огню то одним, то другим боком, он ругает себя за простуду, так не во-время ломающую всё тело.

Моторист пустил агрегат, но Сиверцев не слышит ничего. Королькевич издали окликнул его, потом подошёл к костру. Взглянув на багровое, жарко-испятнившееся лицо инженера, он тронул его за локоть:

— Да ты и в самом деле нездоров, Матвей Афанасьич? — и, обняв за плечи, настойчиво ведёт к просеке. — Идём, идём. Тут теперь и без нас дело не станет. А тебе лечь надо, выпить чего-нибудь...

— В баню бы, — стуча зубами, говорит Сиверцев. — П-погреться, пр-простуду выпарить!

— И в баню хорошо, — подтверждает Королькевич. — А после — малины, да пропотеть как следует!

Баня срублена на участке по-белому, с тёплым предбанником, чистым, струганным полом и скамеечкой вдоль стен. Вода греется в большом кашеварном котле, на каменке. Даже электрическая лампочка помигивает в стеклянном колпаке фонаря «летучая мышь».

Тимчик и здесь оказался незаменимым. Смуглый, словно закоптившийся у огня, он зачерпнул ковшик воды и, едва только Сиверцев забрался на полук, крикнул:

— Береги-ись, ожгу!

Пар хлещет с каменки, сивыми вьюнками идёт по закопчённому железному листу, по мокрому, в глазках сучков, подбору елового потолка. Сиверцев зябко вздрагивает и, чувствуя, как сухо закипают волосы на голове, начинает работать венником.

Когда они, усталые, ослабевшие и словно бы обновлённые душевно, выходят в предбанник, — за дверью уже нетерпеливо толпятся девчата, звонко скрипит снег и слышится молодая, грубовато-здоровая возня.

— С лёгким паром!

— Нам-то оставили хоть чуточку? — смешливо-разноголосо шумят они.

— Пустите погреться...

Напившись чаю, лёжа на койке в конторе, Сиверцев почти с удовольствием чувствует, как жарко, точно в крапиве, горят ноги, как после малины и аспирина томит тело парная духота. Красный, потный после бани, Королькевич разбирает за столом пилу и что-то напевает вполголоса.

За стеной, на семейной половине, жена Тимчика, Аннушка, укладывает дочку, обещая летом взять её в город, покатать на автобусе.

— Мама, а автобусы эти где живут? — спрашивает вдруг громче прежнего девочка. — Они только одних начальников катают?

Сиверцев усмехается. В представлении девочки он, наверно, тоже — начальник и тоже катается на автобусе.

— Фестов по восемнадцать сегодня дали, — сообщает, войдя, Тимчик. — Завтра я вам молодой свой лесок покажу. Целый квартал засадили!

Королькевич хочет сказать ему о том, что, если бы на электропилы поставили старых опытных лесорубов, выработка была бы ещё выше, но Тимчик перебивает:

— Придётся с миноискателем пройти, а то как бы беды не было, — озабоченное лицо его хмуро, глаза щурятся.

— Беды бы не было, — шепчет в жару Сиверцев. Затем, как всегда во время недомогания, ему кажется, что пальцы на ногах и на руках распухают, становятся слоновыми, непослушными до бесчувствия.

Тимчик оглядывается. Инженер уже спит. Высунувшиеся из-под одеяла пальцы на его ноге зябко шевелятся — кривые, шафранно-жёлтые, с тёмными подпалинами на мякоти.

— Поморозил где-то, — догадывается Тимчик. — Во время войны, наверно, — и, сняв со стены полушубок, заботливо укрывает гостя.

7

Проснулся Сиверцев поздно, в десятом часу.

Наскоро закусив, он оделся, пошёл на делянку. Мороз в лесу казался слабее вчерашнего. Глухой отдалённый выбух глубоко всколыхнул хвойную чащу, перекатами пошёл вокруг.

«Нашли-таки, — думает Сиверцев, прислушиваясь, не рванёт ли ещё и вспоминая вчерашний разговор с Тимчиком. — Молодец он, однако. На все руки мастер!»

Дятлы в сосеннике, помолчав, задолбили опять; где-то далеко бормотнул глухарь; солнце снова засучило по ветвям золотистую свою пряжу. Сиверцев идёт, глубоко дыша, безотчётно радуясь крепкому, смолисто-настоенному духу заповедного соснового бора и тишине, и снегу, искристо горящему под лучами невысокого зимнего солнца, и жизни, что так хороша всему живому летом и зимой — во всякое время года.

Королькевич хлопочет возле агрегата.

— Сегодня все пилы работают, — хвастается он. — Энергии едва хватает!

— Значит, докопался, починил вчера?

— Докопался. В рубильнике вся беда: плохо пружинит, контакт слабый...

Не задерживаясь, Сиверцев идёт к пильщикам.

— Кубометров по двадцать дадите сегодня? — спрашивает он, скорее для того, чтобы подзадорить их. — Смотрите, а то девчата обгонят...

— Да вон у них шустрая одна, всех обогнала, — заговорили сержанты. — Словно наговор какой знает, что ли?

— Так и валит, так и валит!

— Не иначе, секрет. Выспросить бы, да не скажет, поди...

Сиверцев поясняет:

— Они сегодня по-новому работать стали — одной бригадой. Вечером обмен опытом организуем. Пусть поделятся, расскажут о своих секретах! А завтра и вы так начнёте...

Тимчик, не дожидаясь его, уже помог им начать валку леса по-новому. Лена и Поленька работают метрах в пятидесяти друг от дружки, а сзади на таком же расстоянии идёт Устя, раскряжёвывая сваленные деревья. Она почти не отстаёт от подруг, успевая управляться с Марфочкой на лесосеке, которую прокладывают вдоль старой квартальной просеки, и попрежнему следит за пилой, стараясь не перегружать режущее полотно.

Когда Сиверцев пробрался к Поленьке, та, присев в обтопанном вокруг комля снегу, только начала резать высокую мачтовую сосну. Пустив пилу, она привычно прищёптывает:

— Кора... камбий — раз, два, три... Теперь паренхима — раз, два, три, четыре... А теперь — сердцевина...

В ватнике и тёплых, стёганных брюках, заправленных в валенки, Поленька похожа на мальчишку — проворного, ловкого, но не сильного, и берёт умением, расторопностью и смекалкой.

— Ты что это — уговариваешь её? — удивляется Сиверцев.

— А то как же, — Поленька оглянулась на него снизу вверх. — Слои считаю: чтобы помнить, как пилу пускать...

— Ну как, лучше сегодня? Сколько выработаете?

— Ой, лучше, — удивлённо-радостно отзывается Поленька. — Фестов по двадцать пять, думаю, на каждую дадим. Не меньше!

Сиверцев поглядел на часы, прикидывая количество сваленного леса.

— Вечером совещание соберём. Придётся тебе с докладом выступить, — предлагает он. — Расскажешь об опыте, о своих приёмах работы...

Поленька помолчала, обдумывая его слова. Вынув пилу, она поправляет волосы, выбившиеся из-под платка.

— Жалко, учебника у меня тут нету по лесному делу. А на память оно, может, не так хорошо получится.

Сиверцев успокаивает её:

— Ничего, ничего, своими словами расскажи. Чтобы всем понятно было...

— Ну своими, так своими, — охотно соглашается Поленька и, путив пилу, снова шепчет: — Раз, два, три, четыре. Камбий... паренхима...

Смертельная трещина простреливает вдруг кору снизу от комля и высоко вверх. Сосна затрещала, шатнулась. Земля гудит, как колокол — глухо, тревожно, когда она всем стволом и голой, почти без сучьев, макушкой хлестнула её.

И почти тотчас же, будто в ответ, слепя глаза, вымахивает разбуженный костёр взрыва, жадно взвизгивают осколки, и далеко кругом раскатывается громовый обвал.

Неподалёку, у просеки, кто-то крикнул диким, истошным голосом.

— Мина, — вскочив, говорят испуганно Поленька. — Никак осколком зацепило кого-то?..

Проваливаясь в снегу, Сиверцев спешит к просеке. Свежие ссадины пугающе белеют на соснах вокруг, а в нескольких шагах от чёрного, опалённого места взрыва, похожего на кострище, — лежит человек.

— Начальника участка прихватило, — крикнул, подбегая, бородастый старик-возчик. — Вот ведь беда какая!

Тимчик лежит под сосной, привалась головой к комлю. На правой ноге, из разорванной штанины, напоминая неживой белизной ссадины на соснах, торчат перебитые концы берцовой кости; кровь, заливая полущубок, багровеет на морозе пугающими сгустками.

Он не кричит, а только шевелит побелевшими губами, как будто горечь взрыва осела на них и непереносима на вкус.

— Надо кровь унять, — пересиливая волнение, говорит Сиверцев. Поискав глазами, он замечает у возчика кнут и, расплетя, снимает с него тонкий сыромятный ремешок.

— Хоть этим, раз под руками ничего нету, — соглашается возчик. — Бегите кто-нибудь за аптечкой в контору!

Обвязав ногу повыше колена, жгут туго затягивают. Тимчик громко, мучительно стонет, не приходя в сознание.

— Носилки бы, — шепчутся возчики. — Так не донесём...

— Сейчас сделаем, — старик начинает торопливо распоясываться, снимает тулуп. — Руби, ребя, держак подлиньше!

Палки продевают в рукава, тулуп расправляют, застёгивают полы. Тимчик, очнувшись, стонет снова, когда его поднимают, укладывают на носилки.

— Ладь не в ногу только, — уговариваются возчики, берясь за концы палок. — Меньше тряски будет!

Молодой минёр Пимка, ходивший на разминирование, притостав, рассказывает Сиверцеву:

— Одну я обнаружил сразу, да зимой их трогать — самое последнее дело...

Он стеснительный, даже немного робковатый паренёк. Сросшиеся на переносице брови — тёмные, густые — и наивно открытая, пухлая нижняя губа придают лицу детское выражение.

— А потом начал рядом шуровать. Это гадючье племя поодиночке не водится!

Ещё осенью Пимка ходил здесь с миноискателем, но, видно, не очень старался. А сейчас сосна, падая, подорвала мину, и он не находит себе оправдания.

Королькевич потрясён происшедшим; алые пятна глеют на его скулах, веки подёргиваются.

— В Челищево надо, — подсказывает он Сиверцеву. — Связаться с областью, самолёт вызвать...

— А где он тут сядет? — напоминает Сиверцев. — Лес кругом!..

— Где сядет? — Пимка глядит на них, не скрывая тревоги. — А если на Нище?..

Возле конторы толпятся лесорубы, грузчики, девчата, бабы. Аннушка в слезах выбегает навстречу с перевязочной сумкой.

— Помолчи, — сурово останавливает её возчик, идущий впереди. — Приготовь лучше, куда положить... живой ведь!

Виновато смолкнув, Аннушка бросается обратно. Когда возчики подходят к конторе, всё уже приготовлено.

С бывалой ловкостью Аннушка разрезает штанину, валенок, берётся за перевязку. В аптечке у неё есть всё, что необходимо, а когда не хватает бинтов — в дело пускают чистую, разрезанную простыню.

Королькевич выходит проводить Сиверцева в Челищево. Машина стоит уже у крыльца, постреливая синим сбивчивым дымком.

— Так условились, — повторяет Сиверцев. — Как только прилетит, круг сделает — везите раненого на Нищу. Так я и предупрежу...

— Больше тут самолёту садиться негде, — подтверждает Пимка.

— Придётся кого-то вместо Тимчика назначить. Подумай, — напоминает Королькевич. — Позвони, может из треста кого-нибудь подешлют...

Сиверцев, не ответив, садится в кабину.

8

Тимчик не то забылся, не то делал вид, что дремлет, когда Королькевич и Пимка снова заглянули к нему. Жена и дочка ходят на цыпочках, говорят шёпотом, боясь потревожить тишину.

— Я на участок, — постояв, поглядев, как безжизненно горбится под одеялом неловко стянутая лубками нога раненого, как мертвенной синью прозвечивают смугловатые его щёки с тёмными тенями, виновато говорит Пимка. — Как только самолёт прилетит, вернусь...

Тимчик неожиданно открывает дымные от боли глаза.

— Пускай только не садится на рюму, — голос его звучит невнятно, глухо. — Там брёвен во льду много, подломается.

Передохнув, он облизывает губы и ещё глуше добавляет:

— Немного повыше костры выложите. По дыму видно будет, куда ветер...

— Всё-всё сделаю, — горячо заверяет Королькевич. — Лишь бы только удалось вызвать...

Аннушка старается быть спокойной.

— Надо кому-нибудь выработку записывать, — говорит она, поправляя сползшее одеяло. — А то потом нельзя будет разобраться — сколько платить...

— Бумаги у меня в сумке. — Тимчик изнеможённо закрывает глаза, отвернув голову к стене; истом открывает их снова.

Догадавшись, Аннушка достаёт армейскую сумку, туго набитую бумагами, и вынимает из неё общую тетрадь в чёрном клеёнчатом переплёте.

А на делянках работа идёт попрежнему.

Шорканье пил, глухой, надсадный хряск топоров по мёрзлой древесине, шум падающих деревьев разносятся далеко по лесу.

О несчастье с начальником участка знают уже все, и, обсуждая происшедшее, лесорубы ругают Пимку, не разминировавшего делянку, как следовало.

Костры на Нище, отдымив, горят жаркими высокими столбами, а самолёт всё не прилетает.

Возвращаясь из Челищева, Сиверцев подъезжал уже к Красному бору, когда вдали, за зелёной кромкой недвижных сосновых вершин, послышалось не то нарастающее, не то затихающее жужжанье. Словно заблудившись, оно невысоко витает над тёмным лесным морем, кружит, стихает и усиливается снова.

Возчики, обрадовавшись, подбрасывают лапнику в костры. Дым опять тянет в стылое небо, будто гигантские деревья вырастают, встают над рекой.

Работа окончилась. Лесорубы прислушиваются к гуденью самолёта.

— Летит, — негромко, точно боясь спугнуть его, переговариваются они. — Не оставили, значит, в беде человека.

— И там, в больнице, поди, всё приготовлено. Как привезут — сейчас в операционку: всё, что надо сделают и марш: гуляй ещё сто лет!

— Когда-нибудь будет и сто, а сейчас полста и то хорошо бы, — вставляет Прохорыч. — Попилил бы ещё леску — на потребу людям! Лес наш где ни увидишь: и в Минске, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Москве самой!

Найдя реку, самолёт проходит над ней широким, разгонистым кругом, приветственно гудя и покачивая крыльями. Серебряная гофрировка на фюзеляже ослепительно сверкает в лучах клонящегося к закату солнца. На посадку он зашёл против ветра, вверх по реке, и, став на лыжи, пробегает не больше двухсот метров.

Утолая в снегу, Сиверцев бежит к самолёту. Машина осталась на берегу.

Из кабины выпрыгивает врач в белом халате поверх лёгкой шубы. Стёкла его очков подёрнуты дымкой.

— Где раненый? — требовательно спрашивает он прежде чем поздороваться. — Времени мало!

Сиверцев коротко объясняет:

— Сейчас привезут...

Пилот сбавляет обороты, не выключая мотора.

Вдали на просеке показывается лошадь, запряжённая в розвальни. За ними идут лесорубы. У реки они снимают носилки с саней, осторожно спускаются на лёд. Пимка впереди показывает дорогу.

Бросив недокуренную папироску, врач спешит им навстречу.

— Лубки не мешают? — отрывисто спрашивает он, взглянув на побелевшее лицо Тимчика. — Как себя чувствуете? Летали когда-нибудь?

Тимчик кивает запрокинувшейся головой.

— На Большую землю, в госпиталь, — поясняет Пимка.

— Давайте переложим его, — властно распоряжается врач. — Осторожнее, осторожнее... что вы?

Достав носилки из самолёта, лесорубы перекладывают раненого и ставят в кабину. Тимчик поискал глазами жену.

Подняв дочку, Аннушка сдержанно отозвалась:

— Здесь, здесь мы! Не тревожь себя.

— Там в столе вчерашние рапортчики, — напоминает он. — Да за Шутовым проверяйте — приписывать непрочь...

Пилот приподнялся:

— По местам! — и сам себе командует: — Пускаю...

Врач захлопнул дверцу. Аннушка, не выдержав, всхлипывает. Девочка расплакалась тоже.

Королькевич бережно отводит их в сторонку.

Закрывшись щитком, пилот прибавляет газу. Самолёт вздрогнул; позёмка вихрем побежала под ним.

Заскользив по снегу, он разворачивается вдали и, выровняв хвост, взревев во весь мотор, несётся прямо на стоящих, оставляя на речном просторе широкий след лыж. Но вот лыжня обрывается, самолёт круто взмывает над людьми, над кострами, разворачивается, чуть не задевая за верхушки деревьев, и ложится на курс.

Лесорубы молча провожают его глазами; костры догорают. Только дочка Тимчика на руках у матери, всхлипывая, всё ещё глядит в ту сторону, где скрылась чудесная серебряная птица, увезшая отца.

— А я знаю, где эти самолёты спят, — вдруг повеселев, говорит она. — В Москве, в Москве. В большом-большом доме, выше тучи...

Лесорубы идут ужинать, сдержанно обсуждая события минувшего дня. Крупная, ясная звезда низко проглядывает над Красным бором в морозном небе. Из красного уголка доносится музыкальная радиопередача.

Королькевич с Полушкиным возятся возле агрегата. Нагревшаяся от работы машина дышит теплом, запахом масла; прожектор освещает площадку под соснами, клинком вонзается в тёмную глубину бора.

— Самое обидное, — задумчиво вздыхает Полушкин, — погибать после победы. У нас в дивизионе...

А Королькевич прикидывает, сколько леса заготовили сегодня пильщики и, почти признавая, что был неправ, когда спорил с Сиверцевым, решает пойти поговорить с ним по душам. Никуда он теперь отсюда не уедет, технику им скоро дадут, дело они организуют, были бы только желание да охота.

Сиверцев и Аннушка сидят за столом в конторе, разбираясь в записях начальника участка, поджидая бригадиров со сведениями о дневной выработке.

— Придётся тебе пока за Тимчика поработать, — решает Сиверцев. — Пока подожмут кого-нибудь из треста. А мне завтра опять в дорогу. В министерство вызывают.

— Поработаю, — послушно соглашается Аннушка. — Только бы справиться сил хватило...

— Справишься, дело нехитрое!

Перед ужином Королькевич заходит в контору. От него веет смолистым запахом леса, машинным маслом и ещё чем-то едва уловимым. Сиверцев сразу чувствует это.

— Пяток бы нам таких агрегатов, — возбуждённо говорит Королькевич, — сразу бы план перевыполнили! Требуй там в министерстве, тогда мы тут такое завернём — к нам из Крестцов народ потянется.

Сиверцев нескрываемо-удивлённо поднимается навстречу. Он хочет сказать Королькевичу, что очень рад его словам, но только счастливо взмахивает руками:

— Идём-ка ужинать, Андрей Петрович. Что-то тут в лесу есть хочется!

Накинув полушубки, они идут в столовую. Королькевич молчалив, озабочен. Несчастье с Тимчиком точно перевернуло его.

В начале первого квартала должны прийти ещё три агрегата, механизированная разработка леса развернётся широким фронтом. И Королькевич не может уже не думать об этом, как и о новых, молодых лесах, что встанут на смену старым в этом краю. Рубя лес, все они — от пильщика до инженера — должны взяться и за налаживание лесооборота, ибо ни жить, ни работать иначе нельзя.

— После ужина обмен опытом, — напоминает в столовой Пимка. — Девчата о своих методах докладывать будут...

Он хотел попроситься у Тимчика на шестую пилу в агрегате, когда случилось несчастье, — и не знает теперь, что делать, говорить об этом с инженером или нет.

«За такое дело голову оторвать мало, — сурово-осуждающе корит он себя, — а не новую технику доверять!..»

Над лесом вывездило, но мороз не крепчает, как обычно — к ночи. Лишь в тишине по Красному бору, по Нище, набегая, идёт едва уловимый ропот, предвещая оттепель и метель.

— Иди собирай в красный уголок всех, — говорит Сиверцев Пимке, когда они, поужинав, поднимаются из-за стола. — Я сейчас, только в конторе бумаги захвачу!

И ощущая бодрость во всём теле, выходит в чуткую, звёздную тишину лесной ночи, думая о большом и ответственном деле, которое делают здесь люди и ради которого стоит жить и работать.



Н. КУТОВ

НОВЫЙ КРАЙ

* *
*

Здесь глушь была и тишь была,
Отсюда страшная дорога
Людей на кагоргу вела,
Шла от острога до острога;
Шла от креста и до креста,
От плит до новых плит могильных.
Здесь тракта каждая верста
Измерена шагами ссыльных.
Где ж этот дальний край глухой?
Передо мной земля другая.
Электровоз бежит тайгой,
Из меди искры высекая.
И птицы, возвратясь весной
Из Африки и с гор Кавказа,
Свой милый край, свой край родной
Не узнают порою сразу.
И долго кружатся они
Над полем, речкой и долиной,
Где незнакомые огни
Легли внизу цепочкой длинной.
И путь потом к родным местам
Отыщут по другим приметам —
По многолюдным городам,
По новым ярким вспышкам света.

ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ!

Здравствуй, море!
Морские дали
Засинели в родном краю...
Тем, что это море создали,
Посвящаю я песню свою.
На крутых берегах—не Ай-Петри,
Не кавказских гор бирюза,
А качающиеся при ветре
Наши северные леса.
Не привычно плакучим ивам
Сторожить морей берега.
Нынче стала морским заливом
Даже мелкая Лоша-река.
Теплоход огибает остров,

Т. ЕФИМЦЕВ

★

СТЕПЬ

Хлеб созрел, шумит, как лес,
Низко в ноги клонится.
И выводит МТС
В степь стальную конницу.
Председатель молодой
Смотрит, улыбается:
Как комбайн — корабль степной —
На волнах качается.
В бункер падает зерно
Крупное да чистое...
Ой, ты степь — простор родной,
Море золотистое.
Нам твой шум,
Твое зерно
Спелое, сыпучее,
Да хлебов поклон земной —
Благодарность лучшая!



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ

★

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

1

Ба! Знакомые всё лица!

(„Горе от ума“)

Утром, когда у нас за спиной всходило солнце, мы иногда легко обнаруживали немецкие наблюдательные пункты на западном берегу Одера. Косые солнечные лучи, озаряя зелень старых сосен, внезапно задерживались, трепеща, на чём-то блестящем, и что-то там на мгновение ослепительно вспыхивало.

— Эмпэ, — говорил, удовлетворённо покашливая, сержант Алёнушкин.

Он нагибался над схемой немецкой обороны и ставил там маленький крестик. Потом он обращал ко мне своё обветренное красивое лицо и усмехался. Я никогда не видел, чтобы он смеялся — он только усмехался всепонимающей, чуть покровительственной, дружелюбной усмешкой человека не очень общительного, но очень доброжелательного и много испытывавшего. Последнее не удивительно: много надо было испытать, чтобы дойти до Одера!

Не подозревая, что он явится когда-нибудь героем моего рассказа, я разговаривал с ним только о делах службы. И впоследствии я горько упрекал себя за то, что ни разу не беседовал с ним по душам. Когда же война кончилась, было поздно, потому что сержант Алёнушкин погиб под Берлином в конце апреля.

Но в то время, о котором я пишу — март 1945 года, — он был ещё жив и удивлял меня своей поразительной зоркостью и почти непостижимой наблюдательностью. У него и глаза были орлиные — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками.

Прошлой зимой он, раненный на поле боя, обморозил себе обе ноги и теперь очень страдал от малейшего холода, но и об этом я узнал только впоследствии, после его смерти, со слов других разведчиков. Я вообще мало знал о нём, даже имя его мне было не известно, хотя мы проводили вместе добрых пятнадцать часов в сутки.

Это может показаться странным, но на войне такие вещи случаются часто. Люди целиком поглощены своим трудом, а всё остальное кажется несущественным. О человеке ты знаешь мало, но зато самого человека ты знаешь хорошо. В мирных условиях порой бывает наоборот.

Для того, чтобы понаблюдать ранним утром за противником, мы отправлялись к переднему краю в кромешной темени предутренних часов. Что может быть темнее фронтовой ночи в хорошо дисциплинированном кадровом войске? Да там любую светящуюся гнилушку затопчут ногами, чтобы не светила. Если курят, то в обшлаг бездонного рукава, если читают газету, то в потаённой глубине трёхкатного блиндажа.

Вокруг — тихо и как будто безлюдно. Только иногда раздаётся негромкий окрик часового, да слышится посапывание автомашины, перебирающейся вперевалку по горбатой лесной просеке, да ветер гоняется за кем-то в кустах и, шурша, замирает вдалеке. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Но стоит нагнуться немного — и ты различаешь на фоне густой черноты ещё более тёмные очертания головы идущего впереди сержанта Алёнушкина. Иди за ним смело, он и во тьме видит. Он тебя не предаст, и не оставит тебя раненого, и поделится с тобой табаком и хлебом, потому что он хороший солдат и к тому же знает, что и ты обойдёшься с ним так же. И сердце наполняется нежностью к этому едва различимому в темноте светлому образу. В этой нежности, почти ранящей твою душу, есть и нечто эгоистическое — ибо ты и себя считаешь не намного хуже его.

В одну из непроглядных мартовских ночей мы с Алёнушкиным пришли в траншею переднего края. Расспросив, по обыкновению, пехотинцев о том, что случилось в течение ночи, мы закурили в ожидании рассвета.

Было холодно, и Алёнушкин, вероятно, страдал, но я об этом не знал тогда. Кто-то из пехотинцев предложил нам соломы, и чьи-то неизвестные добрые руки бросили нам из темноты несколько больших охапок. Мы зарыли ноги в сухую солому и продолжали ждать, молча прислушиваясь к негромким разговорам сидящих в траншее солдат.

Говорили тогда преимущественно об одном: о предстоящем наступлении на Берлин и окончании войны. То, что война кончается, понимали все, и это наполняло души безмолвным ликованием, которое никем не выражалось, но было заразительно, как болезнь. В глазах у людей в то время стояло выражение, какое бывает при влюблённости. В разговорах, однако, не проскальзывало ничего торжественного, наоборот — о близком окончании войны говорили как-то нарочито сухо, словно боялись, как бы не взглянуть.

Кто-то из темноты сказал:

— Вчера газета писала — Аргентина, мол, объявила войну немцам. Ну, а ежели уж она объявила — значит, Гитлер чувствует себя плохо.

Другой солдат меланхолически отозвался:

— Потом скажут: и мы, дескать, пахали.

— Бабы без нас в деревне совсем замучились, — невпопад сказал кто-то сидящий поодаль у пулемёта. То ли он не расслышал, о чём идёт разговор, то ли слово «пахали» вызвало у него совсем другую ассоциацию. Но это никому не показалось смешно. Все замолчали на минуту и потом заговорили о том, что хорошо бы уже теперь, то есть в марте, к посевной, вернуться на родину.

Между тем стало рассветать, и вскоре к нам подошли откуда-то сбоку два человека — майор и лейтенант. Они постояли рядом с нами, потом медленно пошли дальше по траншее. Я не знал этих людей, и в этом не было ничего удивительного — невозможно знать в лицо всех офицеров. Но когда они отошли от нас на несколько шагов, мне вдруг сделалось тяжело на сердце. Я не отдавал себе отчёта, почему. На людей этих я только мельком взглянул и, кажется, не отметил в них ничего странного или, тем более, зловещего. И всё-таки было, видимо, нечто такое в окружающей их атмосфере, нечто неуловимо нервное в их поведении, отчего как бы в тяжёлом предчувствии заняло сердце.

В это же мгновение Алёнушкин встал, посмотрел им вслед и негромко, но повелительно крикнул:

— Стой!

Те остановились. Я помню, как сразу же замерли в соломе, устилавшей почти всё дно траншеи, только что медленно шагавшие ноги в хромовых сапожках. А потом тот, что шёл позади — то был лейтенант, — оглянулся на нас. Он бросил на нас взгляд наглый и в то же время затравленный, насторожённый взгляд человека, готового, в зависимости от того, что он увидит, небрежно заулыбаться или бросить гранату.

Неизвестно, что бы он сделал, но нервы шедшего впереди «майора» не выдержали, и он, как-то неловко пригнувшись, пустился бежать по ходу сообщения к лесу. Прогремела автоматная очередь Алёнушкина, потом ещё чья-то. «Майор» упал, а «лейтенант», ещё пытаясь протестовать, запоздало возмутиться, даже прикрикнуть на «хулиганов», медленно поднял руки вверх.

В это время заработала немецкая артиллерия, может быть встревоженная стрельбой на наших позициях. Когда всё стихло, мы повели задержанных в штаб дивизии.

Это были диверсанты, переодетые в советскую форму. Они ночью переправились через реку на лодке, затем берегом, прячась в камышах, проникли в наше расположение.

Они были одеты точно так, как полагается. Всё — с иголки. Шинели и погоны — новенькие. Воротнички — беленькие. Пуговицы — ярко начищенные.

В этом заключался их первый просчёт.

Несмотря на то, что дожди не шли в последнее время, они были мокрые по пояс. К сапогу одного из них прилипла длинная водяная травка. Правда, заметить сырость на тёмном шинельном сукне и травку на сапоге было бы не легко для менее зорких глаз, чем глаза Алёнушкина. Но даже не в этом было дело. Главное, что, будучи совершенно мокрыми, они шли по траншее медленно, даже остановились возле нас на минутку — вроде интересовались, как дела, а ни слова не произнесли. Нельзя, промокнув до нитки, медленно ходить по траншее как бы для прогулки или для проверки.

В этом был их второй просчёт.

И, наконец, третье: нервы «майора» не выдержали.

Разумеется, нелегко немцу сохранить присутствие духа, отправляясь на диверсию в тыл противника на подступах к Берлину, когда «подвиг» бесполезен, как самоубийство.

Диверсанты на допросе не отпирались.

Они принадлежали к особой группе Отто Скорцени, штандартенфюрера СС. Группа эта находилась в районе города Шведт, куда была прислана для «проведения специальных мероприятий».

Что это были за мероприятия? Убийство из-за угла отставшего советского солдата, отравление колодца и поджог склада — подлая и мелкая работа, так же мало способная остановить натиск советских армий, как капля яда — отравить океан.

Тогда мы впервые услышали имя Отто Скорцени.

Отто Скорцени был начальником диверсионного отдела германской разведки, штатным убийцей германского генерального штаба, выдающимся специалистом по «мокрым» делам.

Это он похитил Муссолини из крепости, где дуче находился под охраной англичан.

Он организовал крупную диверсию во время арденнского наступления немцев: переодев своих молодчиков в американские мундиры, сн на американских «виллисах» мчался впереди наступавших немецких танков и безнаказанно убивал направо и налево захваченных врасплох американских солдат.

Всё это — самые выдающиеся факты из биографии штандартенфюрера. В обычное время Скорцени просто убивал. Он это делал в лагерях для военнопленных, в войсковых тылах армии противника и в самой Германии. Убивал он лично и очень любил это занятие. Особенно много убивал он на территориях, оккупированных гитлеровскими войсками. Даже выдавшие виды немецкие эсэсовцы отзывались о Скорцени с почтением и с некоторой долей страха, ибо если требовалось, он убивал и своих.

— Ну и тип! — с искренним недоумением сказал Алёнушкин, узнав всё это. Он был взволнован, и потом, вернувшись обратно на НП, как-то по-особенному пылливо наводил стереотрубу на леса противоположного берега, вглядываясь с бесконечным вниманием в очертания немецкого переднего края, в пустынные улицы полуразрушенного прибрежного селения.

Мы ни о чём не разговаривали и только вечером, когда солнце закатывалось на западе, Алёнушкин оторвал глаза от стереотрубы и досадливо сказал:

— Теперь ничего больше не увидишь. — Потом добавил внезапно: — Скорее бы уже наступление.

Наступление вскоре началось, и следы Скорцени затерялись. Группа Скорцени, среди других групп и дивизий 3-й немецкой армии генерала фон Мантейфеля, бежала на запад.

Эти молодчики Скорцени были в общем парни не робкого десятка, ничего не скажешь, но как они бежали! Они бежали самозабвенно, безудержно, с большим знанием этого дела, почти с воодушевлением. Они бросили оружие и склад новенького советского обмундирования, которое наш дивизионный интендант, несмотря на всю свою скупость, велел уничтожить, словно оно было зачумлённое.

Резвее всех бежал сам Отто Скорцени. Это было уже не просто бегство, а какой-то пароксизм, припадочное состояние, выражающееся в очень быстром перебирании ногами. Если он и останавливался на секунду, то только ради того, чтобы припасть воспалёнными губами к падающим на пути речкам и озёрам. При этом он, возможно, как леди Макбет, наскоро мыл свои огромные руки, запятнанные кровью всех народов, ибо, несмотря на свою столь поразительную резвость, он всё-таки боялся, что русские преградят ему дорогу.

Чего греха таить, Отто Скорцени не желал попасть в русский плен. Дело в том, что он был глубоко убеждён, что его у нас повесят. Можно даже сказать, что среди всех убеждений Отто Скорцени (а он был, как известно, человек с убеждениями) это убеждение было самым сильным.

Но куда бежать? Вот в чём весь вопрос.

Этот вопрос занимал не только Отто Скорцени, но и нас, грешных. Сержант Алёнушкин, например, иногда говорил с оттенком мечтательности в голосе:

— Хорошо бы изловить этого Отту... Хотя ему и бежать-то некуда. Попадёт к союзникам — те его тоже живо повесят.

Тем не менее Отто Скорцени бежал к англо-американцам. Может быть, он думал, что его не узнают, не заметят?

Вряд ли он это думал.

Отто Скорцени — убийца № 1, рост 1 метр 93 сантиметра. Лицо — широкое, красное, всё в рубцах.

Не заметить его нельзя.

И его заметили американцы. И они приглубили его

— Как так американцы? — удивлённо спросил бы сержант Алёнушкин, будь он жив.

Он был бы глубоко озадачен и огорчён. Ибо он, как и все мы, шёл навстречу своим союзникам с открытой душой. Я помню, как он радовался, когда союзники совершили высадку в Нормандии. Помню, как, узнавая всякий раз о том, что на нашем фронте появлялась то одна, то другая немецкая дивизия, переброшенная Гитлером с запада, он говорил:

— Ничего не поделаешь... Зато союзникам легче будет.

Когда мы начали за Одером брать первых пленных, показавших, что многие генералы бегут, желая сдать не нам, а англо-американцам, Алёнушкин пожимал плечами, поглядывая на меня с тревогой, но потом уверенно говорил:

— Какая разница! Суд будет один.

Под Ораненбургом к нам ранним утром 23 апреля привели группу пленных. Мы наскоро допросили их на опушке рощи. Я спросил, где теперь находится штаб армии и её командующий генерал Мантейфель. Пленный офицер Георг Нейман махнул рукой и устало сказал:

— Убежал... Наверно, уже у англичан...

Мы отправили пленных в тыл. Длинной вереницей, усталые и молчаливые, двинулись они по шоссе на восток. А мы пошли дальше на запад, туда, где завязывался новый бой на новом рубеже немецкой обороны.

В этом бою погиб сержант Алёнушкин.

Его похоронили у перекрёстка дорог, недалеко от большого озера. Над его могилой, увенчанной красной звёздочкой, мы молча поклялись, что не забудем его и будем бороться, как и он, за справедливость на земле. Именно за это боролся сержант Алёнушкин — Пётр Иванович Алёнушкин — так, оказывается, звали его. Он был сыном крестьянина Владимирской области.

Итак, мы положили Алёнушкина в могилу. И его обмороженные, натруженные ноги нашли себе, наконец, покой. Он ушёл из жизни в разгар великого праздника, полный уверенности в светлом будущем мира. Мы, оставшиеся в живых, знали, что предстоит ещё много прекрасного и что Сталин, вождь, который вёл нас в бой, поведёт нас на новые великие дерзания и труды.

Вокруг холмика с телом Алёнушкина происходило непрерывное движение огромных масс людей, освобождённых от рабства, сотен тысяч и миллионов бездомных, угнетённых и оскорблённых. В немецком городке высились кучи щебня вместо домов, зияли разбитые окна, беспризорные дети искали что-то на свалках.

Люди были голодны и печальны. И мы испытывали великую любовь ко всем этим людям, любовь, от которой глаза становятся горячими от подступающих слёз, любовь, способную гнать плоты против течения, менять русла рек — великую любовь к людям, ради которой только и стоит жить на земле и называться человеком. Если ради неё придётся быть суровыми — мы будем суровыми, хотя бы наши сердца обливались кровью при этом.

А мы ещё должны были проявлять суровость: впереди отступали, сражаясь, остатки немецких войск. Они ещё сражались в силу ложного понимания дисциплины, в силу ненависти, которую долго и настойчиво вбивали им в головы. Но большей частью это были уже не войска, а одиночки — несчастные, покинутые своими командирами, потерявшие веру в будущее. Уже не «фрицы», не солдаты, а люди. И это превращение

солдат в людей, это тотальное поражение немецкой армии, как бы ни было оно для них тягостно и трудно, — оно было плодотворно. Оно таило в себе новый, победный путь — путь былой славы для нации, давшей миру Маркса и Энгельса, Лейбница, Баха, Бетховена, Гёте, Шиллера.

Покинув могилу Алёнушкина, мы пошли дальше, чтобы добить гитлеровскую армию.

Старшина Горюнов нёс в носовом платке ордена и медали покойного и негромко рассказывал мне о нём нечто вроде надгробного слова.

— Что ж, — не спеша говорил старшина Горюнов, — Алёнушкин был хороший парень. Мы с ним целый месяц вместе воевали... Как пришёл из госпиталя — он у нас в роте всё время. А раньше он воевал на Третьем Украинском фронте. Прошлой весной он там орден Красного Знамени получил. Он захватил штаб немецкий, документы важные и генеральские штаны. Он мне рассказывал... Да... А ещё раньше он под Тулой дрался. Там 2-я танковая армия Гудериана наступала. Ну, так Алёнушкин поджёг бутылками с горючей смесью шесть танков в одном бою. Это точно. Другому бы не поверил, а ему верю — очень хорошее зрение имел. Глаза — соколиные прямо, честное слово. Он стрелял — так на лету попадал в монету. Я сам видел. И откуда у него такое? Сам он сын колхозника, кончил семилетку и работал секретарём сельсовета. В общем — не бог весть что. Правда, рисовал хорошо. Когда мы на формировке стояли, он с нас всех портреты рисовал. Очень похоже. И книжки любил читать. Его хлебом не корми, а дай книжку в руки. Я ему даже говорил: брось читать, успеешь почитать после войны, ещё зрение своё испортишь, а оно теперь нужное для родины... Семья у него в деревне, мать старуха, брат младший и какая-то Ольга — не знаю точно, жена или невеста. У меня и дом сожгли в Белоруссии, и старики и сынишка умерли с голоду в гитлеровской оккупации. У него этого не было. Но, как человек партийный и понимающий обстановку, он исключительно фашистов ненавидел и прямо-таки здорово их громил. А так он был парень спокойный, нет чтобы поспорить с кем-нибудь или вообще. Нет, этого за ним не было совсем. Он был, можно сказать, человек сурьёзный, дисциплинка у него была хорошая. Не то, что некоторые — раз ты храбрый разведчик и отличился в боях за родину, — значит, море по колено и сам чёрт не брат. Нет, этот был другой... Или чтобы там что-нибудь не выполнить... Нет, у него даже не могло такого и быть.

На этом старшина Горюнов закончил и отправился по своим делам в роту.

Позже, на рассвете, мне выдалась возможность поспать, но заснуть я не мог и почему-то думал главным образом о том, что если я после войны смогу написать что-нибудь стоящее, то Алёнушкин уже не прочтает это. И я горько сожалел о несостоявшихся ночных разговорах с этим человеком, который так много мог бы рассказать мне и никогда больше не расскажет. Кроме того, я испытывал угрызения совести, вспоминая, как часто холодными ночами заставлял его отправляться на передовую и страдать от боли в ногах, хотя мог бы вместо него посылать кого-нибудь другого.

Потом я в страшной тоске постарался думать о чём-нибудь другом. А тёмная комната пустынного немецкого дома, где я лежал без сна, понемногу наполнялась мутной серостью рассвета.

Какие документы захватил Алёнушкин в прошлом году? Мне ли, разведчику, не помнить эту историю!

16-я немецкая мотодивизия была в течение 1944 года трижды отмечена в сводках главной квартиры Гитлера. До того она участвовала в

прорыве немцев на Сталинград — с целью выручить из окружения армию Паулюса. Группой войск, в которую входила 16-я мотодивизия, командовал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Именно его послал Гитлер в тяжёлый момент для прорыва к осаждённому Паулюсу. Фон Манштейн постарался оправдать доверие Гитлера, но это ему не удалось, задуманный мощный удар был сорван, и дивизии «освободителей 6-й армии» побежали вспять под умелым руководством фельдмаршала фон Манштейна. Фельдмаршал проявил недюжинный талант по организации панического бегства с массовым оставлением противнику танков, орудий и даже аэродромов с самолётами. При этом он сделался известен также и истреблением десятков тысяч мирных граждан как вследствие своего плохого настроения, так и с целью неукоснительно выполнить соответствующие приказы фюрера.

Одной из дивизий Манштейна была и 16-я мотодивизия.

Среди документов, захваченных сержантом Алёнушкиным и его товарищами, была толстая папка с перепиской под заглавием: «О самовольном оставлении командиром 16-й немецкой мотодивизии графом фон Шверин занимаемых позиций». Герхард фон Шверин действительно бросил свои позиции, и командир 30-го армейского корпуса генерал артиллерии Фреттер-Пико возбудил даже перед командующим 6-й армии (обновлённой 6-й армии!) генерал-полковником Холлидт ходатайство о привлечении графа к военному суду.

Граф фон Шверин с большим трудом сумел оправдаться, свалив вину на солдат, на бездорожье, на потери и на самого Фреттер-Пико. 15 февраля 1944 года граф написал генералу Холлидту слёзное и довольно красноречивое письмо. Надо сказать, что у генерал-лейтенанта графа фон Шверин оказался довольно хороший слог, имеющий нечто общее со слогом библейских пророков в изложении немецкого профессора богословия начала прошлого века.

Генерал граф фон Шверин писал, между прочим:

«В 23.00 противник крупными силами, с криком «ура» перешёл в атаку на высоту 81,5 южнее Михайловки, опрокинул стоявшую там на позициях зенитную батарею 9-й танковой дивизии и продолжал свой натиск в западном направлении. 306-й полевой запасный батальон, которому был поручен этот участок, никакого сопротивления не оказал...

Утром 3 февраля ко мне на командный пункт в Михайловке явился командир 156-го мотополка полковник Фишер с остатками своего штаба. Полковник доложил, что его полк, как уже было известно, за последние дни в ходе боёв был отеснён на восток и находится, вероятно, в окружении... Одновременно меня известили со станции Апостолово, что туда прибывают крупные разрозненные отряды всех частей дивизии, правда, без оружия и техники и в совершенно истощённом состоянии... Много машин было потеряно во время отхода из Михайловки на запад. Отступающая пехота потеряла своё последнее тяжёлое оружие и боеприпасы...

Многие падали от истощения и оставались на дороге. В этих условиях солдаты оказались полностью дезорганизованными и деморализованными. Лишь на рассвете удалось у железнодорожного моста вблизи Трудовая собрать небольшое количество боеспособных солдат, которые добрались на нескольких уцелевших штурмовых орудиях. Это было человек сорок солдат 60-го мотополка...

* Я намеревался удержаться на железнодорожной линии в надежде, что русские из-за глубокой грязи не смогут преследовать меня крупными силами... Выполнение этого плана потерпело неудачу».

Граф фон Шверин во главе остатков 16-й мотодивизии и 123-й пехотной дивизии, сведённых воедино в группу «Шверин» — по фамилии злосчастного графа, — с поразительной быстротой бежал на запад. 17 февраля 1944 года граф докладывал тому же Холлидту в ещё более душераздирающих выражениях:

«... Сотнями брели эти люди по грязи, доходившей до колен. Они были лишены всякого руководства и двигались в том направлении, куда их вёл инстинкт. Над ними витал дух катастрофы. Там, куда они приходили, распространялись паника и ужас. Всякое правильное управление войсками застопорилось и запуталось, так как с потерей штабных машин, а также машин с телефонным и радиоимуществом, весь аппарат управления был выведен из строя... Эта жалкая беспомощность перед катастрофой приводит каждого, над кем бы такая катастрофа ни разразилась — всё равно, офицер он или солдат, — в состояние шока».

Графа фон Шверин к военному суду не привлекли. Его спасло состояние шока, иначе говоря — неменяемое состояние, которое в юриспруденции вполне законно считается смягчающим обстоятельством.

Наши солдаты захватили также парадный мундир графа фон Шверин — не буду уподобляться грубому старшине Горюнову, назвавшему парадный мундир «штанами», — и походную его библиотечку, которая состояла из военно-исторических трудов, опуса Альфреда Розенберга «Миф XX столетия», сочинения А. Гитлера «Моя борьба» и нескольких детективных романов, а также набор парфюмерии парижского производства. Граф был культурный господин, но, придя в состояние шока, бросил часть своих культурных ценностей. Не будем его осуждать за это.

Такие документы и трофеи захватил весной 1944 года сержант Алёнушкин. Документы были опубликованы в сообщении Советского Информбюро, а трофеи, за исключением парадного мундира, давно уже сгнили в украинской земле. Парадный же мундир вынуждена была перешить себе на пальто старуха Горпина, ограбленная вверенными Герхарду фон Шверину и Эриху фон Манштейну войсками. Сукно оказалось хорошим и после перелицовки носится до сих пор.

Алёнушкин вдоволь насмотрелся на бегущих немцев. Жаль, что он не смог всё досмотреть до конца.

Дивизии генерала фон Мантейфеля продолжали отступать примерно в таком же порядке, как год тому назад отступали части фон Шверина. Без руководства, оставленные на произвол судьбы своим командующим, они сражались, истекали кровью, сдавались в плен. Над ними витал дух катастрофы.

Генерал Курт фон Мантейфель, отпрыск знаменитых прусских Мантейфелей — не менее родовитый господин, чем граф фон Шверин, — ничего не мог поделать. Вначале было некое подобие управления войсками: генерал отдавал приказы, ругал подчинённых, требовал держаться во что бы то ни стало, перемещал дивизии, полки, подбрасывал подкрепления. Но это продолжалось всего несколько дней. Потом все бросились в паническое бегство, и генералу фон Мантейфелю не осталось ничего другого, как возглавить этот порыв, этот бурный, непреодолимый «Дранг нах Вестен».

Да, «Дранг нах Остен» сменился «дрангом» в обратном направлении. Разумеется, этот дранг не имел завоевательных целей. Однако не надо думать, что он был вовсе бесцелен. Рядовые солдаты и офицеры бежали потому, что их гнали, но многие генералы бежали даже тогда, когда можно было ещё держаться. Они бежали к новому хозяину. Конечно,

они в то время ещё не были уверены в том, что хозяин возьмёт их к себе в услужение. Но чутьём опытных ландскнехтов они угадывали в будущем такую возможность.

И вот в связи с этим генерал фон Мантейфель, в то время как его солдаты ещё дрались и умирали, отбыл в западном направлении. С решительностью, являющейся отличительной чертой знаменитого рода Мантейфель, он летел на штабной машине навстречу британским войскам гораздо скорее, чем они шли навстречу ему. Приходится констатировать, что он мчался не для того, чтобы приостановить вторжение на территорию своей отчины. Нет, он стремился к ним с целью срочно запросить британское командование: «где здесь плен?». Он мог бы сделать этот запрос телеграфно, по телефону или по радио, основываясь на новейших достижениях техники, но он не осуществил этого по двум причинам: во-первых, у него не было уже ни телеграфа, ни телефона, ни радио — всё имущество связи его штаба попало в руки наших войск; во-вторых, хотя он, как и подобает прусскому генералу, не был силен в науках, но догадывался, что два тела в пространстве, мчащиеся навстречу друг другу, должны в конце концов встретиться.

Он бежал к англичанам, как к своим избавителям, он, в течение шести лет твердивший, что англичане — худшие враги немецкого народа, он, считавший, что главная ошибка Гитлера заключалась в том, что фюрер предпринял русский поход до того, как расправился с Англией.

Даже сейчас, стремясь в спасительное лоно британской армии, фон Мантейфель жалел о том, что всё так глупо получилось. А ведь в Англии было бы вольготно! Можно было бы разрушать танками старинные готические здания, солдаты Мантейфеля насильовали бы англичанок, жгли бы крытые черепицей английские деревеньки. При отсутствии крупных лесных массивов облегчалась бы борьба с партизанами. А уже затем можно было бы ударить на Россию, имея обеспеченный тыл с хорошим английским правительством во главе с сэром Освальдом Мосли и лордом Гау-Гау, в составе лояльно настроенных консерваторов вроде Ванситарта и других проверенных брабазонов.

Но теперь пришлось Мантейфелю попасть к англичанам не в качестве победителя и оккупанта, а всего лишь в качестве пленного. Правда, англичане приняли его с глубоким уважением. Родовитый господин очень импонировал британским любителям аристократической старины, тем более, что он не побывал у них в качестве оккупанта.

3

Отто Скорцени тоже попал к англичанам. Не будучи титулованным бароном и не надеясь на аристократические сантименты британских офицеров, он дрожал, как осиновый лист. Он впервые убедился, что и у него есть нервы. Он ежедневно ожидал суда и виселицы. Ведь, пожалуй, такое нарушение международного права, как переодевание в одежду войск противника и убийство из-за угла, наказуется довольно сурово. Он потому и бежал к англичанам, что из двух зол выбирал меньшее: американцы — те могли вспомнить Арденны. Скорцени очень боялся, как бы американцы не потребовали его выдачи.

Но всё шло тихо и гладко. Понемногу бывший штандартенфюрер опомнился от страха и даже стал панибратски подмигивать чинам английской охраны. Дескать, знаем мы вас, встречались с вами в Италии, когда вы Муссолини не уберегли...

Скорцени жил в Дармштадтском лагере спокойно и сытно среди дру-

гих эсэсовских деятелей топора и плахи. Благодаря традиционному джентльменству британцев, Скорцени питался гораздо лучше, чем британские рабочие по карточкам. То, что людей, посылавших на Лондон самолёты-снаряды, кормили хорошо и культурно обслуживали, свидетельствовало о том, что евангельские заповеди не чужды и британским полицейским, и наполняло душу Скорцени (его теперь величали мистером Скорцени) глубоким удовлетворением. А он совсем было изверился в человеческом благородстве!

Однако Скорцени здесь вскоре стало скучно. После столь бурно и интересно прожитой жизни Дармштадт казался ему дырой. Правда, тебя не убивают — это хорошо. Но тебе и убивать не дают — а это плохо. Кругом — деревья, прекрасный старый парк, вороны кричат на полях, а работы нету. Столько месяцев прожить, не убивая, — тяжёлое испытание для немецкого эсэсовца, пустая, можно сказать — бессмысленная жизнь.

Скорцени начал впадать в философическое настроение. Он даже дошёл до таких вершин абстрактного мышления, что с полной объективностью учёного удивлялся глупости англичан, не понимавших, какое удовольствие имели бы они, убивая его, Скорцени. В своих размышлениях касался он также и вопросов естествознания. Например: как жаль, что человек не так живуч, как рыба. У рыбы и живот распорешь, и жабры вырвешь, а она ещё бьётся. Человек — он устроен не столь совершенно, и его единственное преимущество перед рыбой — это то, что он кричит.

Бывшему штандартенфюреру тем невыносимее было находиться в лагере, что до него стали доходить интересные сведения. Радио, — а лагерь в Дармштадте был хорошо радиофицирован, — сообщало о событиях новейшего времени, о противоречиях в стане союзников. Чем острее становились эти противоречия, тем мягче становился режим в лагере, тем более походил лагерь на хороший английский пансион для добропорядочных холостяков, тем слабее становилась охрана. К тому времени, когда англо-американские власти обнародовали известие о том, что денацификация в западных зонах окончена, лагерь в Дармштадте превратился в эсэсовский рай на земле.

И тут Скорцени, как вылупившийся из яйца птенец, решил отказаться от материнской заботы английской лагерной наседки. Он почувствовал крылышки за спиной и улетел из Дармштадта. Это было весьма несложно в нынешних условиях, тем более, что ему дали понять, что его услуги могут скоро понадобиться «при данной ситуации».

Вообще говоря, это тёмная история — бегство Скорцени из лагеря. Он ушёл среди бела дня, словно его друзья из штаба оккупационных войск союзников надели на него шапку-невидимку.

Говорят, что в момент его бегства произошло феноменальное явление: послышался тихий плач деревьев от Волги до Луары — деревьев с толстыми крепкими суками, на которых должны были болтаться Скорцени, его коллеги и его покровители.

Отто Скорцени бежал в Аргентину.

Неправда ли, это звучит весьма романтично? Бегство из Дармштадта в дикие пампасы Аргентины. Скорцени действительно попал в пампасы, но он там не жил в ранчо и не мчался на мустангах. Он очутился в Кордобе, большом благоустроенном городе, хотя и расположенном, правда, в аргентинских пампасах. В городе стоял большой военный гарнизон с таким количеством немецких фашистов, офицеров вермахта всех рангов и родов оружия, что, казалось, ты находишься в Лагер-Дебриц близ Берлина.

Да, это была та самая Аргентина, которая героически объявила Гитлеру войну в марте 1945 года, когда Скорцени уже вострил свои лыжи на Одере. Впрочем, Скорцени не обижался на Аргентину за это. Иначе нельзя было поступить в то время, и аргентинские офицеры только вздыхали, покачивали головами и любовно жали жёсткие ладони немецких беглецов.

Отто Скорцени поместили в удобном доме, гостеприимные хозяева всячески ласкали бедного мученика за Германию, несчастного заключённого, пострадавшего от рук неблагодарных европейцев.

Парламентский лидер аргентинской радикальной партии Сильвано Сантандер заявил, что Отто Скорцени (теперь его величали сеньором Скорцени) находится под защитой аргентинской армии и флота. Что ж, защита солидная: шесть пехотных и четыре кавалерийских дивизии, одна моторизованная дивизия, два линкора, три крейсера, пятнадцать миноносцев, три подводные лодки; а ко всему прочему — национальная гвардия численностью в двести тысяч штыков.

Не знаю, трудно ли было вооружённым силам Аргентины защищать Отто Скорцени, — во всяком случае, ни один волос не упал с его головы. Неизвестно, что было бы, если бы, например, Соединённые Штаты Америки решили начать войну с Аргентиной из-за сеньора Скорцени. Но США отнюдь не собирались делать нечто подобное. Наоборот, американские офицеры запросто встречались с ним и уговаривали его ехать в Европу, где его услуги могут вот-вот понадобиться. Да, именно теперь! Когда Западная Германия уже «денацифицирована» и «де милитаризирована».

Скорцени долго не решался на этот шаг, и — видит бог, — если бы его защищала только аргентинская армия, он так и не решился бы на него. Но убийцу осенили звёзды и полосы американского флага. Он получил заверения. Были забыты тысячи убитых им американцев.

И Скорцени появился в Европе — без стеснения, не пригибаясь, во всю длину своего выдающегося роста. В Париже он напечатал мемуары в «Фигаро», он завёл дружбу с интеллигентными французами — даже с двумя социалистами, чего мсье Скорцени никогда не ожидал в связи с тем, что самолично убил около восьмидесяти социалистов.

Потом он выехал, наконец, в Западную Германию.

Ему понравилось зрелище, открывшееся перед его глазами.

Если бы не города, разрушенные почти дотла английской и американской авиацией, если бы не обилие американских мундиров и американских товаров — можно было бы подумать, что ничего за эти годы не произошло.

Скорцени застал здесь сотни и тысячи друзей и однокашников, встречавших друг друга одним лишь словом «хайль», тактично опуская второе слово.

Скорцени повидался с гитлеровским рейхсминистром Вальтером Дарре, выпил пива с доктором Фриче.

В это же время на американском военном самолёте прибыл в Германию из далёкого Китая Вальтер Стеннес, когда-то фюрер берлинских штурмовиков, тоже очень знаменитый погромщик и убийца. В последнее время он работал начальником личной гвардии Чан Кай-ши. Бежал он из Шанхая за несколько часов до прихода туда китайской Народной армии. Американцы вывезли его на самолёте, а британский верховный комиссар в Германии сэр Брайан Робертсон дал ему пропуск на въезд в английскую зону.

Во всём чувствовалось, что наклёвывается, наконец, работа.

Генералы Гитлера потихоньку совещались в разных высокопоставлен-

ных домах, засиживались там до поздней ночи. Стучали машинки, читались рефераты. На эти совещания приезжали из концентрационных лагерей на восьмицилиндровых «мерседесах» и те генералы, которые отбывали заключение за бесчеловечные преступления во время войны. Генералов финансировал господин с лошадиной фамилией Пфердменгес, самый богатый человек в Германии, один из тех, кто привёл Гитлера к власти. Яльмар Шахт (Скорцени даже прослезился от умиления, увидев лицо этого маститого питлеровского дядьки) был душой этих совещаний.

Шла тихая, но не очень скрытная возня, которая, как Скорцени сразу же с восторгом определил, являлась не чем иным, как подготовкой к восстановлению германского вермахта. Зарождался «коричневый рейхсвер», как когда-то после первой мировой войны зарождался рейхсвер «чёрный». Создавалась подпольная организация немецких офицеров «Брундершафт», как после первой мировой войны — такая же организация «Консул». И герр Скорцени радостно примкнул к этому движению. Нет, союзники не повесили его.

4

Итак, в Западной Германии создаётся германская армия. Пишутся меморандумы, составляются мобилизационные планы, восстанавливаются списки офицеров армии и СС. Разрабатываются заявки на оружие и боеприпасы. Обучаются войска. Бывшие офицеры военно-воздушных сил и аэродромного обслуживания проходят курс обращения с американскими реактивными истребителями Ф-84. Военные заводы работают в три смены.

Кто же заворачивает этими делами? Кто варит в американском котле эту крутую кашу?

Фон Шверин и фон Мантейфель, фон Манштейн и Гудериан, Герд фон Рунштедт и Франц Гальдер.

Они, наши старые знакомые, которых мы нещадно били, гнали, окружали и рассеивали. Те самые, которые бросили в беде свои войска и чинно сдали свои пистолеты и кортики американцам и англичанам. Те самые, которые разрушали наши города и жгли наши сёла. Те, которые, пользуясь своим военным авторитетом, внедряли в головы немецких солдат преданность Адольфу Гитлеру и ненависть к человечеству.

Тише. Будем сохранять спокойствие. Не станем вспоминать снова о сержанте Алёнушкине и о других погибших друзьях. Ни слова более о пути от Сталинграда до Берлина — пути, политом нашей кровью.

Давайте лучше посмеёмся. Разве не разбирает смех при виде наших старых знакомых, этих современных героев, превзошедших Ахиллеса, самого быстрого из героев древности?

Портные срочно шьют фон Шверину новый мундир взамен того, в котором бабка Горпина ходит по воду. Граф возит теперь в своей походной библиотечке не Гитлера и Розенберга, а Даллеса и Генри Миллера. Вздв на костистый нос очки, он уже изучает теперь не речи ефрейтора Гитлера, а речи лавочника Трумэна.

Иногда после большого трудового дня, после инспектирования новых подразделений и неофициальных встреч со своими командующими — американскими капитанами, немецкие генералы собираются у камина за кружкой пива и долго сидят молча, время от времени тяжело вздыхая. Они вспоминают времена Гитлера, громкие победы, отличия, приёмы в имперской канцелярии в присутствии послов Муссолини и Франко... Фюрер жал руки своим генералам, отмечал их в своих сводках, жаловал им поместья и кресты.

Да, Адольф Гитлер любил их. Даже непонятно, почему они теперь с такой неблагодарностью отрекаются от него. Он любил их, высоко ценил, хорошо содержал, а если иногда и сердился, и покрикивал, и бил их по морде, так это только как отец своих деток. Кто любит, тот наказует.

И будем говорить открыто — они тоже любили его.

С какой страстью пытаются они теперь доказать обратное! Как упорно стараются обелить себя в книгах, письмах, декларациях, мемуарах! Оказывается, они были несогласны с политикой покойного Адольфа. Правда, это несогласие они выражали только перед своими супругами, и то в постели, шёпотом. Преданность же ему они провозглашали гораздо громче, и отнюдь не в постели, а всюду и везде. Но это можно понять и, поняв, простить: какой супруг — даже если он престарелый генерал — не желает казаться в постели своей жене справедливым, решительным и сильным?

И разве не смешно, что теперь они отрекаются от Гитлера! Ведь не будь его — не была бы восстановлена военная промышленность, не возродилась бы армия, не началась бы война, и господа Мантейфель, Гальдер, Рунштедт и другие прозябали бы в неизвестности в качестве управляющих имениями, хозяев пивных лавок, надсмотрщиков на фабриках и шахтах! Фон Шверин состоял бы, максимум, как его покойный папа, полницей-президентом Ганновера или другого города и гонялся бы за Отто Скорцени, который был бы всего-навсего обыкновенным уголовным убийцей. Гудериану, человеку без роду и племени, пришлось бы, возможно, продавать на ручной тележке овощи, и вместо «Achtung, Panzern!»¹ кричать «Achtung, Rüben!»².

Нет, трудно из Александра стать Диогеном и сменить дворец на бочку. Зря они теперь так нехорошо отзываются о своём отце и благодетеле.

Впрочем, не надо их подозревать в низкой корысти. Не только себя стремятся они обелить, — они хотят оправдать всю немецкую военную касту, всю её выгородить, подсластить, окружить святым ореолом ненависти к Гитлеру. Генерал-полковник Гальдер в одной своей книжонке, наспех сочинённой для этой цели, пытается окружить этим ореолом также и гитлеровского выкорышша Эрвина Роммеля. Более того, он предпринимает попытку превратить чуть ли не в антифашиста палача города Парижа генерала Штюльпнагеля, убившего больше французов, чем все его коллеги — палачи города Парижа — от времён Гуго Капета до времён Адольфа Тьера. Убивая, он, оказывается, был ярким противником Гитлера. Расстреливая заложников, он, оказывается, ненавидел Гитлера.

Так ученики фюрера пытаются создать легенду о своей бывшей ненависти к учителю. Им оказывают в этом деле посильную помощь разные английские, американские и немецкие литераторы, военные и просто мошенники. Даже некоторые одуроченные этой романтической версией писатели прогрессивного направления тоже, млея и сюсюкая, что-то такое бубнят об оппозиционности немецкого генералитета.

— Помилуйте, — бормочут они, — ведь военные организовали покушение на Гитлера в июне 1944 года!..

Это, положим, верно. Но покушение было организовано только в июне 1944 года, когда во всей своей очевидности обозначилось грядущее поражение гитлеровской Германии и когда некоторые представители военной клики (отнюдь не антинацисты!) решили, что пора взять в свои руки дальнейшее ведение войны. Кроме того, здесь имеется ещё одно обстоятельство: покушавшиеся были повешены. Их звали не Гу-

¹ «Внимание, танки!» — сочинение генерала Гудериана.

² «Внимание, репа!».

дериан (господин с этой фамилией был назначен начальником генерального штаба после покушения), не Рунштедт, не Шверин и не Мантейфель. Их звали Витцлебен, Бек, Герделер. Почему же не были повешены наши старые знакомые, задним числом благовестящие о своём несогласии с политикой фюрера? Вот если бы они были повешены, им несравненно легче было бы уверить мир в своей нелюбви к Гитлеру. А так мир не поверит. Миллионы глаз и миллионы ушей всё видели и слышали.

Нет, простите. Адольф Гитлер любил их и они обожали его.

Умилительная картина: командиры, отстранённые в своё время от командования за провал операций, генералы, снятые с должности за неспособность, — все они хотят теперь прослыть политическими противниками Гитлера. Все они толпятся в американских передних, наперебой предлагая свой меч и свой военный опыт. Затупленный меч и плачевный опыт.

Конечно, жаль, что многих уже нет, а иные далече. Потягивая пиво, сидят у камина наши старые знакомые и вспоминают своих коллег, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам сидеть рядом...

Повешены Кейтель и Йодль — «зря, зря, они быгодились теперь, поторопились американцы»... Погибли на русских равнинах такие столпы, как генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман, генерал пехоты Митт, генерал-лейтенант де Саленгре Драббе, генерал пехоты Мюллер и многие другие. Ах, где теперь генерал Маттершток, командир 137-й охранной дивизии, сорвавший с себя погоны и ордена и убежавший от русских однажды зимой? Где командир 106-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Форст, который самолично поджигал русские дома с запертыми там жителями?

Да, многих нет, многих нет... Как говаривал Шиллер:

Скольких бодрых жизнь поблёлка,
Скольких низких рок шадит...

Генералы курят трубки и глядят в камин, покашливают и опять вспоминают.

Какая невознаградимая потеря — смерть Генриха Гимmlера! Он был хотя и крупный негодяй, но весьма полезный при данной ситуации человек. В последний период войны он командовал армейской группой «Висла». Теперь можно было бы поручить ему командование армейской группой «Сена» или «Темза»...

Да, многих нет, многих нет...

Но вот генералы вскакивают — раздаётся отрывистый окрик американского лейтенанта:

— Хэлло!

Опять начинается суэта: писанина, подпольные смотры войскам, списки, меморандумы, оперативные планы под затейливыми названиями вроде «Барбаросса» или «Морской лев».

А американцы неистовствуют: вот вам деньги, вот вам оружие, только соберите побольше пушечного мяса, мы хотим мяса.

Да, да, американцы, дорогой друг Алёнушкин, именно они. Американская демократия, гордившаяся в прошлом великими именами, поддерживает теперь всех и всяческих претендентов на престолы, душителей и кандидатов в душители: Отто Габсбурга и короля Леопольда, императора Бао-дая и эсэсовца Скорцени, Чан Кай-ши и генералов Адольфа Гитлера. Американцы одевают и кормят чёрную сотню во всех странах мира. Вот до чего довели заокеанскую демократию власть денег, жадность собственников, своекорыстные миллиардеров и развращённость мелких буржуа.

Они воскрешают мёртвых. Они гигантскими кранами, пыхтя и ругаясь, поднимают огромный, разбитый, параличный, бледный, как смерть, в своей железной каске и зелёном мундире, призрак генерального штаба германской армии. Его рыжие усики начинают топорщиться над прусскими тонкими губами; белёсые, вылинявшие ресницы начинают удивлённо моргать, а бесцветные злодейские глаза наливаются блеском и кровью. Руки размахивают, а длинные ноги, облачённые в американскую обувь, уже готовы выступить вперёд гусиным шагом: «Achtung! Stillgestanden!».

При звуке этих хорошо знакомых слов мне на память приходят другие слова, которые очень часто произносились русскими солдатами: «хальт» и «хенде хох».

Знакомые, дорогие слова! Неужто они ни о чём не напомнят Ахиллеса фон Шверину? Неужели пятка, куда ушла геройская душа графа в былые дни, уже зажила, а сама бессмертная душа его опять водворилась на старое место?

Неужели эти слова так-таки ничегошеньки не говорят генерал-полковнику Гудериану, чьи подожжённые танки до сих пор ржавеют на русских полях, как памятник воинским талантам их командующего?

Неужели подлый трус Мантейфель, этот баран в чине генерала, оставивший свои войска на произвол судьбы и удравший в плен, так уж воинственно настроен, что рвётся в бой, оглушая мир грозным бляением?

Неужели все наши старые знакомые позабыли своих старых советских знакомых?

Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до прусского генерал-лейтенанта! Почему же так мало души, так мало интеллекта, такая звериная узость мысли под этими лысыми черепами? Ведь они не могут не понимать, что война обрекает на смерть и истребление прежде всего немецкий народ. Не пехотная же рота из Коста-Рики и не взвод драгун из Доминиканской республики обагрят своей кровью прекрасную землю Германии. Она снова обольётся немецкой кровью.

Нашим старым знакомым всё это нипочём. Эгоистический расчёт и подлое честолюбие, звериная злоба и звериная обиды движут ими. Вот они, наши старые знакомые, глядите на них — генерал-полковник Парвиан и генерал-лейтенант фон Шимпанзе! Мы знаем их повадки, их гримасы, их лицемерие и спесь, их трусость и наглость. Мы видели их лица и, что ещё важнее, их тощие зады, когда они удирали от нас, потеряв... мундиры.

Барабанный бой раздаётся в Западной Европе. Опять начинается великое одурачивание Михеля. Но теперь времена не те. Михеля не проведут на этот раз, он изменился и не захочет снова стать фрицем.
.....

Так-то, друг Алёнушкин. Хорошо, что ты не видишь всего этого.

5

В 1950 году, приехав во Владимирскую область, я вдруг, неожиданно для себя самого, решил разыскать деревню, где родился и вырос сержант Пётр Алёнушкин, побывать в этой деревне и посмотреть на людей, которые окружали его, и на землю, по которой он ступал до того, как стать солдатом.

С каждым днём моё желание становилось сильнее, и вскоре мне это стало казаться необычайно важным и полным особого значения.

Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов. Он славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма. Правый берег её высок и живописен, левый — низменен, порос лесом и сочными лугами. Река здесь судоходна, и пароходики, оглашая протяжным воем окружающие леса, идут вниз до Оки и вверх до Мстеры.

В старину тут работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России.

Кроме того, район славится ещё одним обстоятельством. Маленький городок Вязники, мало кому известный, и окружающий его небольшой район дали за войну двадцать пять Героев Советского Союза, преимущественно лётчиков. Как-то странно и трогательно было мне смотреть на спящих по деревням и по улицам городка стареньких женщин в шерстяных платках — обычных русских женщин, как две капли воды схожих с теми, которые ходили по этим древним местам сто и двести лет назад, и думать о том, что эти старушки родили героев-лётчиков, мастеров современной техники, и что эти матери, у которых ещё и иконы стоят в красном углу, обращают взоры в небо не с молитвой, а просто в ожидании своих сыновей.

Я пришёл в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день.

Все колхозники работали в поле. Казалось, что деревня населена только курами, которые по-хозяйски ходили по улице, клевали, собирались вместе, опять расходились, исчезали во дворах и вновь появлялись. На меня они глядели довольно равнодушно, и я сел на завалянку, уже просто не понимая, зачем я пришёл сюда и что я скажу людям. Мне теперь казалось, что зря я пришёл. Мать Алёнушкина, может быть, уже умерла, а если и жива, то стоит ли растревать старые раны, напоминать о событиях пятилетней давности, о том, что было и былём поросло.

Мимо прошёл мальчик, и я спросил его, где здесь живут Алёнушкины, на что он мне ответил, что пол-деревни — Алёнушкины. Тогда я пояснил, что я имею в виду тех Алёнушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Алёнушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущённый и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушёл.

Вокруг царил прекрасная осень. Деревья, как будто увешанные медными колокольчиками, колыхались под тёплым ветром, и казалось, что листья сейчас зазвонят тонкими голосками — совсем тонкими у берёз, пониже — у клёнов и вовсе низкими у лип. Прежде всех деревьев бурно и радостно желтеют клёны. Их желтизна ярка до боли в глазах. Берёзы — те желтеют медленнее. Теперь они были ещё жёлто-зелёные: зелёное — ближе к стволу, а чем дальше от него, тем желтее. Ничего похожего на увядание не было в осеннем уборе деревьев. И в том, что тихая улица устлана жёлтыми листьями, тоже не было ничего печального. Просто происходил какой-то крайне необходимый жизненный процесс, не менее важный, чем все другие, и красота его была красотой непреходящей жизни.

Начало темнеть. По деревне прошло стадо. Гурьбой пронеслись барашки. Коровы, принадлежащие колхозникам, поодиночке заворачивали каждая в свои ворота, между тем как колхозные коровы горделиво продолжали свой путь дальше, к ферме. Зажглось электричество в домах и длинных стойлах. Наконец, появились и люди. Они

появились сразу, и улица заполнилась ими — мужчинами, женщинами и детьми.

Все неспеша разошлись по домам, и только одна молодая пара, словно и не уставшая за трудовой день, пошла по направлению к реке — он задумчиво теребил в руках жёлтую веточку, она тихо смеялась.

Теперь уже совсем стемнело, и я отправился разыскивать избу Алёнушкина. Мне указали её, и я вошёл.

Мать сержанта была маленькая женщина, вся седая, но с молодым коричневым лицом. Она не огорчилась из-за того, что я напомнил ей о сыне, напрасно я опасался этого. Напротив, она засветилась тихой радостью, узнав, что её Петю любили и о нём помнят до сих пор. Я рассказал ей разные подробности фронтовой жизни её сына, в том числе и то, как Петя подрывал танки Гудериана, захватил письма фон Шверина и опознал диверсантов Скорцени. А она, то и дело удивлённо ахая, говорила как бы про себя:

— А он и не писал нам про это...

Мы посидели молча. Потом она спохватилась:

-- Я самовар поставлю.

Она поставила самовар и снова села напротив меня, глядя мне в глаза пристальным и дружелюбным взглядом. Потом её лицо вдруг сразу взмокло от слёз, но она тут же вытерлась, стала гогозить к столу и внезапно спросила:

— А будет война?

Я ей ответил, как мог.

Она сказала, словно объясняя свой вопрос:

— Наш колхоз сейчас объединился, стал большой. Земли около трёх тысяч гектаров. Обещают машин много прислать.

Я спросил об Ольге.

— Оленька вышла замуж прошлый год. Не хотела сначала, всё Петю не могла забыть. Уж я и то её уговаривала.

— А второй ваш сын где?

— Вася? — Она показала рукой на окно и замолкла, словно к чему-то прислушиваясь. Я тоже прислушался. Где-то недалеко в тёмной ночи гудел трактор. Он рокотал неспеша, то приближаясь, то отдаляясь. Его рокот наполнял сердце необычайным спокойствием, словно делал уютными и домовитыми эти лесные пространства.

— Пашет, — сказала она. — Всю ночь будет пахать.

Позднее я вышел на крыльцо и долго прислушивался, как к музыке, как к любимому голосу — к ровному гуду одинокого трактора. Деревня засыпала, электричество гасло то в одном, то в другом доме, — и, наконец, вся деревня погрузилась в полную темноту — почти такую же, какая бывала на фронте, — а трактор всё рокотал, рокотал, то отдаляясь, то приближаясь.

Утром тракторист Вася Алёнушкин пришёл с поля. Он был очень похож на брата: те же поразительной зоркости глаза — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками. Зашли и другие колхозники — у многих из них на пиджаках висели ордена и медали, знаки нашей незабываемой молодости, свидетельства зрелого опыта и непобедимого боевого духа.

Это были простые и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. КРАМИНОВ

★

НАЕМНИКИ АМЕРИКАНСКИХ МОНОПОЛИЙ

1. Полковник от нефти.

Первый американец, с которым мне довелось в 1943 году познакомиться перед самым отлётом из Тегерана в Каир, куда я направлялся в качестве корреспондента, озадачил меня. По внешнему виду и манерам он походил на коммерсанта. На нём был серый дорожный костюм, начищенные до блеска ботинки на толстой подошве и мягкая серая шляпа. Развязные и в то же время заскивающие манеры говорили о его коммивояжёрском прошлом. Он был со всеми назойливо предупредителен и вежлив. Встречая чей-нибудь взгляд, он широко улыбался, хотя улыбался он странно — только одними губами: он насильно растягивал их, показывая сверкающий набор золотых зубов. Улыбка, однако, не изменяла ни жёсткости его костистого лица с крупным, расколотым надвое глубокой лошинкой подбородком, ни холодности серых, почти бесцветных глаз, которые посверкивали из-под густых, выгоревших бровей, словно острия штыков.

Знакомился он с той смелой фамильярной простотой, которой отличаются все бывалые и знающие себе цену американцы. Он протянул мне узкую, но крепкую жилистую руку и отрекомендовался чётко, ясно, будто в три приёма. Сначала он сказал:

— Норман Кларк...

Затем, видимо опасаясь, что я могу спутать его с другими Кларками или стану подозревать что-нибудь иное, добавил:

— Коммерсант из Пенсильвании...

И немного спустя, очевидно не надеясь на мои географические познания, пояснил:

— Ю-эс-эй (США)...

Кларк крепко пожал мою руку, потряс её и объявил, что он «очень рад познакомиться с советским журналистом».

При посадке в самолёт он пропустил всех впереди себя. Усевшись в кабине, он немедленно извлёк свои запасы противорвотных таблеток и роздал их. Этими таблетками Кларк запасся, видимо, для других, сам он не проглотил ни одной, хотя над персидскими горами нас основательно «покачало». Он, несомненно, привык летать в тропических условиях, никак не реагировал на резкую, душу выматывающую смену температур и, казалось, хорошо знал здешние места. Изредка он смотрел из окошка вниз и по каким-то признакам, известным только ему, определял наше местонахождение.

На аэродроме Хабанэй, под Багдадом, Кларк пригласил меня прогуляться. Оглушённый рёвом моторов, «болтанкой» и убийственной жарой, я едва вылез на растрескавшееся поле аэродрома. Горячий ветер нёсся над землёй, выдирая из трещин засохшую траву. Над аэродромом и ровными полями, которые окружали его, летела,

подобно позёмке, бурая пыль. От этой пустыни, выжженной солнцем, веяло такой обнажённой тоской, что я невольно воскликнул:

— Какой бедный край!

— Богатейший край в мире, — живо отозвался Кларк, видимо не поняв, о какой бедности я говорю. — Эльдorado и Клондайк — просто бледные тени по сравнению с этим краем.

Встретив мой удивлённый и недоверчивый взгляд, Кларк добавил:

— Скоро весь мир будет зависеть от богатств, которыми владеет этот «бедный край»... Если, конечно, весь мир не уничтожит себя в борьбе за обладание этим краем.

Я догадывался, о каких богатствах говорит Кларк, но продолжал разыгрывать удивление. Кларк жестом пригласил меня отойти подальше от самолёта. Мы двинулись навстречу жаркому ветру в сторону Евфрата, который катил свои желтоватомутные воды в отлогих голых берегах. Тонем старого учителя, изрекающего своим ученикам истины тысячелетней давности, Кларк начал рассказывать:

— Под нашими ногами, на глубине нескольких сот метров, находится «чёрное золото» — нефть. Её здесь, в районе Персидского залива, так много, что всё Восточное полушарие, исключая вашу огромную страну, могло бы удовлетворять свои потребности во всех видах горючего в течение полутораста лет, даже при условии, что эти потребности увеличатся в десять раз. Знаете, сколько здесь нефти? Не знаете? Свыше двухсот миллиардов баррелей. И ещё сто миллиардов баррелей нефти можно получить из газообразных углеводородов. А знаете, какую чистую выручку можно получать здесь ежегодно? Пятьсот пятьдесят миллионов долларов. Прикиньте-ка, пятьсот пятьдесят миллионов долларов...

Кларк замолчал, устремив мечтательный взор к горизонту, над которым неслись потоки раскалённого воздуха. Потом он нахмурился, словно вспомнив что-то неприятное, и вздохнул. Не найдя, что сказать, я необдуманно спросил:

— Уж не за этим ли вы приехали сюда?

Американец сверкнул на меня своими колючими глазами и пастороженно осведомился:

— Зачем это «за этим»?

— Ну... Может быть, организовать добычу нефти.

— Не так это просто, — ответил Кларк после некоторого раздумья. — Тут хозяева — англичане. А они не хотят, чтобы кто-нибудь, помимо них, приложил руку к этому источнику богатств. Вот рассудите сами. Запасы нефти принадлежат здесь наполовину англичанам, наполовину нам, американцам. А что касается добываемой нефти, то из каждой сотни бочек, отправленной на рынок, нам принадлежат только пятнадцать, а англичанам — восемьдесят пять. К тому же даже эту нефть мы обязаны доставлять на английские нефтеочистительные заводы, потому что своих у нас здесь нет.

— Неужели американцы так отстали?

— Дело не в отставании, — с некоторым раздражением возразил Кларк. — Дело в том, что англичане контролируют весь этот огромный и богатейший район экономически и политически. Они держат двери Ближнего Востока закрытыми для всех наших фирм и компаний и держат так крепко, что нам приходится стучать в эти двери кулаками всех сорока восьми штатов. Мы проломили ворота в Саудовскую Аравию, а выйти оттуда не можем: все нефтепроводы находятся в английских руках. И знаете, что они делают с такой, казалось бы, невинной вещью, как нефтепровод? Они диктуют нам цены на нефтяном рынке. Вы усмехаетесь... Но это на самом деле так. Они заставили нашу «Галф ойл компани» (Нефтяную компанию Персидского залива) подписать с Эй-Пи-О-Си (Англо-иранская нефтяная компания) соглашение, запрещающее нам продавать нефть выше цен Эй-Пи-О-Си...

Мы повернули к самолёту. Американец шёл несколько минут молча, потом со вздохом, который показался мне притворным, произнёс:

— Да, богатства здесь колоссальные. Только вот делятся они нечестно, не по джентльменски. Как вы находите?

Я находил, что богатства Ближнего Востока делятся действительно нечестно, хотя мои соображения относительно этого дележа были совсем иными. Но поскольку я не раскрыл хода своих мыслей, Кларк, очевидно, решил, что я разделяю его мнение. Он оживился, заулыбался, то есть растянул свои губы, показав сверкающие зубы, и, осторожно выбирая слова, предложил мне выступить в московской печати с разоблачениями узурпаторства англичан. Кларк тут же изъявил желание снабдить меня нужными цифрами и фактами. И пока мы летели в Каир, он старательно выписал из своей записной книжки в мой блокнот какие-то цифры.

На каирском аэродроме Кларка, к моему удивлению, встретили не дельцы, а американские офицеры. Когда он появился на лесенке самолёта, они вытянулись и приложили руки к козырькам фуражек, высоко вздёргивая узкие и короткие курточки. Предупредительный и улыбающийся коммивояжёр, сидевший рядом со мною минуту назад, вдруг исчез; вместо него на бетонированную дорожку аэродрома сходил высокий и прямой, как шпага, уже не молодой человек с жёстким, костлявым лицом. Двигался он с механической чёткостью, которая выдавала в нём профессионального военного. И мне даже показалось, что плечи его серого штатского костюма стали бугриться, пряча генеральские, или, по крайней мере, полковничьи погоны.

Офицеры пристукнули каблуками, пропуская Кларка мимо, повернулись и чётко зашагали вслед за ним к американской штабной машине, которая стояла шагах в двадцати. Кларк повернулся в мою сторону, приветливо взмахнул рукой и влез в машину, дверь которой была предупредительно и широко открыта одним из офицеров. Когда машина тронулась, офицеры снова приложили руки к козырькам своих фуражек. Египетские полицейские, провожая американскую штабную машину выпученными глазами, тоже вытянулись и приложили свои вывернутые ладони к красным фескам и не решались отнять их, пока машина не скрылась за аэропортом.

Снова я увидел Кларка дней через десять. Со знакомым английским журналистом мы сидели на веранде отеля «Шепардс». Перед вечером, когда спадал томительный зной и длинные тени вытягивались через улицу, здесь собиралась каирская знать средней руки. Кларк вышел из военного автомобиля и поднялся по белой гранитной лестнице на веранду. На нём была летняя форма полковника американской армии, и серебряная птица на его погонах топорщилась с какой-то вызывающей самоуверенностью. Заметив меня, Кларк несколько смутился и, видимо решив не узнать меня, отвёл глаза в сторону. Но я поднялся из-за столика и поклонился ему с такой демонстративностью, которую не заметить было нельзя. Поняв это, Кларк повернулся в мою сторону, растянул свои тонкие губы в улыбке, обнажая все свои запасы золота во рту, бросил мне фамильярно и совершенно безразлично: «Хэлло!» и проследовал дальше, в отель.

— Вы знакомы с Ливеллом? — живо и, как мне показалось, с некоторой завистью спросил англичанин.

— С кем вы сказали?

— С полковником Ливеллом.

— С Ливеллом?

— Что вы переспрашиваете меня, словно первый раз слышите это имя? — недовольно заметил мой знакомый.

— Но это же не Ливелл, а Кларк, — ответил я и добавил: — Норман Кларк, комиссар из Пенсильвании.

— Это вовсе не Кларк, — поправил меня англичанин, — и он, как видите, не комиссар, а полковник, и не просто полковник, а полковник Ливелл.

— Мне это тоже не очень много говорит. Кто этот полковник Ливелл?

— Неужели вы ничего не слышали о полковнике Ливелле? — в свою очередь спросил англичанин. — Это же один из доверенных Рокфеллера и один из воротил нефтяной компании «Сокони вакуум», которая пытается захватить нефтяные богат-

ства Ближнего Востока в свои руки. Она уже прибрала к рукам Саудовскую Аравию, теперь пытается положить свою руку на нефть Ирака и Ирана.

— Но этого-то вы, англичане, не допустите.

— Это легче сказать, чем сделать, — глубокомысленно заметил англичанин. — Пока армии союзников изгоняли из Северной Африки немцев и итальянцев, полковник Ливелл вместе со своей оравой майоров, капитанов и лейтенантов, подобранных, видимо, не случайно из служащих американских нефтяных компаний, обшаривал наши задние дворы на Ближнем Востоке, выискивая лазейки, чтобы ограбить нас...

Англичанин не скрывал своего раздражения, и оно, это раздражение, на мой взгляд, было не лишено оснований. Американские монополии, в частности банкирская группа Рокфеллера, действительно использовали войну в Северной Африке, чтобы укрепить и расширить свои позиции не только в Африке за счёт французов, но и на Ближнем Востоке за счёт англичан.

Полковник Ливелл, как мне с большой готовностью рассказали несколько позже англичане, высадился вместе с армией в Ороне, в Алжире, прошёл с ней до Туниса, затем, когда союзники, в результате поражений гитлеровской армии на Восточном фронте, смогли вытеснить немцев и итальянцев из Северной Африки, прибыл в сопровождении целого штаба майоров, капитанов и лейтенантов в Каир. Отсюда он совершал поездки и полёты по всему Ближнему Востоку. Он побывал в Палестине, в Ираке, посетил короля Ибн-Сауда, несколько раз летал в Иран, где обшарил весь юг и север, встречался со многими местными правителями, уговаривал и интриговал. Американская армия, разбросанная в те времена по всем этим странам, оказывала Ливеллу самую энергичную и безоговорочную помощь.

Ливелл составил большой доклад о своих поездках и переговорах. Этот доклад, содержание которого каким-то образом стало известно англичанам, немало обеспокоил их. Полковник доказывал настоятельную необходимость для Америки захватить в свои руки весь огромный нефтеносный район Ближнего Востока. Ливелл указывал, что американские источники иссякают с поразительной быстротой и что, если США не захватят нефть Ближнего Востока, они не смогут через некоторое время обеспечить горячим даже свои вооружённые силы.

Доклад Ливелла был послан военным властям, которые передали его президенту. О Ливелле сами американцы стали говорить, как о пронципальном полковнике, заботящемся об интересах США. На самом деле в этом докладе всё, от первой буквы до последней точки, отражало интересы группы Рокфеллера и продиктовано владельцами нефтяной компании «Сокони вакуум». Ливелл мог сменить серый костюм коммерсанта на мундир полковника, а заискивающие манеры коммивояжёра на надменность солдафона, — и всё же он был и оставался всё время только слугой нефтяной монополии, только проводником и защитником интересов группы Рокфеллера.

2. Агенты фирм и монополий.

Мне не довелось встретить полковника Ливелла ещё раз. Он остался на Ближнем Востоке, чтобы пробивать дорогу нефтяной компании «Сокони вакуум», великодушно предоставив армиям союзников высаживаться в Италии, а затем и во Франции. Однако с сослуживцами полковника Ливелла, точнее говоря, с его коллегами по бизнесу, я встречался многократно на всём протяжении последнего года войны, который я провёл с американо-английскими войсками в Западной Европе. Они попадались мне очень часто, и у меня даже создалось впечатление, что в американской армии нет ни одного штаба (подчёркиваю — штаба, а не части), начиная с ШЭИФ'а (Штаба экспедиционных сил союзников в Западной Европе) и кончая штабом последнего сапёрного батальона, в котором не было бы представителей американских монополий, компаний, фирм и даже отдельных предприятий.

Разумеется, чем крупнее была монополия или компания, тем более высокий армейский чин представлял её; чем шире их деловые разветвления, тем значительнее и влиятельнее был штаб, в котором обретались их представители. Нью-Йоркская бир-

жа, например, была представлена в Объединённом штабе англо-американских союзников генералом Чарльзом Солцмэном. Солцмэн — вице-президент и секретарь нью-йоркской биржи — был произведён в генералы отнюдь не за его ратные подвиги. Воротицы Уолл-стрита нашли, что при планировании стратегии союзников профессиональными военными, прямо затрагивающей интересы и устремления американских монополий, должен присутствовать доверенный человек биржи. Этого оказалось достаточно, чтобы её вице-президент стал генералом. Один из пяти крупнейших нью-йоркских банков «Диллон, Рид энд К°», имевший до войны тесные связи с магнатами Рура, поставил под свой контроль ведение так называемой экономической войны. Один из директоров и совладельцев этого банка Дрэйпер был поспешно одет в военную форму (для начала — полковничью, но вскоре она была заменена генеральской) и направлен в соответствующий штаб.

В штабах американских войск, предназначенных для высадки и затем высадившихся в Западной Европе, где, как известно, переплетаются интересы многих американских монополий, компаний, банков и фирм, были представлены: концерн Меллона (зятём владельца Давидом Брусом, нынешним послом США во Франции и сыном владельца — Полем Меллон), концерн «Дюпон де Немур» (совладельцем концерна — Альфредом Дюпон), «Первый национальный банк» в Бостоне (двумя родственниками владельцев), концерн «Дженерал моторс» (родственниками владельцев) и т. д.

Через своих представителей в штабах англо-американских союзников американские монополии и компании стремились не только обеспечить свои интересы в оккупированных союзниками странах, но и направить стратегию войны. Ещё во время войны было неопровержимо установлено, что американская и английская авиация, проявившая такое усердие в разрушении жилых кварталов немецких городов, почти совершенно не затронула крупнейшие немецкие заводы, бывшие кузницей оружия для гитлеровской армии. Американские и английские владельцы, или, точнее говоря, совладельцы немецких военных заводов, приказали своим представителям в штабах американо-английских союзников не трогать эти заводы. И заводы были сохранены. Как рассказывал на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге нацистский министр вооружений Шпеер, даже Гитлер был поражён и удивлён этой тактикой американо-английских союзников, в результате которой немецкая военная промышленность производила в первые месяцы 1945 года, то есть перед приходом Советской Армии на территорию Германии, военных материалов значительно больше, чем когда бы то ни было.

Сразу же после высадки союзников в Нормандии англичане с раздражением заговорили о том, что с американскими войсками — в качестве их офицеров — высадились представители многих американских компаний, фирм и предприятий. Эти штабные офицеры, по словам англичан, не столько воевали против немцев, сколько рыскали по маленькой Нормандии, изучали производство двух единственных видов продукции: сидра — освежающего и хмельного, и сыра — вонючего и неприятного на вкус, но любимого аристократами. Решительные и предприимчивые американцы пытались взять производство и сидра, и сыра в свои руки.

По мере расширения плацдарма союзников во Франции, расширялась и деятельность этих агентов американских фирм и монополий, одетых в военную форму. Они следовали по пятам за авангардом армии, возобновляли старые связи своих фирм, выискивали возможность захватить то, что вынуждены были бросить немцы. Часто это касалось не только немецких или французских интересов в промышленности и торговле. Под грохот отдалённой артиллерийской стрельбы и близкой бомбёжки они заключали соглашения с французами о переходе к американцам швейцарских, испанских, бельгийских и даже английских предприятий.

Попытка какого-то предприимчивого янки захватить коньячные заводы в Ренне, которые наполовину принадлежали англичанам, вызвала со стороны последних раздражённый протест. В английской печати появились злые заметки, разоблачающие невоенную деятельность некоторых военных представителей атлантического партнёра Англии.

ШЭЙФ, где к тому времени американцы установили полное господство, ответил замысловатым «опровержением». Во-первых, говорилось в этом «опровержении», никаких агентов фирм и компаний в американской армии нет; во-вторых, если такие агенты всё-таки есть, то они находятся в армии не для сомнительных операций, как утверждают некоторые английские газеты, а для великой цели освобождения Европы; в-третьих, если они и занимаются кое-какими операциями, не связанными прямо с вышеуказанной великой целью, то они это делают на свой страх и риск, против воли командования; в-четвёртых, если они делают это, то командование, уважая великие традиции частной инициативы и предприимчивости, не может ни осуждать их, ни наказывать. «Опровержение» не успокоило англичан, но они ничего не могли сделать, чтобы изменить обстановку.

Когда союзники вошли в Париж, освобождённый самим французским народом, многочисленные майоры, подполковники, полковники и даже некоторые генералы американской армии, не снимая военной формы, открыто ринулись и ушли с головой в бизнес. Они пытались захватить для американских монополий то, что было брошено немцами, вынужденными бежать, что вываливалось из рук самих французов, скомпрометированных сотрудничеством с немцами, и что вообще плохо лежало. Агенты Дюпона, например, набросились на французский химический концерн, в котором немцы, пользуясь силой и властью оккупантов, захватили контрольный пакет акций. Американцы сразу же начали договариваться о мирном переходе этих акций в американские руки.

Французские владельцы концерна, охотно уступившие контроль немецким завоевателям и опасавшиеся репрессий за своё стокровное и открытое сотрудничество с ними, вынуждены были безропотно согласиться с требованием американских дельцов, одетых в военную форму. В этой сделке военная форма играла надлежащую роль. Она подчёркивала — и французы это вполне понимали, — что за агентами Дюпона, ведшими переговоры, стоит вся мощь американской армии в Западной Европе. Эта мощь, в случае несговорчивости французских совладельцев концерна, могла обрушиться на них, отнять не только этот контрольный пакет (51 процент акций), но и оставшиеся 49 процентов акций. Французам не оставалось ничего другого, как только выразить удовольствие по поводу перехода контроля над французским химическим концерном из рук немцев в руки американцев.

Иначе посмотрели на это дело англичане. Они решительно запротестовали против этой сделки. Английская буржуазная печать — этот цепной пёс британских монополий — обрушилась на французских владельцев концерна, обвиняя их в сотрудничестве с немцами, в измене национальным интересам и т. д. Газеты требовали привлечения их к ответственности и предания суду. Английские журналисты намекали на то, что американцы, забирая немецкую долю акций в этом концерне и соглашаясь, таким образом, сотрудничать с его французскими совладельцами, совершили преступление против союзнической солидарности.

Этот фонтан «благородного негодования» бил до тех пор, пока французы и их новые американские партнёры не согласились вернуть английскому химическому концерну «Империл кэмикл индастриз» (более известному по литерам — «Ай-си-ай») то, что принадлежало ему до войны. После этого английские газеты, до самого последнего дня требовавшие суда над коллаборационистами из французского химического концерна, в мгновение ока обнаружили, что означенные коллаборационисты вовсе не коллаборационисты, а участники и вдохновители французского движения сопротивления, и стали превозносить их доблести и расписывать их добродетели.

Агенты других американских компаний и фирм развернули в Париже поистине лихорадочную деятельность. В пассаже у Вандомской площади появились десятки парижских отделений и филиалов американских фирм и компаний; закипела напряжённая деловая жизнь. Многочисленные агенты, уполномоченные, доверенные встречались здесь, заключали сделки, подписывали контракты. Конторы отделений и филиалов были заполнены французскими секретаршами, стенографистками, бухгалтерами, посыльными и агентами. В кабинетах управляющих контор восседали чистокровные янки,

которые не потрудились снять военную форму. На их плечах красовались офицерские погоны, хотя по всем повадкам это были дельцы — настойчивые, беспощадные, наглые.

Командование американской армии не только не помешало своим офицерам заниматься бизнесом, не имеющим отношения к прямым задачам армии. Оно позаботилось о том, чтобы никто не мешал их деятельности. Французским властям де Голля, прибывшим в Париж в обозе союзных армий, было приказано не вмешиваться в деятельность американских контор в пассаже. Они были избавлены от опасности соперничества со стороны англичан. Американское командование запретило английским дельцам приезжать во Францию, чтобы выяснить судьбу своей собственности.

Попытки английского министерства внутренних дел, возглавляемого тогда лейбористом Моррисоном, снять этот запрет не увенчались успехом: американские фирмы и монополии не хотели видеть во Франции своих английских конкурентов. В спор ввязался английский парламент — этот шумный страж интересов Сити. Положение не изменилось. Командующий экспедиционными силами союзников американец Эйзенхауэр не отменил запрета, пока американские монополии и фирмы не «освоили» всю немецкую собственность в стране, не захватили в свои руки позиции, которые немцы сумели занять здесь за четыре года оккупации, и не перехватили позиции англичан, которые поправились американским дельцам.

После Парижа офицеры — агенты американских фирм и представители монополий бросились в Брюссель. Здесь они также попытались захватить позиции немцев, которые достаточно прочно обосновались в двух крупнейших монопольных финансово-промышленных группировках: «Сосьете женераль», которая до войны фактически принадлежала английскому капиталу, и «Банк де Брюссель», в котором хозяйничали немцы. Англичане, войска которых заняли бельгийскую столицу, довольно резко положили конец попыткам агентов американских фирм и монополий, одетых в офицерские мундиры, подобраться к «Сосьете женераль». Однако американцам удалось установить тесный контакт с «Банком де Брюссель», который, опасаясь репрессий за свои тесные связи с немцами, нуждался в сильном покровителе. Американские дельцы в военной форме обещали ему нужное покровительство. Между ними и «Банком де Брюссель» были совершены сделки, в результате которых часть акций этой монополии оказалась в руках американских фирм. «Банк де Брюссель» получил гарантию, что его не тронут, несмотря на его тесное сотрудничество с немцами. И его действительно не тронули.

Более того, политические деятели, которые группировались вокруг этого банка и сотрудничали с немцами, тоже не были тронуты. А несколько позже американцы оказали решительную поддержку и политическому агенту этого концерна — королю-квислингу Леопольду, который сдал свою армию нацистам, ездил на поклон к Гитлеру в Берхтесгаден.

И в поверженную гитлеровскую Германию многие офицеры американской армии прибыли как уполномоченные американских компаний и фирм. Они занимались совсем не ратными делами, а отыскивали американскую собственность, стремились договориться с немецкими промышленниками прежде, чем английские или другие европейские конкуренты американцев смогут появиться в Германии.

Офицерам военного управления союзников, располагающим весьма жесткими директивами относительно обращения с немецким населением, было дано специальное указание быть особенно внимательными с немецкими промышленниками, ни в коем случае не обижать и не озлоблять их, а стремиться расположить их в свою пользу.

Об этом указании я узнал совершенно случайно, когда в начале апреля 1945 года вместе с передовой группой военного управления союзников оказался в Ганновере, только что оставленном немцами. Американские войска, двигавшиеся по автострате Эссен — Берлин, прошли мимо города, устремляясь на Брауншвейг и Магдебург, — поэтому в городе было пусто.

Передовая группа военного управления, расположившаяся в огромном и пустом здании ратуши, занялась вылавливанием оставшихся нацистов. Первыми притаились к начальнику группы, американскому майору, двух немцев. Один из них был низень-

кий толстенный человек в ватном пиджаке почти до колен и в высоких сапогах с начищенными до блеска голенищами. У него было морщинистое, тупое лицо и мелкие испуганные глазки. Толстяк оказался нацистским блоклейтером — руководителем квартала (самая мелкая должность в нацистской партии). Второй выглядел вполне респектабельным бюргером. Он был одет в серое двубортное пальто, хороший коричневый костюм, его крахмальный воротничок был безукоризненно бел. При аресте у него сняли золотой значок нацистской партии, который, как известно, выдавался только особенно заслуженным нацистам самим Гитлером.

Майор набросился на блоклейтера с руганью, требуя назвать всех известных ему спрятавшихся нацистских главварей Ганновера. (В то время поговаривали о том, что крупные функционеры скрылись, чтобы готовиться к удару в спину союзникам, и военному управлению союзников специально поручалось выявить, в первую очередь, возможных участников Вервольфа). Блоклейтер испуганно тарачил свои мелкие глазки и бормотал:

— Ихь вайс ниht... Ихь вайс ниht... (Я не знаю).

Здоровенный майор подскочил к нему и со всего размаха ударил его в лицо. Блоклейтер упал, майор ударил его раза три ногой. Когда блоклейтер поднялся и, размазав кровь по лицу, снова вытянулся перед майором, тот снова ударил его, и немец снова грохнулся на каменный пол ратуши. Он поднимался снова и снова падал, но упрямо, хотя и плачущим голосом, повторял:

— Ихь вайс ниht...

Майор пригрозил пристрелить его и отправил блоклейтера в тюрьму, посоветовав ему на прощание к вечеру припомнить вервольфовцев.

Респектабельный бюргер был явно испуган допросом блоклейтера. Свиристый майор, очевидно, произвёл на него впечатление. Он не заставил упрашивать себя. Обстоятельно, хотя и несколько торопливо, бюргер доложил, что он является директором и даже совладельцем крупнейшего в Ганновере завода «Ганомаг». Завод этот во время войны выпускал танки и орудия, а также делал гильзы к снарядам и многое другое в том же роде. Завод, к удивлению директора и совладельца, не был ни разу подвергнут бомбардировке, не понёс никаких повреждений. Он находился и сейчас в блестящем порядке, так что если союзники хотят, то он, директор и совладелец, может хоть с завтрашнего дня начать производство танков «пантера» и противотанковых пушек, известных у союзников, как «эйти-эйтс» («восемьдесятвосемёрки»).

Но с этим матёрым нацистом американский майор обошёлся совершенно иначе — он вовсе не собирался заключать его в тюрьму. В ответ на мой недоуменный вопрос майор пояснил:

— У нас есть строжайший приказ: не обижать немецких промышленников, не трогать их. Нас предупредили, что если кто-нибудь из таких немцев пожалуется на офицера военного управления, то тому придётся дать письменное объяснение военному министерству в Вашингтоне.

И, видя моё недоумение, майор решил просветить меня.

— Промышленник, дорогой мой,— говорил он,— остаётся промышленником, какую бы политическую веру он ни исповедовал, и наши боссы всегда предпочитают их таким жалким людям, как мы, грешные.

Я осведомился, о каких боссах говорит он. Но майор только махнул рукой куда-то вверх, имея в виду не то командование американской армии, не то его хозяев на Уолл-стрите.

3. Два пути военной карьеры.

Снова я услышал о всемогущих «боссах» недели полторы-две спустя, когда войска союзников заняли Бремерхафен. На стапелях судостроительной верфи были обнаружены недостроенные подводные лодки, оборудованные весьма важными и ценными приборами с маркой: «Made in USA» («Сделано в США»). Американские офицеры, сопровождавшие корреспондентов, отмахнулись от них:

— Довоенное производство...

Однако более внимательный осмотр показал, что эти приборы были «сделаны в США» в 1943 году — на четвертом году второй мировой войны. Было совершенно очевидно, что некоторые американские фирмы продолжали поддерживать контакт с нацистскими фирмами и снабжали их самыми дефицитными военными материалами.

Это открытие произвело среди корреспондентов сенсацию. Мы начали переписывать все приборы, их номера, фирмы, которые произвели их. Обеспокоенные американские офицеры попытались отвлечь нас от этого дела, предложив осмотреть бетонированные укрытия для подводных лодок. Корреспонденты отказались. Тогда офицеры, отбросив в сторону мелкую дипломатию, просто приказали нам покинуть верфь. Дорогой они предупредили нас, чтобы мы не вздумали использовать свои записи для выступлений против американских фирм, снабжавших гитлеровцев вооружением. Фирмы эти принадлежали мощным концернам, и офицеры не ожидали сами и не обещали корреспондентам ничего хорошего от этих разоблачений.

Американские и английские корреспонденты, газеты которых, как правило, зависят от того или иного концерна, охотно согласились «проглядеть» это сенсационное открытие.

Вечером того же дня меня вызвали в отдел общественных связей 9-й американской армии. Знакомый подполковник, начав с обычного «давайте выпьем», говорил о сложностях и перипетиях войны, о ценности деловых связей, которые, по его словам, легко порвать, но трудно установить, и закончил просьбой «не поднимать шума» относительно неприятных открытий, сделанных на стапелях в Бремерхафене. Подполковник называл американских дельцов «сукиными сынами» и вообще играл в откровенность, поэтому я задал ему прямой вопрос: почему американские офицеры так боятся своих фирм и концернов? Я доказывал, что американская армия должна привлечь их к уголовной ответственности, а не покрывать эти преступления, запрещая разоблачать их махинации.

— Плохо же вы знаете положение американского офицера, — сказал подполковник. — Все эти дельцы-банкиры, промышленники и коммерсанты, о которых вы говорите с такой вольностью, для нашего офицера — хозяева, всемогущие боссы. Без их поддержки — я имею в виду поддержку кого-нибудь из них — ни один офицер, как бы он ни был талантлив, не может рассчитывать на успех ни на военной службе, ни в гражданской жизни, если он будет вынужден бросить службу. Он целиком зависит от сильных мира сего, пока не станет одним из них.

Полковник, слывший среди корреспондентов за либерала, рассказал мне и о тесной связи с промышленниками и банкирами одной, правда не очень многочисленной, группы офицеров и о кабальной зависимости от них другой, весьма многочисленной группы. По его словам, ни один человек не может попасть в военную академию в Уэст-пойнте, поставляющую офицерские кадры для американской армии, если он не рекомендован туда членом конгресса. Члены же конгресса обычно «расплачиваются» этими рекомендациями с людьми, которые финансируют их выборы в конгресс или оказывают другую финансовую помощь. Поэтому молодой человек, желающий посвятить себя военной карьере, должен сначала заслужить расположение какого-нибудь богача, который захочет рекомендовать его конгрессмену, так или иначе зависящему от него. Попав таким образом в военную академию, офицер не может забыть об этом одолжении до конца дней своих.

Основной движущей пружиной карьеры большинства американских офицеров является желание вылезти из бездны армейской неизвестности и приобщиться к тому социальному слою, которому он обязан служить, которому служит вся армия, — к буржуазии. Каждый офицер знает, что к этому ведут два пути: во-первых, использование армии для приобретения любыми средствами популярности, во-вторых, использование армии для приобретения любыми средствами богатства.

Американскому офицеру хорошо известно, что широкая популярность, особенно добытая на войне,— это большой капитал. Крупнейшие фирмы и монополии охотятся за известными военными, как и вообще за популярными людьми, приближают их к себе, назначают на доходные местечки в своих наблюдательных и распорядительных советах. Они полагают, что известный и популярный человек, связавший себя с фирмой, создаёт ей более широкую и устойчивую рекламу, чем самые красочные объявления на заборах, в газетах или даже в небе (самолётами). Некоторые из генералов, многие из полковников и майоров второй мировой войны оказались в результате этого на тёплых местечках директоров, управляющих и коммерческих агентов крупных фирм и монополий. Они придали вес, респектабельность обычным трюкам и махинациям этих фирм и монополий.

Самые известные и популярные из генералов были использованы, конечно, самыми мощными концернами и монополиями. Не нуждаясь в мелкой рекламе, эти концерны и монополии поручили генералам, доказавшим военной службой преданность Уолл-стриту, охрану своих интересов после войны не только в США, но и за их пределами. Для этого одним из них была передана государственная власть, другие были выдвинуты на авансцену общественной жизни.

Наиболее яркими фигурами этого рода являются генералы Маршалл и Эйзенхауэр. Генерал Маршалл, во время войны начальник штаба американской армии, был назначен на пост государственного секретаря США. До этого назначения никто не замечал за генералом особой склонности к дипломатии или даже к нормальной общительности, без чего невозможно быть дипломатом. Тем не менее он возглавил дипломатическую службу США. Случилось же это потому, что генерал показал себя во время войны верным слугой банкирского дома Моргана. Маршалл обеспечил интересы Моргана в Европе во время войны. Ему же было поручено закрепить и расширить позиции Моргана в Европе после войны. Он сделал и это — своим пресловутым «планом Маршалла».

Более сложна политическая карьера генерала Эйзенхауэра. Эйзенхауэр ушёл с военной службы, чтобы стать президентом Колумбийского университета в Нью-Йорке. Его, конечно, прельстила не научная карьера (он далёк от всякой науки) и не жажда стяжательства (Колумбийский университет — это, ко всему прочему, крупное капиталистическое предприятие с большим доходом). Дело в том, что этим университетом управляет совет, состоящий из самых видных представителей делового мира Нью-Йорка, то есть Уолл-стрита. Президент Колумбийского университета входит, таким образом, в круг подлинных хозяев нынешней Америки, которые, видимо, захотели поближе познакомиться с этим популярным, хитрым и ловким генералом, чтобы использовать его, в случае необходимости, в качестве своего ставленника и слуги. Эйзенхауэр вполне устраивал их. По своим убеждениям он был заклятым реакционером с явно фашистскими тенденциями, по своей фразеологии он мог сойти за демократа и либерала. Как показали выборы президента в 1948 году, он претендует на роль ставленника всей правящей монополистической верхушки США, а не отдельных её влиятельных групп, соперничающих между собой.

Второй путь, на который становится большинство офицеров американской армии, менее блестящ, но более лёгок и общедоступен. Рассматривая службу в армии, как бизнес, где для накопления богатств все средства хороши, офицеры используют армию для самой откровенной наживы. Офицеры, как и рядовые американской армии, высадившиеся в Нормандии, а затем прошедшие через Францию, Бельгию и Западную Германию, усердно занимались на всём протяжении войны мародёрством. Французские городки в Нормандии, покинутые своими обитателями под угрозой массовых союзных бомбардировок, были полностью «очищены» американскими солдатами и офицерами. Они тащили ценности, парфюмерию, вина, одежду, галантерею. Всё это срочно запаковывалось и посылалось в США с таким же усердием, с каким гитлеровцы тащили домой награбленное в оккупированных ими странах. Только немцы открыто называли это реквизициями победителей, а американцы именовали собиранием «сувениров».

После перехода немецкой границы охота за сувенирами превратилась в открытый грабёж. Американцы обыскивали немцев и немцев, не считаясь с возрастом, и отнимали золотые кольца, браслеты, снимали часы.

В такой же широкой мере процветало во всей армии воровство армейского имущества. Видимо, зная повадки своих офицеров, военное министерство США снабдило все военные материалы, кроме снарядов, бомб, тяжёлых пушек и танков, надписью: «собственность правительства США». Нефтеочистительным заводам, снабжавшим армию бензином, было предложено подкрасить его, чтобы затруднить продажу горючего на сторону. Военная полиция останавливала на дорогах Франции, Бельгии, Голландии и Германии все гражданские машины и проверяла баки. Если там оказывался розовый бензин, машину немедленно отбирали, а владельца или водителя сажали под арест: бензин был украден офицерами и продан гражданским потребителям.

Тем не менее воровство принимало в армии поистине фантастические размеры. Воровали, конечно, и рядовые, хотя у них возможности были весьма ограничены. Но в основном этим занимались офицеры; при этом, чем выше был армейский чин, тем крупнее было воровство. Вор в армии США стал самой популярной фигурой. Ни солдаты, ни офицеры не говорили о том, кто особенно отличился в бою, — армия не знала и, казалось, не хотела знать своих героев. Но человек, проведший ловкую операцию по продаже армейского имущества, сделавший тем самым «хороший бизнес», становился в армии объектом всеобщей зависти и даже обожания.

В самом конце войны журнал американской армии «Янк» провёл излюбленный американцами опрос нескольких тысяч солдат и офицеров на тему: кто популярнее всего в армии. На первом месте оказался не Эйзенхауэр и даже не широко разрекламированный генерал и крупный делец Джордж Паттон. Наиболее популярным человеком в армии США оказался некий Смит (или как там его! — у него было несколько фамилий), который прославился поистине феноменальным мошенничеством. Когда началась вторая мировая война, Смит находился в Канаде. Боясь, что его могут мобилизовать в армию, он подался в США, где процветал до тех пор, пока США не вступили в войну. Тогда Смит снова перекочевал в Канаду и вступил там некоторое время спустя добровольцем в армию, получив низший офицерский чин. В Северной Африке он перешёл в армию США, с которой побывал в Италии и высадился во Франции. Всё это время Смит воровал и торговал. Чем шире развёртывался его «бизнес», тем выше поднимался он по лестнице армейских рангов, тем больше офицеров-штабистов и интендантов вовлекал он в свои аферы. Дошло до того, что он приобрёл в армии большое влияние и вес, и мог назначать своих подручных на крупные должности, обеспечив им предварительно присвоение соответствующих званий. Когда контрразведка арестовала его в одном из парижских ресторанов, на защиту проходимца выступили самые крупные штабы и генералы.

Вор и мошенник в военной форме стал героем послевоенной американской литературы. Ему целиком посвящены романы: «Им никогда не было так хорошо» Джайса и «Молодые львы» Ирвина Шоу.

Агенты фирм и слуги монополий, наёмники и ландскнехты правящей монополистической верхушки США, офицеры американской армии по сути дела лишь подражали и подражают в этом своим хозяевам. Они грабят население других стран, как грабят его американские монополии, они обворовывают собственный народ, как обворовывают его американские фирмы и концерны. Офицеры поклоняются тому же идолу наживы, стяжательства и обогащения, которому молится вся правящая верхушка США. Поэтому хозяева Америки смотрят сквозь пальцы на массовое воровство офицеров в своей армии и явно поощряют мародёрство и ограбление чужого населения. Они не интересовались и не интересуются источниками доходов офицера (бизнес есть бизнес), их интересует лишь его готовность служить им с оружием в руках как против народов других стран, так и против своего собственного народа.

4. Рыцари новой расы господ.

В самом конце прошлого года прогрессивная печать США выступила против того, что в устав Военного колледжа имени Джефферсона в Натчезе (штат Миссисипи) были внесены две, на первый взгляд мелкие, но весьма знаменательные поправки. Первая поправка запрещала колледжу допускать в свои стены «цветных», то есть не белых, студентов и преподавателей. Вторая обязывала колледж «учить и всеми возможными средствами распространять принципы превосходства англо-саксонской и латино-американской рас».

Эти поправки, как выяснилось, были предложены колледжу вместе с 50 миллионными долларами дотации богатым южным плантатором Армстронгом. Во время второй мировой войны этот Армстронг прославился своим памфлетом, оправдывающим гитлеровцев и возлагающим всю ответственность за ужасающую бойню на евреев. После войны Армстронг предложил внести в конституцию США поправку, которая официально лишала бы негров и евреев гражданских прав. В качестве опекуна, наблюдающего за правильным использованием этих средств и за выполнением военным колледжем поставленных условий, плантатор назначил отставного генерал-майора Ван Хорн Мозли, убеждённого фашиста. Ещё в 1939 году, подготавливая первый в США фашистский путч, заговорщики из гитлеровского «Германо-американского союза», фашистской организации «Серебряные рубашки» и Ку-Клукс-Клана избрали Ван Хорн Мозли своим командующим.

Откровенная попытка фашистов, финансируемых недавними рабовладельцами, захватить колледж, готовящий будущих офицеров, осуществлялась настолько грубо и топорно, что даже буржуазная печать вынуждена была выступить против них. Однако военное командование не нашло возможным вмешаться. «Фанатизм одного дурака из штата Миссисипи, имеющего 50 миллионов долларов,— писала тогда рабочая газета «Дэйли уоркер»,— не удивит официальный Вашингтон. Никто не предложит, чтобы всем, окончившим эту школу расовой вражды, не разрешалось поступать в Уэст-пойнт и в армию Соединённых Штатов. Наоборот, этих полных ненависти фанатиков, вероятно, будут приветствовать как совершенно надёжных офицеров».

Правящая страной капиталистическая верхушка целиком разделяла и разделяет «фанатизм дурака из штата Миссисипи». В военную академию в Уэст-пойнте, которая, как известно, финансируется не богатыми плантаторами-фашистами, а правительством США, доступ неграм практически закрыт. Фальшивые декларации Трумэна о равноправии негров в армии остаются только декларациями. В Уэст-пойнте на 2500 курсантов насчитывалось в 1949 году только 9 негров. И эти 9 негров фактически находятся на таком же положении, как и негры в южных штатах страны: они живут отдельно, питаются отдельно, занимаются отдельно. На академических парадах их убирают на задний план, чтобы они не раздражали глаз высокого начальства, которое по своим убеждениям не отличается от «дурака из штата Миссисипи». Только умирать негров посылают, конечно, вперёд, а в случае военных неудач делают их козлами отпущения.

Офицерский корпус американской армии воспитан в духе превосходства англо-саксонской расы. Американским офицерам вбили в головы мысль о праве американцев на господство над всем миром, об их ответственности за мировой общественный порядок. Они возомнили себя провозвестниками и защитниками «Пакс Американа» («американского мира»). При общей низкой культуре американских офицеров и соответствующей обработке это привело к тому, что они стали относиться ко всем другим народам с наглым пренебрежением.

Наиболее ярко это отношение американских офицеров сказалось в пренебрежении к страданиям и жертвам других народов, в ничем не оправданных американских бомбёжках французских, бельгийских и голландских городов в прошлой войне,— бомбёжках, во время которых погибло так много женщин, детей, стариков. На заречную, наиболее густо заселённую часть города Кана например, за пятнадцать минут было сброшено пятьсот тонн фугасных бомб, хотя офицерам было достоверно известно, что там находится только пятьсот немцев. Потом оказалось, что и эти немцы

были выведены перед бомбёжкой из Кана. Под развалинами домов погибли 22 тысячи французов. С такой же жестокой беспощадностью были уничтожены вместе со своими обитателями маленькие бельгийские городки в Арденнах во время скандально-известных боёв в декабре 1944, январе 1945 годов. Американские офицеры-лётчики и их командиры убили десятки тысяч мирных жителей Бельгии только потому, что они имели несчастье поселиться на пересечении горных дорог или построить мосты через горные речонки. Американцы разрушали города, чтобы превратить их руины в препятствие для гитлеровских танков, хотя эти танки ещё и не приближались к ним... Против населения своих союзников американские офицеры и генералы применяли те же гитлеровские меры тотального уничтожения, которые они применяют сейчас против корейского народа.

Со своими английскими союзниками американские офицеры обращались как с низшей категорией их собственной расы. Они издевались над медлительностью английских офицеров в делах и мыслях, хвастались своей силой, техническим превосходством, откровенно поносили качества английских солдат и офицеров.

Ко всем народам Европы, с которыми американским офицерам пришлось столкнуться во время второй мировой войны, они относились с откровенной враждебностью, высокомерием и презрением, смешанным со страхом. Они испытывали почтение только к обладателям тугого кошелька. Наглые и грубые с простыми людьми, они буквально перевоплощались, когда встречались с богачом, с капиталистом. Привыкшие служить и поклоняться своему золотому мешку, они изгибались и перед золотым мешком врага.

В этой связи мне вспоминается показательный случай, происшедший мокрой и холодной зимней ночью в маленьком люксембургском городке Эш, расположенном почти на самой французской границе. Возвращаясь из французской 1-й армии, только что занявшей Кольмар, мы вынуждены были обогнуть Мец, в фортах которого ещё сидели немцы, и приехали в Эш часа в 3—4 утра. Искать помещение для ночлега уже не имело смысла, поэтому мы расположились в приёмной коменданта. Однако вздремнуть нам не дали. В комендатуру ввалились человек пять люксембуржцев, которые возбуждённо потребовали коменданта. Заспанный и раздражённый майор, поднятый дежурным офицером, резко спросил, в чём дело. Те начали рассказывать, путаясь и перебивая друг друга. Майору пришлось прикрикнуть на них и указать пальцем на того, кто должен рассказывать. Оказалось, что управляющий местным железодельным заводом, отправивший в Германию перед самым приходом союзников новенькие станки и сбежавший с немцами, этой ночью явился на завод и закрылся в своём доме у завода. Делегаты требовали от коменданта немедленно арестовать этого изменника. Они даже брались сами доставить его сюда, если только им дадут хотя бы одного американского солдата.

Майор, однако, не решался удовлетворить их требование. Он ерошил свои и без того взъерошенные волосы, задумчиво чесал свой большой нос. Первой его мыслью было:

— Кому принадлежит завод?

Дежурный офицер, к которому обратился комендант, точно не знал этого. Он полагал, что завод мог принадлежать только знаменитому металлургическому концерну.

— Чем же он знаменит, этот концерн? — лениво переспросил майор.

— Концерн знаменит тем, — отвечал дежурный офицер, — что он производит одну десятую всей европейской стали.

— Бог ты мой! — воскликнул майор, сразу сбрасывая сонливость и лень. — Одну десятую всей европейской стали! Это... это же огромное богатство...

Майор выпроводил делегатов, приказав им не тревожить управляющего и пообещав, что он займётся им сам. Он, видимо, не решался даже беспокоить ночью управляющего заводом, который принадлежал такому мощному концерну.

Наутро оказалось, что управляющий, забрав чертежи новых машин, снова подался через немецкую границу. Но майор не был опечален этим обстоятельством.

За завтраком в офицерской столовой он глубокомысленно рассеивал наше недоумение:

— Управляющий нам большого вреда не наделает,— говорил он.— Надо опасаться тех, кто по ночам рыщет под его окнами, чтобы выследить, чем он занимается. Эти люди хотят использовать нашу армию для расчёта со своими врагами. Но мы на это не пойдём, нет, не пойдём...

Действительно, в конфликте между монополиями и народами Европы американские офицеры, преданные душой и телом своим хозяевам, естественно заняли сторону европейских монополий, которые опирались на самые реакционные силы. Во Франции они поддержали приход к власти кагуляра де Голля и его подручных-кагуляров. В Италии они энергично и безоговорочно поддерживали королевский дом, который помог Муссолини прийти к власти и который сотрудничал с ним душа в душу в течение почти четверти века. В Германии они с первых же дней стали блокироваться против немецкого народа с самыми реакционными кругами буржуазии и помещиков. Они отнеслись к гитлеровским генералам и офицерам с таким почтением, которое с самого начала казалось подозрительным. Они переняли их повадки, манеру держаться, они стали изучать их военный опыт, зубрить их доктрины. Поразительно быстро офицеры обнаружили духовное родство между собой и гитлеровским отребьем и все свои силы направили к тому, чтобы помочь этому отребью, изъявившему желание служить американским монополиям, снова захватить власть в Западной Германии.

Американское офицерство в целом безоговорочно поддерживает заносчивые притязания воротил Уолл-стрита на установление мирового господства американских монополий. Монополии предпочитают опираться в осуществлении этих стремлений именно на своих наёмников в военной форме. «В настоящее время армия,— писал ещё 18 января 1947 года «Арми энд Нэви бюллетин»,— фактически контролирует внешнюю политику. Контроль над важнейшими дипломатическими решениями как в области основной политики, так и в формулировании соответствующих мероприятий, находится почти полностью в руках военных властей».

Несколько позже (20 марта 1947 года) журнал «Юнайтед стэйтс ньюс», отмечая влияние офицерского корпуса в политических делах США, писал: «Никогда ещё армия и флот не были так представлены в правительстве. И никогда ещё в США не проводили такой жестокой внешней политики».

Эта внешняя политика выражалась в открытой поддержке Соединёнными Штатами войны, которую вела преступная банда Чан Кай-ши против китайского народа. Она проявлялась также в гражданской войне в Греции. Она привела к преступной войне американского империализма против героического корейского народа.

В этой войне американское офицерство снова показало, что оно является преемником гитлеровцев. По своей жестокости, по стремлению к тотальному разрушению американские офицеры даже превзошли гитлеровцев в военной форме. Они продемонстрировали перед всем миром, что во имя интересов американских монополий, во имя их алчности и наживы, американские офицеры не остановятся перед уничтожением тысяч и тысяч людей — женщин, детей, стариков, перед разрушением целых стран.

5. Незадачливые мальбруки.

Однако жестокость и жажда к разрушению никогда не компенсировали и не могли компенсировать слабости американских офицеров, как военных руководителей. На поле брани, имея перед собой энергичного и стойкого противника, американские офицеры продемонстрировали поразительную беспомощность, полное отсутствие наступательной инициативы, решительности, настойчивости и умения. Они всегда брали только огромным перевесом силы — в людях, в технике. Этот перевес сил накапливался ими не на отдельном участке фронта, где они хотели нанести удар (это — непременное условие всякого наступления), а на всём фронте. Они проявляли признаки «смелости и решительности» только тогда, когда их силы превышали силы против-

ника в несколько раз. В знаменитом, широко разрекламированном американцами прорыве в Нормандии между Сан-Ло и Кутансом летом 1944 года американцы имели многократное превосходство в людях (до 6—8 раз), в танках (до 10 раз) и абсолютное господство в воздухе (немцы не послали ни одного самолёта против сотен американских самолётов, которые круглые сутки «смягчали» немецкую оборону).

Встреча один на один, как это произошло во время зимнего (1944—1945 гг.) сражения в Арденнах, заканчивалась обычно поспешным бегством и поражением американской армии. Офицеры, как было установлено после этого сражения, оказались самым слабым звеном американской армии. Они не проявили ни мужества, ни решимости стоять и сдерживать немецкий поток. Слух, пущенный немцами, что они выбросили вперёд специальные отряды для уничтожения американских офицеров, произвёл на последних ужасающее впечатление. Их охватила настоящая паника. Штабы частей, начиная с самых мелких, кончая штабом армии, покинули район Арденн с такой поспешностью, будто их вымело оттуда бурей. Они разместились в далёких французских и бельгийских городках, спрятавшись там так основательно, что их не могли найти не только немцы, но и собственное командование. В результате этого передовые части остались в самые критические дни сражения без руководства.

Американские офицеры не умели использовать свою артиллерию. На километр фронта они имели большое количество орудий. Однако эти орудия никогда не использовались для прорыва, для нанесения удара, переходящего рамки тактического успеха.

Так же неуклюже обращались они и с новым видом войск — воздушно-десантным. После неудачной высадки и гибели первой английской парашютной дивизии у Арнема (Голландия), американские офицеры не решались прибегать к своим воздушно-десантным войскам. Эти войска появились на горизонте только однажды: на второй день после пересечения Рейна. К удивлению как парашютистов, так и пехотинцев, десант был высажен на головы союзных солдат, почти беспрепятственно марширующих на восток от Рейна.

Американские офицеры обрели «наступательный дух» в арденнском сражении только после того, когда им стало точно известно, что гитлеровское командование, спасая свой восточный фронт, поспешно увело из Арденн 6-ю танковую армию СС, которая так ничем и не проявила себя здесь, и начало вытягивать 5-ю танковую армию. Против арьергарда отступающих, составленного в основном из народных гренадёров (стариков и инвалидов), американское командование обрушило большие силы. Однако и эти силы не проявили ни энергии в преследовании, ни решимости нанести поражение отступающему противнику. Американцы просто ползли по следам немцев, занимали городки и деревни, которые те оставляли, и терпеливо ожидали их эвакуации, когда немцы почему-либо задерживались.

В наземной борьбе американские офицеры продемонстрировали полную нерешительность и смятение. Во Франции, например, они шагу не могли сделать без поддержки авиации. Как только немцы, укрепившись в населённом пункте, пытались оказывать сопротивление, американские офицеры немедленно останавливали продвижение, отходили назад и вызывали авиацию, которая, стремясь обезвредить десятка немцев, засевших в окранных домиках, сносила обычно с лица земли весь городок. Гитлеровцам это, как правило, большого ущерба не приносило. Они выбирались из-под развалин (их любимым местом были подвалы) и отступали к соседнему посёлку, где снова обосновывались в подвалах. Американская часть осторожно следовала за ними. Обнаружив немцев, снова укрывшихся за стенами домов, американские офицеры опять вызывали авиацию, и ещё один город исчезал, а немцы обосновывались в соседнем посёлке. За американцев расплачивалось мирное население Франции, Бельгии, Голландии, которое гибло либо от американских бомб, либо под развалинами собственных домов. Но американских офицеров это не беспокоило и не волновало.

Решимость американские офицеры проявили только в одном: они целиком разрушили красивые бельгийские курортные городки, в том числе Ларош, Марш, Эйлен, Мальмеди и другие. Эти городки погибли не потому, что там были военные объекты или потому, что немцы пытались превратить их в узлы своей обороны. Ничего подобного. Они были превращены в развалины только затем, чтобы немцы не могли воспользоваться их улицами как дорогами.

В преступной войне против корейского народа американское командование применяет ещё более отвратительные, варварские методы. Американские бомбардировщики истребляют мирных жителей, разрушают и жгут населённые пункты, уничтожают курортные городки, не имеющие никакого отношения к войне, выжигают дотла деревни и посёлки, расположенные в глубочайшем тылу. Они сбрасывают на деревянные корейские домики тонны горючей жидкости, тонны фугасных и зажигательных бомб. Они выжгли целиком огромные районы, превратив их в чёрную обожжённую пустыню.

Эта «тотальная» жестокость и жажда американских офицеров к уничтожению и разрушению, вытекающая из их фанатической ненависти к любому народу и ко всем народам, «поставлена» ими «на вооружение» американской армии. Эта ненависть, жестокость и жажда к разрушению продиктованы животным страхом американской буржуазии перед мощным подъёмом борьбы народов за свою свободу, за национальную независимость. Своей жестокостью американские офицеры хотят вселить в сердца корейского народа, в сердца народов Азии страх перед жандармским сапогом американской армии. Они изобретают самые изуверские средства расправы с непокорными, намереваясь сломить их моралью.

Американцы непрерывно грозят. Грозят китайскому народу, вьетнамскому народу, филиппинскому народу. Грозят своими бомбардировщиками, своими простыми бомбами, грозят атомными бомбами.

Это, однако, свидетельствует не о силе, а о слабости. Это не только слабость обречённого класса буржуазии. Это слабость и военных наёмников американских монополий, призванных быть вооружённой опорой этих монополий. Американское офицерство находилось в прошлой мировой войне и находится сейчас на очень низком стратегическом и тактическом уровне. Оно не отличилось ни в разработке стратегии войны, ни в изобретении новых тактических приёмов, ни в умелом использовании новой техники. Оно, как отмечают американские же историки войны, часто занималось хвастовством, бахвальством и глупым прожектёрством. Для американского командования было характерно стремление избегать серьёзных столкновений с гитлеровской армией, ставка на затягивание войны.

Американские офицеры показали в прошлой мировой войне свою полную творческую бесплодность, безинициативность. Они проявили ту же идейную ограниченность и приверженность к старым теориям и доктринам, которые характеризуют их хозяев-вотил американских монополий. Подобно обречённому классу буржуазии, которому они служат, большинство американского офицерства смотрело и смотрит не вперёд, а назад. Оно изолировано от народа, который всё более и более понимает что агрессивная политика американских монополий противоречит его интересам.



МИХ. ЛИФШИЦ

★

ЧЕРНАЯ ПАУТИНА

1

С то лет назад Герцен писал о чудовищной власти пережитков над буржуазным обществом западной Европы:

«Святой отец прислал по электрическому телеграфу своё благословение новорождённому императорскому принцу через два часа после разрешения императрицы французов.»

«В этой фразе из газет есть что-то безумное. Подумайте об ней, она объяснит вам лучше всяких комментариев, что я хочу сказать о Западе.»

Многое изменилось с времён Герцена. В наши дни агентство «Во имя бога» передаёт молитвы и политическую информацию по радио. Ватикан имеет все признаки буржуазного государства, а «святой отец» стоит во главе финансовой корпорации, владеющей доходными предприятиями повсюду, где царствует капитал, от нефтяных источников Ирака до игорных домов Монте-Карло и Биаррица.

Римская церковь — институт средневекового общества. В эту эпоху каста духовных лиц являла собой видную часть правящего класса. Власть этого класса опиралась на земельные богатства. И соответственно этому, римская церковь владела по меньшей мере одной третью всех земель католического мира.

В буржуазном обществе власть правящего класса опирается на капиталистическое богатство, а в наши дни главной формой этого богатства служит финансовый капитал. В соответствии с новыми условиями изменилось и хозяйство «святого отца». Римская церковь попрежнему является крупнейшим земельным собственником. В одной лишь Италии её владения охватывают около полумиллиона гектаров. Треть всей испанской земли принадлежит иезуитам. Земельные богатства католической церкви в Южной Америке неисчислимы. Но главное теперь не в этом. Главное состоит в том, что римская иерархия тесно срослась с империалистической системой банков и акционерных обществ. Этот уродливый фарс превосходит все скандальные истории папского двора.

«Монетарная система в основе своей — католический, кредитная система — протестантский институт», — говорит Маркс¹. В средние века римская церковь прокланала процент как изобретение сатаны. Теперь этот взгляд вышел из моды даже в государстве Ватикан, где до сих пор носят цвета Священной римской империи, серебряные шлемы, отлитые по рисунку Микельанджело, золотые мантии времён Константина Великого и медвежьи шапки времён Наполеона, где до сих пор существует инквизиция и астрономы утверждают, что солнце вертится вокруг земли. Теперь в этом царстве призраков одобряют процент.

Мы готовы заключить договор с самим дьяволом, сказал Пий XI, если это нужно для блага церкви. В наши дни Ватикан держит в своих руках две трети всей суммы итальянского кредита. Он не довольствуется собственным банком, существующим с 1606 года под именем «Банка святого духа». Папский престол контролирует «Коммерческий банк Италии», крупнейший кредитный аппарат этой страны. Второй

¹ К. Маркс. Капитал, том III, часть 2, Партиздат, 1932, стр. 425.

по значению итальянский банк — «Банко ди Рома» — также входит в финансовую монархию Ватикана. Он давно и тесно связан с семейством нынешнего папы — аристократической и торговой династией Пачелли.

При помощи этой машины римская церковь держит в своих руках 40 центральных и около ста более мелких банков Италии.

Пользуясь итальянской кредитной монополией, Ватикан ведёт крупную международную финансовую игру, которая связывает его с главными организаторами империалистического разбоя. Множество фактов, рисующих биржевые подвиги высших сановников римской курии, собрано в книге деятеля французской коммунистической партии Роже Гароди «Церковь, коммунизм и верующие» (1949). Приведём некоторые из них.

В начале 1948 года через Швейцарию — финансовую «подстанцию» Ватикана — была проведена мошенническая валютная сделка на сумму 600 миллионов лир. По чистой случайности спекуляция провалилась. Несмотря на все уловки правительства де Гаспери (бывшего папского архивариуса), министр финансов Ватикана Гвидетти попал в тюрьму. На минуту приоткрылся занавес. Кроме монсеньора Гвидетти, в этой спекуляции были замешаны три нищенствующих ордена и «Фонд богоугодных дел». Оказалось, что хозяйственные органы Ватикана пустили в оборот большой груз сахара, полученный в счёт поставок ЮНРРА Италии.

Недавно в Риме выпущен из тюрьмы другой аферист, монсеньор Чиппико, «тайный камерарий» Пия XII. О масштабах его операций свидетельствует тот факт, что в день раскрытия «аферы Чиппико» на римской бирже возникла паника. Характерное обстоятельство: спекулянт в сутане был одним из руководителей коллегии «Руссикум» — шпионского центра, созданного Ватиканом для борьбы против славянских народов.

Большими правдниками римской церкви являются всякого рода обмены банколот, девальвации и т. п. Предупреждённые своими американскими советниками, дельцы Ватикана зарабатывают при этом громадные суммы. Так Рим спекулирует на деньги Франции. К его услугам ряд французских и международных банков, подвизающихся в этой стране, например, «Франко-итальянский банк Южной Америки», состоящий под безраздельным контролем Ватикана.

Оставляя в стороне подробности, перейдём к наиболее существенному факту. Все нити этой паутины сходятся на Уолл-стрит, где экономическое представительство папского престола осуществляет могущественная группа Моргана. Не так давно один из представителей этой фирмы заявил: «Мы гордимся тесным сотрудничеством с престолом святого отца». Главным советником Ватикана в деле обогащения был до недавнего времени крупный американский промышленник Майрон Тэйлор, личный представитель Трумэна при «его святейшестве».

«Мы питаем безграничное доверие к добродетельным деяниям верующих, — сказал однажды Пий XI. — Но божественное провидение не лишает нас ни добродетели благоразумия, ни земных средств, находящихся в нашей власти». И папство пользуется земными средствами, не стесняясь ничем. В современном капиталистическом мире банковская монополия даёт власть над промышленностью. Во время кризиса 1929—1933 гг. и войны 1939—1945 гг. папство прибрало к рукам основные отрасли итальянской экономики. Его капиталы вложены в недвижимые имущества, страховые общества, электропромышленность и химическую индустрию. Римской церкви принадлежат заводы взрывчатых веществ Монтекатини и предприятия резинового треста, макаронные фабрики Пантанелла и римская канализация. «Святой престол» владеет контрольным пакетом акций более чем тридцати важнейших итальянских промышленных компаний, не говоря о множестве других акционерных обществ, консорциумов, трестов, в которых его участие менее значительно.

Возьмём в качестве примера «Всеобщую компанию недвижимого имущества предприятий общественного пользования». Главная масса акций этой компании распределяется между следующими участниками: «Специальная администрация святого престола», «Институт богоугодных дел», Священная конгрегация «Де пропаганда

фиде», Всеобщая страховая компания Триеста, общество «Анонима инфортуни» и общество «Аграрная жизнь». Страховая компания Триеста и «Анонима инфортуни» в свою очередь управляются Ватиканом через подставных лиц. Остаток акций распределён между двумя тысячами мелких держателей, чьё влияние на общем собрании акционеров равно нулю. Это типичная картина эпохи капиталистических монополий.

За пределами Италии под контролем Ватикана находится крупный швейцарский и международный трест «Электробанк». В Испании церкви принадлежат ломбарды, железные дороги, шахты, торговый флот, автомобильные заводы. Во Франции церковные капиталы пахнут нефтью. Ватикан имеет большие вложения в текстильную промышленность департамента Нор. Стоит отметить, что римская церковь контролирует около сорока французских газет. Немалый доход приносят папе знаменитые казино Виши, Деовиля, Монте-Карло и другие злачные места.

Наконец, в США священные капиталы вложены в военную промышленность. Ватикан имеет свою долю в металлургическом тресте Гугенгейм, медном тресте «Анаконда коппер», нефтяном синдикате «Стандарт Ойл». Истинные размеры участия папского престола в международной капиталистической кухне окутаны покровом тайны. Несомненно одно — римское папство является крупнейшей империалистической монополией, одной из тех, которые делят между собой мир.

Финансовое и промышленное могущество Ватикана сосредоточено в руках кучки олигархов, теснящихся на ступенях папского трона. Здесь первое место занимает Бернардино Ногара, крупный итальянский банкир, в прошлом — доверенное лицо Муссолини. Ногара является вице-председателем «Итальянского коммерческого банка», он заседает также в административных советах 19 акционерных обществ. Рядом с ним — маркиз Саккети, министр папского двора, «тайный камерарий особого присутствия», «кавалер плаща и шпаги», президент «Ассоциации святого сердца», «Общества св. Петра» и прочая и прочая. Одновременно маркиз председательствует в «Итальянской водопроводной компании». Кроме того, он стоит во главе «Банка святого духа». Новые формы приобрёл средневековый nepотизм, засилье племянников. Так, племянники нынешнего папы Пия XII маркизы Джулио и Марк-Антонио Пачелли председательствуют каждый в трёх-четырёх административных советах. Племянник предшествовавшего папы, граф Франко Ратти возглавляет банк Амброзиано. К этому кругу нужно прибавить ещё несколько аристократов Ватикана, среди которых заслуживает внимания Франческо Марио Одассо, бывший член фашистского совета и нынешний руководитель «Всеобщей конфедерации итальянских промышленников». Вся эта компания, числом не более пятнадцати человек, постоянно встречается за зелёным сукном различных административных советов.

Нет ничего удивительного в том, что глава римской иерархии защищает интересы капитала и стоит в первых рядах крестового похода против стран демократии и социализма. Конечно, роль папства в лагере реакции нельзя объяснить чисто экономическими интересами треста Ватикан и К°. Само превращение римской церкви в капиталистическую силу имеет прежде всего политические корни. Вспомним подарок Муссолини. По латеранскому соглашению 1929 года фашистский дуче уплатил римскому первосвященнику за счёт итальянского народа 750 миллионов лир наличными и один миллиард в пятипроцентных консолях (кроме ежегодной пенсии в три миллиона с лишним). На другой день Пий XI объявил Муссолини «человеком, ниспосланным провидением». Благодаря этой сделке с фашистским правительством, папа стал господином положения на бирже в период кризиса и захватил решающие позиции в итальянской промышленности. Такую же роль играют сейчас для Ватикана американские деньги.

Сто лет назад римский папа с его швейцарской гвардией, вооружённой алебардами, с его армией иезуитов, францисканцев, белых отцов и прочих чёрных воронов казался смешным пережитком феодальных времён. Но папство не рассыпалось в прах. Во второй половине XIX столетия эта средневековая мумия стала наливать живую кровь. Чем ниже падал политический уровень класса буржуазии, тем выше поднималась папская тиара.

«Нужно выбирать между социализмом и иезуитами, — сказал вождь французской буржуазии Тьер. — Мой выбор сделан, я выбираю иезуитов». После классовых битв 1848 года буржуазия проклинает грехи своей молодости. Она отрекается от Вольтера и совершает путь к подножию креста. Вследствие страха имущих классов перед социализмом стало возможно новое возвышение папства. Наглость римской иерархии растёт с каждым днём. В 1864 году Пий IX опубликовал знаменитый «Силлабус», который оканчивается словами: «Анафема тому, кто скажет, что римский первосвященник может и должен примириться с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией». В 1870 году на Ватиканском соборе папа заставил признать себя непогрешимым. В 1885 году Лев XIII в энциклике «Иммортале деи» предал анафеме весь ход развития демократии и свободы, начиная с эпохи Возрождения. В 1907 году Пий X повторил эти проклятия под видом критики модернизма. «Конгрегация индекса» продолжала деятельно расширять список запрещённых книг. Среди авторов, которых не смеет касаться рука верующего, числятся (по списку 1929 года): Бальзак, Бэкон, Вольтер, Гейне, Гиббон, Гольдсмит, Гроций, Гюго, Дарвин, Декарт, Дефо, Дидро, Дюма (отец и сын), Жорж Занд, Золя, Кант, Локк, Лейбниц, Мильтон, Монтень, Монтескье, Паскаль, Ричардсон, Руссо, Спиноза, Сен-Симон, Стендаль, Стерн, Толстой, Флобер, Анатоль Франс, Фурье и тысячи других имён.

После 1848 года и Парижской Коммуны папство регулярно вмешивается в классовую борьбу между рабочими и капиталом, проповедует социальный мир, подчинение хозяевам и корпоративное устройство. Тесная связь римской иерархии с кровавым режимом Муссолини, Гитлера, Франко достаточно известна. Начиная с Пия IX, папы посылают свои проклятия коммунизму. Большевики дважды удостоились специального папского проклятия — в 1931 году («Квадрагессимо анно») и в 1937 году («Дивини редемпторис»). Каждая международная интрига, направленная против Советского Союза, не только встречает поддержку со стороны Ватикана, но во многих случаях прямо исходит из недр папской курии. Политика Ватикана стремится сгладить противоречия в лагере империализма, чтобы создать единство реакционных сил. В этом заключается реальное содержание обычных деклараций папского престола о мире и нейтральности в международных спорах.

На деле, вопреки церковной иллюзии, которую буржуазная печать поддерживает и раздувает от имени цивилизации, политика Ватикана не может быть нейтральной. Более того, она является одним из факторов возникновения новых войн в эпоху империализма. Ненависть к демократии делает «отца всех людей» рабом наиболее агрессивных империалистических сил. В этом есть своя логика. С религиозной точки зрения фашизм был опасной ересью. Откровенные циники Гитлер и Муссолини глумились над католической религией. И всё же папы, кардиналы и епископы в униженной форме искали союза с этой шайкой уголовных преступников. В своих политических решениях Ватикан неизменно становится на сторону самой реакционной капиталистической державы и всегда готов оправдывать её насилия во имя высших интересов церкви.

Нынешний папа Пий XII, наследственный аристократ и банкир, старый поклонник германского империализма, был посвящён в секретные планы Гитлера и принимал близкое участие в подготовке второй мировой войны. Его проповедь непротивления агрессору стала орудием политического и военного заговора против народов Европы. Австрия, Польша, Франция — страны с огромным большинством католического населения — были принесены в жертву германской военной машине, и папа благословил империю Гитлера, ибо видел в ней «светский меч» для удара на Восток. Пий XII обещал молиться о мире. Но в устах бывшего кардинала Пачелли, реакционного дипломата, воспитанного в «Духовной академии для благородных лиц», христианский пацифизм приобрёл особый оттенок. Среди главных пунктов папской программы мира, опубликованной в декабре 1939 года, значится требование «нового порядка в экономической области» (то есть распространение гитлеризма на другие страны). Под флагом мира римская иерархия вела активную борьбу против создания антигитлеровской коалиции с участием Советского Союза. Империалистический мир

на Западе и война на Востоке — такова неизменная линия папской политики. Когда мюнхенским державам всё же пришлось воевать между собой, Пий XII не утратил надежды достигнуть соглашения и создать военный блок «пяти государств» против Советского Союза. 25 декабря 1939 года на торжественном приёме коллегии кардиналов папа заявил: «Положим конец этой братоубийственной войне. Соединим наши усилия против общего врага — атеизма». Час выступления Гитлера против России был извешен днпломатии Ватикана. В ночь на 22 июня 1941 года в папском дворце не гасили света.

Собрав под свои знамёна всё отребье Европы, Гитлер двинулся в поход на Москву. Римская церковь напутствовала участников этого крестового похода словами папы Урбана на Клермонском соборе: «Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителями. Да получат ныне вечную награду те, кто прежде за малую мзду были наёмниками. Кто здесь горестен и беден, там будет богат, кто здесь не друг богу, там станет другом ему».

Немецкие епископы, собравшись в Фульде, клялись в верности фюреру. Католические прелаты повсюду искали «добровольцев» для гитлеровской армии. В раздавленной и униженной Франции ректор парижского католического университета кардинал Бодрийяр писал: «Солдаты французского антибольшевистского легиона участвуют в подготовке великого возрождения родины». Некто Майоль дю Люп, в ранге «монсиньора», сменив фиолетовую сутану на мундир немецкого офицера, возвестил: «Мир должен выбирать между адскими силами, воплощёнными в большевизме, и христианской цивилизацией». Если сам папа казался более осторожным в своей поддержке грабительского похода, то это объясняется прежде всего желанием оставить открытой дверь для переговоров с западными державами. Известно, что сначала Англия, а затем Соединённые Штаты в 1941, 1942 и 1943 гг. вели переговоры с Германией за спиной Советского Союза. Здесь важная роль принадлежала Ватикану, который никогда не отказывался от своей программы союза всех империалистических сил против страны социализма. В этих малочётенных дипломатических манёврах, происходивших в самые трудные дни войны, складывались нынешние тесные связи папства с американским государственным департаментом. Роль главных посредников играли при этом Майрон Тэйлор и архиепископ нью-йоркский Спелмэн.

Таким образом, политика Ватикана остаётся неизменной. Меняются только центры реакционных сил, которые привлекают к себе надежды и упования римской курии. Так, в настоящий момент папство стремится сплотить против Советского Союза всех, кто, по изящному выражению кардинала Спелмэна, «верит в Америку и господа бога». Ради этой цели Ватикан снова ведёт наступление на независимость более слабых партнёров в лагере империализма. Теперь крайней точкой реакции являются Соединённые Штаты — всё остальное должно быть принесено в жертву этому идолу. Вот почему Ватикан деятельно поддерживает порабощение европейских стран планом Маршалла, объявляя этот американский «новый порядок» спасительным для народов (послание от 12 января 1949 года). Глава римской церкви играет видную роль в закулисных переговорах об унификации экономики западных стран на военный лад.

Известно, что аппарат Ватикана ведёт упорную борьбу против движения сторонников мира. Всей своей агитацией папство старается доказать неизбежность новой войны под лозунгом «бог или коммунизм».

Но Ватикан не довольствуется одной агитацией. Князья церкви принимают деятельное участие в диверсиях и заговорах против народной власти на востоке Европы. Достаточно вспомнить заговор кардинала Миндсенти или недавно раскрытый органами безопасности католический шпионский центр в Чехословакии. В угоду государственному департаменту США Ватикан выбирает своих нунциев из числа американских прелатов. До недавнего времени американцы в митрах представляли папский престол в Бухаресте и Тиране. В Германии апостолическим нунцием также является монсиньор из Северной Дакоты.

На правах особо секретной части министерства иностранных дел Ватикана ра-

ботает «Русская коллегия при святом престоле» (основана в 1929 году). Здесь за-сели пять гитлеровских офицеров-эсэсовцев, в том числе бывший начальник гестапо в Модене полковник Гауф. Эта шайка держит в своих руках картотеку фашистских подпольных групп, оставленных гитлеровским командованием в славянских странах. Сюда стекаются враги народа, бежавшие из этих стран, и здесь они получают даль-нейшие инструкции под руководством украинского фашиста «преподобного отца» Коваленко. Кроме «Руссикума», при папском дворе существует ещё «Восточный институт», украинская, румынская, армянская и другие семинарии, а также иезуит-ский новициат «руссипетов», обязанных по окончании курса *petere Russiam*, то есть направить свои стопы в Россию. Время от времени в странах народной де-мократии задерживают парашютистов, воспитанных специальной службой рим-ской церкви.

Этот краткий перечень фактов сам по себе объясняет возвышение папства в се-редине двадцатого века. Ряд причин снова, как во времена Галилея и Бруно, делают католический Рим надеждой всех реакционных элементов. Недаром четыре пятых огромных доходов римской церкви текут в её сундуки из Америки. Франкмасон Трумэн является полным хозяином в святилище католической веры. Существует даже проект переноса папского престола за океан. В свою очередь, римская иерархия рас-считывает при помощи травли коммунистов поднять свои политические акции в гла-зах американских хозяев и постепенно превратиться из слуги в господина. Идеал католической церкви — XIII столетие, эпоха расцвета светской власти пап.

2

Причины, заставляющие американских империалистов, не верящих ни в сон ни в чох, целовать туфлю римского первосвященника, носят прозрачный земной характер.

Прежде всего, римская церковь является величайшей школой социальной дема-гогии. Поэтому в эпоху глубоких общественных кризисов её значение для богатого меньшинства неизмеримо растёт. Всякая религия утешает слабых и обездоленных мечтой о загробном воздаянии. Католицизм не ограничивается этим. Он выдвигает свою теорию устройства «града земного». Римская церковь, по словам Жореса, обра-щается к слабым, когда они становятся силой.

Ещё в средние века папство стремилось овладеть народным движением, высту-пая, в качестве представителя общества, против светского государства. В своих распрах с империей папы не жалели бранных слов и называли светских князей шайкой разбойников, захвативших власть над равными себе. В конце XII века Иоанн Сольсбери изложил политическое учение церкви, согласно которому священ-ник, как представитель божественной власти, может поднимать народ против непра-вдного государя.

Другой эпохой расцвета социальной демагогии папства было XVI столетие — период бурных народных движений и сложной классовой борьбы. В те времена ка-толическая контрреволюция, гнездившаяся главным образом в Испании, часто поль-зовалась демократическими фразами, чтобы разжечь религиозный фанатизм отста-лых народных масс и направить их ненависть против защитников передовых идей, против науки и атеизма. Теоретики римской церкви, иезуиты Беллярмин, Суарес и Марианна, ссылаясь на Фому Аквината, грозили монархам восстанием подданных или убийством, если они откажутся подчинить свою политику феодально-католиче-ской партии. И действительно, французские короли Генрих III и Генрих IV были убиты по наущению церкви. История показывает, что у папства длинные руки. При помощи своих демагогов в рясе оно способно поднимать мятежи и строить баррика-ды, но всё это лишь во имя самой чёрной реакции.

Весь опыт обмана народных масс, накопленный в течение столетий, римская церковь несёт к ногам врагов рабочего класса. Она давно предлагает свои услуги правящим партиям буржуазного мира и постепенно завладевает их волей и внима-нием. Фашизм не был придуман Муссолини и Гитлером. Католические реакционеры

типа Ля Тур дю Пена давно выдвигали род тоталитарного устройства в качестве противоядия от борьбы классов. Главные пункты фашистской демагогии уже содержатся в папской энциклике 1891 года — «Рерум новарум». Официальный биограф Льва XIII Хейуорд говорит: «Задолго до опыта, задуманного и реализованного Бенито Муссолини в Италии, великий социальный папа, в полном согласии с маркизом Ля Тур дю Пен, высказал пожелание увидеть новый расцвет ремесленных корпораций, столь полезных трудящимся в прежние времена, при старом режиме». Другой «социальный папа» Пий XI опубликовал энциклику «Квадрагессиманно» (1931), в которой глава церкви рассуждает о финансовом капитале и плутократии не хуже Геббельса. В духе обычной фашистской демагогии он проводит различие между «дурным» и «хорошим» капиталом, допускает экспроприацию части капиталистов, но, разумеется, защищает и оправдывает принцип капиталистической частной собственности в целом. Папа яростно нападает на коммунистов и требует разгона пролетарских организаций.

Против этих организаций папство выдвигает объединение (или, скорее, разделение) рабочих на почве религиозной веры. Таковы католические профессиональные союзы с их идеалом «патернализма», отеческого попечения хозяев о нуждах рабочих.

Приведём типичное для социальной политики римского престола обращение Льва XIII к рабочим-католикам: «В то время, как вокруг вас социальные вопросы волнуют и возмущают людей труда, храните мир в душе своей и доверяйте своим верующим хозяевам, которые с такой мудростью руководят трудами рук ваших, с таким правосудием и справедливостью заботятся о вашей заработной плате и, одновременно, наставляют вас в правах и обязанностях ваших, разъясняя вам великие и спасительные учения церкви и её главы. Старайтесь направить мысль свою к смиреннию, дисциплине и любви к труду, дабы всегда оставаться достойными благородного звания рабочих-католиков. Любите хозяев ваших».

Социальная политика католических епископов Франции нашла себе выражение в фашистской «Хартии труда», опубликованной Петэном 6 октября 1941 года. Согласно этому документу, взаимоотношения хозяев и рабочих регулируются на основе «профессиональной семейности».

Таким образом, папство не стояло в стороне от процесса развития имущих классов к фашизму. Наоборот, ему принадлежит пальма первенства в деле распространения тоталитарных доктрин. Тот факт, что социальная демагогия Ватикана может служить программой фашистского строя, доказан примером Франко, Салазара и Петэна. К этой троице нужно прибавить воспитанника иезуитов — де Голля.

Пойдём дальше. Нельзя забывать, что католическая идеология играет особую роль в общем повороте буржуазного мышления к реакции. «Мир страдает от недостатка веры в трансцендентную истину», — сказал в конце прошлого столетия французский философ-идеалист Ренувье. Кто же является хранителем этой веры, если не папство — живой остаток средних веков? В романе Томаса Манна «Волшебная гора», изображающем буржуазный мир накануне войны 1914 года, сталкиваются либеральный красноречивый Сеттембрини и философствующий католический теолог Нафта. По всем философским и социальным вопросам поп кладёт либерала на обе лопатки. Эта картина отражает действительное положение вещей в буржуазной психологии двадцатого века.

Католические реакционеры могут с полным правом сказать буржуазии: Поздравляем вас, господа! Вы, наконец, пришли к тем средневековым идеям, которые никогда не умирали в наших соборах, наших консисториях, наших католических университетах.

Общезвестно, что схоластика Фомы Аквината является самым широким и сплочённым течением современной буржуазной философии. С 1879 года она объявлена официальной основой католического образования. Но не в этом дело. Пионеры возрождения «томизма» в Соединённых Штатах — Бэр, Бьюкенен, Мортимер Адлер, Хетчинс — в начале своей карьеры не были даже католиками. Влияние Фомы Аквината вышло далеко за пределы определённого вероисповедания. Перед

ним склоняют колени «свободомыслящий» Уайтхед и англо-католик Эллиот. Господин Шилдэн из Йельского университета в книге под характерным названием «Прогрессивная философия Америки» пишет: «Учение Фомы Аквинского продолжает жить и в наше время. Сейчас оно даже более могущественно, чем в счастливые дни тринадцатого века».

Почему же средневековый «доктор ангеликус» стал учителем жизни сытой и развращённой буржуазной публики? Возрождение Фомы Аквинского — не случайность. Оно соответствует классовой позиции буржуазии в эпоху империализма. Эта позиция, с разными оттенками, выступает в фашистском «корпоративном государстве» и католической идеологии демохристианских партий.

В полемике с Пруденом Маркс показал, что буржуазная монополия развивается на почве частной конкуренции, которая, в свою очередь, вырастает из феодальной монополии. Эту преемственность не следует забывать, когда речь идёт о современной моде на средние века. Эпоха феодальных монополий имела свою экономическую теорию. Первоначальное христианство судило о частной собственности неодобрительно. Воспоминание об этом ещё сохранилось у церковных писателей средних веков в виде правила: «общее владение есть наилучшее». Правило канонистов отражало наличие в эту эпоху большого слоя общинной земли. В ещё большей мере оно отражало особый характер феодальной частной собственности, связанной всевозможными запрещениями, сбязанностями и привилегиями.

Но даже самое осторожное упоминание о том, что частная собственность есть следствие греха, было опасно для феодального строя, ибо эта идея не раз вдохновляла народные движения средних веков.

Два столетия продолжались поиски лучшей формулы.

Решение было найдено сначала в мусульманском, затем в католическом мире. Пользуясь терминами Аристотеля, богослов XIII века Фома Аквинат создал искусственную конструкцию, в которой сочетались два элемента: форма и материя, «общее» и «частное». Святой Фома снял с частной собственности и рабства клеймо греха. Он поставил их в рамки «естественного закона», подчинил божественной цели, пользе общества и стремлению всего человечества к «блаженству». Фома Аквинат создал церковный идеал феодальной монополии.

Когда принцип частной собственности развился в своей наиболее чистой, буржуазной форме, католическая теория отступила на задний план. В период господства свободной конкуренции буржуазии было выгодно проводить строгое различие между частным капиталом и общественными интересами, между «бизнесменом» и «стейтсменом». Возвращение к Фоме Аквинату соответствует новым приёмам господства класса буржуазии в эпоху империализма. Оно отвечает живейшей потребности хозяев капиталистического мира представить современную власть монополий, как поворот к общественной организации производства. Каждый шаг исполнительной власти, связанной с монополиями, каждое вмешательство государства в пользу более крупных и влиятельных хищников, каждый удар по свободе и демократии изображается как преодоление анархии частных интересов и торжество социальных начал. Чем деспотичнее власть монополий, выступающая непосредственно в тоге государственной власти, тем чаще она стремится представить себя слугой общественных интересов. Примером могут служить новые методы наживы под видом «национализации» некоторых отраслей промышленности, проекты лечения капитализма при помощи всякого рода «планов» и т. п. На этой почве возникает сложная система превращения чёрного в белое, действующая по определённому шаблону в литературе и философии буржуазных стран.

Для буржуазного рассудка мерилom общественной организации являются средние века с их жёсткой феодальной структурой, господством «формы» над «материей». Характерно сочинение покойного архиепископа Кентерберийского Вильяма Темпля «Христианство и социальный порядок». Этот последователь Хукера (Фомы Аквината англиканской церкви) резко критикует Лютера и Кальвина, Локка и Адама Смита, как представителей индивидуализма и частной конкуренции. Им противо-

поставляется «традиционное христианское и аристотелевское понимание богатства, как чего-то по существу социального и потому подчинённого во всех отношениях контролю во имя общества в целом». Эти церковные фразы имеют свойство превращаться в любой политический миф, нужный в данное время имущим классам — от корпоративного государства Муссолини до реакционной утопии «третьего пути».

В основных вопросах нет никакой разницы между открытыми фашистами и лицемерными защитниками американской лжедемократии. Все они осуждают «либеральное XIX столетие», обещая исправить грехи капитализма при помощи тех или других тоталитарных форм, взятых из арсенала средних веков. Спор идёт только о пропорциях этой смеси «частной инициативы» и «контроля» (то есть организованного насилия трестов, подкрашенного социалистическими фразами). Ортодоксальная католическая философия Фомы Аквината лучше всего соответствует этой задаче. Дело в том, что буржуазия смертельно боится действительного контроля масс над производством. Она клеймит его презрительными кличками: «этатизм», «конформизм», «абсолютизм масс» и т. д. Болтая об интересах «целого» (поскольку социальная демагогия нужна для прикрытия современных форм диктатуры буржуазии), эти господа всеми силами стараются отстоять принцип частной собственности, как основу капиталистического порядка. На высокопарном языке буржуазной философии речь идёт о «правах личности». Официальное учение католической церкви, то есть учение Фомы Аквината, оправдывает любое насилие над личностью, вплоть до костра инквизиции. И в то же время оно рассматривает личность, как образ божества, ставит её выше государства. Этот средневековый капкан очень удобен для современной империалистической политики. Вот почему, после различных опытов с другими доктринами, господствующее направление буржуазного мышления склоняется к «персонализму» католической церкви.

Тема личности служит масонским знаком в сношениях папской курии с Вашингтоном. Так, например, в послании президенту Трумэну от 26 августа 1947 года Пий XII подтверждает свою готовность поддерживать лагерь американской лжедемократии в следующих выражениях: «Разумеется, Ваше Превосходительство и все защитники прав человеческой личности встретят со стороны церкви господней самое сердечное сотрудничество». Что означают «права человеческой личности» на языке американских империалистов — хорошо известно.

В настоящее время партии Ватикана являются правящими или близкими к власти партиями в таких странах как Испания, Португалия, Италия, Австрия, Западная Германия, Франция, Бельгия. Их идеология повсюду одна и та же. Они обязаны придерживаться схоластики XIII века и программы, начерченной в посланиях «социальных пап». Разница лишь в оттенках. Кровавый режим фашистской диктатуры Франко и Салазара есть образцовое католическое государство, одетое в пёстрый феодальный костюм. В других перечисленных странах преобладает так называемая «христианская демократия», задача которой — расчистить дорогу фашизму. Режим «христианской демократии» требует от католических партий более смелого маневрирования. Уже Пий XI в 1931 году заявил: «Есть известная категория благ, о которых с полным основанием можно сказать, что они образуют такую большую экономическую силу, что она не может быть, без опасности для общего блага, оставлена в руках частных лиц». Двусмысленная формула папской энциклики открывает возможность для любых проделок финансового капитала и промышленных монополий под флагом «социализма».

Обращаясь к «Христианской ассоциации итальянских рабочих», нынешний папа Пий XII также объявил себя сторонником «определённой формы социализации», при условии, что она будет осуществлена «посредством справедливого возмещения в пользу всех заинтересованных лиц». В энциклике о «святом годе» (1950) папа снова толкует об устранении слишком большого неравенства. Разумеется, всё это нужно понимать в духе Фомы Аквинского. Сделав поклон в сторону «социальных начал», папа немедленно обращается против народа. «Демократизация экономики,—

говорит Пий XII, — в такой же мере угрожает экономический деспотизм безличных масс, как и деспотизм частного капитала».

Папа играет большую роль в общем походе против масс, который ведётся во имя «персонализма». Он возлагает ответственность за фашистские зверства на «безличные массы» и объявляет их источником тоталитарных идей. Этот низкий трюк буржуазной пропаганды был пущен в ход ещё во время войны. В рождественском послании 1944 года Пий XII заявил: «Масса есть враг № 1 демократии и свободы; она всегда склоняется к гириани, эксцессам, насилию». Таков классовый смысл католической «философии личности».

Перейдём к третьей причине возвышения папства в лагере империализма.

Римская церковь обладает организационным принципом, который делает её социальную демагогию безопасной и выгодной для капитала. Это принцип иерархии. В эпоху подъёма буржуазии капитализм был связан с религией Лютера и Кальвина, религией частных лиц; в эпоху упадка он нуждается в подчинении общества авторитарным формам жизни. Господство монополий требует средневековой покорности. Вот почему солнце Уолл-стрита согревает Ватикан своими золотыми лучами. Католицизм с его монументальным порядком ценится выше протестантских церквей, не знающих настоящей централизации и разделённых на множество сект. Характерно, что главной опорой Ватикана и центром изучения средних веков становится протестантская Америка. Буржуазные авторы отмечают растущее влияние католицизма в Англии.

Сама по себе римская церковь организована строго иерархически. Она не допускает в своих рядах противоречий и отклонений. Верующий должен терпеть любую коррупцию и разврат на вершине церковной пирамиды, лишь бы не разойтись со своей духовной организацией, ибо только принадлежность к церкви, а не личное общение с богом, по учению католиков, является залогом спасения. Таким образом, церковь остаётся священной, несмотря на тесную связь с капиталом, и папство получает возможность расправиться с каждым движением верующих, принимающих всерьёз евангельскую критику богатства. Так поступил Пий XII с группой католиков из «Христианской партии левых», возникшей в 1944 году в Италии.

Опираясь на средневековые образцы, папство создаёт реакционный суррогат массовых организаций типа черносотенного «Католического действия» или «Общества св. Павла», действующего главным образом среди рабочих. Характерно, что во главе светских католических обществ в Италии стоят те же лица, которые руководили аналогичными фашистскими организациями при Муссолини: некий доктор Луиджи Джедда, бывший офицер фашистской милиции Витторио Веронезе, мадам Кармела Росси и другие.

Четвёртая причина нового возвышения папства — одна из самых важных. Политическая система римской церкви отличается гибкостью особого типа. Эта иезуитская гибкость или, точнее, беззастенчивость является очень полезным и современным качеством с точки зрения империалистов. Гитлер и его американские подражатели — ученики иезуитов. Чтобы держаться у власти, буржуазия нуждается в колеблющемся равновесии двух своих главных партий (тори и виги, либералы и консерваторы, консерваторы и лейбористы, республиканцы и демократы и т. д.). Организация римской церкви настолько гибка, что она имеет собственную двухпартийную систему. С одной стороны, папство поддерживает во всём мире чёрную сотню с её погромной идеологией, расовыми теориями и фигурами типа американского патера Кофлина. С другой стороны, к её услугам так называемые «демо-христианские партии».

История показывает, что политические весы, созданные папством, постоянно колеблются. Римская иерархия готова идти рука об руку с крайней реакцией, применяющей фашистскую агитацию в массах. Это происходит в тех случаях, когда влияние реакции старого, консервативного и бюрократического типа ослабевает. Так, Ватикан оказывал длительную поддержку «христианско-социальной» партии Люгера в Австрии, французской монархической «Аксон франсез», словацкой католической фашистской организации Глики и Тиссо. Однако в нужный момент римская церковь всегда готова отречься от ультракатоликов. В 1926 году Ватикан запретил «Аксон

франсез» и осудил взгляды его вождя, известного французского реакционера Шарля Морраса. В 1937 году римская церковь лишила своей милости главу бельгийских рексистов Дегреля. Только американского патера Кофлина она не решилась осудить. Во всех этих случаях «бешеные» либо компрометировали церковь слишком громкой и скандальной связью с организаторами погромов, либо создавали своей демагогией слишком острую обстановку, которая пугала большинство правящего класса. Тогда чаша весов склонялась в другую сторону и папство объявило себя оплотом демократии.

При всех переменах фасада католическая иерархия всегда выходила сухой из воды. Формально папство придерживается правила, установленного Пием X, — правила столь же двусмысленного, как всё, что исходит из недр Ватикана: «церковь занимается политикой лишь постольку, поскольку политика касается религии и христианской жизни». На деле это правило само является политикой. Римская церковь не вмешивается в политические события только в одном случае: когда подготовлена почва для кровавого насилия над массами. Так, Ватикан принимал участие в разжигании первой мировой войны на стороне австро-германского блока. Когда же началось всемирное побоище, папа вспомнил правило Пия X и ограничился беспредметными вздохами о мире. Он предоставил кайзеру полную возможность топтать католическую Бельгию и жечь готические соборы. Но стоило лишь обозначиться опасности поражения Германии, как папство проявило необычайно дипломатическую активность, стараясь спасти империю Вильгельма II и устранить возможность гражданской войны.

В годы подъёма массового движения после Октябрьской социалистической революции католические партии повсюду проявляют бешеную деятельность. В Германии Ватикан поддерживал левое крыло католической партии центра во главе с Эрцбергером. В Италии, с благословения папского престола, священник Стурцо основал католическую «народную партию» (пополяри). Состав этих партий был весьма разнообразным. В 1919—20 гг. некоторые итальянские священники вызывали на своих колокольнях революционный гимн — «Бандьера росса». В Германии партию центра поддерживала часть крестьян и рабочих. Несмотря на это, классовое содержание католических партий оставалось безусловно антипролетарским. Активно занимаясь политикой, церковь старалась разъединить массы на почве вопросов религии и повести их по ложному пути. С другой стороны, она втайне поощряла фашистов. Известно, что состоящий под контролем Ватикана «Банко ди Рома» финансировал поход Муссолини на Рим. Когда всё было готово, папа вспомнил, что церкви не следует заниматься политикой, и предписал высшему духовенству не поддерживать Стурцо. Умывая руки, Пий XI выдал верующих из партии «пополяри» на расправу фашистским погромщикам.

Так же обстояло дело в Германии. Когда задача раскола масс была выполнена и аппарат подавления полностью восстановлен, католики Папен, Брюнинг и прелат Каас передали власть Гитлеру. По прямому приказу из Ватикана, католическая партия центра объявила себя распущенной (5 мая 1933 года).

Папство принимало деятельное участие в разжигании второй мировой войны, всячески стараясь направить гитлеровскую агрессию на Восток. «Святой отец» придерживался политики невмешательства, когда немцы топтали Чехословакию. Ни слова протеста не было произнесено в Ватикане, когда гитлеровцы тысячами убивали католиков в Польше (в одной лишь Познанской епархии было убито и замучено 212 рядовых католических священников). Но стоило лишь Советской Армии нанести поражение гитлеровской шайке, как Пий XII немедленно выступил в качестве «миротворца» и адвоката военных преступников.

Перед лицом демократического подъёма масс папство ещё раз отбросило в сторону правило Пия X о невмешательстве церкви в политику. Из всех щелей полезли католические партии, и политические весы Ватикана снова склонились в сторону так называемой демократии. Буржуазная печать старается представить «христианскую демократию» и фашизм, как действительные противоположности. На деле

между ними часто нельзя установить никакой разграничительной линии. Это доказано примером «народного действия» — партии Хилия Роблеса в Испании (1931—1936) или христианско-социальной партии Зейпеля и Дольфуса в Австрии, которая провела постепенную фашизацию этой страны в двадцатых-тридцатых годах. «Возлюбленный сын церкви» Франко и глава христианско-демократического правительства Италии Альчиде де Гаспери — политические карты из одной и той же колоды.

Недаром такой знаток интересов класса буржуазии, как Шпенглер, испытывал чувство удивления перед «гибкостью» этой политической системы. Римская церковь хранит в своей ризнице одежду грузчика и плащ аристократа. При всех своих превращениях она остаётся как бы вне игры. Ватикан создаёт и распускает, поддерживает или оставляет на произвол судьбы различные партии и политические образования, не сливаясь с ними и во всём отстаивая только классовый интерес богатых собственников.

Вселенская организация католической церкви носит ярко выраженный космополитический характер. Это ещё одна, пятая, причина священного союза между папой и долларом. Будучи порождением средних веков, когда ещё не существовало современных наций, римская церковь глубоко враждебна национальной самобытности. Она доказала это в эпоху религиозной реформы, которая способствовала укреплению власти князей и развитию национальных государств. «Забудем нашу родину, — говорится в одной инструкции иезуитского ордена, — Общество Иисуса сможет существовать лишь в том случае, если национальный дух будет вырван с корнем». Но программу иезуитов нельзя было провести до конца. В эпоху подъёма буржуазных наций Риму пришлось допустить известную независимость местного духовенства (во Франции эти завоевания, добытые в немалой борьбе, называются «вольностями галликанской церкви»). Однако папство не изменило своей политики, направленной к «денационализации» духовных лиц. Ему удалось почти повсеместно истребить оппозицию князей церкви — епископов. Зато среди низшего духовенства имеется много убеждённых сторонников национальной традиции.

Легко понять, какую опасность для национального суверенитета представляет деятельность католических партий и обществ, получающих приказы из единого центра за рубежом. Международное объединение демо-христианских партий у подножия папского престола называют иногда «чёрным интернационалом». Это название не совсем правильно. Хотя перед богом все нации равны, политическая система Ватикана всегда работает в пользу определённой великодержавной силы. Филипп Кровавый или президент Трумэн — это не играет роли. Папство всегда готово вручить меч господень любому чемпиону всемирной монархии.

Космополиты с их фразами о «мировом правительстве» и «европейском единстве» должны признать себя учениками католической реакции. Недаром австрийский министр Хурдес призывает вернуться к «христианскому единству средневековой Европы». Закулисная возня вокруг экономики маршаллизованных стран, проекты федераций типа покойной Австро-Венгрии, открытая борьба против национальной независимости — все эти происки американской пятой колонны, в которых Ватикан принимает живейшее участие, можно легко оправдать при помощи официального учения папства. Этим и занимается огромная печать «христианской демократии». Фома Аквинат считал государство порождением человеческого закона, ограниченного со всех сторон. Сверху — божественным законом, действующим вне всяких границ и различий между народами. Снизу — законом естественным, регулирующим жизнь личности. Эта схема очень удобна для реакционной пропаганды. Божественное право против крепкого демократического государства, осуществляющего контроль народных масс над проделками буржуазных личностей. Божественное право против интересов родины и национальной традиции. Божественное право в двадцатом веке — это американское право.

Нам остаётся отметить ещё два обстоятельства, играющие определённую роль в тесном союзе папы с американскими монополиями.

В течение последнего полувека наблюдается большая активность католического миссионерства на Дальнем Востоке, в Индии, на острове Мадагаскар — повсюду, где ступала нога белого цивилизатора. Римская церковь ведёт широкую атаку на африканский материк. Она не скрывает своей цели — подчинить папскому престолу весь человеческий род (энциклика Пия XI «Рерум эклезие», 1926 г.). Чем объяснить этот размах католической деятельности в колониях и зависимых странах? Большое значение имеет финансовая поддержка Америки, которая стала во всех отношениях главной опорой католического миссионерства. Но самую важную роль в экспансии римской церкви играет утончённый вид обмана колоннальных народов — лицемерная проповедь равенства рас и наций перед богом. С благословения папы католические миссионеры усвоили систему приспособления своей религии к буддийским, конфуцианским и другим местным традициям и обрядам. Начиная с Пия XI, папство ведёт политику привлечения туземных священников в состав церковной иерархии. Среди епископов римской церкви есть представители народов Индии, китайцы, африканские негры. В 1926 году Пий XII совершил неслыханный акт: он возвёл в сан кардинала китайского епископа Тьен (из лиц, близких к Чан Кай-ши). Цель этой политики не подлежит никакому сомнению. Мнимый интернационализм римской церкви направлен против национального движения угнетённых народов. Задача миссионеров — ослабить справедливую ненависть к белым колонизаторам. Нужно признать, что французские империалисты раньше других оценили эту роль католической церкви в зависимых странах и колониях. Один из президентов третьей республики, Жюль Греви, известный своей борьбой против папской агентуры во Франции, сказал: «Антиклерикализм не есть предмет для экспорта».

Римский папа является светским государем, власть которого распространяется на территорию в сорок четыре гектара. Это символическое государство имеет при себе огромный дипломатический корпус и само посылает своих нунциев в страны, поддерживающие отношения с Ватиканом. За время понтификата Бенедикта XV, Пия XI и Пия XII число этих стран непрерывно росло. В период второй мировой войны в столице католического мира был аккредитован даже японец в ранге посла. Суть дела в том, что Ватикан превратился в биржу международных отношений для дипломатов буржуазных государств. Здесь политика империалистов представлена в химически чистом виде. Ей не могут мешать национальные интересы страны, в которой буржуазная дипломатия плетёт свои интриги, ибо «ватиканцы» не являются нацией. С помощью своих епископов, священников, монашеских орденов, миссионеров, разбросанных по всему миру, папство превратило Ватикан в международный центр информации и шпионажа, в идеальное место для взаимного наблюдения, закулисных переговоров, внешнего сглаживания противоречий между капиталистическими странами в общем потоке антисоветской политики. Интересы крошечного государства Ватикан играют при этом такую же роль, как цена бумаги для печатания денег.

Таковы основные причины, делающие римского первосвященника близким другом американских жрецов Маммоны. Претензии папы на мировое господство смешны. Но, несмотря на глупость этой средневековой мечты, мы не должны забывать что римская иерархия обладает реальной политической силой.

«В ходе войны,— указывал товарищ Сталин 6 ноября 1944 года,— гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-политическое поражение»¹. С этого времени католическая церковь играет особую роль в планах американских империалистов. Они видят в ней организованную силу, способную создать видимость моральной основы для политики новых военных авантюр. Американские поджигатели войны ценят влияние католических партий, как эрзац фашизма в новых условиях.

Народы мира должны во-время понять эту опасность, чтобы в сложной борьбе современности разоблачать социальную демагогию папства и разбить его политическую организацию.

¹ И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е, стр. 162.

3

В буржуазной литературе существует множество книг, разоблачающих нетерпимость католической церкви, зверства инквизиции, мораль иезуитов. Собраны и освещены факты, рисующие в самом неблагоприятном свете международную политику Ватикана, его тесную связь с фашистской реакцией, материальную заинтересованность в делах мира сего.

И всё же эта полемика против клерикалов, имеющая длинную историю, не подорвала влияния папства. Напротив, такая страна как Франция, где писали свои памфлеты Вольтер и Гольбах, где существует традиция антиклерикальных законов, до сих пор является одной из самых католических стран.

Буржуазные авторы объясняют этот известный факт коварной политикой римской иерархии. Действительно, обман — страшное оружие в руках опытных интриганов. Но для того, чтобы обман имел успех, нужно, чтобы находились люди, способные обманываться. Почему же католические партии до сих пор имеют влияние среди трудящихся в таких странах, как Франция или Италия? Буржуазная литература о Ватикане проходит мимо этого коренного вопроса.

Поддерживая партии «христианской демократии», американские империалисты хотят делать политику, опираясь на религиозные убеждения верующих. Марксистская теория учит, что религия имеет глубокие корни в условиях жизни трудящихся при капитализме. Но влияние религии не одинаково у различных народов. Так, в истории русского народа, в силу ряда причин, религия и церковь не играли такой общественной роли, как в католических странах. Возражая славянофилам, Белинский указывал на отсутствие религиозной экзальтации в национальном характере русских и видел в этом залог будущего величия русской культуры. «Суеверие проходит с успехами цивилизации,— писал Белинский,— но религиозность часто уживается с ними. Живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещёнными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, всё ещё упорно стоят за какого-то бога».

Влияние духовенства на политическую жизнь есть национальное несчастье, присущее некоторым странам. Оно связано с историей классовой борьбы на Западе. В этих странах борьба против феодализма началась рано. Она совершалась под гегемонией буржуазии и части дворянства. На исходе средних веков возникло передовое умственное движение, враждебное церкви и религиозному аскетизму. Литература освободилась от школьной узости. В искусстве торжествовало светское, реалистическое мировоззрение. Наука сделала большие успехи в деле объяснения природы на основе её собственных законов.

Но эта победа знания над религией имела свою оборотную сторону. Свет и свобода были доступны немногим, и народные массы могли сказать просвещённой части общества: «Ты для себя лишь хочешь воли!». Везде, где это было возможно, имущие классы обращались спиной к народу, стараясь укрепить свои привилегии, свои частные права и свободы путём соглашения с монархией. Атеизм этого времени был связан с узким кругом «свободных умов», которые ненавидели ханжество большинства в своём собственном классе и презирали чернь. Их идеал требовал богатой и красивой жизни — на тёмном фоне невежества, среди нищеты и горя. Это был «пир во время чумы». Гениальный образ, созданный Пушкиным, включает в себе глубокую историческую истину.

Оставленный в темноте, поработанный своими духовными пастырями, народ стал жертвой социальной демагогии церкви, которая говорила ему: «Все твои бедствия это плоды просвещения. Засилье безбожников — вот враг!» Отсюда тот странный факт, что теория, объявляющая народ источником власти в обществе, была изложена в XVI веке церковными авторами — как протестантами, так и католиками. В конце этого столетия в Париже происходило восстание Лиги, которое до сих пор представляет большие трудности для историка — настолько смешаны в нём справедливое возмущение народных масс и реакционная агитация католической чёрной сотни

Ещё в XVIII веке, в эпоху подъёма буржуазной демократии, Вольтер считал людей, не имеющих собственности, главной опорой религиозного фанатизма. И это не было частным мнением Вольтера, следствием его дурного нрава или особой политической позиции. Так думали и другие просветители. Достаточно прочесть статью «Толпа» в энциклопедии Дидро, чтобы понять, как мало верили эти люди в разум народных масс, которым они глубоко сочувствовали. С другой стороны, Руссо и якобинцы считали религию опорой бедных людей, защитницей угнетённых. Руссо требовал казни атеистов. Робеспьер писал в декабре 1792 года: «Присмотритесь внимательно к тому, какая часть общества освободилась от влияния религиозных идей. Богатые классы. И это объясняется тем, что среди лиц, принадлежащих к этим классам, одни более образованны, а другие только более испорченны. Кто убеждён в необходимости религии? — Наиболее слабые, наименее обеспеченные». Якобинцы были защитниками народа, но логика классовой борьбы заставляла их ненавидеть материализм либеральной буржуазии. Этот раскол между наукой и демократией не прошёл даром для французской революции.

То же самое повторилось на международной арене. Армии Наполеона несли в феодальные страны буржуазное право и буржуазное просвещение. Но право и просвещение, принесённые на штыках завоевателей, не прочны. Отсюда глубокое противоречие — сравнительно более передовая французская культура вызвала ненависть угнетённых наций или, по крайней мере, законное недоверие. Тех, кто читал французские книги, клеймили позорной кличкой «офрануженных». Этим воспользовалась феодальная реакция, чтобы разжечь пламя религиозного фанатизма и любви к старине. В Испании и немецких странах национально-освободительное движение против французских завоевателей приняло много реакционных черт. Атеизм, который в течение XVIII столетия вытеснил суеверие или заставил его дрожать за своё владычество над умами людей, снова отступает в начале следующего века под натиском религиозных настроений. Подъём буржуазных наций, связанный с господством имущих классов, не мог привести к победе научного мировоззрения над религией.

Это противоречие повлияло на весь ход умственной жизни западноевропейских стран. В эпоху реставрации папство берёт реванш. Впервые «между людьми просвещёнными и образованными» находится много сторонников католической церкви. Это люди, добровольно возлагающие на себя вериги средневекового культа не потому, что они разделяют наивную веру крестьянина, а вследствие особо изысканной ложной философии. В 1819 году де Местр объявил непогрешимость римского папы вечным мировым законом. В полемике против абстрактного, всечеловеческого идеала XVIII века романтики выдвинули понятие народности. Но для писателей этого направления «народность» была враждебна революции или, по крайней мере, передовой революционной теории. Она означала песни и сказки феодальной старины, готические соборы, патриархальное подчинение и религиозную экзальтацию. Даже утопический социализм принимает временами религиозный оттенок.

В ходе этой сложной борьбы европейская реакция сделала важное для себя открытие. Она поняла, что раскол нации на образованную часть и религиозное большинство затемняет истинный смысл классовых противоречий и является сильным оружием против демократии. Во второй половине XIX века мы видим сознательное применение политики раскола со стороны правящих классов. Характерным примером может служить «война за культуру» (Kulturkampf) Бисмарка. В 1872 году иезуиты были изгнаны из германской империи. Вспомнив дружбу Фридриха с Вольтером, Пруссия стала в позу борца за просвещение против тёмных сил папства. Не мало чернил было пролито в защиту свободомыслия. Но всё это только усилило роль католической партии, которая сумела воспользоваться религиозной враждой для социальной демагогии и укрепила свои позиции за счёт народной ненависти к пруссакам в Баварии, Эльзас-Лотарингии, на Рейне и в других частях империи. Через двадцать лет этот шумный конфликт был закончен сделкой между Бисмарком и католической иерархией.

С некоторыми изменениями «война за культуру» происходила также во Франции. Антиклерикализм третьей республики, связанный главным образом с именем Жюль Ферри, сыграл здесь такую же двусмысленную и, в конечном счёте, реакционную роль, как в Германии. Начиная с 1880 года, французской палатой была принята серия законов против монашеских орденов, иезуитских конгрегаций и т. д. В 1905 году Франция официально отменила конкордат с Ватиканом и стала «светским государством». В течение всего этого периода на поверхности политической жизни постоянно кипела борьба вокруг церкви. Буржуазный антиклерикализм извратил истинный смысл прогрессивной критики религии, и французская рабочая партия Жюль Гада на Иссуденском конгрессе 1902 года с полным основанием приняла резолюцию, в которой разоблачается «новый манёвр класса капиталистов, направленный на то, чтобы отвлечь трудящихся от борьбы против экономического рабства, которое является основой всех других видов рабства, как политического, так и религиозного».

Сопrotивление антицерковным законам раздуло политическую роль духовенства во Франции. Оно сделало церковь «гонимой» и помогло ей найти дорогу к сердцам тех, кто чувствовал себя подавленным буржуазной цивилизацией, особенно среди мелкого люда городов, крестьян и женщин. Французский «культуркампф», как и немецкий, кончился тем, что буржуазное государство помирилось с папой. В 1918 году во Францию вернулись иезуиты. Два года спустя были установлены дипломатические отношения с Ватиканом. В период между двумя войнами громадный аппарат французской католической церкви, тесно связанный с банками и военной кликой, оказывал громадное давление на политическую жизнь страны. Наконец, в 1940 году антиклерикальная третья республика разрешилась от бремени фашистским католическим государством Петэна.

Но это ещё не всё. Нельзя забывать слова Ленина: «...традиция буржуазной войны с религией успела создать в Европе специфически буржуазное извращение этой войны анархизмом, который стоит, как давно уже и многократно разъясняли марксисты, на почве буржуазного мировоззрения при всей «ярости» своих нападков на буржуазию»¹. В романских странах последователи Бакунина и бланкисты, в Германии ученики Дюринга из группы Моста требовали подавления религии государственной властью. Говоря о Дюринге, Энгельс писал: «Он превосходит самого Бисмарка, предлагая издать строгие майские законы не только против католицизма, но и против всех религий вообще; направляя своих жандармов будущего на религию, он увенчивает её благодаря этому ореолом мученичества и обеспечивает ей тем самым более продолжительное существование»². С такой же энергией Энгельс выступал против французских бланкистов: «Одно несомненно: единственная услуга, которую в наше время можно ещё оказать богу, — это провозгласить атеизм принудительным символом веры и перешеголять противцерковные законы Бисмарка о культуркампфе — запрещением религии вообще»³.

В Германии извращение борьбы с религией в духе анархизма возникло ещё в сороковых годах XIX века среди левых гегельянцев — Бруно Бауэра, Штирнера, Мейена и других. Уже в исторических работах и публицистике Бруно Бауэра критика христианства принимает резко враждебный демократии реакционный оттенок. Наследником Бауэра был Фридрих Ницше, который с гордостью называл себя «антихристом».

В конечном счёте атеизм и демократия совпадают, но только в конечном счёте. Исторически это единство осуществляется очень сложным путём, через множество противоречий и отступлений. Религия защищает классовое неравенство, но не всегда и не всякая борьба против религии связана с революционным движением. История древней философии в эпоху софистов показывает, что атеизм может быть связан и с реакционной общественной позицией. В новое время также

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 15, стр. 379.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 324.

³ Там же, стр. 228.

возможен и существует «атеизм» врагов народа, софистов реакции. Доказательство — философия Ницше, который ссылался на Вольтера и Гельвеция, чтобы оправдать свой идеал господства сильных над слабыми. «Мы должны потерять веру в бога, в свободу, в бессмертие, как теряют молочные зубы, — писал Ницше, — лишь тогда у нас вырастут настоящие зубы». Борьба Ницше с попами — один из эпизодов буржуазного антиклерикализма. Эта позиция часто выступает в соединении с каким-нибудь видом «человекобожия». Всё декадентство в литературе и философии построено на игре богостроительства и богоборчества. Вот почему папа недоволен философией Сартра и ему подобных изысканных мракобесов.

Совместимость буржуазного атеизма, критики христианства или, по крайней мере, антиклерикальной пропаганды с крайней реакцией является очевидным фактом. В кровавой обстановке фашистских погромов продолжалась игра в антихриста. Гитлер и его шайка объявили себя сторонниками «нового язычества», что не мешало им широко пользоваться услугами католической церкви. Таким образом, фашизм унаследовал антиклерикальные фразы Бисмарка, Ницше и анархистов. Хулиганские выходы против церкви, избивания, а иногда и убийства священников, конфискация имущества монастырей — всё это должно было засвидетельствовать «революционность» фашистского режима. Одно время (до 1933 года) католические епископы запрещали хоронить нацистов по христианскому обряду, если при этом происходили гитлеровские церемонии, которые считались языческими. Между Ватиканом и фашистскими правительствами несколько раз возникали конфликты, скорее условные, чем действительные. В этих разногласиях (иногда просто дрязгах) заключался важный шанс общей стратегии класса капиталистов. Благодаря тому, что в глазах обывателя была создана видимость гонений на католическую церковь, агенты папства могут сейчас выступать под флагом «христианской демократии».

Отсюда видно, какую роль играет вопрос об отношении к религии для политической борьбы в странах западной Европы. Все расчёты реакции построены на разъединении народных масс. Сознательный пролетарий и рабочий-католик, трудящийся города и более отсталый крестьянин, интеллигенция, живущая в особом, часто искусственном мире, и простые люди, соблюдающие церковные обряды по традиции или потому, что они верят в доброго и справедливого бога, наконец, мужчина и женщина в одной семье — все эти различия становятся материалом для политических интриг. История буржуазных наций создала возможность разъединения людей на почве «холопской иерархии профессий», расовой принадлежности, местных интересов, религиозной веры или безверия. И богатое меньшинство всячески стремится превратить эту возможность в действительность. Посредством печати, дешёвых увеселений, базарного искусства имущие классы торгуют пошлостью, стараясь превратить народ в толпу рабов, жаждущих только хлеба и зрелищ. Другой рукой они поддерживают «бунт против пошлости», провозглашаемый декадентами с их претензией на абсолютную свободу творчества, мнимо-революционными исканиями в области формы и презрением к стандартному «человеку улицы». Та же механика действует в области религии: поддержка католического мракобесия и декадентский бунт против бога — это две стороны одной и той же медали.

Основная тема всей современной буржуазной литературы — противоположность личности и толпы, критически-мыслящей «элиты» и «безличных масс». При помощи этой духовной отравы буржуазия стремится разделить интеллигенцию и народ, заразить «революционной» фразой передовую часть трудящихся и посеять недоверие к ней в большинстве нации, чтобы вернее отдать это большинство в руки испытанных духовных пастырей. Стратегия раскола и разделения верно служила реакции в прежней истории Запада. Она и сейчас является её главным оружием.

Ключ к новой эпохе европейской истории — в правильной тактике коммунистов, объединяющих все демократические элементы каждой страны. Тактика коммунистов по отношению к церкви вытекает из марксистского атеизма, который нельзя смешивать с антиклерикальной традицией буржуазии. Марксистский атеизм признаёт непримиримость научного мировоззрения с идеализмом церкви. Он не допускает малейшего компромисса с религией.

Но есть ещё одна грань, отделяющая коммунистическую позицию от буржуазной. «Марксист должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но материалистом диалектическим, т. е. ставящим дело борьбы с религией не абстрактно, не на почву ствлеченной, чисто-теоретической, всегда себе равной проповеди, а конкретно, на почву классовой борьбы, идущей на деле и воспитывающей массы больше всего и лучше всего»¹.

Нельзя забывать, что наиболее выдающиеся, иногда превосходные образцы борьбы с религией на почве буржуазного атеизма имели большой недостаток. Великая атеистическая литература XVIII века боролась против религии абстрактно, с точки зрения разума, отвергая её как обман жрецов и суеверие толпы. Отсюда вывод, который часто встречается у просветителей: признание необходимости религии для широких масс, при условии её подчинения государству и превращения духовных лиц в чиновников (идея Вольтера, осуществлённая Наполеоном), либо другой вывод, который встречается у некоторых деятелей французской революции, как Эбер, — требование насильственного упразднения католического культа.

Марксистский атеизм подходит к религии исторически, указывая её материальные корни в общественных условиях. Религиозные заблуждения нельзя победить при помощи простой пропаганды более просвещённых взглядов, а тем более посредством насмешки или насилия. «В программе социал-демократов,—писал И. В. Сталин в 1913 году,—имеется пункт о свободе вероисповедания. По этому пункту любая группа лиц имеет право исповедывать любую религию: католицизм, православие и т. д. Социал-демократия будет бороться против всяких религиозных репрессий, против гонений на православных, католиков и протестантов»². Лишь на основе этого требования свободы вероисповедания пролетарская партия может вести свою непримиримую принципиальную критику всякого религиозного мировоззрения.

Чтобы победить религию действительно и прочно, нужно устранить те общественные корни, которые постоянно поддерживают её существование даже в обществе с развитой наукой и техникой. Эти корни — в капиталистическом рабстве трудящихся. Отсюда следует, что распространение атеистических идей нельзя считать главной задачей коммунистов. Их главная задача состоит в практическом уничтожении причин всякого рабства, в том числе религиозного. Ради успеха самой борьбы за научное, атеистическое мировоззрение эта борьба должна быть подчинена политической цели рабочего класса.

В статье «Социализм и религия» Ленин говорит: «Но мы ни в каком случае не должны при этом сбиваться на абстрактную, идеалистическую постановку религиозного вопроса «от разума», вне классовой борьбы,—постановку, нередко даваемую радикальными демократами из буржуазии. Было бы нелепостью думать, что в обществе, основанном на бесконечном угнетении и огрубении рабочих масс, можно чисто-проповедническим путем рассеять религиозные предрассудки. Было бы буржуазной ограниченностью забывать о том, что гнет религии над человечеством есть лишь продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Никакими книжками и никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не просветит его собственная борьба против темных сил капитализма. Единство этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае на небесах»³.

Такова неотразимая постановка вопроса с точки зрения материалистической диалектики. Если католик вместе с рабочими коммунистами борется против засилья трестов, против своих и чужеземных поджигателей войны, он борется также против религиозного рабства. Если передовой рабочий даёт себя отделить от народных масс на почве религиозной веры или атеизма — он способствует реакционной политике Ватикана и стоящих за его спиной американских капиталистов. Недаром като-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 15, стр. 376.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, стр. 355.

³ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 10, стр. 68—69.

лическая иерархия повсюду выдвигает лозунги типа «бог или Карл Маркс» — в качестве признака для разделения двух основных сил, борющихся в современном мире. Со своей стороны, коммунистические партии ведут успешное наступление против церковной реакции на основе правильной тактики единства трудящихся, получившей название «тактики протянутой руки».

Выступая по радио 17 апреля 1936 года, Морис Торез сказал: «Мы, не имеющие отношения к церкви, протягиваем тебе руку, католик, рабочий, служащий, ремесленник, крестьянин, ибо ты наш брат и тебя, так же как и нас, тревожит одно и то же». В борьбе против гитлеровской оккупации эта тактика принесла свои плоды. Тысячи католиков боролись вместе с коммунистами. Значительная часть низшего духовенства поддерживала сопротивление. В этой борьбе выросла национальная роль коммунистической партии, как вождя всех трудящихся.

В Италии, на другой день после освобождения от фашистов, Пальмиро Тольятти выдвинул программу союза всех демократических элементов страны, независимо от их отношения к папству. «Мы хотим осуществить единый фронт с широкими католическими массами», — сказал Тольятти 9 июля 1944 года. Христианско-демократическая партия де Гаспери сделала всё, чтобы расколоть итальянский народ и превратить его в послушное орудие в руках американских империалистов. Но позиция коммунистов произвела громадное впечатление на массы, и союз с широкими слоями трудящихся-католиков осуществляется на деле.

Ярким примером солидарности народных масс является движение борцов за мир. Несмотря на реакционную агитацию католических газет и всего аппарата папской власти, вопрос о загробном мире не мешает верующим католикам подписывать Стокгольмское Воззвание. Многие из них становятся активными сборщиками подписей. Это относится не только к рядовым членам церкви, но и к духовным лицам, прежде всего приходским священникам, которые всегда стояли ближе к народу. В странах народной демократии низшее духовенство с самого начала кампании по сбору подписей оказывало ей моральную поддержку. Епископат, следуя указаниям Рима, относился к движению против атомной бомбы по меньшей мере холодно. Так было, например, в Польше. Но, под давлением масс, польские епископы во главе с кардиналом Сапегой отказались от этой позиции, и 22 июля 1950 г. была опубликована декларация секретариата польской церкви о поддержке Стокгольмского Воззвания. В демократической Венгрии, где среди духовенства также много участников движения борцов за мир, религиозное общество «Венца господня» организовало специальное паломничество, посвящённое этой цели. В Албании Воззвание подписал глава местной католической церкви Дон Марк Души.

Громадный успех движения за мир в таких странах, как Франция или Италия, где существуют сильные католические партии, является одним из самых важных фактов последнего времени. Италия всегда считалась отечеством католицизма. В условиях правительственного террора «христианско-демократической партии» и враждебной работы центрального аппарата церкви здесь собрано более семнадцати миллионов подписей. Это большой успех тактики протянутой руки. Участие приходского священника в местном комитете борьбы за мир никого не удивляет в Италии. Такие примеры обычны в этой стране. Несмотря на близость папской канцелярии, Стокгольмское Воззвание подписывают также многие представители высшего духовенства. Вслед за архиепископом Триеста Сотини к движению против атомной бомбы присоединились другие церковные деятели. Так, епископ Гроссето Галеацци опубликовал в печати следующее заявление: «Кто говорит о возможности применения атомного оружия как средства войны, тот заслуживает, чтобы история безжалостно прокляла его навеки». Воззвание комитета борьбы за мир подписывали даже гости Ватикана, паломники «святого года».

Во Франции, где в настоящий момент собрано более пятнадцати миллионов подписей, совместная политическая борьба трудящихся, независимо от их мировоззрения, имеет прочную традицию, скреплённую кровью мучеников, погибших во время немецкой оккупации. Здесь также много активных участников движения среди низшего ду-

ховенства. Печать сторонников мира приводит ряд заявлений духовных лиц, осуждающих атомное оружие. Характерно, что к всенародному требованию запретить атомную бомбу присоединились даже главы религиозных орденов. Все эти факты по-своему, то есть косвенно, отражают силу и глубину народного движения, захватившего широкие круги верующих. В печати опубликована декларация кардиналов и архиепископов Франции, которые в общих выражениях присоединяются к требованию о запрещении атомного оружия. Декларация подписана такими известными церковными политиками, как архиепископы-кардиналы Льенар, Жерлье, Рокк, на чьей совести не мало грехов против французского народа. И эти люди, ненавидящие всякие демократические идеи, не говоря уж о марксизме, вынуждены отречься от воинствующих сторонников атомной войны — они не могут поступить иначе!

Тесная связь между организацией религиозной пропаганды и капиталом, связь экономическая и политическая есть факт, особенно ярко проявляющийся в деятельности Ватикана. Союз всех трудящихся, без различия их взглядов на религию, есть другой факт, который с каждым днём приобретает более важное значение. Задача коммунистов — полностью разрушить связь между религиозной традицией и политикой имущих классов.

На XII съезде французской коммунистической партии (1950) вопрос о работе среди католических масс занял большое место. «Продолжайте, развивайте, не боясь сарказма отсталых клерикалов, политику протянутой руки в отношении трудящихся католиков,— сказал в своей речи Морис Торез.— Повторяйте верующим: Чем спорить о том, есть ли рай на небе, объединимся лучше для того, чтобы земля не превращалась в ад и чтобы наши дети не были ввергнуты в новую катастрофу».

Католическая реакция приходит в бешенство при одной мысли о единстве трудящихся без различия их религиозной принадлежности. Она справедливо видит в этом гибель своей политической системы, традиционного оружия, которое веками служило укреплению народов.

Теперь на Западе есть такая партия, которая способна покончить с национальным несчастьем многих европейских стран — политическим делением общества по религиозному признаку. Это громадный шаг вперёд, большой праздник для народов этих стран.



ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУКИ

ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

РУССКОЕ СОЛНЦЕ

„Молодежь в особенности должна знать историю науки“.

И. Сталин

Есть притча о людях, с факелом бегущих ночью.
Когда падает один гонец, то другой подхватывает факел.
Так бегут люди сквозь темноту, и факел горит неугасимо.

ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА

Ломоносов первым поймал молнию, первым свёл электрический огонь с небес на землю. Его дело продолжила богатырская дружина мужей русской науки, совершив научный подвиг, равный подвигу Прометея.

Как понять нам треволнения той далёкой поры — поры первой любви к электричеству?

Лучше всех их поймёт сегодня радиолюбитель — тот, кто с детства занимался радиотехникой.

Полтора ста лет назад наши прадеды так же увлекались электричеством, как мы увлекались радио.

Ставить опыты было захватывающе просто. Выгребают из кармана монеты. Режут старый камзол на суконные кружки. Мочат уксусом. Складывают стопкой. Получается вольтов столб — генератор чудес.

От электрических машин удавалось получать лишь толчки тока — электрические разряды, а от вольтова столба течёт постоянный, как поток воды, ток.

Маленький столб — маленькое чудо.

Кончики шнурков из блестящей канители — те, что тянутся от столба, странно шиплют язык.

Добавляют монет — сильнее шиплет. Добавляют ещё — ещё сильнее!

Ну, а если ещё добавить — что тогда? Может быть, ожог? Потрясение?

Нет... Искра! Совершенно неожиданная вещь.

Чем выше растёт столб, тем жарче и ярче искры: об этом сообщают научные книги и журналы.

Вольтовыми столбами занимаются все: учёные, торговцы, врачи, аптекари. В кабинетах королей стоят вольтовы столбы из золотых и серебряных монет.

Занимается вольтовыми столбами и русский академик Василий Петров. Он работает днём и ночью, не щадя себя.

Ещё не изобретены чувствительные вольтметры, измеряющие электрическое напряжение. Но Петров сам себя превратил в вольтметр. Он срезал кожу с кончиков пальцев и ловит тончайшие толчки электрического напряжения обнажёнными нитками нервов.

Одна мысль кружит голову академику Петрову.

Что, если взять не десяток монет и не сотню, а тысячу, даже несколько тысяч? Каким чудом тогда поразит нас электричество?

Вот бы взять и собрать столб небывалой длины: тысячи на четыре с лишком медных и цинковых кружков! Собрать, да и поглядеть, что получится!

Богатырская, должно быть, искра проскочит меж концов шнура!

А быть может, и не искра вовсе?

Может быть, такое немислимое чудо, что и вообразить заранее нельзя.

Потому не терпится ждать академику Петрову, пока соберут его «наипаче огромный» столб.

Со сборкой мешкать нельзя. Столб такой длины, что пока собирают головную часть, хвост успевает просохнуть.

На стеклянную скамеечку положены два древесных угля, к ним подведены шнуры от огромной батареи.

Осторожно сближаются угольки.

И вдруг «является между ними яркое, белого цвета пламя».

Ослепительный огненный мост лёг в пролёт между углями.

Стены комнаты залиты серебряным светом, непривычно резкие тени словно чернью отчеканены по серебру.

Предвидение Петрова сбылось.

Он не зря увеличивал количество кружков. Рост количества породил новое качество, небывалое явление, невиданное в природе.

До Петрова электрический свет был вспышкой: искрой, молнией, а теперь он горел постоянно, как солнце.

Академик Василий Петров сделал великое открытие. Он открыл первый источник постоянного электрического света. Но имя академика Петрова оказалось разлученным с его творением.

ЧЕРНАЯ КРАСКА

Случайно к одному историку техники попал старинный портрет двух простых людей из народа. Фигуры были выписаны на сплошном чёрном фоне. Чёрный фон показался историку подозрительным.

Историк осторожно, ваткой, смоченной в скипидаре, стал смывать с края чёрную краску. И тогда из-под ватки появился клочок голубого неба, облако. Облако было клубом пара. Когда чёрная краска сошла вся, оказалось, что на заднем плане — паровозик с большими колёсами и с трубой, длинной, как верблюжья шея.

Историк понял, что нашёл портрет Черепановых — гениальных изобретателей первого русского паровоза.

Видно, чья-то злая завистливая кисть понадеялась вымарать из памяти знаменитое русское изобретение, превратить великих русских изобретателей вновь в безвестных людей из народа.

И вот что режет глаз.

Если взять да полистать историю больших русских изобретений, то оказывается, что по многим её листам погуляла эта злая завистливая кисть, многие лучшие страницы оказались замазанными чёрной краской.

Нам теперь известно, чья это работа.

В царское время русскую науку и технику окружал глухой чёрный заговор, заговор молчания.

Заговорщиками были дворяне, чиновники, предприниматели — все, кто правил в то время царской Россией.

Корни заговора шли за границу.

Заправила царской России презирали всё русское, преклонялись перед всем заграничным. Они люто ненавидели свой народ, боялись его и старались подорвать в нём веру в собственные силы. Им казалось спокойнее передоверить русскую промышленность иностранцам. А поэтому они твердили миру, что русские неспособны изобретать и что всё толковое в технике придумано иностранцами. Загранице эта басня была выгодна. Заграница засылала в Россию иностранных профессоров, восхва-

лявших заграничные выдумки, умалявших, замалчивавших, воровавших русские изобретения.

Так составилась в России заговор против русских учёных, против русских открытий в науке.

Петров был русский человек, а когда он открыл свою дугу, в Академии наук было засилье иностранцев.

И они набросились на факел, зажжённый русским учёным, как пещерные летучие мыши на горящую свечу.

Петров описал своё открытие в маленькой книжке на русском языке. Но говорить и писать по-русски было не принято у русских аристократов и их учёных прислужников, пренебрегавших своей родной речью и баловавшихся французским языком. Книжку замолчали.

Академик Крафт первым обмакнул кисть в чёрную краску. Два года спустя после выхода книжки он уже ничего не пишет в статьях о Петрове, но зато расписывает «подвиги» английского механика Меджера, который тоже построил большой вольтов столб и намерен совершить с его помощью новые открытия.

«Я природный россиянин, — писал Петров, — не имевший случая пользоваться известным учением иностранных профессоров физики и досель остающийся в совершенной неизвестности между современными нам любителями сей науки».

Смелый ум Петрова, его независимый нрав, его твёрдая вера в силу русской науки испугали иностранцев, посланных в Россию для того, чтобы эту русскую науку душили и грабить.

Иностранцы сговорились разбить колыбель, где родилось великое открытие, разгромить физический кабинет Петрова, а его самого, как учёного, уничтожить.

Нам известно теперь по архивным документам, как они осуществили свой сговор. Академик Паррот хладнокровно взял Петрова на мушку.

Он принялся строчить на него мелочные доносы, один глупее другого.

То он пишет, что нет в физическом кабинете барометров и термометров, хотя они и глядят на входящего со всех стен.

То он пишет, что в кабинете от недостатка ухода ослабели магниты, как будто магниты — это лошади, за которыми требуется уход.

То он торопится письменно донести, что в углу лаборатории завалилось плохо вычищенное зеркальце.

Академик Фусс — непременный секретарь Академии — с совершенно серьёзным видом требовал от Петрова объяснений.

Петров защищался от этих мелких уколов, но академик Паррот становился ябедником неутомимым.

То была туча маленьких стрел, и Петров изнемогал, как Гуливер под обстрелом лилипутов.

Наконец Петрова уволили от заведывания кабинетом, а ключи велели передать академику Парроту.

Петров пытался бороться и не отдавал ключей.

Тогда академики пошли на взлом.

Академик Фусс с академиком Коллинсом пригласили слесаря, и все вместе взломали замок.

Так иностранцы разорили колыбель электрического света.

Под глухим слоем чёрной краски скрылось с глаз гениальной русское открытие. Зато как обрадовались, как забегали иностранные профессора, когда восемь лет спустя после Петрова англичанин Деви снова получил ослепительную дугу между кусочками угля, присоединёнными к батарее. Честь открытия электрической дуги тут же приписали Деви, а дугу, совсем уже не к месту, окрестили вольтовой дугой.

В то время в России никто не подал голоса в защиту первенства Петрова, в защиту славы русской науки. Великие научные и технические ценности, которые создавал русский народ, были в то время безнадзорным имуществом.

Советские учёные сегодня смывают чёрную краску, скрывавшую промадную картину побед русской научной и технической мысли. На страже славы русской науки стоит теперь весь советский народ.

После почти столетнего забвения появилось на свет и вечно будет сиять в веках и имя академика Петрова.

НЕДЕЛИМОЕ СВЕТИЛО

Тщетно пытались иностранцы вырвать факел из рук русских людей.

Приспособили дугу для освещения впервые всё-таки в России.

В 1846 году дуга вспыхнула в Петербурге на вышке Адмиралтейства, осветив начало трёх уличных магистралей: Невский и Вознесенский проспекты, Гороховую улицу.

В 1856 году электрические дуги загорелись на празднествах в Москве. Их зажёл русский изобретатель Шпаковский.

Жизнь Шпаковского была геройством. Взрывом опытной морской мины ему повредило позвоночник. Шпаковский не мог стоять на ногах. Но всё-таки до конца своих дней трудился у стола лаборатории. Когда он работал, его поддерживали сзади два матроса.

Приспособить дугу для освещения было трудной задачей.

Дуга пылала, и от страшного жара испарялись угли, и с каждой секундой рос пролёт между углями.

Через полминуты начинало тревожно шипеть и метаться пламя, а затем обрывался ослепительный мост, и дуга погасала.

За дугой приходилось неотступно следить и подкручивать рукоятку, сближающую угли, как подкручивают в лампе стремительно горящий фитиль.

В середине прошлого века инженеры постарались выйти из положения и приспособили к дуге часовой механизм.

Дуговая лампа получилась сложной, как стенные часы.

Механизм педантично тикал, постепенно сближая угли.

Но дуга не была такой педантичной, как часы. И она нередко обгоняла ход часов и гасла.

Инженеры пошли на другое усложнение. К часовому механизму приспособили электрический механизм, подгонявший часы, когда лампа собиралась гаснуть, и ток через дугу уменьшался.

Получился исключительно сложный регулятор.

И всё-таки он был несовершенным.

Несколько ламп нельзя было включать в одну электрическую цепь.

Регуляторы не могли работать вместе. Они действовали вразнобой и, заботясь каждый лишь о своей дуге, гасили соседние дуги.

На каждую лампу нужна была отдельная электростанция.

Перед техникой встала по тем временам отчаянно сложная задача «дробления электрического света».

Любители электрического освещения не щадили затрат. Они шли на постройку домашних электростанций. Они ставили в подвале паровую машину и заставляли её вертеть генератор. Но питали эти электростанции одну-единственную лампу.

Она во всём своём нестерпимом блеске царил в одной-единственной комнате, и лучи её вырывались из окон в темноту, словно веер прожекторных лучей, а хозяин щурился и опускал глаза, как поэт, пригласивший на чашку чая солнце.

И у техники не было средств, чтобы это солнце раздробить и разнести сияющие осколки по всем остальным тёмным комнатам дома.

Первоклассные изобретатели оказывались тут в тупике.

Замечательный инженер Чиголев, автор множества полезных изобретений, совершенно серьёзно предложил проводить свет по трубам, как проводят светильный газ.

Трубы радиусом расходились от центральной лампы. Внутри труб стояли оптические линзы, а в коленах труб — наклонные зеркала.

Но по трубам до комнат добрались такие чахлые лучи, что при этом свете, по отзывам современников, можно было свободно играть в жмурки, не завязывая глаз.

А пока электрический свет не мог дробиться, растекаться по тёмным углам, как газ по трубам, до тех пор электрическая лампа не могла соперничать с газовым освещением.

Вот такую дуговую электрическую лампу, сложную, как стенные часы, неделимую, как небесное светило, получил в свои руки в 1874 году начальник телеграфа Московско-Курской дороги Павел Николаевич Яблочков.

Получил при чрезвычайных обстоятельствах.

Важный поезд должен был следовать в Крым, и на паровозе, впервые в истории техники, поставили прожектор с дуговой лампой.

Без того привередливый регулятор при толчках бастовал окончательно, и следить за дугой, подправлять регулятор вручную поручили человеку, наиболее понимающему в электричестве, — начальнику телеграфа дороги Яблочкову.

Ухали тоннели, гремели мосты, поезд летел полным ходом.

Яркий луч простирался вперёд и ложился на шпалы овальным пятном, и его рассекали огненные струи дождя.

В дублёном полушубке, широкоплечий, с бородой, развеваемой ветром, стоял на передней площадке паровоза Яблочков, словно статуя на носу старинного корабля.

Он проворно менял угли, неустанно подкручивал регулятор, ту же поджимал провода. Руки стыли на резком весеннем ветру, обжигались о горячие угли. Он прозяб до костей, но не мог ни на минуту оставить дугу: подводил несовершенный регулятор.

А на станциях лязгали буфера, менялись паровозы. Перетаскивал и Яблочков свой прожектор с паровоза на паровоз; даже на станциях не мог обогреться.

И снова мчался поезд сквозь долгую ночь, и дуга горела неугасимо.

Когда Яблочков, шатаясь от головокружения, сошёл с паровозного мостика на твёрдую землю, то понял, что светоч, который он оберегал в течение долгих ночей, который он пронёс в коченеющих руках через мрак, по необъятным просторам России, — этот светоч станет отныне первой заботой всей его жизни.

Мимо чёрных деревень, мимо тусклых городов, мимо брезжащих копилками станций пронеслась, как комета, проблестала и скрылась дуга Василия Петрова.

А хотелось удержать её у этих городов и деревень, разнести её свет по домам и избам, разбросать по улицам и площадям, распылить по всей российской шире. Надо было сделать доступной всем электрическую дуговую лампу.

Надо было как-то упростить регулятор.

Эта мысль завладела Яблочковым, полонила его всего.

Он ходил как заколдованный, и во всём мерещились ему сближающиеся, готовые вспыхнуть, угли.

«Где он, регулятор? Где он?» — спрашивали у вещей его рассеянные глаза, но вещи молчали безответно.

Это была такая настойчивая, такая неотвязная забота, что мешала служить, и он бросил службу на железной дороге и пошёл на работу в мастерскую своего товарища. Оба были изобретателями, увлекались электричеством.

Мастерская стала местом удивительных опытов. Ослепительные вспышки света сверкали в окнах, а однажды в задней комнате гроыхнул взрыв. Царская полиция заподозрила изобретателей в связи с революционерами. Оставаться в России было опасно. Яблочков сел в Одессе на пароход и отплыл во Францию. Жандармы, гнавшиеся за ним до самой пристани, опоздали на 24 часа.

СВЕЧА ЯБЛОЧКОВА

Яблочков поселился в Париже в квартале, где жили русские эмигранты, и нанялся на работу в электротехническую мастерскую.

Место было интересное. Он мог целые дни проводить у динамомашин, вечерами же мастерить регулятор.

Яблочков многое перебрал, много перепробовал.

Он заставил, например, две пружины подталкивать друг другу навстречу два угля. Чтобы угли не сомкнулись друг с другом, распирала их фарфоровая пластинка. Но в жару дуги расплавлялся даже фарфор, и минуту спустя угли смыкались. Плавилось всё наперечёт: гипс, глина, кирпич.

Дни шли, месяцы шли, регулятор не получался.

Сокрушённый сидел Яблочков в дешёвом парижском кафе и вертел в руках пару карандашей, купленных в лавке напротив. Он бездумно постукивал ими по столу и, наконец, поставил рядом стоймя, осторожно отняв руки.

Регулятор?.. Да нужен ли вообще регулятор?

Яблочков так и застыл с расставленными руками. Карандаши словно заговорили. Взять, поставить рядом стоймя пару угольных стерженьков, подвести к их основаниям провода и каким-нибудь третьим угольком на мгновение замкнуть верхушки.

Вспыхнет меж верхушками сияющий мост — дуга.

Угли будут сгорать, а пролёт между углями расти не будет, лишь всё ниже и ниже будет опускаться сияющий мост.

Находка? Решение? Победа?

Да, но ведь он не удержится на вершинах стерженьков, ослепительный мост. Ведь он тут же сорвётся, соскользнёт к основаниям стержней, как флажок с вершины флагштока.

И дуга со всей яростью примется грызть основания углей, пережжёт их у самого низа — подломаются, рухнут стерженьки.

Конец всей затее!

Отчаянным взглядом озирается Яблочков по сторонам.

И вдруг заговорила свеча в подсвечнике на столе.

Что удерживает пламя наверху фитиля? Стеарин!

Оплывает стеарин, и медленно опускается пламя по фитилю.

Так сделай и ты свечу! Окунь эти угли в стеарин, пусть застынет между ними стеариновая прокладка.

Но заранее ясно: стеарин не подстать всежигающему жару дуги.

Нужно выбрать другой — подходящий, стойкий материал.

Но ведь Яблочкову как никому ведомы повадки веществ в пламени электрической дуги. Плавятся гипс, фарфор, глина, стекло, песок, известь... Не получится с гипсом — поможет фарфор, не получится с фарфором — выручит глина. Здесь уже всё в руках изобретателя, всё в его воле.

Лампа выйдет, не может не выйти.

Окрылённым возвращается Яблочков в мастерские. Снова принимается за опыты. И лампа выходит.

Современники ахнули от восторга перед гениальной простотой.

Просто палочка! Просто свеча! Никаких рычагов, колёс, часовых механизмов.

Между двумя углями, стоящими рядом, проложено непроводящее вещество, сгорающее с той же скоростью, что и угли. Дуга горит, вещество плавится, обнажая вдвоенную угольную палочку, точно так, как стеарин, оплывая, обнажает фитиль.

При питании дуги постоянным током один из углей сгорал гораздо быстрее другого. Это портило всё дело.

Но Яблочков вышел из положения, начав питать свои свечи переменным, всё время меняющим направление током, изобрёл для этой цели специальные электрические машины: генератор переменного тока, трансформатор.

Переменный ток неожиданно оказался на редкость удобным для тысяч других электрических машин. Так свеча Яблочкова положила начало грандиозной технике переменного тока.

Полагали, что на переменном токе невозможно получить устойчивую дугу, но дуга получилась такая устойчивая, что к одной машине можно было подключать десятки ламп.

Задача дробления электрического света была решена окончательно.

Так было доложено в 1876 году Парижской Академии наук об электрической свече Яблочкова.

А тем временем лампа уже рвалась из мастерских и лабораторий в повседневный обиход.

Она вышла на улицы Парижа в громадных белых шарах молочного стекла. Светозарные шары воцарились над Оперной площадью, две жемчужные нити легли вдоль аллеи Оперы, в голубом, непривычном свете засверкали драгоценности в магазинах Лувра, залились серебристым блеском площадь Этуаль, площадь Законодательного собрания, кафе, концертные залы, ипподром.

«Русское солнце!» — удивлённо повторяли парижане. Они вечером толпами выходили на улицы, чтобы не упустить мгновенья, когда разом, словно по волшебству вспыхивают все фонари. Так туристы встречают солнечный восход.

«Русское солнце!» — кричали жирные заголовки газет.

Появился французский синдикат: «Главное общество электричества по методу Яблочкова».

«Русское солнце!» — говорили капитаны, шкиперы, матросы пароходов всех стран мира, заходивших в Гаврский порт и лавировавших ночью, в свете электрических фонарей, легко и свободно, как в летний безоблачный день.

Далеко за моря летела слава русского солнца.

За Ламаншем, в тумане Лондона вспыхивают светозарные шары.

Вестиндские доки, набережная Темзы от Ватерлооского моста до Вестминстерского аббатства, Нортумберленд авеню, железнодорожные станции Чаринг Кросс и Виктория, знаменитый читальный зал библиотеки Британского музея, рестораны, частные дома — всюду сверкают электрические свечи.

«Русское солнце», — удивлённо повторяют англичане.

Появляется английское общество: «Компания электрической энергии и света по способу Яблочкова».

«Русское солнце», — удивлённо твердят испанцы, бельгийцы, итальянцы, немцы, греки.

Свечи Яблочкова заливают потоками света лучшие здания, улицы, площади Мадрида, Брюсселя, Неаполя, Берлина, Фалерно, Афин, Пирея...

От сияния «русских солнц» шуряют персидский шах и король Камбоджи. Свечи Яблочкова светят в их великолепных дворцах.

В электрическом свете меркнут бледные языки пламён газовых фонарей, как пламена свечей — в блеске солнечного дня.

И акционеры газовых компаний злобными ревнивыми глазами начинают искать на солнце пятна.

«Свечи Яблочкова превращают зрячих в слепых, — писали они в продажных газетах. — Люди будут слепнуть от яркого света!»

«Если люди не слепнут от солнца, — отвечал им Яблочков, — то подавно не ослепнут от моей свечи».

«Свечи Яблочкова превращают живых в мертвецов, — не унимаются акционеры. — В свете дуг у людей фиолетовые губы и голубоватые лица».

Но одним ударом опрокидывает Яблочков и это возражение.

Он добавил в прокладку между углями вещество, которым пиротехники окрашивают огни фейерверков. Голубая дуга порозовела.

Из холодного, мертвенного, голубого свет стал тёплым, живым, розовым.

Богатырскими усилиями ума — словом, опытом, выдумкой изобретателя — сокрушает Яблочков препоны ревнителей газа.

Яблочков славен, богат и знаменит. Но нет для него славы вне родины. Нет для него счастья вне отечества. Он спешит возвратиться в Россию, в Петербург.

Но право использовать электрическую свечу в Париже принадлежит иностранным компаниям, и Яблочков собирает все свои средства и за миллион франков выкупает это право.

Учреждается русское товарищество: «Яблочков-изобретатель и К^о».

От Каспийского до Белого моря широкой россыпью разбегаются по России жемчужины электрических фонарей.

Они светят в Петербурге, в Москве, в Сестрорецке, в Кронштадте, в Нижнем-Новгороде, в Гельсингфорсе, в Колпине, в Ораниенбауме, в Полтаве, в Брянске, в Красноводе, в Архангельске.

Ещё редка эта россыпь, но исход борьбы предreshён.

Газ уступает дорогу электричеству. Старое расступается перед новым. Это новое несёт в мир Яблочков.

И его поддерживают пайщики русской, французской, английской электрических компаний.

Ведь для них это не только световой поток, но и золотой поток, льющийся в их карманы.

Безудержно разливается «русский свет», и в его лучах бледнеют газовые фонари, как ночные звёзды с восходом солнца.

ЛАМПА ЛОДЫГИНА

Но внезапно стал давать себя знать непредвиденный противник свечи, развивавшийся с неодолимой силой.

Он был так неказист на вид, что при первом знакомстве выглядел пустяком.

В совершенно пустой стеклянной колбе трясся мелкой дрожью волосок, почти не различимый глазом. Он, казалось, готов был разлететься от дуновения, но был упруг и прочен, как струна. Электрический ток калил его добела, и светился он в сотни раз ярче колпачков газовых фонарей.

Это была угольная электрическая лампа накаливания, созданная гением русского изобретателя Александра Николаевича Лодыгина.

Ещё на школьной скамье зародилась в его голове мечта о летательной машине, помонившая его на долгие годы. Ради этой идеи Лодыгин нарушил обычай семьи, снял офицерский мундир и, уйдя из дому, поступил на тульский завод молотобойцем. Здесь он всей душой привязался к технике и в 1869 году представил в Главное инженерное управление проект самолёта-геликоптера с электрическим двигателем. Это был необыкновенно смелый проект, всеми своими деталями устремлённый в будущее. Остроумнейшее устройство — прадед современных автопилотов — должно было автоматически поддерживать устойчивость машины в полёте.

Но царские чиновники не приняли проекта. Лодыгину разрешили обратить своё изобретение на подмогу воюющей Франции, уступавшей натиску пруссаков. Но пруссаки разгромили Францию раньше, чем машина была готова. Идею применения электричества в лётном деле похитили французы братья Тиссандье и Шарль Ренар. Четырнадцать лет спустя с помощью лодыгинской идеи они сделали воздушные шары управляемыми.

А Лодыгин, вернувшись в Петербург, нанялся на работу техником в Общество газового освещения.

Словно сказочная жар-птица, «электролёт» ускользнул от него, и лишь маленькая деталь осталась в руках, необыкновенная, как перо жар-птицы. Это была первая в мире электрическая лампа накаливания, предназначавшаяся для освещения машины.

В 1873 году в Петербурге Лодыгин показывал электролампы для уличного и комнатного освещения, для железнодорожной сигнализации, для освещения подземных и подводных работ. Слава русского изобретения прокатилась по всему миру. В 1877 году в Америке лейтенант Хотинский показал электрическую лампу Эдисону, как русское диво.

Теперь, казалось бы, Лодыгину должны были дать средства для постановки производства ламп. Но правители царской России, растворившие двери страны для иностранного капитала, не поддержали изобретателя.

Уволенный газовой компанией, которая в его изобретении учуяла соперника газу, Лодыгин поступил в петербургский арсенал слесарем. Одно время, казалось, счастье улыбнулось изобретателю. Петербургский банкир Козлов организовал акционерное

общество по производству электрических ламп. Но акционеры видели в лампе только повод для разных денежных махинаций, а на совершенствование лампы денег не давали. В результате общество прогорело.

А тем временем Эдисон в Америке жадно принялся совершенствовать русское изобретение. Финансовый владыка США Пирпонт Морган оказал ему полную поддержку. Вскоре фирма «Эдисоновское общество освещения» получила капитал в триста тысяч долларов.

И пока Лодыгин корпел за слесарными тисками, ботанические экспедиции Эдисона обшаривали земной шар, колесили по Уругваю, Парагваю, Бразилии, Кубе, Эквадору, Колумбии, Японии в поисках единственно нужного волокна для угольной нити. И всё-таки только через семь лет после Лодыгина Эдисону удалось сделать годную лампу накаливания и поставить её производство.

И когда американские газеты принялись безудержно восхвалять Эдисона, как «творца электрического освещения», ведущий электротехнический французский журнал того времени: «La lumière électrique» («Электрическое освещение») дал гневный отпор американским лжецам: «А Лодыгин? А его лампа? Почему не сказать, что и солнечный свет изобретён в Америке?».

Даже американский суд был вынужден признать, что честь создания нового источника принадлежит русскому изобретателю Лодыгину.

Но российские капиталисты попрежнему тормозили отечественное производство ламп, предпочитая ввозить их из-за границы.

Лодыгин решает дать бой Эдисону в самой Америке. Американские предприниматели оказались непрочь загрести жар талантливими русскими руками. Фирма Вестингауз дала Лодыгину возможность построить большой завод электрических ламп. Здесь он ещё раз опередил Эдисона, изобретя в 1890 году лампу с нитью из вольфрама, молибдена, осмия. В этом виде электрическая лампа сохранилась до наших дней.

Заграничные успехи не тешат Лодыгина. Он пытается возвратиться на родину. Но в тогдашнее тугое время Лодыгин — человек огромного индустриального размаха — получает в России лишь должность заведующего подстанцией петербургского трамвая. В стране, где электротехника была отдана на откуп иностранцам, его опыт и знания пропадали зря.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Так явилась на свет испревиденная противница свечи — лампа накаливания.

Она стала теснить свечу Яблочкова во всех областях.

Свеча горела полтора часа, а лампа в тысячу раз дольше!

Свеча, однажды погаснув, не могла зажечься вновь, а лампа тысячи раз зажигалась и гасла!

Свеча не могла стать маленькой, потому что гложла электрическая дуга, а лампа свободно вмещалась даже в карманный фонарик. Можно было тысячи ламп подключать к одной машине.

И на выручку свечи шёл и вязнул в нескончаемых опытах Яблочков.

Чтобы хоть как-то удлинить срок горения дуговых ламп, он стал ставить по нескольку свечей в один колпак и придумал изумительно простое устройство, чтобы свечи сами загорались одна за другой.

Он решил, наконец, и почти нерешимую задачу: свечи стало возможным гасить и зажигать многократно.

Всё же угольная лампа накаливания продолжала теснить электрическую свечу.

Гениальным чутьём изобретателя чуял Яблочков, что правда науки, правда жизни отныне не на его стороне.

И сердце его к свече охладевало.

Втихомолку начал он опыты по накаливанию током каолиновых стерженьков. Это был плодотворный путь, много лет спустя приведший к замечательной лампе накаливания.

Но приобретатели схватили изобретателя за руки.

«Яблочков рубит сук, на котором мы сидим!» — закричал французский синдикат.
«Яблочков рубит сук, на котором сидит он сам!» — закричало русское товарищество.

Страх за деньги, вложенные в свечу, затемнял их рассудок.

Они висли у Яблочкова на руках и толкали его на старую избитую колею, загоняли в обжитый безысходный тупик. Золотая цепь приковала Яблочкова к свече, и он тщетно рвался с этой цепи.

Новое, растущее, неодолимое шло против него, а его вынуждали бороться с этим новым против разума, против сердца. Яблочков отказался продолжать борьбу.

Тогда пайщики предали Яблочкова.

Они в панике побежали из синдикатов, товариществ, компаний, словно крысы с тонущего корабля.

Синдикаты, компании, товарищества лопнули. Яблочков был разорён совершенно. Золотые оковы упали с его рук. Он был свободен.

Свободен ли?

И тут Яблочков с полной ясностью понял, что в мире, где деньги властвуют над людьми, изобретатель, как бы велик он ни был, — в сущности раб, бесправный человек.

Несколько лет назад, на заре электрического света, стоял он у развилины двух дорог.

Одна вела к лампе дуговой, другая — к лампе накаливания.

Яблочков выбрал первую. И сейчас же хлынул вслед золотой поток, подхватил, закружил Яблочкова и понёс с собой, как щепку. Полонённый, лишённый свободы выбора, нёсся Яблочков туда, куда влёк его золотой поток.

А теперь, когда обмелел поток, сможет ли Яблочков сделать свободный выбор, сможет ли осуществить хоть одну из бесчисленных новых идей, роящихся в голове?

Нет, не может.

Для осуществления новых изобретений нужны деньги. Ну, а он разорился, он банкрот.

В мире денег презрением клеймят разорившихся. Где найдёт себе нового хозяина разорившийся изобретатель? Никто не даст ему ни копейки!

Скромно, в бедности доживает Яблочков остаток жизни. Погасают одна за другой в его голове большие изобретательские идеи. Погасают один за другим огни его фонарей.

ЭЛЕКТРОГЕФЕСТ

Но неугасима слава русской науки.

Не забылось и будет жить в веках имя Павла Яблочкова, разбросавшего по земному шару жемчуг электрических фонарей.

Светозарное зерно, заронённое Яблочковым в город Полтаву, прорастает неожиданно великим изобретением.

Над свечою Яблочкова, над дугою Петрова склонился полтавский дворянин, изобретатель Николай Николаевич Бенардос.

Он работал в своё время в мастерских Яблочкова, но к дуге у него особый подход: свет дуги его не интересует. Ему даже мешают её ослепительные лучи.

Он глядит на дугу сквозь тёмные стекла, как разглядывают затмение солнца. Среди крошечной тьмы, в узком ореоле света, между раскалёнными углями плавятся, пузырятся и оплывая, глиняная прокладка свечи.

Не лучи дуги, а её нестерпимый жар приковал внимание Бенардоса.

«Жар дуги так силен.— сообщает Бенардос,— что в свече Яблочкова плавится, как воск, даже огнеупорная глина. Значит, и по давню расплавится металл... Значит, можно в свече плавить железо!»

В новом, непривычном виде представляется ему свеча...

Плавильная печь в кармане! Вагранка размером с карандаш! Вот во что прорастает свеча Яблочкова.

Кирпичная башня плавильной печи сказочным образом заменится тоненьким стержнем.

Вихрем пронесется у Бенардоса в голове ослепительные перспективы этой замены.

Не свечу видит Бенардос перед собой, а волшебную палочку, которой во всём подчиняется железо.

Эта палочка чудодейственно исцеляет пороки и раны металла: словно скальпелем рассекает железо, заживляет в нём раковины-язвы и сшивает в нём трещины, как игла.

Всё яснее вырисовывается перед Бенардосом облик палочки-исцелительницы.

В точности такой же, как свечу, делать палочку не стоит. Смысла нет зажимать железную пластинку в промежутке между углями. И не только потому, что железо проводит электрический ток даже лучше, чем угли. Ведь железо и плавится лучше, чем угли. Оно быстро выплывится из промежутка, и дуга соскользнет к основаниям углей.

Надо жесть дугу между угольными стержнями и вводить в неё со стороны железный пруток, как сургучную палочку в пламя свечи.

Одно неудобство: обе руки держат угли, а вводить палочку в пламя нечем.

Да, ведь можно беспрепятственно выбросить один угольный стержень! А освободившийся прсвод подключить прямо к тому железному телу, над которым ведётся операция. Дуга вспыхнет между телом и оставшимся угольным стержнем. Этот уголь и надо держать в руке, а другою рукою вводить в дугу железный пруток.

И пруток расплавится, потечёт, как сургуч, заплывая раковины и трещины железного тела.

Если жесть дугу без прутка, то дуга начнёт грызть железное тело, и за ней протянется глубокий разрез.

Вот она галочка-исцелительница: игла и скальпель.

«Электрогефест» — называет её Бенардос, именем сказочного кузнеца Гефеста. Бенардос чувствует себя хирургом.

Груды искалеченных машин и их деталей — сломанные рычаги, шербатые шестерни, лопнувшие станины — ждут исцеления.

Но не только о них думает Бенардос.

Размахнулся он на смелое дело, близкое каждому русскому человеку.

Он решил восстановить кремлёвский «Царь-колокол».

Двести с лишним лет назад литейный мастер Иван Маторин с сыном отлили исполинский колокол в 12 327 пудов 19 фунтов весом.

Но внезапный пожар охватил деревянную избу над ямой, где отливался колокол. Колокол в жару раскалился докрасна. На него плеснули водой, он треснул, отвалился от колокола осколок.

С той поры возвышается колокол на каменном подножье, как большой бронзовый шатёр, и чернеет в его боку пробонна широкая, как ворота. Исполинский осколок стоит рядом, прислонённый к подножью.

Случай погубил гениальное создание русских мастеров, и теперь, через сотню лет тянет им руку помощи другой русский мастер.

Бенардос решил приварить осколок к колоколу своим «электрогефестом».

Многоустный хор газет возвестил России об этом намерении.

И тем временем изобретатель, бледный от нетерпения, вёл в своей мастерской опытные сварки.

«Г-н Бенардос восстанавливает «Царь-колокол!» — кричали газеты.

«У электрогефеста блестящее будущее!» — говорили учёные в поздравительных речах по поводу присуждения изобретателю Бенардосу звания инженера. И, прислушиваясь к их речам, капиталисты спешили вложить свои деньги в дело Бенардоса.

А тем временем в мастерской Бенардоса в Петербурге от несильного толчка разошлись сваренные детали, словно шиты были недостаточно прочными нитками.

На десятилетия опережая время, создавал Бенардос всё новые и новые схемы электросварки одну остроумнее другой.

И с каждым днём яснее и яснее понимал, что где-то тут, под самым боком, стоит незримая преграда. словно кто-то коварный и невидимый толкал его под руку и мешал простому, как дважды два, делу.

СПОСОБ СЛАВЯНОВА

О работах Бенардоса прослышал в далёкой Перми управляющий механическими фабриками Пермских пушечных заводов Николай Гаврилович Славянов.

Он построил динамомашину собственной конструкции и принялся повторять опыты Бенардоса.

И тотчас же закружился вокруг Славянова тот же самый хоровод неудач.

Сварные швы получались ломкими и хрупкими и отскакивали от металла, как горелые корки от хлеба.

Но Славянов был блестящий инженер-металлург. Точное знание удваивало его силы.

И он сразу разоблачил затаённого врага Бенардоса.

Врагом был угольный стержень.

С угольного стержня в железо переходил углерод, и металл, науглеродившись, становился хрупким и непрочным.

Электрическая дуга, полаяхавшая на тугоплавком угольном стержне, была слишком жарка и пережигала металл. Благодетельный жар, многократно умножавший яркость дуговых электрических ламп, здесь оказывался вредным.

Вся беда была в том, что «электрогефест», родившись из лампы, наполовину ещё оставался лампой.

Бенардос продолжал видеть куколку там, где уже развилась бабочка и сейчас разорвёт иссохшую оболочку и вылезет на свет, расправив пёстрые крылья.

Это разглядел Славянов острым глазом инженера, просветлённым знанием науки.

Гениально просто расправился Славянов с вредным пережитком дуговой лампы — отравителем металла.

Угольный стержень Славянов выбросил прочь, а освободившийся электрический провод прикрутил к железному стержню, который Бенардос вводил со стороны в дугу.

Дуга вспыхнула прямо между стержнем и металлом. Она была не жаркой. Стержень плавил каплями, и они вливались в лужицу подтаявшего в жару дуги металла. Железо застывало прочным швом.

На мотовилихинском заводе Славянов открыл электросварочный цех.

Как больных к прославленному лекарю, с последней надеждой на исцеление, везли со всех концов России к Славянову в Мотовилиху искалеченные части машин.

И Славянов исцелял их.

Из далёкой Новгородской губернии на барже, по Волге и по Каме привезли разбитый колокол в 300 пудов весом. И Славянов заварил в нём трещины, приварил к нему отбитые куски.

Свои опыты Славянов решил описать в маленькой книжке.

Эту книжку прочитали коммерсанты — компаньоны Бенардоса и возмутились.

Они потребовали через суд, чтобы Славянову запретили заниматься электросваркой.

Ведь они хозяева электросварки, они используют патент Бенардоса и вложили в него свои деньги, и теперь никто не смеет без их согласия касаться этого дела.

Ведь не только целительный пламенный ручеёк стекает с конца железного стержня, но и золотой ручеёк.

Они жили в капиталистическом мире.

В этом мире каждый имущий был хозяином и, не отрывая глаз, стерёг свой источник богатства, свой золотой ручеёк.

И везде ему мерещились враждебные тени, крадущиеся этот ручей перекопать, отвести в сторону.

Не соратника увидели в Славянове компаньоны Бенардоса, а соперника и врага.

И они всячески старались принизить работу Славянова, доказать, что она не изобретение вовсе.

А Славянов не мог и не хотел расстаться с работой, в которую внёс столько нового.

Завязалась изнурительная тяжба.

Компаньоны заботились только о своих карманах, и им дела не было до того, что их происки разъединяли этих больших русских людей, мешали им разглядеть и оценить друг друга.

Изобретателей ссорили между собой, вместо того чтобы помочь им соединить усилия.

Наконец суд при помощи учёных разобрался в деле и признал самостоятельность изобретения Славянова, разрешил ему продолжать работу, а Бенардосу, наоборот, запретил применять железный электрод.

Но Славянов надорвался.

Многолетние опыты с дугой, когда грудь обжигало дыханием расплавленного металла, а спину леденило сквозняками цехов, погубили его здоровье.

7 октября 1897 года Славянов умер.

А в отсталой царской России электросварка не нашла применения.

Замечательное русское изобретение заграбастали американцы.

ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Лишь с приходом Октябрьской революции расцвела в России, на родине дуги Василия Петрова, электросварка.

С лёгкой руки Яблочкова постоянный ток в проводах электропроводок заменился переменным током.

Переменный ток, пришедший к месту, в большинстве электрических машин был неудобен для электросварки. Электрическая дуга на переменном токе горела неустойчиво, и многие изобретатели стали задумываться над тем, как увеличить устойчивость дуги.

И другая, забытая идея Яблочкова подсказала им дорогу.

Ещё Яблочков заметил, что обмазка на его свече странным образом повышает устойчивость дуги.

Изобретатели поставили опыты, и железные электроды стали делать так же в обмазке; почти того же химического состава, что и в свече.

Обмазка плавилась вместе с электродом, её пары наэлектризовывали воздушный промежуток, и дуге становилось легче проскакивать через воздух.

Когда свариваешь электродом с обмазкой и отводишь его от металла, то дуга словно липнет к электроду и растягивается вслед за ним, как резинка.

Железные леса росли на строительных площадках пятилеток.

Электрической дуге привольно в чаще железных балок и стропил.

На московских площадях вырастают каркасы высотных зданий строго и правильно, как громадные кристаллы. Водопады огненных брызг свисают со стальных перекладин, как хвосты огненных павлинов. Ночью кажется, что каркас высотных зданий — это клетки, где живут жар-птицы.

Словно сказочная жар-птица, перепархивает электрическая дуга с балки на балку, со стропила на стропило, спаивая их в один нерушимый железный скелет и со сказочных высот осеняет строителей взмахами широких фиолетовых крыльев.

Полтора лет назад одиноко сияла дуга в лаборатории академика Петрова. Тщетно рвались её лучи из узких окон лаборатории и запутывались в чёрной сети теней пустынного академического парка.

А тем временем в тёмных и чадных кузницах полуголые кузнецы, надсаживаясь из последних сил, тяжкими молотами склёпывали раскалённое железо.

Свет науки не достигал их.

В мире, где деньги властвовали над людьми, непрозрачная стена отделяла науку от народа

Ныне сотни советских изобретателей и научных работников не в одиночку, а дружной семьёй, в лабораториях, светлых, как оранжереи, выращивают необыкновенные дуги, словно огненные цветы.

Терпеливо, как садоводы, прививают изобретатели дуге новые качества и свойства, стараются сделать её ещё более сильной и вездесущей.

И немедленно тысячи рабочих рук подхватывают обновлённую дугу и несут её бсюду: внутрь цистерн и котлов, на борта пароходов, на вершины водокачек и радиомачт.

Ведь дуга облегчает людям тяжёлую работу.

Ведь наука при социализме служит народу.

И не прихотям коварных золотых рек и ручьёв подчиняются творческие помыслы советских изобретателей и учёных, а насущным народным нуждам.

Факел знания никогда не поникнет в руках учёных, и работает учёным радостно и свободно потому, что их во всём поддерживает народ.

Выдающийся учёный академик Хренов погрузил дугу в подводное царство.

Он заставил кипящую сталь ужиться с холодной водой.

Хренов знал, что от жара дуги под водой вздувается газовый пузырь и внутри него, как в хрустальном шаре, сможет мирно гореть электрическая дуга.

Но не просто было получить устойчивый газовый пузырь.

Для работы Хренову построили стальной бак в два человеческих роста высотой, с трубопроводами для быстрой смены воды, мощным подводным освещением и окнами-иллюминаторами, чтобы наблюдать снаружи, что творится внутри.

В этом баке Хренов и его помощники-водолазы отработали специальные обмазки для электродов, пропитанные водонепроницаемым лаком.

Результаты сложных исследований были удивительно просты.

Надо было применять такую обмазку, которая плавилась бы немного труднее, чем железный стержень. Тогда на конце электрода остаётся венчик обмазки, на котором повисает устойчивый газовый пузырь, словно мыльный пузырь на раструбе соломинки.

Во время горения дуги от неё расходится оранжевое облако — это тонкие частицы ржавчины расплываются в воде. От защитного пузыря фонтаном журчат пузырьки, так что кажется, что вода кипит.

Но дуга горит спокойно и устойчиво и может плавить и резать металл под водой почти так же быстро, как и в воздухе.

За эту работу правительство присудило академику Хренову Сталинскую премию. Значение изобретения академика Хренова огромно.

Отныне пробоины кораблей и подводных лодок можно латать под водой, неводя корабль в сухие доки.

Открываются новые пути подводного строительства.

Дуга Василия Петрова зажглась в подводном мире, и рыбы глядят на неё удивлённо, словно солнце, катящееся за горизонт, и впрямь погрузилось в глубины моря...

Когда грянула война, то и электрическая дуга стала на защиту своей родины.

Не церковные колокола, как полвека назад, а бронеовые купола и танковые башни варила дуга Василия Петрова.

И не ударам колокольного языка, раскачанного глухим звонарём, должны были сопротивляться сварные швы, а ударам снарядов противотанковых пушек.

Пушки и мины предъявляли небывалые требования к прочности сварки. И тут выяснилось, что воздух, которым мы дышим, оказывается для шва отравой. Кислород и азот поглощались расплавленным металлом, и от этого металл становился ломким и хрупким.

Изобретатели стали думать над тем, как оградить место сварки от доступа воздуха.

Но не только одна эта забота тревожила изобретателей.

Надо было резко повысить скорость сварки.

«Больше танков!» — требовал фронт. «Больше танков!» — звучал заказ народа.

На заводах всех стран мира сварка танков велась вручную, и это казалось теперь таким медлительным и неуместным, как шитьё солдатских гимнастёрки ручной иглой...

В лабораториях и научно-исследовательских институтах развернулось сражение за прочность и скорость сварки. И сражение это выиграл один из полководцев научного фронта академик Е. О. Патон.

Он придумал машину, обгоняющую электроды Славянова и Бенардоса настолько же, насколько швейная машина обгоняет иглу швеи.

Электросварочная машина Патона и впрямь похожа на швейную. Слово нитка в швейной машине, непрерывно подаётся к машине проволочный электрод. На конце у «нитки» иголки нет. Вместо неё пылает дуга Василия Петрова.

Но самой дуги не видно. Она засыпана слоем флюса — порошка особого состава, сыплющегося из маленького бункера наверху.

Замечательный способ сварки под слоем флюса придумал двадцать лет назад советский изобретатель Дульчевский.

Флюс плавится в дуге и застывает каменной коркой шлака, защищая шов от доступа воздуха. Флюс, как тёплым одеялом, укутывает дугу, и от этого зной дуги возрастает и идёт почти целиком на плавление металла: капли жидкого железа брызжут с проволоки дробной струёй. Жар дуги велик, но не пережигает железо; одеяло из флюса не пускает по шву кислород.

Головка машины резко движется вдоль стыка броневых плит, и когда вслед за ней сбивают зубилом корку шлака, то под коркой открывается блестящий, как ручей, гладкий и прочный шов.

Изобретатели советской страны преобразуют технику, а новая техника преобразует человека.

Поглядите на электросварщика, работающего на машине Патона.

То не согнутый в три погибели сварщик, в неослабной мускульной натуре клаустирующий стежок за стежком.

Это распрямлённый человек, его поступь свободна и корпус прям. Строгая складка между бровей говорит о работе мысли. Он лишь изредка трогает податливые рычаги, сопоставив в уме показания стрелок приборов.

Человек работает головой.

Пропасть между мускульным и умственным трудом исчезает.

Советские танкисты, сражаясь в танках, сваренных машиной Патона, увенчали себя славой героев.

Званием Героя увенчан и академик Патон — высшим званием Героя Социалистического Труда.

Но кончается война, и мечи перековывают в плуги. На решение задач мирного строительства обращается всей своею мощью и рождённая в боях автоматическая электросварка.

Новым советским электросварочным машинам дано могучее и мирное имя: электросварочный трактор.

Этот трактор движется на колёсах, но не тащит за собою плуг. Он несёт лишь электросварочную головку, как в машине Патона.

Но когда он идёт по стальным этажам высотного здания, за ним стелется сварочный шов, словно мирная борозда.

МОЛОДОСТЬ ЗРЕНИЯ

А как же дуговые лампы?

Неужели сложили они навсегда своё лучистое оружие?

На этот вопрос отвечать придётся издали.

Гениальную картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» чуть не погубил сумасшедший. Он забрёл в Третьяковскую галерею и ударом ножа вспорол

холст. Картина, казалось, была ранена насмерть: краски облупились, по лицу Ивана Грозного прошёл рваный разрез.

Картину спасали лучшие реставраторы России. Терпеливо, нитка за ниткой склеивали они драгоценный холст и добились чуда: рваные края разреза срослись, как живое тело. Восстанавливать живопись должен был сам Репин.

Когда Репину сообщили о несчастье, престарелый художник, говорят, обрадовался. Он с годами будто бы стал замечать недостатки картины, которых раньше не видел. Год от году она нравилась ему всё меньше и меньше. Он втайне укорял себя за пренебрежение к фиолетовым оттенкам и всё твёрже убеждался в том, что лицо Ивана Грозного он пережелтил.

Репин рад был случаю исправить «ошибки молодости». Он стал писать лицо Ивана заново, налегая теперь на холодные фиолетовые тона.

Почитатели художника тревожно следили за ходом его кисти. И чем дальше подвигалась работа, тем сильнее росло беспокойство и недоумение окружающих. На глазах у всех в радостном вдохновении художник портил свою картину. А когда он, довольный и успокоенный, отошёл от станка, окружающим стало ясно: последний удар репинской кисти оказался для картины смертельней, чем удар ножа.

Картина была погублена бесповоротно.

Почитатели умоляли художника вернуться к своим старым краскам, но Репин только смеялся и махал руками.

Тогда хозяин галереи решился смыть все репинские исправления, и другой художник по памяти восстановил картину в прежнем виде.

Много лет назад над странностями Репина призадумался один физиолог. Каприз ли это? Если так, то почему от многих картин художника, написанных в старости на чужбине, веет холодом лиловых тонов?

Учёный стал ходить по музеям и рассматривать полотна других живописцев. Он искал в уголках картин даты, стоявшие рядом с подписями, и заглядывал в справочную книжку, где помечены были годы жизни известных художников.

Он подметил любопытный закон: многие художники, дожив до старости, заражаются склонностью к лиловым тонам, и с годами на их полотнах всё полнее забирают власть голубые, синие, фиолетовые краски.

Учёный, повторяю, был физиологом и причину стал искать не в капризах творчества, а в особенностях человеческого зрения. Ведь с годами глаза человека слабеют, изменяются. Может быть, и цвета пожилой человек начинает видеть по-другому.

Физиолог проследил, как меняются глаза пожилых людей, и нашёл, что под старость хрустально-прозрачные среды глаза понемногу желтеют. Значит, многие старики начинают глядеть на мир, как сквозь слабое жёлтое стекло. А ведь жёлтое стекло потому и жёлто, что легко пропускает жёлтые и красные лучи, а фиолетовые и синие поглощает. Смотрит художник на картину пожелтевшими глазами. Сверкают синие краски на полотне, рвутся с холста, рвутся и не могут пробиться сквозь жёлтые среды глаза.

Ворчит художник, что синие цвета на холсте тусклы, и не знает, что краски тут ни при чём, а это глаза его к синим цветам стали подслеповатыми.

Бывает неполная глухота: уши плохо слышат басовые тона, а тонкие звуки разбирают отлично.

Теперь представьте, что глохнет дирижёр.

Слышит он, как звонко запевают флейты и скрипки, но всё ему чудится, что ударные слабы. Бьют литавры, ухает барабан, а дирижёр всё злее тычет палочкой: давай, давай, давай!

Гремят барабаны, глушат всё и вся... Люди зажимают уши: что случилось с музыкантом?

Стоит художник не с палочкой, а с кистью в руке. Перед ним на холсте — безмолвный хор красок, беззвучная симфония цветов.

В полном блеске синие мазки — полыхают синим огнём. Но у художника жёлтые глаза, для него недоступно их сверканье. И он тычет и тычет кистью, как глухой

дирижёр палочкой, берedit, разжигает их сильнее и сильнее. Озадачены люди беспутством красок: что случилось с художником?

Впрочем, это беда не одних пожилых людей, все мы каждый вечер попадаем в их положение.

Вечером, при свете электрических лампочек картины заметно изменяют свои цвета. Синие тона меркнут и как бы отходят вглубь, а красные, оранжевые, жёлтые краски выступают из холста, затмевая всё остальное.

Будь у нас взыскательность репинского зрения, нам бы обязательно захотелось эту картину переписать, оживить поблёкшие синие краски.

Но виновны на этот раз не наши глаза, а свет электрических ламп.

Каждый знает, что синие мазки только потому и сини, что отражают синие лучи. А если свет такой, что синих лучей в нём мало, то и отражать, разумеется, нечего: синие мазки обесцветятся.

В свете электрических ламп накаливания мало синих лучей, зато много красных, оранжевых, жёлтых. В этом легче всего убеждаешься на рассвете, когда немощно жёлтыми кажутся фонари, побеждаемые белым блеском солнечного дня.

Вечерами, в жёлтом свете электрических ламп глаза как бы стареют, и не одни художники попадают впросак из-за этой временной старости зрения.

Типографы готовятся выпустить за ночь срочный плакат. Они сели поближе к лампе, смешивают краски, чутко вслушиваясь в смутный шёпот цветов. Всю ночь вращаются валы ротационных машин, шумит многоцветный водопад бумаги. А наутро спохватываются с болью: все плакаты поражены, как болезнью, мёртвым холодом фиолетовых тонов.

На фабрике красильщики горюют над кипами бракованной ткани.

Хирург, сделав разрез, заколебался в диагнозе — так изменился цвет опухоли в обманчивом свете электрических ламп.

Выходит, что электрические лампы морочат нас. И учёные задумались над тем, чтобы сделать электрический свет правдивым до конца, чтобы сделать ещё один шаг к солнцу.

СВЕТ БЕЗ ОБМАНА

Дело, казалось бы, простое.

Красных, жёлтых, оранжевых лучей электрические лампы испускают больше, чем нужно. Значит, надо притушить поток этих лучей, чтобы они не довели над синими.

Иностранные фирмы так и поступили. Они выпустили лампы в синеватых колбах. Синее стекло затемняло красно-жёлтые лучи, синие же пропускало без потерь. Если верно подобрано стекло, то действительно свет этих ламп мало отличается от дневного.

Получилась лампа дневного света.

Очень просто, но какой дорогой ценой.

Всё, что было ярким и сильным в снопе её лучей, поглощалось синим стеклом. Зажечь факел, а затем нарочно затемнять его, завладеть лучистым богатством а потом обкрадывать самих себя: по этой ли дороге шагают к солнцу?

Правду говорят в народе, что иная простота похуже воровства!

Простота эта была отступлением в науке.

А советские учёные не привыкли отступать.

Если синих лучей мало, если синие лучи — это «узкое место» в лампе, то неправильно равняться по узким местам, затемняя нарочно лучи жёлтые.

Настоящие изобретатели так не поступают. Они бросят всю свою выдумку на то, чтобы в самой лампе отыскать резервы получения синих лучей.

И советские учёные с академиком С. И. Вавиловым во главе начали создавать новую электрическую лампу, дерзко перекраивая всё её лучистое хозяйство.

Хозяйство было сложным. Лампы излучают не только видимые, но и невидимые лучи, бесполезные для освещения. На невидимое излучение понапрасну затрачивалась электрическая энергия.

Вавилону пришла в голову смелая мысль — в незримых лучах отыскать резерв для получения света.

Кто хоть раз просвечивался рентгеном, тот воочию видел, как незримые лучи превращаются в видимый свет. Под незримым потоком рентгеновых лучей голубым холодным светом загорается экран, покрытый светящимся составом.

Академик Вавилов был подлинным мастером холодного огня и прославился в науке тем, что открыл важнейшие законы холодного свечения, указал пути для создания многих удивительных светящихся составов.

С. И. Вавилов взял на особую заметку составы, которые светились под действием невидимых ультрафиолетовых лучей, тех лучей, которые, незримо присутствуя в солнечном свете, покрывают нашу кожу загаром. Лучи эти незримо присутствуют и в свете электрических ламп — ведь известно, что можно загореть и при мощном электрическом свете.

Батарея банок со светящимися составами выстроилась на полке лаборатории Вавилова. Днём они казались скучно-белыми, как зубной порошок. Но как только плотно зашторивали окна и включали источник невидимых ультрафиолетовых лучей, банки вспыхивали в темноте холодными цветными огнями, как на чёрном бархате камни-самоцветы.

Одна из банок была, как большой рубин, озарённый изнутри, другая похожа на жёлтый светящийся яхонт, третья полыхала зелёным изумрудным светом, а четвертая, как сапфир, излучала синее сияние.

Это и была как раз самая нужная банка.

В ней хранился светящийся порошок, превращавший невидимые лучи в синий свет.

Порошок будто сам просился в дело. Вот бы взять да замешать на этом порошке светящуюся краску, да закрасить ею поясок вокруг колбы лампы накаливания. Поясок засветится синим светом под воздействием невидимых ультрафиолетовых лучей, до сих пор пропадавших зря. Синий свет от пояска сольётся с желтоватым светом лампы и добавит ему голубизну, которой не доставало.

Но ведь это всё равно, что итти с чернильницей красить реку!

Слишком мало даёт лампа накаливания ультрафиолетовых лучей, слишком слабым будет синее сияние. И вся физика твердит о том, что нелегко увеличить заметно ультрафиолетовое излучение лампы накаливания.

Что же делать? Отступить от замысла? Сдаться?

Но советские учёные не сдаются. Разве вправе отступать в науке внуки Яблочкова, правнуки Петрова?

И великие русские предки подсказывают советским учёным путь к победе.

В дуге Василия Петрова открылся миру новый источник света — электрический разряд в газах.

В опытах Яблочкова над его свечой стало ясным, какие богатые возможности таятся в электрическом разряде для гибкой перестройки лучистого хозяйства ламп. Цветность пламени электрической свечи изменялась от добавки химических веществ в прокладку между углями.

Эти богатые возможности задумал использовать до конца академик Вавилов.

Со времён Яблочкова и Петрова русская наука шагнула далеко вперёд. Для получения электрического света уж давно пытались применить не одну дугу, но и многих её собратьев — разновидности электрического разряда в газах.

Выпускались газосветные лампы, где в стеклянной трубке, между проволочными электродами, сияла длинная, непрерывно делящаяся искра. Лампы эти светили гораздо тусклее дуги, но электроды при этом не плавилась и почти не раскалялись. Светился разреженный газ, заполнявший трубку. От замены газа резко изменялся цвет свечения. Газ неон давал яркокрасный свет, газ аргон — синий, пары натрия — неприятно жёлтый, пары ртути — резкий фиолетовый.

Лампы эти шли для ночных реклам, а для освещения вовсе не годились. В и

цветных лучах безнадежно путались все краски, очень уж разнился их свет от дневного света.

Но для воплощения смелой идеи Вавилова эти лампы открывали широкий простор. В излучении их таился большой резерв ультрафиолетовых лучей.

Бесцветные газы в запаянных стеклянных колбах, белые порошки в баночках — всё это стало в руках Вавилова и его сотрудников волшебной палитрой, легко рождавшей электрический огонь любого цвета.

Сотрудники Вавилова наливали в трубки будущих газосветных ламп жидкость, в которой был разболтан светящийся порошок. Затем жидкость сливали, и трубка делалась похожей на невымытый стакан из-под молока: тонкий прозрачный слой светящегося состава оседал на её стенках.

А когда готовая лампа загоралась, то в незримом потоке ультрафиолетовых лучей полупрозрачный слой вспыхивал ярким цветным свечением. Бесполезная энергия невидимых лучей перекачивалась в видимый свет.

Этот свет вливался в цветной световой поток электрического разряда, дополняя его недостающими лучами.

Это было такое общее решение задачи, что заветная лампа дневного света получалась тут мимоходом, как пример среди множества многоцветных ламп.

Газосветные лампы Вавилова, превращавшие в свет даже невидимые лучи, сильно сэкономили электрическую энергию.

Сэкономить же хотя бы грош на электрической лампе — значит получить громадную экономию вообще.

Каждая лампа — капля электрического огня.

Но по всей стране эти капли сливаются в океан электрического света. Сэкономить на каждой лампе один процент электрической энергии в нашей стране — это всё равно что построить громаднейшую гидроэлектростанцию.

И когда на минуту зажмуришь глаза в лаборатории, где в маленьких фарфоровых ступках растирают хрустящие порошки, кажется, что слышишь отдалённый скрежет бетономешалок на строительстве новой исполинской плотины.

Теперь газосветная лампа начинает теснить лампу накаливания.

Так возвращается, торжествуя, отошедший на время в тень великий принцип Петрова — Яблочкова.

В ходе времени слава больших русских изобретателей не уменьшается, а возрастает.

Метростроевцы — строители подземных дворцов — поговаривают уже о подземных садах с цветниками и клумбами.

Ведь нетрудно сегодня подобрать газосветную лампу, дающую растениям жизнетворные лучи, которые находят они в солнечном свете.

Художник теперь не колеблясь смешивает краски, а хирург бестрепетно направляет скальпель, спасая жизнь человека.

Светит им русский свет, белый свет без обмана. Люди ласково щурятся в лучах лампы, возвращающей молодость их глазам.

СИЛА ИСКР

Чем сильнее развивалась электротехника, тем яснее становилось одно новое, грозное обстоятельство: электрическая дуга не только друг, но и враг человека.

Она являлась, непрощенная и незванная, внезапно, словно злая волшебница, всюду, где рвалась цепь электрического тока.

Тайно под крышкой выключателя вспыхивали маленькие дуги и искры, маленькие злые дуги и искры металась под контактами электрического звонка, и открыто, на глазах у всего города вспыхивала дуга над трамваями и троллейбусами, словно кто-то гневно взмахивал под вечерним небом яркой фиолетовой шалью.

Всюду, где она появлялась, на металле контактов оставались ожоги, язвочки. Эти язвочки множились, теснили друг друга, быстро разъедавая контакты.

Дуги и искры стали бичом, напастью многих электрических приборов и машин. На борьбу с непокорными, дикими искрами поднялись учёные многих стран и в числе их советские учёные, ныне лауреаты Сталинской премии — супруги Б. Р. и Н. И. Лазаренко.

Воспротивиться искрам-грызунам, разъедающим контакты, показалось вначале не очень трудным делом. Надо было только подобрать специальный стойкий материал. Лазаренко стали ставить опыты.

На пластинки, подключённые к проводам и стучащие друг о друга, словно зуб, не попадающий на зуб, напаивали кусочки различных металлов. Между ними металлись маленькие вспышки искр. Искры грызли с разной жадностью серебро, платину, никель, медь, железо, вольфрам, молибден.

Пробовали изменять среду: помещали контакты в жидкость, газы, разреженный воздух.

Это только изменяло жадность искр, но не могло её укротить.

Вывод учёных был такой: нет в природе металла, который пришёлся бы искрам не по зубам. Искать его бесполезно.

Лазаренко были советскими учёными, и наука была для них неразрывно связана с жизнью, с практическими нуждами народа.

«А нельзя ли извлечь из этого прок?» — беспокойно спрашивали они себя, встретив каждое, даже пустышное на вид, явление.

В ходе кропотливой лабораторной возни из казалось бы случайных наблюдений и маловажных замет сложилось в головах исследователей большое изобретение, сворачивающее целую область техники с её многовековой колеи.

Когда пробовали окунать железные контакты в жидкость, чтобы уберечь их от разрушения, замечали, что жидкость мутнеет. Пока шли испытания с маслами, это никого не удивляло: думали, что пригорает масло.

Но когда помутнела чистая вода, исследователи спросили: что это за муть?

«А нельзя ли пустить её впрок?» — подумали они.

К стаканчику с мутной водой поднесли магнит.

Облачко мути потянулось к магниту. Это были капельки железа, оторвавшиеся от разрушенных контактов и застывшие, завязнувшие в воде. Это были частички металла, расплывённые искрами в воде, — тончайший железный порошок.

Значит, можно так получать железные порошки, необходимые металлургам и химикам!

Значит, можно даже вредное явление обратить себе на пользу!

Лазаренко построили «искровую мельницу», распыляющую в порошок металлы.

Над железной пластинкой, утопленной в масле и служившей анодом, танцевал железный стержень, служивший катодом.

При подскоках стерженька в масле брызгали искры. Муть осаждалась в отстойнике слоем железной пудры.

Ток подключён был так, что распылялась пластинка. Стержень взяли нарочно тонким, чтобы меньше железной пыли оседало на нём и побольше рассеивалось в масле.

Изобретатели пробовали свою «искровую мельницу» и не подозревали, что в эти часы под слоем масла свершается негаданное чудо, которое вдруг преобразит её в новую, ещё более удивительную машину, и эта машина затмит своей волшебной силой все их начальные замыслы и мечты.

Когда электроды вытащили из масла, оказалось, что стержень чудесным образом врезался в толщу пластинки, прошёл её насквозь, несколько при этом не пострадал. И отверстие в точности повторило очертания шестигранного стержня.

А ведь стержень вовсе не долбил пластинки, он слегка лишь подтанцовывал на ней. И всё-таки он вошёл в пластинку из твёрдой стали, как конец карандаша в пластилин.

Изобретатели закрепили стержень над самой пластинкой неподвижно, так, чтобы искры могли пробивать тонкий слой масла. И всё-таки в пластинке появилось аккумуля-

ратное углубление. Стержень медленно подавали вниз, и он прошёл пластинку насквозь

Тогда изобретатели поняли, что труды их не пропали даром и что в невод к ним, как к прилежному рыбаку, попала золотая рыбка. И как в сказке о старике и рыбке, они стали давать «мельнице» задачи одна сложнее другой.

На конец стержня насадили часовую шестерёнку, и шестерёнка пронизала пластинку насквозь, оставив отверстие с поразительной точности зубчатыми краями.

Монета, укреплённая на стержне, дала чёткий отпечаток на стали, как печать на горячем сургуче.

На пластинку положили стальной подшипниковый шарик, а на стержень нацепили медную проволочку толщиной с волосок. И тончайшая проволочка пронизала закалённый шарик, как иголка — комок хлебного мякиша.

Электрические искры, брызгавшие со стержня, с шестерёнки, с монеты, с кончика проволоки выгрызали металл, расплывая его в масле, расчищали путь в теле металла.

Изобретатели сообразили, что считать свою машину лишь одним аппаратом для производства металлических порошков — это так же неразумно, как считать токарный станок машинной для производства железных стружек.

Маленькая «искровая мельница», приютившаяся на краю лабораторного стола, с её слабыми, жидкими частями, была металлообрабатывающим станком будущего, более сильным, чем многие современные станки с их могучими, мускулистыми телами.

«Нет и не может быть таких металлов, которые оказались бы искрам не по зубам!» — подсказывал учёным горький опыт исследователей электрических контактов. «Значит, нет и не может быть металлов, которые не поддавались бы обработке искрой!» — заглушал его ликующий голос изобретателей.

Искра — это тот инструмент, которым можно обрабатывать любой металл.

В каменном веке инструментом человека был камень. Он и сейчас у нас в ходу в разнообразных точилах. К нему прибавились инструменты из других металлов, более крепких, чем обрабатываемый металл. Инструментом более твёрдым, чем изделие, человек срезал, откалывал частички металла.

А потом появились в станках металлические руки, держащие инструменты. Появились железные мускулы — двигатели к станкам.

Новая сила — электричество — завертела станки.

Но и электричество не нарушило табу о рангах, установленного среди металлов законами механики, законами прочности. Металлы, стоявшие у подножья лестницы твёрдости, легко подчинялись вышестоящим, а с теми, которые стояли на высшей ступени, сладу не было: сверхтвёрдые сплавы обработке не поддавались.

Вращение было душою двигателей и душою станков, и поэтому только круглые детали обрабатывались естественно и просто, а любую более сложной формы деталь можно было сделать только вручную или на станке такого мудрёного устройства, которое и встретишь не часто.

Электромоторы покорно вращали тяжёлые маховики и жужжащие семейства зубчатых колёс, хитроумные сплетения рычагов превращали вращение в сложные движения, деловито металась взад и вперёд и тёрлась друг о друга многотонные глыбы металла, и со страшной силой врезались в изделие резцы и свёрла, так что замирали от напряжения могучие станины станков.

Но как тысячи лет назад, раздавался в цехах первобытный скрежет металла, обдирающего металл.

Электричество — самая совершенная сила природы — оставалось в станках слугой грубой механической силы.

И вот Лазаренко, вслед за русскими учёными Славяновым и Бенардосом и их последователями, заставили электричество не только двигать обрабатывающие станки, но и прямо обрабатывать металлы.

И тогда оказалось, что двигать-то почти ничего не нужно. Не нужно вращать шарошек и свёрл или водить резцы по фигурным путям.

Надо было лишь тихо сблизать под слоем масла инструменты и детали.

И при слабом шелесте искр рождались в масляных ваннах детали таких затейливых форм, о которых станкостроители и не смели думать.

Ненужными стали могучие станины станков: ведь они теперь не напрягаются, а металл послушно уступает легчайшим прикосновениям искр.

Ненужными становятся инструменты несокрушимой твёрдости. Ведь металлы не вступают теперь в единоборство. Иерархия металлов поколеблена. Самые мягкие металлы, вооружённые щёткой искр, торжествуют над металлами рекордной твёрдости. И мягчайшими инструментами изготавливают из сверхтвёрдых сплавов рабочие детали машин, не знающие износа.

Русские изобретатели ставят технику металлообработки с головы на ноги: механика делается робкой служанкой электричества.

Золотая рыбка научного открытия трепещет в их руках, они не задают ей нелепых задач, и она с охотой исполняет их желания.

На заводах появились станочки-карлики, выполняющие работу гигантов. На большом столе размещается целый цех.

Искровая пила без зубьев. Она пилит, не касаясь металла. Лишь в том месте, где она приближается к металлу, вспыхивают искры, словно огненные зубцы. Их заливают масляная струйка, льющаяся из крана в распил.

Электрическое точило... Не бесчисленные острые песчинки точильного камня затачивают лезвие, а бесчисленные острые искорки гложут резец из сверхтвёрдого сплава.

Электрошлифовальный станок... Но пока дописываются эти строки, новые неожиданные чудеса успеет, наверное, натворить волшебница-искра в руках изобретателей, разгадавших её повадки и тем самым целиком подчинивших её себе.

ДВА ПУТИ

Так в руках советских изобретателей, служащих народу, даже вредные явления превращаются в полезные, начинают служить народу.

Есть, однако, лаборатории, где не хулиганы и умалишённые, а почтенные учёные изобретатели всю свою хитрость, выдумку, знания употребляют для того, чтобы как-нибудь отравить, исковеркать, испакостить полезные, нужные людям вещи, вооружить вещи против людей.

И не против врагов своей страны приходится им вести эту разрушительную работу, а против своих же соотечественников, тех, что мирно проходят под окнами их лабораторий и играют с ними в гольф после трудного рабочего дня.

Эти дикие изыскания ведутся в капиталистических странах. Изобретателей толкает к ним гнетущая сила денег, порождающая уродливые отношения между людьми и уродливые отношения человека к вещи.

Вот как зарубежные учёные уродуют электрическую лампу, созданную гением русских людей.

В США фабрикантам лампочек для карманного фонаря не давало спать спокойно положение фабрикантов батареек.

«Хорошо им с батарейками! — рассуждали фабриканты лампочек, — Только вставит покупатель батарейку в фонарь, а она уже иссякла и приходится опять бежать в магазин, оставлять на прилавке деньги.

Не то у нас с лампочками. Покупатель вставляет лампу в фонарь, а затем перестаёт о ней и думать. И кто это постарался сделать лампы такими надёжными?»

Фабриканты сговорились повернуть историю техники вспять, возратить электрическую лампу к её несовершенному виду. Поручили продажным учёным испортить лампочки: пусть живут столько же, сколько батареек!

Учёные, потрудившись, разработали порченные лампы, а фабриканты стали их производить, пригрозив пустить по миру каждого, кто попробует делать лучшие.

Много хитрости вложил один американец в разработку лампы-воровки.

Выполнял он заказ владельцев электростанций. Они требовали прожорливых газосветных ламп, которые брали бы много электрической энергии.

Только это должны быть не просто прожорливые лампы, а такие, которые на первое время притворялись бы экономичными.

Покупает потребитель в магазине экономичную лампу, а она через несколько дней горения развивает такой непомерный аппетит, что счётчик начинает вертеться, как вентилятор. Потребитель не замечает, что характер лампы резко изменился. А владельцы электростанций вручают потребителю счёт на круглую сумму: платите деньги.

Американский учёный выполнил заказ, сделал лампу. Неизвестно точно, как она устроена.

Можно догадаться только, что в ходе горения лампы в её колбе выделяются какие-то примеси. Состав газа изменяется, вместе с ним изменяется экономичность лампы.

Русская наука милосердна и человеколюбива. Русские люди добыли электричество и свет для людей, современные американцы обращают их против людей, против человечества.

Американцы опозорили электричество, изобретя электрический стул.

Вслед за ними югославские фашисты опозорили электрический свет, превратив его в орудие палача.

В титовских застенках в глаза жертвы направляют яркие лучи электрических фонарей. И несчастный человек бесконечно мучится от бессоницы. Он не в силах заснуть от красных лучей, бьющих даже сквозь сомкнутые веки.

Советская наука и техника несут жизнь и мир и стоят на страже мира.

На защите мирных городов стояла и будет стоять дуга Василия Петрова.

Она пылала в прожекторах, и из их громадных вогнутых зеркал грозно глядело в небо её тысячекратно увеличенное огненное лицо.

И, осмелившись взглянуть ей в лицо, слепли воздушные налётчики.

В институтах и лабораториях учёные трудятся над увеличением яркости электрической дуги.

Выдающийся советский прожекторист, профессор Н. А. Карякин, разработал прожекторные углы повышенной яркости.

Они с виду похожи на карандаш. Но у них из графита не сердцевина, а оболочка. В сердцевине же запрессован химический состав, умножающий яркость пламени.

За свои необыкновенные углы Н. А. Карякин с помощниками удостоены Сталинской премии.

И когда прогремел салют Победы, то дуга заняла в нём по праву почётное место: гордо развернулся в небе веер прожекторных лучей.

Так силен был этот залп лучей, что по утверждению астрономов блеск прожекторных зеркал был бы виден простым глазом с луны.

Электрическая дуга занимается ныне тысячами мирных дел. Она бушует в металлургических печах, перекинувшись между расплавленным металлом и угольным стержнем, огромным, как колонна толщиной в обхват. Дуга варит сталь для машин и строек пятилетки.

А когда знаменитый советский электротехник академик В. П. Никитин задумал сделать подарок комсомольской молодёжи, строившей города, он подарил им дуговой электросварочный аппарат «Комсомолец» собственной конструкции.

Из бывалых, умудрённых опытом рук переходит дуга в молодые горячие руки.

Кто знает, каким ещё новым чудом обернётся дуга в этих новых верных руках!

Неугасимо горит дуга Василия Петрова и пронизывает светом глубины морей и лучами достигает лунного диска.

Это русское солнце светит во вселенной — солнце русской науки!



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СУРКОВ

★

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

1

Работы товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания являют собой классический образец творческого марксизма. Совершив коренной переворот в области науки о языке, они обогатили исторический и диалектический материализм рядом открытий, имеющих выдающееся теоретическое значение. Посвященные непосредственно проблемам языкознания, эти работы И. В. Сталина охватили такой широкий круг тем, дали исчерпывающий ответ на столько животрепещущих вопросов исторического и диалектического материализма, что их появление ознаменовало новый этап в развитии марксистской науки об обществе. Перед всеми учёными-марксистами, в какой бы области они ни работали, произведения И. В. Сталина, посвященные марксизму в языкознании, открыли новые необъятные перспективы, новые творческие горизонты. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке, о своеобразии законов развития в бесклассовом социалистическом обществе, о взаимоотношениях языка и базиса, языка и мышления, о судьбах национальных языков в период до победы социализма в мировом масштабе и в эпоху после победы социализма во всемирном масштабе,— обогатилось в этих работах И. В. Сталина новым теоретическим содержанием, поднялось на новую, высшую ступень. Работы И. В. Сталина положили конец вульгаризации и извращению марксизма в области языкознания и вывели советскую науку о языке на широкий и вольный простор, создав все реальные условия для того, чтобы она смогла занять первое место в мировом языкознании.

Тем самым эти работы с исключительной силой мобилизовали советских учёных на борьбу против всех и всяческих упрости-телей и вульгаризаторов марксизма, против всех, подменяющих живой, творческий марксизм талмудическим начётничеством и схоластикой.

Давая в своём «Ответе товарищам» обобщающее классическое определение марксизма как науки о законах развития природы и общества, науки о революции угнётенных и эксплуатируемых масс, науки о победе социализма во всех странах, науки о строительстве коммунизма, И. В. Сталин подчёркивает: «Марксизм, как наука, не может стоять на одном месте, — он развивается и совершенствуется. В своем развитии марксизм не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, — следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами, соответствующими новым историческим задачам. Марксизм не признает неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма».¹

Работы И. В. Сталина по вопросам языкознания и представляют собой замечательный образец такого творческого развития марксизма.

В борьбе, которую советские люди под руководством партии ведут за дальнейшее укрепление социалистического государства и быстрейший переход к коммунизму, за

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Издательство «Правда», 1950, стр. 48.

мир и демократию во всём мире, против империалистической реакции и поджигателей новой войны, работы И. В. Сталина по языкознанию являются могучим теоретическим оружием, ещё более увеличивающим несокрушимую крепость советского общественного строя. Историческое значение этих работ И. В. Сталина — в том, что они ещё крепче вооружили советский народ и большевистскую партию для дальнейшей победоносной борьбы за коммунизм. С поразительной наглядностью показав роль надстройки, которая, появившись на свет, «...становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю dokonать и ликвидировать старый базис и старые классы»,¹ И. В. Сталин с исключительной глубиной раскрыл ту важнейшую роль, которую призваны сыграть в дальнейшей борьбе за победу коммунизма могучее советское государство и передовая советская идеология. Марксистско-ленинское учение об активности надстройки, гениально развитое И. В. Сталиным, имеет огромное революционизирующее значение. Все враги марксизма-ленинизма неслучайно всегда стремились ослабить и затуманить влияние, которое надстройка оказывает на судьбу своего базиса, на развитие общества.

«Падение «экономистов» и меньшевиков, — говорится по этому поводу в кратком курсе истории ВКП(б), — объясняется, между прочим, тем, что они не признавали мобилизующей, организующей и преобразующей роли передовой теории, передовой идеи и, впадая в вулгарный материализм, сводили их роль почти к нулю, — следовательно, обрекали партию на пассивность, на прозябание».² Цель врагов народа состояла в том, чтобы помешать рабочему классу и его партии со всей возможной полнотой использовать в своей борьбе за свободу и счастье народа такую мощную силу, какой являются выработанные им передовые, революционные идеи — политические, правовые, художественные, философские. Разоблачая эти предательские

пронски «экономистов» и меньшевиков, троцкистов и бухаринцев, партия и товарищ Сталин показали, как надо до дна использовать в интересах трудящихся активность надстройки. мощь передовых социалистических идей и учреждений.

Под руководством партии большевиков советский народ до основания разрушил капитализм и преобразил страну, превратившуюся за годы сталинских пятилеток в непобедимую социалистическую державу, светоч и надежду угнетённых и эксплуатируемых трудящихся масс во всём мире. «На протяжении последних 30 лет, — указывает И. В. Сталин, — в России был ликвидирован старый, капиталистический базис и построен новый, социалистический базис. Соответственно с этим была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и создана новая надстройка, соответствующая социалистическому базису».¹

В осуществлении этой революционной преобразующей работы всемирноисторического значения почётная роль принадлежит социалистической надстройке, проявившей в борьбе за укрепление социалистического базиса величайшую активность. Тщетно пытались предатели из троцкистского и бухаринского лагеря помешать росту и укреплению советского государства, росту и укреплению передовой социалистической культуры. Партия Ленина—Сталина с первых же дней революции взяла твёрдый курс на всемерное развитие и активизацию новой, социалистической надстройки. В исторических документах большевистской партии — в письме ЦК РКП(б) 1920 года «О пролеткультах», в резолюции ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», в резолюции XIII съезда партии «О печати», в постановлении ЦК ВКП(б) 1932 года о ликвидации РАПП, в постановлениях ЦК ВКП(б) 1946 и 1948 гг. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере В. Мурадели «Великая дружба», в высказываниях по вопросам литературы и искусства В. И. Ленина и И. В. Сталина, а также в статьях и выступлениях их ближайших соратников эта линия на неуклонное

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 4—5.

² «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». Госполитиздат, 1946, стр. 112.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 4.

увеличение активности социалистической идеологии в борьбе за коммунизм получила последовательное и отчётливое выражение. На этой основе и были достигнуты те грандиозные успехи во всех областях идеологического творчества, которыми справедливо гордится советский народ.

Работы И. В. Сталина по вопросам языкознания создали новые могучие предпосылки для дальнейшей активизации социалистической надстройки. Слова И. В. Сталина о том, что «Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему...»¹, призывают деятелей советского идеологического фронта ещё смелее выходить на передовую линию огня, беспощадно громить идеологию империалистической реакции, вдохновенно работать над созданием того изобилия духовной культуры, которое партия считает важнейшим завоеванием социалистического общественного строя. Вместе с тем, работы И. В. Сталина, нанёсшие сокрушающий удар по антимарксистским теориям вульгаризаторов из «школы» Н. Я. Марра, по «аракчеевскому режиму» в языковедческой науке, создали все необходимые предпосылки для всестороннего выполнения этих задач, для нового, стремительного движения вперёд во всех сферах науки, литературы, искусства. Они расчистили путь к новым творческим вершинам, к новым завоеваниям и победам для всех мастеров советской культуры.

2

Исключительно велико значение работ И. В. Сталина для литературы социалистического реализма. В этих работах советская литература получила питательную почву для своего дальнейшего роста, для борьбы со всеми ложными теориями и пережитками, ещё мешающими её творческому развитию. Нет ни одной творческой проблемы в жизни советской литературы, которая бы не осветилась сейчас новым светом. Значение работ И. В. Сталина по языкознанию оказалось равновеликим и для литературоведческой теории, и для самой литературы. Критика И. В. Сталиным так называемого «нового учения о языке» Н. Я. Марра, находившегося в родстве с теориями пролеткультовцев и рапповцев,

открыла новую главу в эстетике социалистического реализма. С предельной очевидностью стали ясны сейчас теоретические корни многих из тех заблуждений и ошибок, с которыми не однажды приходилось бороться советской литературе в ходе своего развития. С предельной отчётливостью наметилась после появления этих работ новая возможность совершенствования и укрепления советской литературы.

Одной из важнейших черт, сближающих «новое учение о языке» Н. Я. Марра со взглядами пролеткультовцев и рапповцев, является их сектантское, антимарксистское представление о культуре пролетариата. И пролеткультовцы, и рапповцы одинаково стремились к тому, чтобы оторвать передовую, освещённую светом коммунистических идей культуру социалистического общественного строя от предшествующего культурного и художественного развития человечества, от того великого наследия, к внимательному критическому овладению которым неизменно призывал В. И. Ленин. Вульгаризируя и извращая марксизм, пролеткультовцы и рапповцы одинаково пытались ревизовать ленинское учение о пролетарской культуре, распространяли вредное представление о литературе и искусстве, создаваемых освобождённым рабочим классом, как о литературе и искусстве, возникающих якобы на пустом месте, в результате «революционного» взрыва и слома всех художественных ценностей прошлого. «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре, — говорил В. И. Ленин в своей исторической речи на III съезде комсомола. — Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».¹ Этой ясной и глубоко продуктивной ленинской точке зрения пролеткультовцы и рапповцы пытались противопоставить демагогический, вульгарно-социологический взгляд на классическое наследие, как на якобы сплошь заражённое ядом враждебной пролетариату идеологии и морали собственно-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 5.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е. т. XXX, стр. 406.

ческих классов, как на идеологическое орудие укрепления политического господства этих классов. Извращая историю художественного развития человечества и отождествляя в духе вульгарного «экономического материализма» идеологическую надстройку с производственными отношениями, сектанты из Пролеткульта и РАПП¹ упорно игнорировали мудрое указание Ленина, подчеркнывавшего, что бессмертные эстетические ценности прошлого, созданные под гнётом эксплуататорских классов, явились результатом отрицания циничной и антигуманистической идеологии и морали этих классов.

Вульгарные, антинаучные теории рапповцев и пролеткультовцев разоружали советский народ, наносили огромный ущерб нашему культурному и литературному строительству. Не случайно свои преступные атаки против культуры и, в частности, литературы советского общества враги народа вели, прикрываясь, как щитом, этими теориями.

Без разгрома антиленинских теорий пролеткультовцев и рапповцев было бы невозможно успешное строительство социалистической культуры, рост и развитие советской литературы. Эту важнейшую задачу партия выполнила под руководством Ленина и Сталина. Из рук великого Сталина советские писатели, артисты, художники получили действенное оружие борьбы и побед — теорию социалистического реализма. Руководясь этой теорией, советская литература в небывало короткие исторические сроки выросла в самую передовую и высокоидейную литературу в мире.

К сожалению, сорняки антимарксистских идей, посеянных в своё время пролеткультовцами и рапповцами, оказались более живучими, чем можно было предполагать. Совсем недавно они проросли в статье новоявленного вульгаризатора и демагога А. Белика, пригретого редакцией журнала «Октябрь». Третируя с высокомерием невежды великих писателей прошлого как идейных «недомерков», якобы сплошь страдающих немочью созерцательности, А. Белик снова сделал попытку разорвать связи, соединяющие новаторскую литературу социалистического реализма с творческим опытом её великих предшественников. Правильное положение о том, что советской

литературе, отражающей самый передовой общественный строй — советский общественный строй, присущи принципиально новые, новаторские черты, позволяющие рассматривать литературу социалистического реализма как новую ступень в художественном развитии человечества, — незадачливый последыш рапповцев постарался довести до карикатуры, до абсурда. Беззастенчиво извратив теорию социалистического реализма, Белик, по справедливой оценке партийной печати, выступил как реставратор рапповского антипартийного сектантства и вульгарного социологизма.

Вспоминая сейчас историю многолетней и неустанной борьбы партии с антимарксистскими, антиленинскими теориями и теориями, ясно понимаешь, что от решений партии, направленных на разгром Пролеткульта и РАПП², идёт единая и последовательная линия к нынешним замечательным работам И. В. Сталина, разрушившим до основания вульгаризаторское «учение о языке» Н. Я. Марра. По глубокому замечанию И. В. Сталина, Марр «...хотел быть и старался быть марксистом, но он не сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростиателем и вульгаризатором марксизма, вроде «пролеткультовцев» или «рапповцев».¹ Основой языковедческой системы Марра явилось неправильное, немарксистское понимание языка, как надстройки, из чего с необходимостью вытекало представление о языке, как о форме классовой идеологии. Не понимая, что «Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания»,² не понимая, что в силу этих своих свойств «...национальные языки являются не классовыми, а общенародными языками, общими для членов наций и едиными для нации»,³ Марр и его ученики извращённо излагали историю развития русского и других национальных языков, подменяли марксизм в вопросах языкознания своими вульгарными и антиисторическими домыслами. Игнорируя известное заявление Ленина, сделанное им в период полемики с бундовцами, о том, что он воюет против буржуазной культуры,

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 28.

² Там же, с-гр. 18.

³ Там же, стр. 10.

а не против национального языка, необходимость которого он считает бесспорной, Марр и его приспешники объявили задачей языковой политики советского государства борьбу против измышленных ими «буржуазных» и «дворянских» языков за — опять-таки измышлённый ими — «пролетарский» язык. На этой основе и возникла пресловутая марровская теория стадийного развития языка, которая в полном противоречии с фактами истории утверждала, что переход языка от старого качества к новому происходит путём внезапных, «революционных» взрывов, путём уничтожения ранее сложившихся языковых «классовых» систем.

Критикуя подобный примитивно-анархический взгляд на развитие языка, И. В. Сталин указывает, что одна из ошибок марровцев состоит в том, что они «...воспринимают противоположность интересов буржуазии и пролетариата, их ожесточенную классовую борьбу, как распад общества, как разрыв всяких связей между враждебными классами. Они считают, что поскольку общество распалось и нет больше единого общества, а есть только классы, то не нужно и единого для общества языка, не нужно национального языка. Что же остается, если общество распалось и нет больше общенародного, национального языка? Остаются классы и «классовые языки». Понятно, что у каждого «классового языка» будет своя «классовая» грамматика, — «пролетарская» грамматика, «буржуазная» грамматика. Правда, таких грамматик не существует в природе, но это не смущает этих товарищей: они верят, что такие грамматики появятся».¹

Высмеивая прожектёрскую антинаучность этих «теорий», И. В. Сталин подчеркнул: «Только невежество в вопросах марксизма и полное непонимание природы языка могли подсказать некоторым нашим товарищам сказку о распаде общества, о «классовых» языках, о «классовых» грамматиках».²

Однако эти невежественные взгляды оказались довольно распространёнными. Они завладели умами многих языковедов и оказали известное влияние на некоторых со-

ветских литераторов. Несмотря на то, что основная масса писателей, опираясь на гениальные высказывания В. И. Ленина о языке, развитые и обогащённые И. В. Сталиным, руководствуясь методом социалистического реализма, избежала воздействия вульгаризаторских теорий Марра, всё же определённое влияние этих теорий на искания некоторых писателей в области языка несомненно. Влияние этих теорий препятствовало до определённой степени успешному осуществлению той работы по дальнейшему обогащению общенационального русского литературного языка, которая является одной из важнейших задач советской литературы. Безусловно прав академик В. Виноградов, утверждая дискуссию в своей статье «О лингвистической дискуссии и работах И. В. Сталина»: «Отношение к языку как к надстройке отражалось в большей или меньшей степени на методологии и содержании почти всех советских работ по истории любого языка. Устойчивое и общенародное в языке привлекало мало внимания: изучались главным образом «смены языковых систем». Языковые изменения ставились в непосредственную связь и в параллель с изменениями в базисе. История общелитературного языка органически связывалась с историей художественной литературы и её стилей и распределялась по тем же классовым граням и ступеням развития, что и художественная литература и публицистика. Смешивались понятия языка, диалекта и художественного стиля как системы выражения мировоззрения. В языке, рассматриваемом как идеологическая надстройка, повсюду отмечались и наблюдались классовые элементы, отражения общественно-экономической формации. Работы по истории литературного языка пестрели терминами: «язык феодальной знати», «язык крестьянства», «язык дворянства», «язык буржуазный» и т. п. Общенародные основы языка не были предметом глубокого внимания исследователей, так как связывались непосредственно с тем или иным базисом в качестве его надстройки».¹

Немудрено, что эти ложные взгляды, возобладавшие в языкознании благодаря установленному сторонниками Н. Я. Марра «аракчеевскому режиму», проникли и в умы некоторых писателей. Именно к этим,

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 15.

² Там же, стр. 16.

¹ «Большевик» № 15 за 1950 год, стр. 11.

ныне разоблачённым И. В. Сталиным, вульгаризаторским взглядам на природу языка и законы его развития и восходит, как к своей первооснове, большинство из тех ложных тенденций в области языкового строительства, с которыми не раз на протяжении более чем тридцатилетней истории советской литературы приходилось вести борьбу марксистско-ленинской критике. В этом необходимо сейчас отдать себе полный отчёт. Необходимо понять, что разгром И. В. Сталиным так называемого «нового учения о языке» Н. Я. Марра окончательно ставит все точки над «и» в тех многочисленных дискуссиях по языку, которые издавна велись и ведутся в советской литературе, и направляет языковые искания советских писателей в правильное русло.

3

Одной из излюбленных «идей» Н. Я. Марра была идея о речевой «революции» — о полной перестройке русского языка; его он объявлял «устаревшим», непригодным для выражения величайших революционных преобразований, свершившихся в социальной жизни нашей страны после 1917 года. «Интерес и жажда трудовых слоёв национальностей нашего Союза направлены на стройку литературного языка, которого у них раньше не было, и на перестройку литературного языка, процветавшего до Октября, но который по содержанию своему не отвечает потребностям строящегося социализма, а по форме находится в противоречии с мышлением пролетарских трудящихся масс»¹, — утверждал Н. Я. Марр. Требуя на этом «основании» приведения русского языка в соответствие с условиями революционной эпохи, Марр отвергал возможность постепенных, эволюционных изменений в языке, утверждая необходимость полного «слома» всей языковой системы, необходимость языкового «революционного взрыва»: «На такой ступени нового стадияльного развития, в момент революционного творчества, смешно даже говорить о реформе русского письма или грамматики, — решительно заявлял он в своей статье «К реформе письма и грамматики». — Ведь требуется постановка и решение вопроса с учётом всех актуальных по-

требностей нашей перестраивающейся жизни. Перестройка идёт в совершенно новых условиях производства и нарождающихся производственных отношений, поскольку на страже реконструкции и потребной ей культуры стоит с новым осознанием мира массовый класс рабочих с крестьянами, а в них и с ними нарастает неслыханная активность с перспективой бесклассового общества. Тут не о форме письма или грамматики приходится говорить, а о смене норм языка, переводе его на новые рельсы действительно массовой речи. То, что нужно, это не форма, не реформа или новая декорация старого содержания, а свежий сруб с новой всеосязной, мировой функцией из нового речевого материала...»¹

Не трудно заметить теснейшую связь, которая имеется между этими рассуждениями Н. Я. Марра и самыми фантастическими, реакционными и вредоносными бреднями буржуазных формалистов. Стоит только вспомнить, что писали о «языковой революции», о «революционном» разрыве со всем «старым» литературным языком, безоговорочно третиравшимся ими как «продукт буржуазно-дворянского общества», лидеры формалистической, откровенно идеалистической по своим философским основам, школы в литературоведении, чтобы стало абсолютно очевидным: крайности сходятся. При всей видимости непримиримых расхождений, якобы имеющихся между вульгарными социологами типа Марра и литературоведами-формалистами — от «Опояза» до конструктивистов, — в действительности они в некоторых важнейших вопросах протягивали друг другу руки.

Не будем злоупотреблять цитатами. Ограничимся цитированием только одной программной статьи 20-х годов тогдашнего теоретика русских футуристов Г. Винокура «Футуристы — строители языка». Мы находим здесь программу «языкового строительства» (или «языковой инженерии», как выражался Г. Винокур), чрезвычайно близко напоминающую только что приведённые высказывания Н. Я. Марра.

В своей статье Г. Винокур исходил из пресловутой предпосылки, что имеющийся русский литературный язык устарел и не

¹ Н. Я. Марр. Избранные работы. т. II, стр. 379.

¹ Н. Я. Марр. Избранные работы. т. II, стр. 375—376. (Разрядка моя.—Е. С.)

годится для обслуживания современности. В этом пункте формалист Г. Винокур выступал как типичный вульгарный социолог. Общациональный русский литературный язык, язык Пушкина, он объявлял, в полном согласии с марровским учением о классовости языков, классово-ограниченным, сословным. По мнению Г. Винокура, Пушкин создал не общациональный русский язык, а лишь «имел в виду дать язык тому классу, к которому он сам принадлежал и который не умел перевести с французского слова: «Ргёссиреё».

Естественно поэтому, что этот сословный и далее не пригодный для употребления язык должен быть сломан—«преодолен»,— как формулирует теоретик футуризма. Задача создания нового литературного языка, — Г. Винокур, разумеется, считал её решение исторической миссией футуристов, — ставится поэтому в зависимости от того, насколько решительно сумеют новые «речетворцы» преодолеть тот «массовый, разговорный язык», откуда они «черпают материал для своего языкового творчества». Какие бы то ни было «реформы» старого языка Г. Винокура не устраивают так же, как и Н. Я. Марра. Так же, как и этот последний, теоретик футуризма требовал полного пересоздания языка, который должен быть, по его мнению... сделан заново. В статье так и сказано: «Сделать язык улицы — так можно на первых порах (! — Е. С.) формулировать лингвистическую задачу футуризма...» (подчёркнуто Г. Винокуром. — Е. С.).

Прожектёрская, авантюристическая сущность этой «лингвистической программы» более чем очевидна.

«Ни для кого не составляет тайну тот факт, что русский язык так же хорошо обслуживал русский капитализм и русскую буржуазную культуру до Октябрьского переворота, как он обслуживает ныне социалистический строй и социалистическую культуру русского общества»,¹ — учит товарищ И. В. Сталин. Очень важно поэтому сейчас, когда, благодаря работам И. В. Сталина, внимание широкой общественности привлечено к проблемам языкознания, напомнить об этих «архиреволюционных», а на самом деле примитивно-

анархических, эстетски-нигилистических попытках «сломать» старый язык и «сделать» вместо него новый по рецептам, составленным в формалистической лингвистической кухне. Сделать это нужно потому, что подобные сопоставления с разительной очевидностью обнаруживают глубочайшую общность между идеей «речевой революции» Н. Я. Марра, с неизбежностью вытекавшей из его теории стадияльного развития языков, якобы создающихся путём «революционных взрывов» и скачков, и глубоко реакционной, вредоносной «работой» по разрушению русского общационального литературного языка, которую вели буржуазные эстеты и формалисты. Ведь, как известно, теории, вроде изложенной выше, порождали свою практику: практику эстетско-формалистического словотворчества, нанёсшего немалый вред русской литературе.

Известно также и другое: сам Н. Я. Марр неизменно третировал все попытки действительного изучения структуры языка, его грамматики и т. п., как «формализм». Подобная тактика, как показал товарищ И. В. Сталин в своём ответе тов. Е. Крашенинниковой, была выдумана «...авторами «нового учения» для облегчения борьбы со своими противниками в языкознании».¹

Тем более важно установить, что, демагогически отрицая всякое научное изучение языковых форм и объявляя подобные опыты формализмом, Н. Я. Марр на самом деле шёл в своих языковедческих теориях навстречу настоящим, доподлинным формалистам.

Проиллюстрируем это утверждение ещё одним примером.

С наибольшей наглядностью полный разрыв Н. Я. Марра с марксистским учением о языке проявился в неоднократно предпринимавшихся им попытках освободить язык от его «материальной оболочки» или, как говорил сам создатель «нового учения», от его «природной материи». Считая возможным мышление, которое выявляется помимо и вне языка, которое-де существует, не обретая своей материальной оболочки, Н. Я. Марр видел будущее языка именно в полном освобождении мысли от оков слова. Он утверждал, что «мышление идёт в гору от неиспользованных его накопле-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 5—6.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 36.

ний в прошлом и новых стяжений и имеет сместить и заменить полностью язык. Будущий язык — мышление, растущее в свободной от природной материи технике. Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, всё-таки связанному с нормами природы».¹

Откровенно идеалистический характер этих высказываний Н. Я. Марра с исчерпывающей ясностью вскрыл И. В. Сталин: «Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи» — не существует. «Язык есть непосредственная действительность мысли» (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка».²

Но именно потому, что «оголенных мыслей, свободных от языкового материала», реально не существует и не может существовать, никаких практических подтверждений своих лингвистических прогнозов Н. Я. Марр не дал и не мог дать.

Легко, однако, заметить, что в своём основном социальном и философском содержании идеалистическая ревизия языка, предпринятая Н. Я. Марром, не является абсолютной теоретической новинкой. То, о чём он, как теоретик, говорил априорно, умозрительно, неоднократно пытались практически осуществить представители некоторых идеалистических, эстетских поэтических школ и направлений, — пытались, разумеется, безрезультатно, ибо идея о возможности мысли вне слова столь же фантастична, как идея «перпетуум-мобиле». Здесь нам важно, однако, отметить не то, что эти попытки ни к чему не привели, а то, что они делались. Н. Я. Марр дал, таким образом, нечто вроде «теоретической формулы» тех поэтических исканий, относительно общественно-исторического смысла которых у марксистских историков литературы никогда не было расхождений. Недоверие к слову, боязнь его, стремление освободиться от слова, создать литературу, в которой слово будет по возможности сведено на нет, подчинено музыке, ритму, абстрактным звуковым сочетаниям,

будет трактовано беспредметно, вне своего реального смыслового, вещного содержания, алогично, как некая, в самой себе замкнутая, звучащая единица, как отвлечённая звуковая система, магически воздействующая на восприятие только эмоционально, помимо логики, — в этом, как известно, состоит характернейшая черта поэтических «исканий» тех направлений в литературе, которые были порождены идеалистическим, упадочническим мировоззрением реакционных классов.

Законченную формулу подобной антиобщественной тенденции к отрицанию коммуникативной мощи слова, к сомнению в безграничности творческих выразительных потенций, ему присущих, дал ещё в середине XIX века в своём знаменитом «Silentium» Тютчев:

Молчи, скрываясь и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встанут и заходят они
Безмолвно, как звёзды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Здесь всё сказано с великолепной точностью и сосредоточенностью; и то, почему бесполезным стало слово («Другому как понять тебя?»), и то, чем слово стало опасным («Мысль изречённая есть ложь»). Здесь слово объявляется бессильным выразить сокровенные тайны субъективного мира мысли личности — бессильным потому, что разорвались связи между личностью и обществом, личностью и народом, и самая общезначность мысли, а не только слова, оказалась поэтому под сомнением. Бесполезно пытаться перекинуть мостик из непознаваемых глубин замкнутого в себе духа вовне к другим воспринимающим индивидуумам, — поэтому мысль и должна довольствоваться самой собой («Питайся ими — и молчи»), должна замкнуться в себе, погрузиться в свои собственные пучины. Она не нуждается больше в том, чтобы быть выраженной: ей не нужна уже, следовательно, материальная оболочка, и слово «отменяется», поэтому за полной своей ненужностью.

¹ Н. Я. Марр. Избранные работы, т. III, стр. 121.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 33.

Сам Тютчев в своих классически-завершённых, философски насыщенных стихах не шёл по этому пути. В его поэзии слово полно содержания, весомо, зримо. И всё-таки то глубоко асоциальное сомнение в силе слова, которое впервые прозвучало в «Silentium», было не случайно для него, оно было порождено консерватизмом, реакционностью его политических и философских взглядов.

Идеи «Silentium» отозвались позднее. От символистов, стремившихся к мистической зашифрованности мысли, топивших логику реальных жизненных отношений в мутном потоке иррациональных видений, таинственных недосказанностей, «пророческих» бормотаний тянется непрерывная цепочка к Пастернаку с его нарочитым кликушеским косноязычием и демонстративным алогизмом ассоциаций. Суть всех этих поэтических «исканий» была одна: она состояла в попытках лишить слово его общественно-коммуникативных функций, сделать его по возможности более неконкретным, смутным, состояла в настойчивом желании (как у В. Хлебникова, В. Каменского) оторвать слово от реальности, в нём отразившейся, и превратить его в абстрактную фонему, в «звучащую единицу». Поэтическое настроение, замысел поэта в стихах этого типа воплощались не прямо в слове, а, по возможности, помимо него: в ритмике, мелодии, в произвольной игре налёков и ассоциаций, возбуждающих в душе читателя какие-то туманные, текущие представления. Многие стихи Блока, Хлебникова, Пастернака невозможно осознать логически, невозможно передать языком конкретных понятий. Такие стихи Блока, как, например, «Тебя скрывали туманы» или «Я и мир», состоят из слов, потерявших свой определённый смысл и собирающихся в строчки, в предложения по какой-то непостижимой для читателя связи. Слово в таких стихах значит уже не то, что оно означает в нормальной языковой практике человечества, так как ему сообщается особый мистический смысл, почти неуловимый рационально.

Разумеется, отсюда ещё далеко до «идеала», провозглашённого Н. Я. Марром: слово, хотя и нейтрализованное, вырванное из своих действительных связей и опосредствований, лишённое своих номинативных функций, всё же остаётся и в стихах

этого типа единственным материалом поэзии. Даже эта асоциальная, демонстративно алогичная поэзия не смогла освободиться от «природной матери» языка. Всё, чего она смогла практически достичь, ограничилось только частичной деформацией, частичным разрушением слова.

Больше же всего пострадала от этого декадентского надругательства над словом — мысль. Желая убить слово, декаденты убивали мысль; стремясь размыть конкретный реальный смысл, заключённый в слове, они размывали, уничтожали мысль. Поэзия декаданта — до Пастернака включительно — это поэзия униженной, если можно так выразиться, угнетённой мысли, ущербной бедности содержания. Попытка объявить поход против слова, как непосредственной реальности мысли, всегда означает, таким образом, поход прежде всего против мысли, против содержания в поэзии. Социальный смысл таких походов известен давно: глубоко реакционные, антинародные по самой своей сути, они принимаются только в периоды декаданса и являются знаменем глубочайшего кризиса культуры собственнических классов.

До предельного уродства эту архиреакционную тенденцию довели «заумники». Сейчас совершенно очевидно, что они без какого бы то ни было на то основания объявляли себя «отрицателями символистов» и «революционерами» в области языка. Произросшие на той же гнилой почве декаданта, что и символисты, они на словах отталкивались от них, а фактически делали то же самое, что и символисты, только с другого конца. Больше того: в стремлении освободиться от слова они зашли так далеко, как ни один из символистов. Они действительно попытались взорвать «старый» язык — попытались одним взмахом пера уничтожить его необъятный словарный запас, его грамматические формы, выработанные веками. «Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее», — авторитетно сообщал неизвестный А. Крученых, и тут же, не колеблясь, приводил пример этой завоёванной им «свободы» и «полноты»: «Го оснег кайд», — бойко провозглашал он в своей «Декларации заумного языка». Поистине это было бы страшно, если бы не было так глупо. Кучка маниаков пыталась

разрушить язык — тысячелетнее творение целого народа!

Но хотя это и было безумие, всё же в нём была своя последовательность, — как говаривал некогда шекспировский Пселоний. Её достаточно отчётливо выявил Н. Асеев. В период своего увлечения формалистическим словотворчеством, сблизившим его с заумниками, он опубликовал небольшую фантастическую новеллу «Завтра». В этой новелле он сделал попытку изложить и то, как представляют себе футуристы и заумники «завтра» человеческого языка. Между героями этой новеллы происходит разговор: он «вёлся на странном диалекте — звучном и выразительном, в котором, однако, не было и тени родства с существовавшими когда-либо человеческими наречиями. Дело в том, что, пройдя стадию механических языков, способ обмена мнений между людьми стал опираться на смысловые разряды корней, оставляя эмоциональную выразительность одеяния звуков в воле каждого отдельного человека.

Звучала их речь так:

— Жармайль. Урмитиль Эр Ша Ша райль.

— Вугр Тецигр. Фицорб агорг.

— Эрдарайль. Зуйль. Зуммь, мль.

— Вырдж. Жраб.»

Не будем пытаться выяснить, что реально могла означать по замыслу автора вся эта тарабарщина. Вряд ли и сам Асеев отдавал себе отчёт в том, что же могут всё-таки практически значить все эти «смысловые разряды корней» и «эмоциональная выразительность одеяния звуков», при помощи которых предстояло, согласно его прогнозу, изъясняться нашим несчастным потомкам.

Талантливый поэт скоро освободился от этих бредней. Под воздействием советской действительности, под благотворным влиянием Маяковского, он стал тем Асеевым, каким его знают сейчас читатели. И если мы вспоминаем здесь об этой его попытке предеречь новую стадию языка, освободившегося от словарного запаса и грамматических форм нынешнего «механического языка», то вовсе не затем, чтобы поставить ему в вину эти давние заблуждения. Нам интереснее другое: поразительная перекличка между языковыми прогнозами поэта-заумника и учёного лингвиста — творца «нового учения о языке», настойчиво и не-

однократно объявлявшего себя материалистом! Разумеется, Асеев даже и в этом своём «прогнозе» всё же до некоторой степени «отставал» от маститого учёного: вынужденный как-то выразить «новый способ общения между людьми», он поневоле прибег к подысканию для него некоей звуковой, материальной формы, которую, как мы помним, Н. Я. Марр отрицал начисто. Но важно не это различие, а то, что их обоих объединяет: стремление «взорвать» язык, упразднить его, обойтись без языка.

При этом совсем не существенно, кто кого вдохновлял: Марр декадентов и формалистов — или они его. Важно, что они шли одним путём. Важно, что теория стадияльного развития языков, неразрывно связанная с утверждением необходимости «революционных» взрывов в языке, с неотвратимостью вела в сфере литературной практики к формалистическим попыткам создать «новый» язык, служила оправданием и вдохновляющим стимулом для формалистического языкотворчества и нигилистического, примитивно-анархического отношения к имеющемуся общенациональному языку. Идеалистическая теория Н. Я. Марра о том, что в своём развитии язык якобы придёт к саморазрушению своей природной материи, в результате чего мысль освободится от оболочки слова, представляет собой не что иное, как попытку дать «учёное обобщение» языковой практике декадентов и заумников, стремившихся к разрушению слова, к разрушению языка.

«Новое учение о языке» Н. Я. Марра служило, таким образом, питательной почвой для формалистических течений в литературе, подводило «теоретический базис» под разрушительную работу в сфере языка, которую осуществляли эти направления. Господство «нового учения» Н. Я. Марра, поддерживавшееся при помощи «аракчеевского режима», затрудняло борьбу с формализмом в советской литературе, мешало до конца теоретически разоблачить и преодолеть формалистические тенденции в области литературного языка, до сих пор ещё иной раз проявляющиеся в творчестве некоторых поэтов и писателей.

Нанеся сокрушающий удар по «новому учению о языке» Н. Я. Марра, товарищ И. В. Сталин оказал неоценимую помощь

советской литературе, указал советским писателям, в каком направлении должна идти их работа по развитию и совершенствованию современного русского литературного языка, создал теоретические предпосылки для окончательного разгрома последней формализма в литературе.

4

Огромное значение для прогресса советской литературы, а следовательно и для всех демократических литератур мира, имеет выдвинутое и исчерпывающе разработанное И. В. Сталиным учение об общенародном характере каждого национального языка, о том, что «...везде на всех этапах развития язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения».¹

Непонимание этого важнейшего исторического факта оказалось столь же губительным для историков и теоретиков литературы, как и для тех из современных писателей, кто подпал под влияние антинаучного марристского воззрения на русский литературный язык, созданный великими писателями прошлого, как на язык классово-ограниченный и потому устаревший. Утверждая, что «национальный письменный язык и был буржуазным или феодально-буржуазным».² Н. Я. Марр естественно приходил к выводу, что языком социалистического будущего ни в коем случае «не может быть ни один из самых распространённых живых языков мира, неизбежно буржуазно-культурный и буржуазно-классовый».³ Следуя этой идее, приобретшей в языкознании значение непогрешимой догмы, одни, как мы уже видели, пытались нигилистически «преодолеть» или даже «взорвать» «старый» язык, «сделаи» вместо него новый язык — «язык улицы»; другие же, не идя так далеко в своих разрушительных замыслах, ограничивались стремлением противопоставить якобы изжившему себя языку буржуазно-дворянской литературы особый «народный», «крестьянский» язык (чем являлся этот

«язык» в действительности, мы увидим далее).

Сейчас для подобных псевдоноваторских исканий не остаётся никакой почвы. От вульгарно-социологических воззрений Н. Я. Марра И. В. Сталин не оставил камня на камне. Он с необыкновенной убедительностью и яркостью показал, что «Язык для того и существует, он для того и создан, чтобы служить обществу, как целому, в качестве орудия общения людей, чтобы он был общим для членов общества и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от их классового положения. Стоит только сойти языку с этой общенародной позиции, стоит только стать языку на позицию предпочтения и поддержки какой-либо социальной группы в ущерб другим социальным группам общества, чтобы он потерял свое качество, чтобы он перестал быть средством общения людей в обществе, чтобы он превратился в жаргон какой-либо социальной группы, деградировал и обрек себя на исчезновение».¹

И. В. Сталин показал далее, что то, что лингвисты из школы Н. Я. Марра принимали за «классовые языки», на самом деле представляет собой лишь «классовые» диалекты и жаргоны, возникшие в результате попыток господствующих классов воздействовать на общенациональный язык. «Выше говорилось, — пишет И. В. Сталин, — что язык, как средство общения людей в обществе, одинаково обслуживает все классы общества и проявляет в этом отношении своего рода безразличие к классам. Но люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины, свои особые выражения. Особенно отличаются в этом отношении верхушечные слои имущих классов, оторвавшиеся от народа и ненавидящие его: дворянская аристократия, верхние слои буржуазии. Создаются «классовые» диалекты, жаргоны, салонные «языки». В литературе нередко эти диалекты и жаргоны неправильно квалифицируются как языки: «дворянский язык», «буржуазный язык», — в противоположность «пролетарскому языку», «крестьянскому язы-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 9.

² Н. Я. Марр. Избранные работы, т. II, стр. 381.

³ Там же, стр. 25.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 6.

ку». На этом основании, как это ни странно, некоторые наши товарищи пришли к выводу, что национальный язык есть фикция, что реально существуют лишь классовые языки.

Я думаю, что нет ничего ошибочнее такого вывода. Можно ли считать эти диалекты и жаргоны языками? Безусловно нельзя. Нельзя, во-первых, потому, что у этих диалектов и жаргонов нет своего грамматического строя и основного словарного фонда, — они заимствуют их из национального языка. Нельзя, во-вторых, потому, что диалекты и жаргоны имеют узкую сферу обращения среди членов верхушки того или иного класса и совершенно не годятся, как средство общения людей, для общества в целом. Что же у них имеется? У них есть: набор некоторых специфических слов, отражающих специфические вкусы аристократии или верхних слоев буржуазии; некоторое количество выражений и оборотов речи, отличающихся изысканностью, галантностью и свободных от «грубых» выражений и оборотов национального языка; наконец, некоторое количество иностранных слов. Все же основное, т. е. подавляющее большинство слов и грамматический строй, взято из общенародного, национального языка. Следовательно, диалекты и жаргоны представляют отщепенца от общенародного национального языка, лишенные какой-либо языковой самостоятельности и обреченные на прозябание. Думать, что диалекты и жаргоны могут развиваться в самостоятельные языки, способные вытеснить и заменить национальный язык, — значит потерять историческую перспективу и сойти с позиции марксизма.¹

Эти замечательные мысли И. В. Сталина произвели полный переворот в языкознании. На их основе, в частности, должны быть в корне пересмотрены все те антинаучные, вульгарно-социологические схемы развития русского литературного языка, которые в течение многих лет распространялись лингвистами марровской ориентации. Перед советскими языковедами и историками литературы стоит ответственная задача заново пересмотреть в свете гениальных указаний И. В. Сталина богатейшую историю русского и других нацио-

нальных литературных языков, заново обобщить и изучить интереснейший опыт языковой работы в многонациональной советской литературе.

Работа эта потребует напряжённых и длительных усилий большого коллектива лингвистов и литературоведов; тем более важно предупредить против попыток подойти к её выполнению наспех, «с кондачка».

К сожалению, такие попытки уже имеются. В № 10 «Знамени» за 1950 год напечатана статья Ю. Белаша «Слово — полководец человеческой силы», в которой на двух с половиною страницах сделана попытка дать схему развития русского литературного языка на протяжении всего XIX столетия. Совершенно очевидно, однако, что для того, чтобы выступить с обобщениями такого огромного масштаба, у автора статьи не было никаких оснований. Его взгляды ещё полностью находятся в зависимости от старых университетских курсов истории литературного языка, проникнутых духом вульгарной социологии.

Ю. Белаш явно путает вопрос о классово-характеристике мировоззрения, идеологии тех или иных писателей с вопросом об их языке. Он поступает так, как, по справедливому замечанию академика В. Виноградова, поступали все вульгарные социологи марровской школы: ставит историю общелитературного языка в прямую зависимость от истории художественной литературы и её стилей и распределяет язык русских писателей прошлого по тем же ступенькам и граням, к каким относит история литературы идеологию этих писателей. Понятия — с одной стороны, языка, диалекта и, с другой стороны, художественного стиля, как системы выражения классового мировоззрения, — безнадежно спутаны в статье Ю. Белаша. Вполне закономерно поэтому, что главное своё внимание автор статьи сосредоточивает не на выяснении общенациональных черт и основ русского литературного языка, а, следуя устарелым марровским шпаргалкам, прежде всего заботится о том, чтобы проследить в языке писателей XIX века классовые различия. Ю. Белаш явно забывает глубочайшее указание, которое И. В. Сталин сделал по этому поводу в своём ответе Е. Крашенинниковой. В этом ответе И. В. Сталин писал: «Да, классы влияют

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 10—11.

на язык, вносят в язык свои специфические слова и выражения и иногда по-разному понимают одни и те же слова и выражения. Это не подлежит сомнению.

Из этого однако не следует, что специфические слова и выражения, равно как различие в семантике, могут иметь серьезное значение для развития единого общенародного языка, что они способны ослабить его значение или изменить его характер.

Во-первых, таких специфических слов и выражений, как и случаев различия в семантике, до того мало в языке, что они едва ли составляют один процент всего языкового материала. Следовательно, вся остальная подавляющая масса слов и выражений, как и их семантика, являются общими для всех классов общества.

Во-вторых, специфические слова и выражения, имеющие классовый оттенок, используются в речи не по правилам какой-либо «классовой» грамматики, которой не существует в природе, а по правилам грамматики существующего общенародного языка.

Стало быть, наличие специфических слов и выражений и факты различия в семантике языка не опровергают, а, наоборот, подтверждают наличие и необходимость единого общенародного языка.¹

Ю. Белаш явно недостаточно вник в эти исключительные по своей глубине и мудрости указания. Иначе он не стал бы утверждать, что, например, писатели, призывавшие к «Арзамасу» — Жуковский, Батюшков и др., — «выражали в области языка узко групповые интересы капитализирующегося дворянства». Вульгарно-социологическая, ортодоксально-марристская суть этой формулировки более чем очевидна. Язык Батюшкова и Жуковского не был «языком» капитализирующегося дворянства (такого языка вообще не существует в природе), а был обычным русским литературным языком, хотя и включал некоторое, очень незначительное количество слов и выражений (в частности, галлицизмов), отражающих специфический вкус аристократической верхушки и отличающихся «изысканностью», галантностью, не присущих национальному языку.

Более чем очевидно, что в данном слу-

чае Ю. Белаш спутал вопрос о языке «арзамасцев» с вопросом об их классовой идеологии, с вопросом об их стиле и, решая этот последний вопрос в духе старых вульгарно-социологических схем, механически перенёс соответствующие определения на язык этих писателей, — ошибка, слишком известная по трудам лингвистов из школы Н. Я. Марра и, казалось бы, уже невозможная больше после появления гениальных работ И. В. Сталина.

Такое же механическое смешение идеологии писателя с его языком совершает автор статьи и там, где он говорит о Фете, Майкове, Щербине и др.

Появление статьи Ю. Белаша свидетельствует, таким образом, о живучести старых, порочных лингвистических догм, о необходимости всемерно углублять и расширять работу по перестройке языковедческой науки на основе вдохновляющей программы, начертанной в трудах И. В. Сталина.

Однако вернёмся к вопросу о тех связях, которые имеются между вульгарно-социологическими, антимарксистскими воззрениями Н. Я. Марра и его сторонников на язык, как на явление классовой идеологии, обусловившими порочную теорию развития языка путём взрывов, путём разрушения языка «буржуазно-дворянского» и создания вместо него нового языка — «пролетарского» или «крестьянского», — и ошибками и недостатками, имевшимися в языке некоторых советских писателей.

Как показал ещё Горький, языковые ошибки ряда советских писателей (вопрос о таких формалистических «преобразователях» и «новаторах», как Андрей Белый и др., мы оставляем в стороне, поскольку вопрос о них в идейном отношении должен быть резко обособлен от интересующей нас здесь проблемы) состояли в сознательном пренебрежении богатейшим опытом работы в области создания русского литературного языка, который оставили нам классики, в искажении и уродовании языка, в засорении его вульгаризмами, местными, «провинциальными» словечками и выражениями, диалектизмами, затрудняющими подчас читательское восприятие не менее, чем затрудняют его иностранные слова. Все эти ложные тенденции обозначились отнюдь не только к тридцатым годам, когда появились известные статьи

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 34—35.

Горького «О прозе», «По поводу одной полемики» и др., а значительно раньше и, к сожалению, не оборвались полностью после появления этих статей.

Сейчас в высшей степени важно уяснить принципиальные, теоретические корни этих ошибок, важно понять их отнюдь не случайный характер.

В этой связи целесообразно вспомнить, что говорил в своё время о языке такой писатель как Ф. Панфёров. Тесно связанный в своём творчестве с жизнью и борьбой народных масс, внимательный наблюдатель и пропагандист нового в деревенском быту, он допустил, тем не менее, как известно, в своём романе «Бруски» серьёзные языковые ошибки, справедливо раскритикованные Горьким. Мудрый и заботливый наставник молодой советской литературы, Горький указал на засорённость языка Панфёрова местными словечками и выражениями, звучащими уродливо и подчас непонятно. «Местные речения, «провинциализмы», — писал по этому поводу Горький, — очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя не характерные, не понятные слова»¹.

Эти недостатки в языке «Брусков», находящиеся в резком противоречии с большевистской идейностью романа, были прямым следствием тех глубоко ошибочных взглядов на природу языка и задачи языкового строительства в революционную эпоху, которые были свойственны тогда Ф. Панфёрову.

В своём понимании задач, стоящих перед советской литературой в области развития языка, Ф. Панфёров исходил из представления о языке как о классовом явлении, меняющемся в точном соответствии с тем, как меняются в ходе истории базисы и связанные с ними надстройки. В речи на Первом Всесоюзном съезде писателей, касаясь вопросов языка, освещённых в статье М. Горького «О прозе», он говорил: «Всем вам, товарищи, известна такая простая истина, что во Франции до революции существовали в основном два языка: язык знати и язык народа... Известно то, что борьба за язык была не случайной борьбой, борьбой не прихоти ради, — в основе этой борьбы безусловно лежала классовая борьба, потому что ни

язык, ни мысль не образуют сами по себе особого царства, они суть только проявление действительной жизни. Во Франции после революции язык народа ворвался в верха и занял своё господствующее положение, ибо революция ломает не только политическую и экономическую структуру государства, не только быт, нравы и психологию людей, а также и язык, создаёт новый стиль языка».

Не надо особо пояснять, что «простая истина», которую пропагандировал тогда Ф. Панфёров, на самом деле является традиционной ложью вульгарно-социологической марровской школы в языкознании. Не говоря уже о том, что «язык народа», если бы даже такой существовал во Франции XVIII века, всё равно не смог бы занять после 1789 года «своего господствующего положения», так как народ отнюдь не достиг власти в результате Французской буржуазной революции, — рассуждения Ф. Панфёрова ненаучны, вульгарны в самой своей основе. «Никакой языковой революции, да еще внезапной, не было тогда во Франции, — пишет по этому поводу И. В. Сталин, исправляя ошибки Лафарга. — Конечно, за этот период словарный состав французского языка пополнился новыми словами и выражениями, выпало некоторое количество устаревших слов, изменилось смысловое значение некоторых слов, — и только. Но такие изменения ни в какой мере не решают судьбу языка»¹.

Ф. Панфёров же ставил в своей речи вопрос именно о коренном качественном изменении языка в период революции. «Мы ставим вопрос о языке революции — не об отдельных словечках, а о новом стиле, о качественно новом словообращении», о том, что «...с приходом новых хозяйственных форм изменится самый язык», — говорил он, переходя уже к характеристике русского языка в годы пролетарской революции.

Именно из этого убеждения, что «изменился самый язык», и вытекало стремление Панфёрова строить новый язык, черпая для него материал в местных диалектах. Язык старой литературы, тот могучий и многокрасочный национальный русский литературный язык, на котором писали классики, казался ему уже недостаточным, устаревшим. «Одна из распространённых

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, 1937, стр. 529.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23.

точек зрения — это точка зрения людей, рабски преданных классическому прошлому, — говорил он в той же речи. — Люди эти очень пугливы и трусливы, хотя иногда и пускают пыль в глаза. Самое лёгкое дело выйти на трибуну и начать расхваливать Толстого, Гоголя, Достоевского, Лермонтова — всех классиков. Иным такой восхвалитель кажется очень культурным человеком. Но на самом деле в этом скрывается боязнь перешагнуть заранее намеченную грань, незнание нашей действительности»

О том, как и в каком направлении пытался перешагнуть эту грань сам Ф. Панфёров (да и не он один), мы будем ещё говорить. Сейчас важно подчеркнуть, что стряхнуть пыль со старинной панфёровской стенограммы, которую время справедливо давно уже предоставило грызущей критике мышей, как говорил в таких случаях Маркс, было целесообразно потому, что в ней наглядно проявились заблуждения и ошибки, принадлежащие отнюдь не одному Ф. Панфёрову. Его предрассудки, так же как и аналогичные предрассудки ряда других писателей, были результатом воздействия той глубоко порочной и антинаучной системы лингвистических воззрений, которую пропагандировала в течение десятилетий школа Н. Я. Марра. Своей по внешности архиреволюционной теорией о классовости языков, которые именно поэтому-де в период революции рушатся и возникают заново, в новом классовом качестве, — эта система воззрений провоцировала некоторых писателей на отрыв от языка классиков. Поддавшиеся под её влияние писатели упорно старались не замечать, что, хотя со времени смерти Пушкина прошло уже целое столетие, русский язык «...за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина»¹. Наоборот, подобно тому, как это мы видели на примере Ф. Панфёрова, писатели, сбитые с толку новым учением о языке, любой ценой пытались «перешагнуть грани», поставленные классической литературой, дабы создать для новой пролетарской, революционной эпохи «новый» «народный», «революционный» язык. Но

так как такого «языка» в природе не существовало, поскольку «...русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота»¹, средства демократизации и обновления языка видели в перенесении в литературу диалектов и жаргонов, типичных для крестьянства отдельных местностей и не имеющих общенационального языкового значения.

Этот путь опять-таки был подсказан ещё Н. Я. Марром. Убеждённый, что революция требует от нас произвести «...нечто такое, что коренным образом видоизменяет наше отношение к русскому языку и, может быть, переставляет его низом вверх» (!! — Е. С.)², патриарх «нового учения о языке» в качестве единственно возможного материала для такой «реконструкции языка» выдвигал местные крестьянские говоры, диалекты, без малейших на то оснований называя эти диалекты «крестьянским языком». В своём «Общем курсе учения об языке» он писал: «...жизнь неумолимо ставит... в том или ином виде вопрос о главнейшем доселе (?) живом орудии общения, вопрос об языке в самых разнообразных плоскостях, именно об языках международных, живых и традиционных, мёртвых, доселе также классовых и хранителях классовых исторических культур, и об языках национальных, частью традиционных, также классовых и также хранителях классовых исторических культур, но в значительной мере новых, зарождающихся как общенациональное достояние в новых путях — в путях советской общенности, с охватом прежде всего речи так называвшихся народных низов, крестьян и широких масс»³.

Как известно, стремление принести в литературу местные говоры — писать «языком» сибирской, кубанской и т. п. деревни или, с другой стороны, «оживить» литературу любовно-эстетизированным жаргоном, например, одесского люмпенпролетариата или различных узких группок мещанства — при всей очевидной неоднородности и глубокой принципиальной неравнозначности этих явлений, — неоднократно

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 4.

² Н. Я. Марр. Избранные работы, т. II, стр. 374.

³ Н. Я. Марр. Избранные работы, т. II, стр. 24. (Разрядка моя. — Е. С.)

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7.

отмечалось критикой в творчестве Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, М. Колосова, И. Сельвинского, Л. Славина, М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова и многих других. Если же попытаться вывести «теоретический коэффициент» некоторых из этих ложных тенденций, определить принципиальную их основу, — придётся сказать, что эти ошибки — иногда более осознанно, иногда менее осознанно — были следствием искусственной установки на создание особого языка, принципиально отличного от языка классиков и являющего собой не что иное, как перенесение в литературу и эстетическое узаконение диалектов и жаргонов, принятых в некоторых местностях, — в ущерб общенациональному литературному русскому языку. Многим это тогда казалось архиреволюционным. Язык Пушкина и Толстого, Тургенева и Чехова, Салтыкова-Щедрина и Некрасова объявлялся устаревшим, социально изжившим себя, и вместо него утверждался, например, «язык» — а на самом деле диалекты — тех или иных территориальных групп крестьянства. А между тем революция со стремительной быстротой разрушала территориальную разобщённость, убогую «романтику» глухих, таёжных мест, «поэзию» местной ограниченности и замкнутости. Революция сливала весь народ, всю страну в единый исполнский коллектив творцов новой, социалистической России, стирала противоположность между городом и деревней. В небытие уходили «края непуганых птиц», где обитают оторванные от жизни всей страны провинциалы, и вместе с этими процессами социалистического преобразования страны рос и менялся язык. Он освобождался от местных, нежизнеспособных диалектологических особенностей, поглощая и растворяя в себе эти особенности и, одновременно, усваивая те отдельные ценные словарные элементы, которые имелись в тех или иных территориальных крестьянских говорах.

С гениальной широтой исторических обобщений этот процесс нарисован в «Ответе товарищам» И. В. Сталина. В письме тов. Санжееву он писал: «Диалекты местные («территориальные») ...обслуживают народные массы и имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд. Ввиду этого некоторые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развить-

ся в самостоятельные национальные языки. Так было, например, с курско-орловским диалектом (курско-орловская «речь») русского языка, который лег в основу русского национального языка. То же самое нужно сказать о полтавско-киевском диалекте украинского языка, который лег в основу украинского национального языка. Что касается остальных диалектов таких языков, то они теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них».¹

Исторический процесс растворения местных диалектов в общенациональном языке, обобщённый И. В. Сталиным в заключительной части приведённой цитаты, особенно интенсифицировался и убыстрился в послереволюционные годы. Однако порочное в самой своей основе «новое учение о языке» Н. Я. Марра мешало понять это. Желание эстетически закрепить диалекты было не только нелепым, но и вредным. Оно вело к натуралистической порче литературной речи, к загромождению её уродливыми, нелепыми словами и выражениями. Уже исчезавшие в самой действительности, они, будучи перенесёнными в литературу, сообщали образам советских людей черты отсталости, некультурности, то есть извращали их облик. Недаром для того, чтобы защитить эту ошибочную тенденцию в работе над языком одной из писательниц, особенно повинной в указанном отношении, пришлось прибегнуть к попыткам доказать, что особая грубость её языка была отражением... «дикости» деревенской жизни. «Мы не могли изображать русского мужика в первый период после Октябрьской революции, — заявляла эта писательница, — с речью, чистой от первобытной грубости, уснащённой изысканным остроумием. И горе, и восторг, и веселье, всякое эмоциональное выражение личности старой деревни обычно выражалось в словах очень грубых, остроумие, как правило, связывалось с вещами, о которых не только в гостиных не говорят. И песня, и шутка, и сказка уснащались ими. Жизнь в старой деревне ограничивалась примитивными её выявлениями, насыщением половой радостью или огорчением, первобытным тяжёлым трудом».

Глубоко несправедливый смысл этого высказывания очевиден. Деревня не была

¹ И. Сталин. *Марксизм и вопросы языкознания*, стр. 37.

такой ни до Октября, ни, тем более, после него. Трудно поверить, что писательница, действительно связанная с деревней, могла повторить ради защиты своих натуралистических ошибок клевету на русского крестьянина, распространявшуюся в своё время писателями типа Бунина или Шмелёва. Но как знаменательно при этом, однако, что желание во что бы то ни стало защитить свой тенденциозный взгляд на деревенский быт, как на «дикий», «первобытный», приводит автора этой цитаты всё к тому же, уже хорошо знакомому нам, тезису о непригодности языка прежней литературы для выражения «правды» народной жизни. Языковым материалом, пригодным для современного литературного, творчества, в понимании автора, закономерно оказывался именно нарочито подобранный запас «местных» выражений, «грубых» слов и идиоматических оборотов, искажающих и вульгаризирующих национальный русский язык, характеризующийся плавностью, разнообразием и гибкостью интонаций, неисчислимым богатством оттенков, красотой и силой звучания.

Совершенно иное социальное и идейное значение имело искажение русского языка, которое осуществлялось в своё время некоторыми писателями, чуждыми высоким целям и идеалам советской литературы. Стремление использовать и эстетически закрепить жаргоны, характерные для различных узких, часто обречённых историей, социальных групп и группок, прикрывало в творчестве такого рода литераторов желание оклеветать и принизить советского человека, приписать советскому человеку глубоко чуждые ему черты мешанской ограниченности и бескультурия. Достаточно в этой связи вспомнить Зоценко, антинародный смысл писаний которого был разоблачён партией.

Уместно здесь вспомнить и то, что сомнительную честь возведения этой вредной тенденции в ранг общеобязательной эстетической нормы вполне закономерно взяли на себя формалисты и, в частности, один из наиболее воинствующих отрядов формализма — конструктивисты. Они провозгласили жаргон основным языковым материалом литературы. «Ближайшее будущее литературы, — решительно объявлял в программном теоретическом документе конструктивистов К. Зелинский, — введение

жаргонов (местных, национальных, научных, профессиональных и т. д.) как средства смыслового уплотнения, следовательно увеличения конструктивного эффекта. нынешняя литературная традиция этот факт воспринимает эстетически». О том, что реально означало подобное «эстетическое восприятие» жаргона, исчерпывающее представление дают некоторые стихи, поэмы, пьесы И. Сельвинского, Д. Туманного и других бывших конструктивистов. Жаргон, который К. Зелинский утверждал в качестве будущего русской литературы, на проверку оказывался одесским блатным жаргоном — именно его «введением» в русскую литературу и ограничивалось зачастую языковое «новаторство» Сельвинского — в этом легко убедиться, перечитав «Улялаевщину», «Командарма 2», «Казнь Стецюры» и многие другие его сочинения тех лет.

Распространение «одессизмов» в русском литературном языке было, кстати сказать, одной из самых отрицательных тенденций в советской литературе определённого периода. Такая популярная в своё время пьеса, как «Интервенция» Л. Славина, почти наполовину написана на жаргоне, характерном для некоторых слоёв населения старой Одессы. На этом жаргоне говорят у Славина не только бандиты и шулера, но и некоторые большевики — Степиков и другие.

Эти особенности языка в пьесе предопределили в значительной мере то отрицательное отношение, которое встретила «Интервенция» у культурно выросшего советского зрителя во время её возобновления на сцене театра им. Вахтангова в 1948 году.

5

Все эти ошибки и ложные, вредные тенденции не затронули основные, лучшие писательские силы страны. Как ни старались адепты «нового учения о языке» доказать, что даже «самый классический, «образцовый» язык писателей прошлого не может служить для нас образцом в строгом смысле, ибо это — чужой язык»¹, лучшие советские писатели, бережно отбирая всё то новое, что возникало в русском языке в результате великих революционных преобразований в стране, в то же вре-

¹ В. Гофман. Язык литературы. Изд. «Художественная литература», Л. 1938, стр. 9. (Разрядка моя. — Е. С.).

мя неизменно исходили в своей работе из языкового опыта классиков, в свою очередь неизменно опиравшихся на многовековое языковое творчество народных масс, и не только бережно сохранили, но и значительно обогатили сокровищницу русского языка. Их заслуги в деле развития и совершенствования родной литературной речи ни в коем случае не могут быть недооценены. Только традиционным (увы!) невниманием нашей критики к проблемам языка можно объяснить тот факт, что замечательные языковые достижения А. Толстого, А. Фадеева, Л. Леонова, М. Шолохова, М. Исаковского, К. Фёдина, К. Тренёва, Н. Тихонова, М. Бубеннова, П. Павленко и многих других не оценены и не проанализированы до сих пор. Горький и Маяковский дали советской литературе классические примеры глубоко творческого, идейно-целеустремлённого отношения к языку. Следуя их примеру, советские писатели активно способствовали тому, чтобы язык нашего народа стал ещё краше, ещё богаче, ещё выразительнее, чтобы он с предельной точностью выражал благородные мысли и чувства, воодушевляющие строителей коммунистического общества.

В этом — главное. Предупреждая против недооценки значения языка, Горький писал: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней. Именно поэтому одни всегда стремятся притуплять язык, другие — оттачивать его».¹

Именно с этих позиций Горький и критиковал ошибки против духа и смысла русского языка в произведениях Ф. Панфёрова, М. Шагинян, Ф. Гладкова, В. Ильенкова и др. Борьба за чистоту языка означала для него борьбу за чистоту идейного содержания литературы, за дальнейшее усиление её воспитательного воздействия на широкие массы читателей. «В области словесного творчества языковая — лексическая — малограмотность всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической, — пора наконец понять это!»² — не устал подчёркивать великий писатель.

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, стр. 584.

² М. Горький. О литературе. Гослитиздат. М. 1935, стр. 136.

Поэтому-то он и протестовал против того, что «Критика недооценивает значения слова, как основного материала литературы»¹, поэтому-то он и высмеивал и бичевал попытки разрушить величайшее национальное достояние — язык, предпринимавшиеся различными сторонниками языковых «взрывов» и «революций».

Всё это тем более необходимо напомнить сейчас, что за последние годы в нашей критике были сделаны отдельные попытки извратить и даже дезавуировать значение горьковской борьбы за высокую культуру языка в советской литературе.

В уже упоминавшейся нами статье Ю. Белаша «Слово — полководец человеческой силы» значение горьковских высказываний на словах признаётся — автор статьи приводит высказывания Горького о значении языка в литературе и даже сопровождает эти высказывания своими благожелательными комментариями. Но приведя замечательные советы Горького критике — внимательно заниматься разработкой проблем литературного языка, — Ю. Белаш пишет: «Эта мысль, — высказанная М. Горьким в 1933 году, — в настоящее время имеет, пожалуй, ещё большее значение, чем она имела семнадцать лет назад. Ибо в ту пору в советской литературе ещё оставались сильными различного рода чуждые социалистическому реализму течения и было понятно и в некоторой мере исторически оправдано усиленное внимание критики к вопросам идеологическим за счёт вопросов «технологическим». Мы отнюдь не хотим этим сказать, что слова М. Горького о всесторонней критике не были тогда чрезвычайно важны. Великий писатель прекрасно понимал неразрывное единство, взаимосвязь и обусловленность содержания и формы, чего, к сожалению, тогда часто не понимала критика и что, к ещё большему сожалению, не все критики понимают и сегодня»².

К сожалению, в числе критиков, не принимающих «неразрывное единство, взаимосвязь и обусловленность содержания и формы» мы должны на основании этой цитаты назвать и самого Ю. Белаша. Толь-

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, стр. 516.

² Разрядка моя. — Е. С.

ко непониманием этого единства может быть объяснена та более чем странная интерпретация, которую получила под его пером горьковская мысль о значении неустанного совершенствования языка в советской литературе. По Ю. Белашу выходит, что эта мысль приобрела сейчас ещё большее значение, чем в 1933 году потому, что сейчас якобы задачи борьбы за идейную чистоту литературы стоят менее остро, чем семнадцать лет назад. Тогда ещё были крепки направления, враждебные социалистическому реализму, сейчас этих направлений нет — пришло, следовательно, время заняться и «технологией», то есть языком, — вот несложный ход рассуждений критика.

Всё это неверно с начала и до конца. Неверно, что задача борьбы за большевистскую идейность приобрела для советской литературы в итоге решающих побед социализма меньшую актуальность, чем в годы первых сталинских пятилеток. Неверно и то, что языком («технологией» — по терминологии автора статьи) надлежит заниматься только после того, как будут решены насущнейшие идейные вопросы. Горький именно потому и привлекал внимание писательской общественности к языковым вопросам, что видел в этом средство укрепления идейно-организующей, воспитательной мощи советской литературы.

В таком понимании значимости языка Горький следовал великому Ленину. Статьи, многочисленные пометки на полях книг, оставленные Лениным, свидетельствуют о его величайшей требовательности к идейной точности и смысловой выразительности языка. Непримирым враг либерального красноречия и фразёрства, он утверждал: «Нет ничего более противного духу марксизма, как фразы»¹. Ленин сам показал непревзойдённые примеры величайшей точности в пользовании словом, глубины понимания законов языковой выразительности. С этой точки зрения каждому литератору следует детальнейшим образом проанализировать хотя бы замечания Ленина на комиссионный проект программы, составленной согласительной комиссией, выделенной редакцией «Искры»², или на первый проект программы социал-демократической партии, разработанный

Плехановым¹. Глубоко поучительно то изумительное мастерство, с которым Ленин ловит и разоблачает ложные, ошибочные мысли, прячущиеся в этих документах за квазиучёными формулами и расплывчатыми либеральными фразами. Глубоко поучительна та беспощадная требовательность, с какой Ленин добивался точнейшего выражения мысли в слове, искал формулировок, наиболее совершенным образом выражающих содержание. Гениальные образцы такой классической завершенности и точности языка даёт в своих работах товарищ Сталин.

Горький и учил советских писателей такому по-ленински взыскательному и ответственному отношению к слову. Учил их относиться к языку как к важнейшему оружию в идейной борьбе. Вот почему настойчивое выдвигание Горьким языковых требований перед писателями означало не переход от идейной проблематики к «технологии», как полагает Ю. Белаш, а, наоборот, дальнейшее углубление в решение задач именно идейного вооружения советской литературы.

Какие бы то ни было попытки дезавуировать значение горьковских высказываний о языке, «пересмотреть» и «снять» выдвинутые в этих высказываниях оценки и положения должны быть поэтому непримиримо осуждены.

Недвусмысленную попытку подобного «пересмотра» сделал некоторое время тому назад критик М. Шкерин. Мы говорим о его статье «Об одном из главных героев», опубликованной в № 4 журнала «Октябрь» за 1949 год.

Несмотря на то, что имя Горького в этой статье не названо, всем своим острием она направлена именно против известных горьковских высказываний о языке и литературе. «Поправить» Горького, восстановить «справедливость», якобы нарушенную Горьким в оценке одного из произведений советской литературы, и в связи с этим переписать историю советского романа на производственную тему в обход горьковским оценкам, вопреки этим оценкам — такова почти незамаскированная цель этого высказывания, не привлёкшего, к сожалению, своевременного внимания нашей критики.

¹ В. И. Ленин. Сочинения. изд. 4-е, т. 17, стр. 358.

² В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 6, стр. 44—56.

¹ В. И. Ленин. Сочинения. изд. 4-е, т. 6, стр. 3—10.

В статье М. Шкерина делается попытка подвести итог творческой работе большого коллектива советских писателей по воплощению образа основного героя наших дней — передового советского рабочего, беззаветного строителя коммунизма. Перечислив основные произведения нашей литературы, посвящённые созидательному труду советского рабочего класса, М. Шкерин с рапповской примитивностью и схематизмом разделяется со всеми писателями, ещё не сумевшими в годы первой пятилетки полностью овладеть методом социалистического реализма и проявлявшими, несмотря на своё глубокое патриотическое желание воспеть величие сталинских пятилеток, известную идейную ограниченность в воспроизведении процессов социалистической реконструкции. Так, он одним махом вычёркивает из литературы тридцатых годов романы В. Катаева, И. Эренбурга, А. Малышкина — мы не имеем, к сожалению, здесь возможности подробнее остановиться на том, насколько антиисторичен метод шкеринской критики этих произведений. Скажем только, что критика эта свидетельствует о том, что М. Шкерин совсем в духе какого-нибудь «налитпостовца» отказывается принимать во внимание исторически обусловленные трудности в идейном развитии честных советских писателей, пришедших в советскую литературу с грузом тех или иных заблуждений или иллюзий. Перечеркнув эти произведения, походя отмахнувшись от повестей Ю. Крымова и попросту «не заметив» таких значительных произведений об индустриализации страны, как «Соть» Л. Леонова, как пьесы Н. Погодина, А. Крона и многие другие, М. Шкерин крупнейшим явлением советского производственного романа тридцатых годов объявляет роман В. Ильенкова «Ведущая ось». «В первой половине тридцатых годов вышло много произведений о героических усилиях рабочего класса, — сообщает критик. — Но, — торжественно продолжает он, — автор настоящей статьи считает самым значительным произведением тех лет два романа Василия Ильенкова «Ведущая ось» и «Солнечный город».

Сказано это не очень грамотно: с числительными, например, «автор настоящей статьи» явно не в ладу — два романа оказываются у него одним произведе-

нием, — зато сказано не без пафоса и весьма решительно.

Нельзя не вспомнить, однако, совсем другую оценку, данную в своё время «Ведущей оси» В. Ильенкова.

«Людей автор изображает приёмами слишком упрощёнными, а потому изображает не очень убедительно. Некоторые фигуры его романа вызывают недоумение». «...не совсем ясно, в какие годы развивается действие романа. Очевидно — не в наши дни, ибо на заводе отсутствуют: процессы соцсоревнования, ударники и ещё многое характерное для последних четырёх лет». «...Ильенков допустил некоторое противоречие с действительностью и... механическая роль «ведущей оси», как части паровоза, чрезмерно затушевала работу политической ведущей оси». «Ценность его «словотворчества» сомнительна. «Взбрыкнул, трушились, встопоршил, грякнул, буруздил» и десятки таких плохо выдуманых словечек, всё это — даже не мякина, не солома, а вредный сорняк и — есть опасность, что семена его дадут обильные всходы, засорят наш богатый, сочный, крепкий литературный язык». И т. д. и т. п. — цитаты можно было бы продолжить.

Всё это было сказано Горьким — сказано в специальной статье о «Ведущей оси»¹ — бывшей по времени своего появления первой в цикле тех замечательных статей о художественном качестве работы некоторых советских писателей, которые сыграли такую плодотворную роль в развитии нашей литературы.

Запоздалая попытка реабилитировать неудачный ильенковский роман, предпринятая М. Шкериним, ничего, кроме вреда, не может принести прежде всего самому автору «Ведущей оси». Он давно уже сумел сделать нужные выводы из горьковской критики — право так думать нам даёт его последний интересный и содержательный роман «Большая дорога», — и незачем возвращать его к прежним ошибкам. А ошибки эти были принципиальны — Горький потому-то так остро и критиковал их, что они вели к натурализму, к принижению и искажению нашей действительности, к порче и вульгаризации языка, к пренебрежению мастерством.

Нет, не к пересмотру и ревизии, а к вни-

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, стр. 503—508.

мательному изучению горьковских статей, посвящённых борьбе за мастерство языка, борьбе против натурализма должна была бы призывать редколлегия «Октября» советских писателей. Ведь для того, чтобы понять, к чему приводит пренебрежение горьковскими заветами тщательно и бережно работать над словом, членам редколлегии «Октябрь» не надо далеко ходить: для этого им только следует перечитать напечатанные в этом журнале романы Ф. Панфёрова «В стране поверженных» и «Большое искусство», роман А. Черкасова «День начинается на востоке», повесть А. Рутко «Земля бессмертная».

Приведа уродливые примеры «словотворчества» из романа В. Ильенкова, Горький замечает в своей статье: «Автор может возразить: «Такие слова — говорят, я их слышал!» Мало ли что и мало ли как говорят в нашей огромной стране, — литератор должен уметь отобрать для работы изображения словом наиболее живучие, чёткие, простые и ясные слова. Литератор не обязан считать пошлость и глупость героев своей собственностью, точно так же не обязан он пользоваться искажённым языком героев для своих описаний...»¹

Мысли эти полны самого животрепещущего, самого насущного значения и сейчас. Глубоко понятые и усвоенные нашей литературой в целом, они сохраняют значение эстетического закона. Писатели, пренебрегающие им, всегда обрекают себя на неудачу. «За власть советов» В. Катаева, «Огненная река» В. Кожневникова, «Карьера Бекетова» А. Софронова, «Лодочница» Н. Погодина, «Самолёт опаздывает на сутки» Н. Рыбака и И. Савченко — наглядные примеры этому. Неосторожное желание сделать глупость и пошлость героев своей собственностью, — по остроумному выражению Горького, — губительно сказалось на языке этих произведений. В них язык раскрывается не в своих богатствах, не в тех своих общенациональных сокровищах, которые с такой мощью и великолепием были умножены советским народом за годы советской власти, а в своих пережиточных, окостенелых, второстепенных проявлениях, — не в том, что принадлежит к основному словарному фонду русского

языка, а в тех уже изжитых советскими людьми диалектизмах и жаргонных словечках, которые находятся в непримиримом противоречии с духом и законами этого языка и обречены поэтому на исчезновение.

Критика уже показала в своё время, что все эти языковые ошибки находятся в прямом соответствии с недостатками идейного содержания, присущими названному произведению. Слово — материал литературы; естественно, что именно в слове прежде всего и проявляется со всей своей наглядностью ущербность и неполноценность в восприятии действительности тем или иным писателем.

Этим и объясняется та настойчивость и последовательность, с которой большевистская партия, вдохновляемая великим Сталиным, борется за чистоту языка в советской литературе, борется со всеми теми, кто эту чистоту нарушает, уродует и искажая русскую литературную речь. Напомним в этой связи тот многозначительный факт, что в историческом постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» особо подчёркивалось: «Значительная часть поставленных в театрах пьес на современные темы антихудожественна и примитивна, написана крайне неряшливо, безграмотно, без достаточного знания их авторами русского литературного и народного языка».

Величайшее значение гениальных работ товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской литературы в том и состоит, что в них с исчерпывающей полнотой и непревзойдённой ясностью установлены те важнейшие научные принципы в понимании языка, руководствуясь которыми советские писатели смогут поднять на новую, высшую ступень свою работу по развитию русского и других национальных литературных языков.

Величайшее значение гениальных работ товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской литературы в том и состоит, что они навсегда покончили с вредными и антинаучными лингвистическими теориями, питавшими языковые ошибки некоторых советских писателей и препятствовавшими окончательному разоблачению и искоренению в нашей литературе формалистических и натуралистических направлений.

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, стр. 504.

6

Развивая свои авантюристические проекты «взрыва» старых «классовых» языков и создания нового «языка» революции. Н. Я. Марр предрекал, что «и великие, и малые языки одинаково смертны перед мышлением пролетариата»¹.

Выдвигая эту мрачную, поистине геростратовскую идею, глава «нового учения о языке» хотел, вероятно, подчеркнуть непримиримую революционность рабочего класса. Однако его ультрареволюционная фраза, как это всегда бывает с «левыми» фразами, фактически обернулась банальной и вульгарной реакционной клеветой на героический рабочий класс, выступивший в наши дни перед всем миром в благородной роли хранителя и продолжателя лучших культурных завоеваний человечества.

История культурного строительства в Советском Союзе выразительно свидетельствует о том, что языки народов нашей страны не только не «умерли» в результате победы рабочего класса, но достигли своего невиданного расцвета, раскрыли, благодаря ленинско-сталинской национальной политике, все свои лучшие свойства и черты.

Язык, — учит товарищ И. В. Сталин, «...связан с производственной деятельностью человека непосредственно, и не только с производственной деятельностью, но и со всякой иной деятельностью человека во всех сферах его работы от производства до базиса, от базиса до надстройки. Поэтому язык отражает изменения в производстве сразу и непосредственно, не дожидаясь изменений в базисе...

Этим прежде всего и объясняется, что язык, собственно его словарный состав, находится в состоянии почти непрерывного изменения. Непрерывный рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами и выражениями, необходимыми для их работы. И язык, непосредственно отражая эти нужды, пополняет свой словарь новыми словами, совершенствует свой грамматический строй»².

На этой основе и было достигнуто неви-

данное развитие и обогащение русского и других национальных языков нашей страны, нашедшее воплощение не только в многонациональной советской литературе, но и в языковой практике широких масс трудящихся. Никогда ещё в истории язык миллионов не рос и не совершенствовался так быстро, не освобождался от нежизнеспособных местных диалектизмов и жаргонов так решительно, как в наши дни и в нашей стране. Языковое творчество народов СССР, ставшее возможным благодаря победам мудрой национальной политики большевистской партии, показало всему миру, что победивший народ не разрушает сложившиеся в течение тысяч лет языки, а обогащает и шлифует в процессе строительства новых форм жизни постоянно и постепенно, неуклонно и систематически. И. В. Сталин говорит: «...словарный состав языка изменяется не как надстройка, не путем отмены старого и постройки нового, а путем пополнения существующего словаря новыми словами, возникшими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п. При этом, несмотря на то, что из словарного состава языка выпадает обычно некоторое количество устаревших слов, к нему прибавляется гораздо большее количество новых слов. Что же касается основного словарного фонда, то он сохраняется во всем основном и используется, как основа словарного состава языка»¹.

Прогресс языка неотделим, таким образом, от прогресса общественного, социального. И наоборот, периоды господства реакционных, деградирующих классов губительно сказываются на языке. В роли разрушителей и дезорганизаторов национальных языков в истории выступает не народ, а империалистическая буржуазия. Загаживая «...единый национальный язык своим торгашеским лексиконом»², буржуазия особенно активизируется в стремлении расшатать словарные и грамматические основы национальных литературных языков в период империализма, когда излюбленным идеологическим оружием буржуазии становится космополитизм. В России попытки буржуазии навязать русскому языку свой особый лексикон, подчинить

¹ Н. Я. Марр. Избранные работы, т. III, стр. 121.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 8—9.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 21.

² Там же, стр. 12.

его своим антинародным, реакционным целям, сказывались с особой силой именно в годы, предшествовавшие Октябрьской революции. Порча и разрушение языка осуществлялись в этот период в самых различных формах. К этому антинациональному делу приложили руку эстеты и формалисты, футуристы и символисты, продажные журналисты и дипломированные лакеи буржуазии — низкопоклонствующие перед капиталистическим Западом реакционные профессора и приват-доценты. Глубоко равнодушные к национальным особенностям русского языка, его своеобразию, его неповторимому лексическому и интонационному богатству, красоте, выразительности, силе, они настойчиво изошрялись в стремлении насытить русский язык чуждыми ему оборотами и терминами, «подделать» могучий и вольный русский язык под иностранные образцы. Стоит только вспомнить парфюмерные «поэзы» Игоря Северянина или многие стихи Бальмонта и Гумилёва, чтобы понять, какому чудовищному надругательству подвергался русский язык со стороны одержимых духом низкопоклонства буржуазных литераторов. Не случайно поэтому и то, что в период наибольшей активности конструктивизма, органически связанного с пережитками буржуазной идеологии, напитанной ядом космополитизма, И. Сельвинский кокетливо заявлял: «Я лично очень хочу писать языком понятным для масс, но как быть, если мой герой воспитан на иностранных».¹

Разумеется, попытки буржуазии использовать русский язык в своих целях, извратить и разрушить его словарный фонд, навязать ему свои вкусы были безнадежны. Как всё, органически связанное с народом, язык бессмертен и вечен, как сам народ.

И всё же разрушительная активность буржуазии и порождённой ею литературы была глубоко вредоносна.

¹ Пренебрежение к законам родного языка и космополитическая тенденция к его «уподоблению» нормам языков иностранных всегда была и поныне остаётся характернейшей и опаснейшей чертой всех реакционных литературных школок и направлений. В наши дни эта тенденция так же неотделима от декадентской и формалистической литературы, как и прежде.

Открыла широкий простор исторического прогресса перед русским и другими национальными языками нашей страны Октябрьская социалистическая революция. Партия устами Ленина с первых же дней строительства нового мира провозгласила политику всемерного развития национальных языков и борьбы против всех антинародных тенденций, мешающих их росту и цветению.

Ленин ещё до революции, в полемике с бундовцами, отстоял и развил идею о едином национальном языке, являющемся одним из важнейших условий жизни и развития наций. «Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом, — писал Ленин, — была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем».¹

Развивая эту замечательную мысль об языке как об орудии национального общения, Ленин в годы революции исчерпывающе указал на те ложные тенденции в нашей языковой практике, которые составляют главное препятствие на пути развития и укрепления русского национального языка. В своей заметке «Об очистке русского языка» он резко выступил против порчи русской речи неправильным и не вызываемым необходимостью употреблением иностранных слов. «Перенимать французско-нижегородское словопотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а, во-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е. т. 20, стр. 368.

вторых, коверкал русский язык»¹, — с гневом писал Ленин.

Развивая эти ленинские указания, партия провела огромную работу по очистке русского языка от засорявших его иностранных слов, приблизила русский литературный язык к восприятию широчайших масс трудящихся.

Одновременно партия указывала и на опасность другого рода — на опасность засорения русского языка областными диалектами. Оценивая знаменитый словарь Даля, Ленин крупнейшим его недостатком считал именно засорённость областными, территориальными диалектами. «Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел, — писал он Луначарскому. — Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького»².

Что означает конкретно «настоящий русский язык» — из этих ленинских высказываний выясняется с исчерпывающей ясностью. Это — единый национальный язык, сохраняющийся, несмотря на коренные перемены в социально-экономической жизни, «от Пушкина до Горького», но обогащающийся в процессе своего развития некоторыми новыми элементами (словарь Даля, созданный в середине XIX века, устарел, по оценке Ленина, то есть не охватывал уже новых словообразований и т. п. в языке). Это, далее, язык, который на путях своего развития и укрепления должен систематически и последовательно очищаться от чуждых его духу варваризмов, галлицизмов и устаревших, обречённых на прозябание и исчезновение областнических слов и выражений.

На почве этих ленинских указаний рос и креп в послереволюционную эпоху русский язык, на почве этих указаний строила свою языковую работу передовая совет-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXIV, стр. 662.

² «Ленин о литературе», сборник статей и отрывков. Издательство «Художественная литература», М. 1946, стр. 243.

ская литература, возглавленная Горьким и Маяковским.

И именно против этих ясных и в высокой степени плодотворных указаний великого Ленина была направлена дезорганизующая, вульгаризаторская деятельность представителей «нового учения о языке», — деятельность, питавшая, как мы видели, языковую практику всех формалистических и натуралистических течений в нашей литературе.

Гениальные работы И. В. Сталина по вопросам языкознания с замечательной силой и неотразимой убедительностью защитили и развили дальше ленинское понимание сущности языка. Они осветили сложнейшие проблемы языкознания, внесли свет и ясность в такие области, которые в течение десятилетий были затемнены вульгаризаторами из марровской школы. Стройная и законченная теория языка, созданная великим корифеем науки И. В. Сталиным, является для народов нашей страны могучим орудием культурного строительства, вооружает нашу литературу, так же как и литературу стран народной демократии, для новых творческих побед и завоеваний.

Работы И. В. Сталина по вопросам языкознания — важнейшее событие в идейной жизни нашего народа, в идейной борьбе передовых сил демократии и прогресса против империалистической реакции во всём мире. Появление этих работ обязывает советских писателей, поставленных волей народа на передовую линию фронта борьбы за коммунизм, к дальнейшим творческим достижениям на пути социалистического реализма.

И. В. Сталин сказал о языке: «... язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества»¹.

Священный долг советских писателей состоит в том, чтобы в совершенстве овладеть этим орудием — овладеть для того, чтобы с новой энергией и подъёмом способствовать дальнейшему движению нашего общества по пути к коммунизму.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 19.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Лауреаты Премии мира

Н. Асеев. Судьба поэта. — **В. Кутейщикова.** Эпопея борьбы за мир и демократию. — **И. Константиновский.** Выдающееся достижение румынской литературы.

В. Панков. На верном пути. — **Л. Эйлин.** Свидетельство друга. — **Н. Абалкин.** Начало важного разговора. — **А. Котляр.** Недостатки интересной повести. **Е. Книпович.** Солдаты новой Болгарии. — **С. Смирнов.** Книга о борьбе простых людей Америки.

БОРЬБА ЗА МИР. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ИСТОРИЯ

Полковник **М. Толчёнов.** Историческая победа китайского народа. — Академик **Е. Тарле.** За чтением журнала «Сторонники мира». — Кандидат исторических наук **М. Позолотин.** Страницы героической борьбы болгарского народа. — **Б. Леонтьев.** США — полицейское государство.

ЭКОНОМИКА

В. Левачёв. Слабая книга о транспорте.

ФИЛОСОФИЯ

Кандидат философских наук **М. Сидоров.** Книга о советском социалистическом обществе.

ТЕХНИКА

М. Голей. Новаторы отечественного машиностроения.

ГЕОГРАФИЯ

Л. Михайлова. Покоритель льдов. — Кандидат географических наук **Л. Каманин.** **Е. Донская.** Журнал, которому нехватает занимательности.

Литература и искусство

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ МИРА

Судьба поэта

Судьба поэта всегда была связана с судьбой его народа. Но ни в какие иные времена эта связь не была такой прочной, как в наши дни. Имена поэтов, выражающих надежды и чаяния своего народа, движения его души, разума, понятий, склонностей, — становятся известными и любимыми не только на их родине, но и далеко за её границами.

Имена таких поэтов облетают вокруг всего земного шара, становятся дороги людям всех земных широт, — тем сотням миллионов людей, которые поняли, кто их друзья и кто враги, и научились горячо любить своих друзей и ненавидеть врагов.

Назым Хикмет — имя, ставшее дорогим и

родным всем честным людям планеты, всем, кто верит в будущее человечества. Его поэзия, его судьба, его личность привлекают к себе взоры всего мира. Люто ненавидят его враги. Засадив его в камелный мешок, они стремились вырвать его из той борьбы, которую ведут свободолюбивые народы против угнетателей-империалистов. Горячо бьются сердца взволнованных друзей поэта, осмысливающих лучшие его строки, по-новому выразительные, по-новому показывающие нам его родину, родину бедняков, рабочих, крестьян, труженников, борющихся против эксплуататоров, так же как борются люди всех капиталистических стран, угнетаемые, измученные, но силой исторических законов движущиеся вперёд к победе.

Преследование Назыма Хикмета турецким правительством, действовавшим по указке американских надсмотрщиков, име-

Назым Хикмет. «Стихи». Перевод с турецкого. Редакторы-составители **И. Ибрагимов** и **А. Палладин.** Государственное издательство художественной литературы. М. 1950.

ло целью заглушить голос поэта, запугать его, сломить его стойкость, непреклонную волю к борьбе. Но вопреки всем угрозам, наперекор судебным приговорам, сквозь бетонные стены каземата всё громче звучал мужественный голос Хикмета, всё дальше летели слова его пламенных стихов. И несмотря на все преграды, творчество Назыма Хикмета, так же как и творчество неустранимого борца за мир Пабло Неруды, преследуемого сыщиками, нанятыми душителями всего передового, свободолюбивого, — стало достоянием миллионов людей.

Назым Хикмет родился в 1902 году в Салониках. Отец его был губернатором, мать художницей. Сыну турецкого сановника, воспитаннику морского училища был открыт прямой путь к блестящей карьере. И, однако, правда ему указала иной, единственно верный путь поэта, преданного своему народу, а талант повёл по этому пути без отдыха, без оглядки на оставленный порог — ставшего чужим — отцовского дома. Об этом подлинно патриотическом пути поэт говорит в одном из своих стихотворений, написанном в 1947 году:

Во времена султана Гамида
десять лет службы не завершил
В Йемене мой отец, а был он
высшим чиновником, сыном паши.
Класс я сменил и стал коммунистом,
службу свою в тюрьме я служу,
Во времена республики дивной
девять лет в одиночке сижу.
Служба моя хоть и не добровольна,
жаловаться не пристало на то;
Служба моя — только долг патриота,
сколько продлится — не знает никто.

(Перевод О. Савича)

Горечь и ирония, гнев и презрение к палачам, освещённые пламенем огромного дарования, приобретают в творчестве Назыма Хикмета разительную силу и меткость. Недаром поэта, безоружного, но сильного мощью своего дарования, мощью правды, так ненавидят и боятся его преследователи, казалось бы защищённые всеми видами оружия, вплоть до лжи и провокации. Назым Хикмет — верный друг Советского Союза, и это-то обстоятельство прежде всего вызывает неукротимую ненависть к нему со стороны империалистов — поджигателей новой войны.

Восемнадцатилетним юношей Назым Хикмет приезжает в Москву. Молодой

поэт встречается с Маяковским, учится в Коммунистическом университете трудящихся Востока, живёт вместе с советским народом жизнью, полной героизма и вдохновения. Назым Хикмет проникается традициями великой русской культуры, входит в круг интересов молодой советской литературы. Ему становится ясно, что к старому нет возврата, что коммунизм — единственно правильный путь в будущее. С тех далёких юношеских лет в его стихах никогда не звучало уныние и отчаянье, хотя было отчего и приуныть.

Петь не дают нам, брат мой!..
Всего боятся эти упыри.
Они боятся утренней зари.
Они боятся нашего дыханья, —

обращается он в стихотворении «Полю Робсону», к пламенному борцу за мир (перевод А. Безыменского).

В стихотворении «Как Керем» (Керем — герой легенды, сгоревший, по преданию, от любви) Хикмет так излагает своё понимание жизни:

Здесь воздух давит, как свинец,
Кричу, кричу, кричу я людям:
— Идите, помогите мне,
Свинец мы вместе плавить будем!

Я слышу:
— Лучше не кричи,
А то и сам испепелишься.
Молчи!
А то ведь, как Керем,
И сам ты в пепел превратишься.

«Здесь не с кем поделиться горем».
Окаменели все сердца.
Здесь воздух тяжелей свинца.
Да! Я хочу сгореть вот так,
Как некогда сгорел Керем!
Сгорю вот так!
Ведь если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем, —
Так кто ж тогда рассеет мрак?

А воздух тяжелей земли...
И вновь кричу я людям,
Чтоб все на помощь мне пришли,
Свинец
Мы будем плавить,
Будем!

(Перевод Л. Мартынова)

Эти слова приобретают особое значение, если принять во внимание, где и когда они произнесены. Они были сказаны, эти слова, в тюремной тьме, под тоскливые окрики часовых. Но в этих стихах Хикме-

та слышится такая жизнеутверждающая сила, такая воля к борьбе, вера в победу!

Не вешай головы!
Надежды не теряй!
И стену не сверли
отсутствующим взглядом!
Встань!
Подойди к окну.
Взгляни — в цветку твой край,
и ночь красива,
словно море — рядом!
И волны

плещут о стекло окна
и целый мир
весне сегодня тесен...
Ты слышишь —
принесла тебе волна
в окошко

россыпи звенящих песен!
Они проходят сквозь любой засов,
как будто все друзья
явились сами!

И песни —
как дорога голосов,
и ночь полна
родными голосами.
Ты слышишь —
голос звёзд, воды, земли?
Скорей к окну!..
Послушай шум прибора...
Смотри...

Твои друзья в тюрьму вошли,
они с тобой!
Они сейчас с тобою!

(Перевод Т. Сикорской)

Творческий кругозор поэта не ограничивается только песнями узника. Темы его произведений весьма разнообразны.

Вдохновлённый поездкой в Баку, поэт создал поэму «Путешествие к Нефти». Эта поэма в переводе Э. Багрицкого и Н. Деметьева даёт русскому читателю наиболее приближённое представление о главном свойстве поэзии Хикмета: яркость образов при совершенной их точности (чего некоторые переводчики не достигают, ограничиваясь лишь передачей содержания стихов).

Конечно, очень трудно передать особый оттенок такой своеобразной поэмы, как например, «Письма к Таранта Бабу», в котором лирика настолько перевита с публицистикой, что отделить их невозможно. Это — письма абиссинца, находящегося в Риме, к своей жене на родину; трогательные и наивные, они, однако, полны острых наблюдений и горечи, темперамента и ост-

роумия. Но вряд ли стоило перевод этой вещи делать разным лицам. В результате при всём старании переводчиков произведение как бы дробится по исполнению, теряет свою цельность.

Большой труд проделал переводчик поэмы «Джиоконда и Си-Я-У», поэмы сложной, охватывающей множество деталей, трудно воспроизводимых в передаче. Содержание её нельзя изложить в нескольких строках. Это — история судеб Европы и Азии, история двух культур; мало было бы сказать о содержании поэмы только то, что Джиоконда убегает из Европы, её ловят и судят, присуждая к расстрелу её неизменную улыбку. П. Антокольский хорошо справился с переводом этого сложного и трудного произведения.

В совершенстве совпали и тема, и исполнение в оригинале и в переводе поэмы Хикмета «Зоя», которую М. Алигер с большим душевным подъёмом довела до русского читателя. Совершенно безыскусственно (а в этом-то и заключена великая сила искусства) звучат слова перевода:

Таня!
Я люблю свою родину так же, как ты.
Я — турок,
ты — русская.
Мы — коммунисты,
Таня!

Тебя повесили за твою любовь,
Меня заточили в тюрьму за мою любовь,
но я живу, а ты умерла.
Как мало ты побыла на земле,
как мало ты видела солнечный свет.
Всего восемнадцать лет.

Таня!
Ты — партизанка, повешенная врагом,
Я — заключённый в тюрьму поэт,
но между нами преграды нет!

Эти строки не нуждаются в похвалах. Они — сама истина. Они — жизнь. Они — дыхание поэта, веющее со страниц книги.

Назыму Хикмету присуждена Международная премия мира, как передовому поэту, как борцу за мир и как сильнейшему художнику поэтического слова. Стихи Назыма Хикмета — это наши сгихи, так как мысли, чувства Хикмета — наши мысли и чувства, облачённые в сильные, неукротимые, смелые, незабываемые слова!

Н. АСЕЕВ.

Эпопея борьбы за мир и демократию

Пабло Неруда называли «совестью Латинской Америки». Теперь его слава вышла далеко за пределы южноамериканского континента. Миллионы людей во всём мире прислушиваются к голосу одного из крупнейших поэтов современности, пламенного борца за мир и демократию, изгнанного из своей родной страны антинародным реакционным правительством.

В течение ряда лет, в подполье и в изгнании, Неруда осуществлял замысел своей эпопеи о «древней и новой Америке». Отдельные поэмы — составные части этой эпопеи — публиковались в разное время, некоторые из них («Да пробудится лесоруб», «Беглец», «Новогодняя песнь омрачённой родине») известны советским читателям. Теперь этот труд закончен. Весной 1950 года в городе Мексико вышла в свет «Всеобщая песнь» Пабло Неруды — монументальное произведение, состоящее из 15 частей-поэм, объединённых общей идеей.

«Всеобщая песнь» — это вдохновенное повествование о борьбе народов Латинской Америки и других стран за свободу, за счастье, за мир во всём мире. Это произведение пламенно обличает злейшего врага мира — американский империализм.

Содержание «Песни» охватывает несколько эпох в истории целого материка. Народ Латинской Америки — единственный постоянный герой этого огромного художественного полотна.

Неторопливо, подобно народному певцу-сказителю, ведёт своё повествование Неруда. Он рассказывает о родных краях, о море и реках, о лесах и горах, о лугах и долинах своей «обильной и жестокой земли». Из глубины истории встают образы испанских конквистадоров, пришедших сюда в XVI веке, чтобы ограбить туземные племена Латинской Америки. На смену им через несколько столетий пришли североамериканские хищники. Эпопея не претендует на строгую хронологическую последовательность: поэт иногда по несколько раз возвращается к одним и тем же событиям и людям, задерживаясь на поворотных событиях в истории своего народа.

Pa b l o N e r u d a. „Canto general“. Mexico, 1950.
(Пабло Неруда. «Всеобщая песнь». Мексико, 1950).

Один за другим предстают перед читателем образы героев борьбы за национальное и социальное освобождение стран Латинской Америки — отважный Гватемок, последний вождь мексиканских туземцев, боровшихся против испанских завоевателей; Тупак Амару — руководитель первого крестьянского восстания в Перу; Туссен Лувертюр — вождь негров на острове Ганги; Хосе Марти — поэт, идеолог национального освобождения Кубы. Задушевно и выразительно рассказывает поэт о том, как боролся с американскими колонизаторами вождь никарагуанского народа Сандино —

истинное воплощение нашей земли,
раздавленной, преданной и измученной.

Галерея героев освободительной борьбы латиноамериканских народов закономерно завершается образами коммунистов, идущих во главе всех угнетённых и эксплуатируемых на бой против империалистической агрессии. Именно в них видит Неруда истинных продолжателей великого дела освобождения народов Латинской Америки. Глубокой любовью дышит его рассказ о первом вожде чилийской коммунистической партии — легендарном Рекабаррене:

Оскорблённому, одинокому,
Кутавшему в лохмотья голодных детей,
Покорно встречавшему несправедливость,
Сказал он:
Соедини свой голос с другими,
Соедини свою руку с другими.

Подлинным гимном коммунистической партии кончается этот рассказ:

И человек этот новый,
Созревший в боях,
И это доблестное содружество —
Твёрдая воля,
Стойкий металл,
Единение горя,
Это дорога в завтрашний день,
Весны зароденье,
Скала человеческой силы,
Это оружие бедняков
Возникло в жестоких страданиях
Из глубины моей родины...
И это зовётся партией,
Коммунистической партией.

(Перевод Л. Осповат)

Неруда обращается к образу руководителя бразильской коммунистической партии Луиса Карлоса Престеса, который одиннадцать лет провёл в фашистских застенках. Но и в тюрьме он оставался любимым вождём народа Бразилии. Пафосом един-

ния народа и коммунистической партии проникнуты строки, рассказывающие о первом выступлении Престеса после освобождения из тюрьмы:

Дрожал стадион огромный.
Десятки тысяч горящих сердец
Идали его...

Во «Всеобщей песне» нашла пламенное выражение негасимая ненависть к американским захватчикам, переполняющая сердца трудящихся Бразилии, Мексики, Чили, Гватемалы. Гневно разоблачает Неруда подготовку новой войны Соединёнными Штатами Америки:

Бесчестный сброд презренных торговшей,
На ужасах войны нагревших руки.
Весь мир лишён покоя, и народы
Не сводят глаз с позорных трибуналов,
Где месть с бесстыдством дружно ужились.

(Перевод Ф. Кельвина)

Не отвлечённый, собирательный образ монополистов США выступает в поэме — реальные, конкретные носители зла пригвождены в ней к позорному столбу: компания Рокфеллеров «Стандард Ойл», завладевшая нефтяными источниками многих краёв земного шара, фирма «Анаконда Купер» — собственница медных рудников Чили, «Юнайтед Фрут Компани» — грандиозное монопольное предприятие по вывозу тропических фруктов из стран Центральной Америки и многие другие.

Рисуя ненавистных чужеземных эксплуататоров, Неруда с таким же гневом обрушивается и на предателей родины, на тех, кто стал прислужником американских империалистов. В главе «Преданная земля» Неруда рисует портреты подлых слуг Уолл-стрита, президентов центральноамериканских республик, посаженных на этот пост госдепартаментом: продажного тирана Венесуэлы Гомеса, жалкую марионетку США — кубинского президента Мачадо, отвратительную фигуру чилийского президента — предателя Гонсалеса Видела.

Одна из центральных частей книги называется «Земля простого человека». Поэт рисует здесь простых людей Латинской Америки, ничем не знаменитых, но доблестных своим трудом и честностью. В этих образах олицетворён народ, его великая творческая сила. Мы видим горняка из селитренных рудников Чили; мексиканского крестьянина, сына сподвижника знаменито-

го вождя крестьянской революции Салаты; мученика каторжной тюрьмы, воздвигнутой Гонсалесом Видела на развалинах горняцкого посёлка — Писагва; сражённого пулей колумбийского рыбака; простую чилийскую женщину-мать. С любовью описывая этих людей, Неруда справедливо видит в них тех, кому принадлежит будущее латиноамериканского континента.

Простая чилийская женщина, оставшаяся в живых после предательского расстрела толпы рабочих фашистами, говорит:

Я осталась живую затем, чтоб сказать вам,
товарищи:

Нужно бороться ещё сильнее,
Стереть палачей с лица земли.
Пусть знают народы цену речам их,
Пронзосимым в ООН о «свободе».
В то время, как слуги этих личков
Истязают женщин в подвалах.

(Перевод Л. Основат)

Звериным повадкам капиталистических хищников поэт противопоставляет законы другой жизни, жизни советской, где человек является самым ценным капиталом:

Ведь величайшее из всех сокровищ
Есть человек — так Сталин нам сказал.
Да, человек, народ — основа жизни.
И Сталин воздвигает здание счастья...

(Перевод И. Тыняновой)

Эти идеи наиболее глубоко и сильно воплощены в поэме «Да пробудится лесоруб», являющейся частью «Всеобщей песни». За эту поэму Пабло Неруде присуждена Международная премия мира. Поэт воспевает в ней мир во имя счастья всех простых людей; прославляет великий Советский Союз — авангард прогрессивного человечества, борющегося с поджигателями войны. Неруда обращается к простому американскому солдату:

Солдат, не пробуй ты вступить тогда
На землю милой Франции: мы встретим
Тебя и там. Заставим виноградник
Дать горький уксус. Девушкам велим
Из бедных сёл, чтоб провели тебя
Они туда, где не остыла кровь
Убитых немцев... Ты не пробуй также
Вступить под сень сухих испанских съерр:
Там каждый камень превратится в пламя,
Там много лет герон-храбрецы
С тобой сражаться будут...
...и в Грецию не вздумай ты вступать.
Тебе навстречу встанет из земли
Вся кровь, что там сегодня щедро льётся.
Она, солдаты, остановит вас!
Не пробуйте рыбачить в Токосилье,
Иль рыба-меч отведаёт тогда
Останков ваших... Связку древних стрел,

Жестоких стрел, из-под земли отроет
В Арауканье смуглый рудокоп,
Чтоб нового сразить конквистадора.

(Перевод Ф. Кельина)

Лагерю империализма поэт противопоставляет великий Советский Союз:

Отсюда, знаю я, забил родник
Живой воды, вспоившей новый мир!

(Перевод Ф. Кельина)

Советская страна выступает перед читателем как непоколебимый оплот демократии и мира. Рисуя страдания и жертвы советских людей в Великой Отечественной войне, Неруда воспевает патриотический созидательный труд народов СССР, отдающих все силы на укрепление своей страны.

Мысль о том, что СССР является родиной для всех простых людей мира, что мечты миллионов о счастье и свободе, о праве на труд и национальную независимость неотделимы от дальнейших побед могучей социалистической державы, является главной мыслью поэмы «Да пробудится лесоруб».

С эпической силой звучат слова поэта о единстве всех трудящихся мира со страной, ставшей их общей любимой родиной:

Советская земля! Когда б могли мы
Собрать всю кровь, что пролила в борьбе
ты,

Всю кровь, что миру отдала, как мать,
Спасая умиравшую свободу,
То получился б океан огромней
И глубже всех земных морей, живой,
Как бурных рек течение, и горячий,
Как: пламя огнедышащих вулканов.

(Перевод Ф. Кельина)

Эти вдохновенные строки могут рассматриваться как обобщённый идейный итог всего монументального произведения Неруды.

«Всеобщая песнь» — пламенное, проникнутое пафосом освободительной борьбы произведение. Коммунист, поэт, вооружённый самым передовым мировоззрением нашего времени, ученик Маяковского, Неруда создал поэму, которая является не только зеркалом борьбы угнетённых народов Латинской Америки против империализма, но и действительным оружием в этой борьбе.

О высоком счастье слияния личной судьбы поэта с общим делом борьбы за мир и демократию говорит Неруда в поэме «Бег-

лец», имеющей автобиографический характер. Это рассказ о том, как поэт стал голосом народа. Спасаясь от преследований, скитаясь по городам и сёлам родной страны в поисках убежища, Неруда повсюду находил приют. Народ защищал своего поэта. И потому, обращаясь к народу, Неруда сейчас говорит:

Вам всем,
Молчаливые люди ночи,
Которые в темноте сжимали мою руку,
Неугасающие светильники,
Звёздные строки,
Хлеб жизни,
Я хочу сказать вам:
Если я увидел такую простоту,
Такой чистоты цветы,
Это может быть только потому,
Что я — это ты,
Горсть земли, мука, песня...
...Я — только народ...
...Я говорю вам всем:
Я — ваш, и вас я пою.

(Перевод И. Эренбурга)

Последняя часть «Всеобщей песни» называется «О себе». Поэт рассказывает в ней о своём жизненном и творческом пути, о том, как стал он поэтом-коммунистом.

Эту часть Неруда заключает взволнованным обращением — «Моей партии»:

Ты помогла мне увидеть свет и поверить
в возможность счастья,
Ты меня сделала неразрушимым, ибо
в тебе я бессмертен.

Так заканчивается поэма.

В одном из своих последних выступлений Пабло Неруда говорил, обращаясь к латиноамериканским писателям: «Мы должны преодолеть безнадежность и подняться на сокрушительную борьбу. Мы должны показать путь народам и сами пойти рядом с ними по этому пути... Мы должны построить мир в нашей Америке».

Прекрасным творческим воплощением этих идей является лучшее из произведений Неруды — его монументальная эпопея «Всеобщая песнь», призывающая смело идти по единственно верному пути — по пути борьбы за мир и свободу народов. Эта поэма — свидетельство неуклонного революционизирования народов латиноамериканских стран, черпающих силы в опыте победоносного строительства коммунизма в Советском Союзе.

В. КУТЕЙЩИКОВА.

Выдающееся достижение румынской литературы

Наиболее талантливые писатели современности помогают своим творчеством миллионам простых людей отстаивать мир. И в то же время, став в ряды армии борцов за мир, мастера литературы ощущают на себе, на своём творчестве благотворное влияние борющихся народных масс, воодушевляющей, бодрящей атмосферы лагеря мира и демократии. Блистательным подтверждением этому служит последняя повесть румынского писателя Михаила Садовяну «Митря Кокор», удостоенная Золотой медали мира.

В ноябре 1950 года Михаилу Садовяну исполнилось семьдесят лет. Пятьдесят лет из них он посвятил литературному труду. Собрание его сочинений превышает шестьдесят томов. Четверть века тому назад Садовяну уже фигурировал в школьных хрестоматиях по румынской литературе, о нём писались специальные монографии. Однако, присвоив писателю пуганое наименование «народник-традиционалист», буржуазные критики не только не раскрывали истинное содержание творчества Садовяну, но и извращали его: мешали понять действительные демократические корни его искусства. Более того: поскольку наиболее значительные произведения писателя — «Харчевня Анкуцы», «Под знаком Рака» и другие появились в свет между 1916 и 1926 годами, буржуазные критики с позорительной поспешностью уже в тридцатых годах объявили, что Садовяну «всё сказал».

Но эти критики не учли движения живой истории румынского народа — этого постоянного источника вдохновения Садовяну. Румыния стала народно-демократической республикой, румынский народ стал на путь строительства социализма. Эти исторические события благотворно сказались на судьбах румынской литературы и лучших румынских писателей.

Старейший румынский писатель, Михаил Садовяну одним из первых безоговорочно стал на сторону народа. Он занял место среди передовых борцов за новую, народно-демократическую Румынию.

Сюжет новой повести Садовяну, названной именем её героя — «Митря Кокор»,

бесхитростен и прост, но полон глубокой социальной значимости. В основе его — история молодого румынского крестьянина-бедняка. Время действия — годы, предшествующие второй мировой войне, и затем — сороковые годы.

Где-то в провинциальной глуши приютилось небольшое бедное село Малурень, каких в Румынии тысячи. Лучшие земли держит в своих руках помещик Кристя, по прозвищу «Трёхносый», — урод, объезжающий свои владения на вороном коне, вооружённый арапником и ружьём. В этом селе живёт осиротевший крестьянский паренёк Митря Кокор. Старший брат отобрал у него оставшийся от родителей клочок земли и самого Митрю отдал в работники помещику.

Всё это на первый взгляд не ново. В книгах самого же Садовяну можно найти описание жизни многих румынских сёл, ничем не отличающихся от Малурень, и немало образов помещиков и арендаторов, родных братьев Кристя.

Тем не менее читатель, знакомый с творчеством Садовяну, уже с первых страниц повести «Митря Кокор» не может не заметить присущие ей новые черты.

Основной темой творчества Садовяну всегда была жизнь «маленьких людей», горести и страдания румынского крестьянства. Писатель знает деревню. Он всегда изображал её без экзотики и слезливой сентиментальности, столь часто встречающихся в румынской литературе. Многие крестьянские повести Садовяну, расующие неприглядное лицо боярской Румынии, имеют объективную ценность острых разоблачительных документов. Поэтому реакционеры всегда ненавидели писателя, поэтому в период фашистского разгула его книги подвергались варварскому уничтожению.

Но в прежних книгах Садовяну протест его героев против помещичьей эксплуатации и произвола проявлялся лишь в виде коротких стихийных вспышек. Налёт фаталистической покорности, поиски забвения в близости к природе снижали значение садовяновского реализма.

Иначе написана новая повесть. На этот раз на первый план выступает то, что оставалось нераскрытым во всех прежних книгах Садовяну. Жизнь села, образы

Mihail Sadoveanu, „Mitrea Cocor“. Bucureşti, 1950. (Михаил Садовяну. «Митря Кокор». Бухарест, 1950).

бояр, батраков и богатеев — всё то, что Садовяну неоднократно описывал и прежде, теперь как бы приобретает новый смысл. Необычен для писателя уже сам характер Митри. Это совершенно новый образ в творчестве румынского классика. Митря не желает мириться с окружающей его действительностью — это бунтарь по натуре.

В румынской литературе уже были в прошлом попытки показать село в эпоху революционных брожений — в частности, во время крестьянских восстаний 1907 года. Но ни одна из этих попыток не выходила за пределы изображения стихийно восставшей крестьянской массы. Никому не удавалось индивидуализировать массу, создать образ сознательного крестьянина, борющегося за своё право на жизнь, показать связь между крестьянством и рабочим классом.

В «Митре Кокор» впервые в румынской литературе показан процесс ломки крестьянского сознания. Впервые выведен обобщённый образ крестьянина-борца — человека, который под руководством рабочего класса и коммунистической партии становится сознательным борцом за мир и демократию.

Писатель показывает внутренний процесс формирования бунтарского сознания своего героя, рисует типизированный образ крестьянина-бедняка, показывая его развитие в типических для современной Румынии обстоятельствах.

Митрю забирают в солдаты. Здесь он встречается с рабочим-коммунистом Костой Флоря, знающим ответы на многие вопросы, которые так и не смог разрешить в своих глухих Малуренях Митря.

Это соприкосновение героя повести с представителем передового класса пока ещё носит случайный характер. Его ещё недостаточно для того, чтобы Митря стал вполне сознательным человеком и понял тайные пружины окружающего враждебного ему общества.

Начинается война, развязанная Гитлером при участии его румынских лакеев. Садовяну разоблачает всю безмерную гнусность антисоветского похода. Простой румынский крестьянин Митря Кокор, который знает цену тому, что сделано человеческими руками, чувствует всю преступность разрушительной, захватнической войны. Но окончательное прозрение наступает у него

лишь в советском плену. Именно здесь, в результате непосредственного общения с советскими людьми, у неграмотного крестьянского парня из глухой румынской деревни раскрываются глаза на окружающий его мир, и он начинает понимать не только истинный смысл войны, но и свою собственную жизнь, жизнь своего родного села.

Пребывание в советском плену явилось для Митри той школой, которая привела его в дивизию «Тудор Владимиреску», добровольно сформированную румынскими военнопленными в Советском Союзе. Вместе с Советской Армией дивизия ведёт бой за освобождение Румынии и позднее — в Чехословакии — за окончательный разгром гитлеризма. Теперь Митря становится храбрым солдатом, потому что он воюет за подлинные интересы народа, за будущий мир во всём мире — он воюет теперь против войны.

Повесть заканчивается возвращением Митри в родное село. Под его руководством крестьяне делят земли помещика. Митря знает, что это лишь начало новой жизни. Он видел советские колхозы и понял, что с прошлым надо кончать решительно и бесповоротно, что на очереди — социалистическая революция в румынской деревне. В ту ночь, когда его односельчане навсегда ликвидируют на своей земле помещичью власть, Митря Кокор явственно видит картины близкого будущего, когда «социалистическое государство предоставит в распоряжение бывших рабов всё могущество науки», и там, где раскинуты теперь жалкие хижинки и болота, «появятся дороги и дома с электрическим освещением, там, где господствовала засуха, прольётся по каналам радость воды, а на полях, где человек надрывался в непосильном труде, машины облегчат ему повседневный труд»...

Особая заслуга Садовяну состоит в том, что он наглядно раскрывает в своей повести огромную роль, которую сыграло в духовном развитии героя его пребывание в стране социализма. То, что произошло с Митрей Кокор на советской земле, типично для десятков тысяч таких, как он, простых румынских крестьян. Десятки тысяч румынских солдат, побывавших в советском плену, вернулись на родину новыми людьми. Большинство из них принимает

ныне активное участие в борьбе за строительство социализма в Румынии.

Правда, в сценах, изображающих жизнь героя в советском плену, Садовяну трудно было рисовать незнакомую ему действительность. Но художественное чутьё и верная идейная позиция помогли писателю уловить и показать в этих сценах самое главное — глубокую человечность и миролюбие советских людей, их идейную и моральную высоту, их стремление поднять и просветить тёмных, забытых нищетой и эксплуатацией румынских крестьян.

Простой русский солдат, колхозник из Костромы, Митя Караганов, с которым Митря Кокор общается в лагере для военнопленных, раскрывает ему глаза на окружающий его мир:

— Дмитрий Матвеевич, — говорит Караганову другой советский солдат Пиструга, — поскольку я понимаю, ты хочешь сделать из этого хлебобоба с берегов Дуная политика?

— Да, хочу, — отвечает Караганов.

И через некоторое время он с удовлетворением констатирует, что Митря Кокор «стал политиком», и это доставляет Караганову большое удовлетворение.

Простые советские люди сделали из тёмного, неграмотного румынского крестьянина сознательного борца за своё счастье. Советские люди научили его не только мечтать, но и творить новую, лучшую жизнь. Мирные советские люди не только научили его бороться за мир, но и дали

ему возможность участвовать в этой борьбе в новой обстановке. Не трудно увидеть, что путь румынского крестьянина Митри Кокор типичен для крестьянства всех стран народной демократии, для всех народов, которых Советский Союз освободил от гитлеризма и которым он оказал решающую поддержку в борьбе за новую жизнь.

«Ещё вчера, — говорил Садовяну на Первом Всемирном конгрессе сторонников мира, — мы были пешками, приносимыми в жертву кровавой игре великих держав. Наши страны почти целое столетие жили в условиях полукOLONИАЛЬНОГО режима, установленного дельцами этих держав, сговорившихся эксплуатировать нас». Благодаря Советскому Союзу, с этим навсегда покончено, и народы юго-восточной Европы навсегда избавлены от роли пушечного мяса в империалистических войнах.

За короткий срок в этих странах произошли огромные не только социально-экономические, но и культурные сдвиги — выросли творческие силы народа, совершился огромный прогресс в литературе и искусстве.

Повесть Михаила Садовяну «Митря Кокор» — один из нагляднейших признаков этого прогресса.

Верные солдаты мира, сражающиеся каждой своей строкой за братство и дружбу между народами, за демократию, прогресс и социализм, — таковы лучшие писатели стран народной демократии.

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ.

★ ★
★

На верном пути

Илья Котенко — новое имя в литературе. Недавно была опубликована первая книга его романа «Колхозники». Видимо, автор задумал большое полотно и в первой книге ещё только познакомил нас с семьёй своих многочисленных героев, показал первый этап их борьбы за подъём сельского хозяйства непосредственно после войны, в весну первого мирного, 1946 года.

Целеустремлённость произведения, его идея получает выразительную формулировку

в конце романа в разговоре двух коммунистов — первого секретаря райкома партии Михаила Егоровича Плужникова и председателя колхоза «Путь социализма» — Николая Шевардина. «Вот и кажется мне, — говорит Плужников, — что каждый раз, когда мы проводим сев, мы должны в душах людей посеять новые, чудесные зёрна социалистического, понимаешь, социалистического отношения к себе, к своему труду, к своему колхозу».

Основой конфликта в романе является борьба с людьми, не видящими дальне-

ших путей развития высокомеханизированного сельского хозяйства, цепляющимися за звеньевую систему организации труда. Творчество противостоит консерватизму, дерзание в труде — приспособленчеству к отсталым взглядам.

Автор показывает рост всё новых и новых творческих сил людей колхозной деревни.

В коллективе, сплочённом общностью мировоззрения, где царит атмосфера творческого сотрудничества, всякое, пусть небольшое, новшество вызывает к жизни всё новые и новые дерзания.

Человек живой творческой мысли, новатор по характеру, Николай Шевардин силен поддержкой коллектива, проникнут верой в людей, своих товарищей по жизни. «Без этой веры, — говорит он Плужникову, — я бы ни жить, ни работать, ни мыслить не мог...».

Шевардин — молодой человек советской формации. В недавнем прошлом рабочий «Ростсельмаша», воин Советской Армии, работник райкома партии, он по внутреннему влечению пошёл в село, в колхоз, чтобы вместе с колхозниками бороться за хлеб для родины, ещё выше поднимать экономику и культуру деревни.

С гордостью и достоинством он ощущает себя рядовым тружеником советского общества. Николай Шевардин разрабатывает новую систему оплаты труда в зависимости от урожая. И пока он решает эту задачу в отрыве от всех других колхозных дел, так сказать лабораторным путём, его новаторская идея ещё не обнаруживает всей своей ценности. Но как в часовом механизме движение одного колёсика передаётся всем другим частям и в движение приходит весь механизм, так и новаторская мысль Шевардина постепенно побуждает к действию других.

Более того, другие люди — Плужников, агроном Волошин, тракторист Остап Якуненко — обогащают замыслы Шевардина, заглядывают дальше него, делая из высказанных им предложений ещё более смелые и правильные выводы. Жизнь, многолетний опыт колхозников резко расходятся с ретивой и порочной практикой апологетов звеньев, ликвидирующих бригады, разбивающих колхозные массивы на убогие клеточки и полоски. Так поступает председатель колхоза «Новая заря» Суханов. Чело-

век живого ума, коммунист-агитатор Илья Охрименко сразу схватывает основное зло подобной практики: «... снова, выходит, упирается народ, как бычок, в свой клочок. От социалистического отношения к индивидуальному вроде переходим...».

Дух творчества в повседневной работе присущ большинству колхозников. Мы видим здесь коллективное творчество, благодаря которому колхозники отвергают звеньевую систему и коллективным опытом обогащают идею Шевардина «платить от урожая». В общий поток народной инициативы вливается и почин трактористов («колхозной гвардии», — как называют их в романе), перевыполняющих планы за счёт экономии времени, и рационализации горючевоза комсомольца Никиты Байкова, который обыкновенную телегу превращает в «заправочный агрегат», и усилия директора МТС Лавришева, который не гонится за выполнением плана только по объёму тракторных работ, а хочет «хорошо, по науке, пахать землю, хорошо, по-научному, сеять, и в такие сроки, чтобы в колхозах был высокий урожай».

Не отдельные роднички, а полноводную реку народной инициативы раскрывает в своём романе И. Котенко.

Передовики Зерновского района предстают в его книге как большая и сильная армия. Мы ощущаем район как целое, как единый коллектив. Мы видим жизненные столкновения людей, борьбу противоречий, преодоление их на основе критики и самокритики.

Сознание своего долга перед государством как своего первейшего долга — черта, присущая большинству колхозников.

В романе показано, как творчество в партийной работе — одна из ведущих тем книги — органически сочетается с творчеством широких масс. «...Быть хорошим коммунистом — это не только выполнять, что партия говорит, но и подсказать ей, что новая жизнь выдвигает!» — говорит один из героев романа.

Оставаясь только исполнителем, второй секретарь райкома партии Шелковников неизбежно превращается в узкого делегата, глушителя инициативы и самостоятельности коллектива.

И наоборот, считая партийную работу «областью науки», заботясь о том, чтобы каждый человек был на своём месте, по-

нимал значение своего труда и вносил в него живую мысль, первый секретарь райкома Плужников приобретает способность видеть рождение нового, во-время улавливать нарождающиеся тенденции развития. Именно эти качества делают его руководителем, идущим вперёд, привлекают к нему людей. В остром разговоре с Шелковниковым Плужников резко критикует метод его работы и высказывает мысль, которая художественно воплощена во многих характерах романа: «Мы забываем, Иннокентий, что партийная наука требует прежде всего творческого отношения к делу. Помнишь слова Сталина о творческом марксизме?.. Об этом не только мы с тобой знаем — знают все наши люди, весь народ! Эта живая мысль в самом воздухе, которым мы дышим».

Образ Плужникова — один из наиболее полнокровных в романе. Сейчас почти в каждом произведении на колхозную тему встречаются образы секретарей райкомов. Однако нередко ещё такого партийного руководителя показывают нам в роли «объясняющего товарища», который приходит в семью героев романа как бы со стороны, и роль его часто сводится к резолютивной оценке действий тех или иных персонажей. Это приводит — как, например, в «Ясном берегу» В. Пановой — к сухости, схематизму образа партийного руководителя.

Плужников — действующий герой романа. Сцены, в которых он выступает, — наиболее важные и значительные. Его отношение к людям и отношение других героев к нему существенно важно для обрисовки персонажей. Он раскрывается в действиях как характер, как личность со своеобразными мыслями и чувствами. Автор освещает его с разных сторон, показывает на заседаниях, во встречах с разными людьми и в беседе с друзьями... Автору, несмотря на отдельные недостатки письма, удаётся передать определяющие черты этого героя — его государственный кругозор, творческий ум, чуткость к людям. Интересны и поучительны эпизоды, в которых переданы разговоры Плужникова с заведующим отделом сельского хозяйства Потопальским об инициативе и самостоятельности в работе, с Шевардиным — о «севе в душах людей», с техническим секретарём Любей Афанасьевой — о её сердечных делах, с Шелковниковым — о творческом на-

чале в партийной работе... Читателю виден человек умный и деятельный, растущий и стремящийся вперёд, наставляющий других и одновременно обогащающийся их знанием и опытом.

Правда, в личной жизни Плужников предстаёт пока лишь как «неаккуратный корреспондент» своей жены, заканчивающей аспирантуру в Москве. В его письмах к Тане — серьёзные, важные мысли о пользе работы учёного в солнечной степи, но мало в них человеческой теплоты и задушевности, столь присущей Плужникову в других эпизодах. Эпистолярную форму в данном случае автор не сумел сделать сильным средством изображения внутреннего мира героя, способного на большую, вдохновенную любовь.

К сожалению, автор охотнее различает своих героев, чем берётся за освещение их «личной» жизни. Разлученными остаются также Николай Шевардин и его жена Анна.

Семья вообще выпадает из поля зрения автора. И это обедняет роман.

Не в полной мере автор овладел законами построения сюжета. Главная идея романа — творчество в повседневной жизни — ещё не всегда проявлена в действии.

Не может служить примером творческого отношения к труду почин колхозника Богатырёва использовать на бороновании коров колхозников — факт этот слишком мелкий, сейчас уже не характерный для наших колхозов, достигших высокого уровня механизации. Отрицательные персонажи: председатель колхоза Суханов, барышник по натуре, обманывающий государство, цепляющийся за звенья и раздувающий приусадебные участки; председатель райисполкома Передерий, закосневший в невежестве, утративший чувство нового, некоторые другие — нарисованы местами чересчур карикатурно, и исход столкновений с ними предreshён заранее.

Да и люди новые, творческие, раскрыты пока односторонне. Так, автор с любовью описывает агронома Волошина, делает его одним из ведущих героев, но, кроме настойчивой борьбы за боронование, Волошин пока ничем больше своей богато одарённой натуры не проявляет. Автор познакомил нас с профессором Колосковым, но и этот интересно намеченный персонаж остался в тени. Очевидно, этим персона-

жам предстоит развернуться во второй книге романа.

И. Котенко умеет осветить внутренний мир своих героев, это и придаёт интерес его произведению. Но непростительно мало уделяет внимания автор внешнему портрету персонажей. Он даёт отдельные чёрточки, иногда удачные, чаще же удовлетворяется стёршимися, примелькавшимися деталями и эпитетами: «маленькая и сучонькая Варвара Кузьминична», Анна — «стройная, с широко открытыми, немного

удивлёнными глазами», Плужников — «загоревшее, красивое лицо, молодо блестящие глаза».

Автору предстоит большая работа над языком, особенно в индивидуализации речевых характеристик героев, в более внимательном отборе портретных черт, в очищении повествования от излишне часто употребляемых местных выражений, подчас весьма затруднительных для восприятия.

В. ПАНКОВ.

★

Свидетельство друга

Любовь и ненависть — вот чувства, породившие книгу Симонова о Китае, сражающемся за своё освобождение и создающим новое, народное государство, — любовь к китайскому народу и ненависть к реакционной гоминдановской клике, предающей интересы народа. Это очень просто и искренне написанная книга, в которой отношение автора к вещам и событиям определяется с первых же её страниц, и которая оставляет «экзотические описания городских рикш и деревенских паланкинщиков на долю буржуазных прохвостов». Это книга советского человека, знающего, что такое борьба за счастье, и познавшего счастье жизни в свободной стране.

Находясь в качестве корреспондента «Правды» в действующих частях китайской Народно-освободительной армии, К. Симонов был свидетелем продвижения её в северных районах провинции Гуанси и освобождения главного города этой провинции — Гуйлиня.

Наблюдения писателя над героическими действиями китайских воинов послужили материалом для книги «Сражающийся Китай». Автор поставил перед собой цель рассказать о том, «что представляет собой Народно-освободительная армия и как она сражалась раньше и сражается сейчас, на последнем этапе борьбы с гоминдановской военщиной и стоящими за спиной гоминдана американцами».

Автор рисует картины боёв Народно-освободительной армии, постепенный рост

сил народной армии, воспитанной коммунистической партией Китая, непреклонную решимость народа бороться до полной победы.

Воины Народно-освободительной армии совершили немало героических подвигов во имя освобождения народа, и Симонов передаёт один из таких незабываемых исторических эпизодов — гибель взвода солдат партизанских войск во время анти-японской войны. Солдаты могли выйти из окружения, но они знали, что тогда японцы зверски расправятся с жителями деревни. И взвод вёл бой до последнего оставшегося в живых солдата, до тех пор, пока жители деревни не ушли в горы.

С большой теплотой писатель говорит о людях этой армии, о её солдатах и командирах. Они очень не любят рассказывать о себе, эти скромные люди, — но какое богатство чувств и мыслей раскрывается перед нами, когда мы ближе знакомимся с ними! Вот генерал Лю Бо-чэн, «скромнейший из скромных», в «свободные» часы при свете копилки в землянке переводящий на китайский язык советские военные книги. Вот генерал Линь Бяо, спокойный, серьёзный человек, который в пять минут рассказал о себе, и о подвигах которого часами рассказывают другие и, в частности, его бывший ординарец, ставший командиром полка. Вместе с автором мы понимаем, что жизнь Линь Бяо «неотделима от жизни армии, так же как неотделима от жизни армии жизнь всех выдающихся китайских командиров-коммунистов, в суровых испытаниях двадцатилетней войны воспитанных коммунистической партией Китая и её вождём Мао Цзе-дуном в духе

Константин Симонов. «Сражающийся Китай». Редактор С. Разумовская. «Советский писатель», М. 1950.

скромного и беззаветного служения великому делу революции».

Под влиянием таких коммунистов-командиров бывший гоминдановский солдат Чжань Дэ-ю стал героем нового Китая и за подвиги во время штурма Тяньцзиня награждён орденом Мао Цзе-дуна. Это коммунистическая партия воспитала героя боёв, доблестного солдата коммуниста Пу Фэн-ганя, девятнадцатилетнего крестьянского парня, в боях и в походах каждый день запоминающего два новых иероглифа. «Где он сегодня, этот упрямец? Но где бы он ни был, я знаю, что и сегодня он наверняка выучит к вечеру свои два очередных иероглифа».

Так же прост, скромен и трудолюбив мэр города Хэнъяна Мао Юань-яо. Умный, искренний человек, «труженик партии, живое воплощение одного из великих коммунистических лозунгов, на которых воспитывают здесь людей: «Всё для народа, ничего для себя».

И этим самоотверженным людям, ведущим за собой китайский народ, всему китайскому народу пытается противостоять кучка прислужников американского империализма!

Рассказ о продажных представителях гоминдана, воспоминания о нанкинской резиденции Чан Кай-ши — «проворовавшегося американского приказчика со шпагой и в генеральском мундире», переплетаются с показаниями пленного гоминдановского полковника о бесстыдном сотрудничестве гоминдановцев с японцами во время анти-японской войны.

С отвращением смотрим мы на фашистского молодчика, пленного лейтенанта Се Цзе-сэня, на опустившегося, безвольного полковника Ли Бин-цзюня. Это они грабили народ, это они стреляли пленным в затылок из маузеров, это они нужны американскому империализму.

«Если просмотреть вооружение, взятое нами за все эти годы, с точки зрения фабричных марок, — говорит комиссар дивизии, — то перед нами предстанет наглядная картина того, как сражается против нас мировой империализм». Американский империализм поставлял оружие Чан Кай-ши и давал ему средства для убийства народа, американский империализм присылал в Китай храбрых молодцов с военной выправкой проповедовать «слово божье». Справедливым негодованием звучит голос

«Новый мир», № 1.

автора книги, когда он говорит об этом. Любовно смягчается этот голос, когда речь заходит о тех, кто избавляет народ от врагов, кто не жалеет жизни в борьбе за свободу. «Смерть в боях за свободу народа, жизнь во имя свободы народа — поистине нет ничего на свете, в чём бы содержалось больше поэзии, чем в этом».

В книге К. Симонова «Сражающийся Китай» речь идёт не только о сражениях на поле битвы, но и о тех сражениях, которые приходят вслед за ними, о созидательном и пока не всегда «мирном» труде. В города, освобождённые от гоминдановцев, «вошли не просто одетые в другую форму солдаты другой, победившей армии, а властно вошёл другой мир» — мир свободы, труда и созидания.

В книге есть прекрасный образ плодородной земли, освобождённой от лежавшей на ней долгие годы чугунной плиты. Она ещё голая и чёрная, эта земля, но вот пробивается нежная зелень, идёт в рост «молодо, победно, ярко, празднично». Да, проклятый гоминдановский режим не ушёл бесследно, после него остались рубцы и шрамы, и много ещё надо приложить труда, чтобы избавиться от наследия феодального и империалистического гнёта. Но это будет — «оживает земля, оживают дома, дороги, реки... Ещё в одну провинцию Китая пришла свобода, справедливость, демократия».

Автор проезжает мимо моста, который строится на освобождённой земле, и видит «сине-чёрный океан рабочих спецовок, бушмажных крестьянских курток. И, конечно, это тоже картина сражающегося Китая — Китая, изголодавшегося по созидательному, мирному труду и сражающегося за новую жизнь...»

Советский писатель видит глубокий политический смысл событий в Китае — событий, отражающих борьбу двух миров. И это определяет художественную форму книги, образы её, тон её.

С презрительным юмором описывает Симонов последний номер гоминдановской гуансийской газетки, комментирует многочисленные гоминдановские лозунги, восхваляющие добродетели палачей, говорит о «дотах», наспех сооружённых гоминдановскими ворами-генералами, которые, «находясь при последнем издыхании, всё-таки мужественно набивали себе карманы

последними деньгами, отпущенными на последние укрепления».

Спокойно рассказывают автору уполномоченный Военно-революционного комитета товарищ Ду Цинь и старый шахтёр товарищ Ли Гуан-мин о преступном хозяйствовании гоминдановцев на шахтах Юншао, рассказывают, как о явлении обычном для гоминдановского режима. Уже в самом этом спокойствии победителей заложена грозная сила.

Присущая советскому человеку дружеская заинтересованность в жизни и борьбе китайского народа даёт возможность автору сделать важные и интересные обобщения. Встретив в пути носильщиков, он останавливается возле них, чтобы спросить, как они работают, и рассказать читателю о тех грошах, которые они получали в старом Китае за свой каторжный труд. Встреча с мальчиками-партизанами помогает узнать о действиях типического для Китая партизанского соединения, которым командует в прошлом рабочий, а ныне профессиональный революционер товарищ У Чэн-фан.

К. Симонов проезжал места, славящиеся своею живописностью. Есть особая манера у автора в изображении пейзажа. Она несколько суховата, но она гармонирует с общим стилем повествования. Нет отдельно существующего пейзажа: он сопутствует армии в походе, или крестьянину, работающему в поле, — он требует постоянного присутствия человека. Унылый пейзаж со следами разрушения не навязывает печальных настроений: мысль советского литератора, идущего с армией, устремлена в будущее, когда зацветёт земля, как устремлены в радостное будущее мысли китайского народа.

Тема будущего — большая тема этой книги. Мы читаем её и видим светлое будущее китайского народа, — и не только потому, что многие черты его уже проявились за год, прошедший со времени пребывания автора в Китае. Это будущее — социалистическое будущее — уже достигнуто в первой в мире стране социализма — Советском Союзе.

Именно с высот нашего настоящего сумел увидеть Симонов будущее Китая и понять всё величие революционных событий, свидетелем которых он был.

Куда бы ни пошёл автор, что бы ни увидел он, всё вызывает в нём ассоциации и сравнения с привычным и близким нам. Вот смотрит он спектакль о солдатском подвиге, и перед ним русская деревня Чернушки и советский солдат Александр Матросов, занесённый «в списки каждого полка, в любом уголке земного шара под красным знаменем сражающегося за счастье человечества»; на солдатском митинге думает он о том чувстве дружбы и глубокого товарищеского уважения к китайскому народу, которое живёт в «прямой, строгой и щедрой душе» каждого советского человека.

В глубоком анализе политической работы Народно-освободительной армии раскрывается связь с методами политической работы Советской Армии, связь, выражающаяся не просто в заимствовании, а в творческом преломлении этих методов в иных условиях.

Советский Союз, Сталин, мир — понятия, неотделимые одно от другого, вдохновляющие людей на подвиги, и где бы ни был советский человек, люди всюду приветствуют его как носителя тех благородных идей, которые заключены в этих словах. «С беспредельной силой я почувствовал именно там, в эту ночь, в глухой гуансийской деревушке, какое великое и в то же время непосредственное, повседневное жизненное значение имеют для сотен миллионов простых людей слова, произносимые во всех уголках земного шара о Сталине:

— Вождь всех трудящихся».

К. Симонов написал о великом народе, который он наблюдал в походах и в мирном труде, написал о его безрадостном прошлом, о рождающемся в борьбе светлом настоящем и о близящемся величественном будущем. Это и есть сражающийся Китай.

Л. ЭЙДЛИН.

Начало важного разговора

Какому бы вопросу творческого развития советского театра мы ни обратились, мы неизменно убеждаемся в том, что в условиях социалистической действительности сложился и вырос качественно новый театр, обращающий своё творчество к широчайшим народным массам, неотделимый от народа. Советский театр вместе со всем народом участвует в преобразовании жизни, в великом коммунистическом созидании. Наш театр — вдохновенный и страстный пропагандист самых передовых, самых благородных и гуманных идей современности; в духе коммунизма воспитывает он своего зрителя.

Унаследовав передовые демократические традиции русской театральной культуры, советский театр стал подлинно новаторским театром, утверждающим в своём творчестве новые эстетические принципы, создающим боевое искусство социалистического реализма. Советский театр создал новую школу актёрского мастерства, новую школу режиссуры.

Богатейший новаторский опыт советского театра нуждается в самой широкой популяризации, в повседневном и глубоком изучении и обобщении.

К числу новых книг, в известной мере удовлетворяющих этому требованию, относится сборник «Работа режиссёра над советской пьесой», представляющий собой собрание статей видных советских режиссёров: Ал. Попова, Ю. Завадского, Б. Захавы, А. Лобанова, Н. Горчакова и Н. Петрова. Авторы сборника на протяжении длительного времени принимают активное участие в строительстве советской театральной культуры, вся история нашего театра прошла на их глазах, лучшие спектакли, поставленные ими, уже составляют страницы истории советского театра. Молодые актёры и режиссёры законно будут искать в книге ответы на волнующие их вопросы.

Отрадно отметить, что видные советские режиссёры пытаются осмыслить свой путь в искусстве, разобраться в некоторых важных теоретических вопросах художественного творчества. Режиссёр, являющийся

идейным наставником актёра, организатором и руководителем сложного театрального процесса, более чем кто-либо в театре должен проявлять живейший интерес к теории сценического искусства. Режиссура не бездумное ремесло — вопросы теории входят составной частью в творчество подлинного режиссёра-художника. Классическим примером такого единства служит вся творческая деятельность Станиславского — выдающегося актёра и режиссёра и не менее выдающегося теоретика театра. Пренебрежение к вопросам теории, незаинтересованное отношение к эстетическим основам искусства, уклонение от глубокого обобщения творческого опыта театра неизменно губительно сказывается на художественной практике, тормозит развитие и совершенствование мастерства советского режиссёра.

Эта мысль ясно и убедительно высказана некоторыми авторами рецензируемого сборника. «Очень обидно, что мы, практики театра, — заявляет Н. Петров, — как-то довольно спокойно отошли от решения набравших вопросов, успокоившись на том, что искусствоведы и театроведы обосновывают или опровергают нашу практическую работу».

Теория и практика — неразъединимы в творчестве советского режиссёра. «При постановке... пьес, — говорит Н. Горчаков, — мне казалось всегда необходимым решать практически, на опыте работы с автором, актёром и художником, те теоретические вопросы режиссуры, которые возникали у меня в процессе изучения пьесы, анализа её идейного и художественного содержания. Я считал также необходимым, закончив постановку, сделать для себя и те выводы, которые могли бы принести известную пользу для дальнейшего развития режиссуры... Я считаю такую в своём роде научную работу очень важной для современного режиссёра, дополняющей и проверяющей его интуицию художника, фиксирующей достоинства и недостатки его режиссёрской практики».

Мысли, высказанные Н. Петровым и Н. Горчаковым, объясняют, почему было необходимо издание рецензируемого сборника. Поэтому вряд ли нужна была осторожная оговорка Ю. Завадского: «Я не

«Работа режиссёра над советской пьесой». Сборник статей. Редактор Н. Зограф. Издательство «Искусство», М.—Л. 1950.

теоретик, не театровед, не театралный критик, а практический работник театра и не претендую на точность формулировок...»

В нашей социалистической промышленности передовой стахановец перестаёт уже быть узко практическим работником, — мы являемся сейчас свидетелями стирания граней между трудом умственным и физическим. Почему же крупному советскому режиссёру нужно так отгораживаться от теоретического фронта искусства и подчёркивать практическую направленность своей деятельности? Наиболее опытные и видные практики театра обязательно должны быть привлечены к теоретической разработке проблем советской режиссуры! Поэтому никак нельзя ограничиться изданием одного этого сборника. За ним должно последовать издание новых книг, в которых примут участие М. Кедров, К. Зубов, Н. Охлопков, Р. Симонов, И. Берсенев, А. Хорава, Г. Юра, М. Крушельницкий, Э. Смильгис и многие другие, не успевшие высказаться на страницах первого сборника.

Опыт работы наших режиссёров над советской пьесой наглядно и убедительно показывает, какую поистине исключительную роль сыграла советская драматургия в успешном развитии нашего театра. Рассказывая о своём творческом опыте, авторы сборника утверждают основополагающее, непреложное для советского сценического искусства положение: драматургия является идейно-художественной основой работы театра. В активном и страстном утверждении этого принципиального положения и заключена ценность сборника. Ведь до недавнего времени ещё находились люди, сомневающиеся в справедливости тезиса о ведущей идейной роли драматургии. В этом отношении особенно проявила себя группа театралных критиков-космополитов, всячески опорочивавших творчество наших драматургов и подрывавших тем самым идейные основы советского театра.

Принципиальное значение положения о ведущей роли драматургии заключается в том, что оно, это положение, помогает определить основную, центральную задачу, стоящую перед театром. Эта задача — неустанная, активная борьба за новый подъём советской драматургии, за её совершенствование, за рост мастерства советских драматургов. У театра, у каждого актёра

и режиссёра должна быть глубочайшая заинтересованность в судьбах современного репертуара. Без создания такого репертуара невозможно служение театра интересам современности.

У работников театра нередко бывают основания выражать свою неудовлетворённость той или иной пьесой, той или иной ролью и высказывать весьма обоснованные, критические замечания в адрес наших драматургов. Но в этой критике театр не может отгораживаться от драматургии. Драматургия его родное, кровное дело. Первый долг актёра и режиссёра — помочь драматургу в совершенствовании его мастерства.

В работе над советской пьесой концентрируются по существу все наиболее значительные проблемы театралной теории и практики. Таким образом, положение о драматургии, как идейной основе работы театра, не является некоей абстрактной эстетической категорией, оторванной от живой и вдохновенной творческой практики. Это само творчество, его руководящее начало. Советской драматургии, прочно связавшей театралное искусство с жизнью народа, с интересами современности, в значительной степени обязан наш театр своими выдающимися успехами.

В настоящее время крайне важное значение для советского театра приобретает творческое развитие наследия выдающегося деятеля советского искусства К. С. Станиславского. Его богатейшее наследие, включающее в себя все решающие вопросы театралной теории и практики, помогает утверждению на советской сцене принципов социалистического реализма.

Учение Станиславского всегда вызывало живейший интерес деятелей театра. Этот интерес возрос особенно сильно в последнее время, в связи с творческой дискуссией о его наследии. Как же относятся к учению Станиславского авторы сборника — видные советские режиссёры, творческая родословная которых прочно связана со школой Художественного театра? К сожалению, читателя, естественно заинтересованного этим вопросом, ожидает разочарование. Режиссёры, выступившие на страницах сборника, мало даже о нём вспоминают. А если и вспоминают, то только для того, чтобы лишний раз повторить неопровержимую истину об огромном значении

учения Станиславского для советского театра. Но при этом они не делятся с читателями, с режиссёрской молодёжью своими раздумьями о дальнейших путях развития его учения, не говорят конкретно о том, чему они научились у Станиславского, какие заветы оставил он режиссёрам, стремящимся к достойному сценическому воплощению советской пьесы.

Если бы читатель ограничил своё представление о наследии Станиславского только теми немногими положениями, которые высказаны в сборнике, — то каким обеднённым показалось бы ему учение великого художника! Об учении Станиславского, охватывающем всю сумму важнейших вопросов театрального творчества, от его философски-эстетических основ до технологических приёмов работы актёра и режиссёра, в сборнике говорится главным образом как об азбуке актёрского мастерства. Действительно, такую азбуку Станиславский создал, и это является одним из выдающихся его достижений. Но «система» Станиславского не ограничивается только азбукой — она значительно глубже и содержательнее такой азбуки. Его знаменитая «система» включает в себя и учение о режиссуре, в ней решаются большие вопросы и эстетики и этики театрального искусства.

Ю. Завадский в своей статье «Из опыта режиссёра» неожиданно заявляет, что учение Станиславского можно лишь «рассматривать как подготовку, естественное творческое обоснование, как предпосылку развития и расцвета современного советского театра». Если принять на веру это утверждение, то окажется, что наследие Станиславского уже сыграло свою роль и представляет собой пройденный этап в истории советского театра, — ведь оно является только «подготовкой» и «предпосылкой» его сегодняшних достижений. Заканчивая вступительную часть статьи, Ю. Завадский пишет, что его новое понимание современного советского театра «определяет всю систему театра, все те сдвиги в режиссёрско-педагогической методике, которые у меня первоначально были ученически-мхатовскими, с некоторым (условно говоря) вахтанговским уклоном к театральности, а сегодня приобретают возникую в практическом опыте самостоятельность». Здесь снова говорится об учении Станиславского только как о «предпосылке» творческого

развития, как о пройденном этапе. Выходит, что свою творческую самостоятельность Ю. Завадский обрёл только тогда, когда он отошёл от прежних «ученически-мхатовских» творческих принципов.

Наряду с этими ошибочными положениями Ю. Завадский высказывает также ряд верных положений о сущности и значении дела Станиславского. Определяя наследие своего учителя только как «подготовку» и «предпосылку» советского театра, он в то же самое время заявляет: «Мы робко и ничтожно мало используем гениальное учение Станиславского. Ведь гениальность Станиславского именно в том, что он сегодня является нашим учителем в театре, что он предвидел пути развития советского театра». Здесь уже не может быть никаких сомнений в истинности высказанной мысли! Наглядным подтверждением этому и является настоящий сборник. Опубликованные в нём статьи показывают, что некоторые ученики Станиславского действительно «робко и ничтожно мало» пропагандируют его учение, «робко и ничтожно мало» работают над дальнейшим развитием его творческих идей. Вся деятельность советского театра проходит под знаком утверждения принципов социалистического реализма, а ведущие советские режиссёры не ставят в своих статьях вопрос о том, как наиболее эффективно и правильно использовать наследие Станиславского в интересах дальнейшего подъёма искусства социалистического реализма. А говорить о Станиславском вне связи с этими интересами — значит отрывать Станиславского от современности, забывать о настоящих проблемах развития советского театра.

Н. Петров говорит о себе и своих коллегах по театру: «Мы, постоянно ссылающиеся на К. С. Станиславского...». Вот что, к сожалению, ещё до сих пор определяет отношение к наследию Станиславского многих его учеников и последователей! Они именно привыкли главным образом «ссылаться» на Станиславского и далеко не в достаточной степени бывают озабочены тем, чтобы двигать вперёд его живое и столь нужное нашему театру дело. Можно подумать, что некоторые из участников сборника считают даже, что они уже переросли учение Станиславского. Ведь говорит же А. Лобанов: «Метод Художественного театра — единственный метод, который помогает начинающему актёру и режиссёру

при овладении технологией его мастерства». И дальше: «...это наиболее верное оружие, которым необходимо овладеть студенту-режиссёру или актёру, ибо принципиально другого метода обучения сценическому мастерству не существует». Как ясен подтекст этих слов! Получается так, что заниматься Станиславским — удел только начинающих режиссёров и актёров, театральной студенческой молодёжи. Ведь это только «азбука» сценического искусства!

В статье А. Лобанова в этой связи особенно обращает на себя внимание такое место: «Есть ли у меня свой особый режиссёрский метод? Думаю, что ответить на этот вопрос должны критики. У меня есть многолетняя, повторяющаяся из спектакля в спектакль манера работать, для себя я эту манеру (как я выше говорил) определяю словами: а как это было бы, если бы было на самом деле?». Против такой манеры работы режиссёра, разумеется, не может быть никаких возражений. Но почему не сказать здесь, что эта «манера» есть метод Станиславского, что режиссёр А. Лобанов, формулируя это правило своей режиссёрской практики, следует знаменитому творческому принципу Станиславского — его «магическому» «если бы...». Вряд ли следует нашим режиссёрам забывать, кому они в значительной степени обязаны своими творческими успехами, вряд ли зазорным будет для них признание, что в своей творческой практике они следуют за Станиславским.

Станиславский никогда не стоял на месте. ему была чужда творческая самоуспокоенность, он знал только одно движение — движение вперёд. Он всегда учился и до последнего дня жизни был занят совершенствованием своего мастерства. Об этом не всегда помнят некоторые наши мастера. Им уже кажется зазорным сейчас, когда они вышли на самостоятельный путь творчества, продолжать учиться у Станиславского. Поэтому-то без всякого сожаления они отдают всё богатство творческих идей Станиславского театральной молодёжи, только начинающей свои первые шаги в театре: учиться у Станиславского, как когда-то и мы учились у него!

Критикуя эти ложные ноты, звучащие в сборнике, мы отнюдь не собираемся свести к ним всё его содержание. Совсем наоборот: в сборнике много интересных и полезных наблюдений, много ценных и

правильных мыслей, усвоение которых значительно облегчит режиссёрской молодёжи её творческий путь.

Статья Ал. Попова «Искусство великой эпохи», открывающая сборник, затрагивает вопросы, которые находят своё отражение затем и в других статьях. Это даёт возможность проследить общность позиций, разделяемых советскими режиссёрами, участниками сборника. Длительная работа над пьесами современных авторов, творческий опыт советского театра привёл их к твёрдому убеждению, что новаторская сущность нашей драматургии и нашего сценического искусства определяется прежде всего новой социалистической действительностью, неразрывной органической связью с нею. Новые приёмы, новая технология художественного творчества рождаются не сами по себе — они являются прямым следствием того нового, что произошло в жизни страны. Правдивое отображение на сцене героя нашего времени — человека социалистической эпохи — невозможно осуществить старыми, каноническими приёмами. Быть ближе к жизни, ощущать её дыхание на каждом этапе творчества, любить жизнь, уметь наблюдать её, — вот в чём заключен пафос творчества. «Нам надо понять, — пишет Ал. Попов, — что новое содержание социалистической действительности требует от актёра и режиссёра проверки всей технологии актёрского и режиссёрского мастерства и наше творческое вооружение связано со способностью художника быть зорким, обладать чувством нового в человеке».

Сборник показывает, что творческие успехи советского художника живейшим образом связаны с умением видеть, понимать и чувствовать новое в окружающей жизни.

В статье Ал. Попова затронут также весьма важный вопрос об этических основах советского искусства, вопрос, имеющий прямое отношение к правдивому и глубокому раскрытию образа передового советского человека. Актёр должен быть достоин своего героя. Положительные качества советского человека неизобразимы на сцене, «если актёр не имеет их в основе своего человеческого характера... Так новое содержание нашего театра властно требует от актёра особых черт в его характере, типических для советской эпохи». Отсюда следует до-

гический вывод: «Естественность и простота, являясь украшением нашего человека, одновременно стали и эстетическими критериями сценического искусства».

Об этом же говорит и Ю. Завадский в статье «Из опыта режиссёра». В ней сделана попытка обобщения творческого опыта работы над советской пьесой, который Завадский накопил, начиная с постановки «Простой вещи» Б. Лавренёва в 1927 году и кончая постановкой «Нашествия» Л. Леонова в 1943 году. Статья содержит ряд мыслей, наблюдений и обобщений, поучительных для нашей театральной молодёжи. Сопоставляя две своих постановки советских пьес, автор отмечает, как вырос у актёров за последние годы масштаб понимания роли.

Особого внимания заслуживает поставленный автором вопрос о культуре сценической речи. В постановке этого важнейшего вопроса он исходит из учения И. В. Сталина о языке.

«Язык есть орудие развития и борьбы», — вот гениальное определение, данное товарищем Сталиным, — пишет Ю. Завадский. — Да, слово нужно человеку для деятельности. Не аморфная болтовня, а действенное, воздействующее, мощное, насыщенное чувством, образное художественное слово, цепь слов, взаимосвязь их, живая текучесть словесной ткани, вернее не ткани, а самой жизни, в потоке целеустремлённых мыслей-слов — вот истинная и первая сила актёрского искусства, вот его наиболее мощное средство воздействия».

Ю. Завадский призывает актёров и режиссёров больше ценить авторский текст, более глубоко работать над ним, не допускать того, чтобы произнесённое со сцены слово звучало бледнее написанного. Работа над словом, над культурой сценической речи «огромнейшая область актёрского мастерства, досадно недооценённая современным театром. Наша режиссура и актёры больше чем о слове думают о мизансцене».

Небезынтересен и для режиссёра, и для драматурга рассказ о режиссёрском опыте, которым поделился на страницах сборника Б. Захава. В его статье отражены в какой-то степени процессы, характеризующие развитие нашей драматургии и нашего сценического искусства. Особенно ценны страницы, рассказывающие об отношении

А. М. Горького к постановкам его пьес — «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие» — на сцене театра имени Вахтангова. Но в выводах Б. Захава имеются и ошибочные положения.

В своих размышлениях автор приходит к выводу о самопроизвольном возникновении формы из содержания: «Содержание, вырываясь из глубины души художника, само должно принять нужную форму», — пишет Б. Захава и дальше говорит о «внутренних импульсах», которым «легко и свободно» подчиняются руки художника в творческом процессе формирования содержания. В этом слышатся отголоски идеалистической эстетики. Поэтому-то так и противоречиво у автора решение поставленной проблемы. Наряду с ошибочными формулировками, он высказывает и бесспорно верные положения. Таково, например, следующее положение: «Ошибочно думать, что содержание искусству даёт жизнь, а форма диктуется имманентными, из природы самого искусства прорастающими законами. Это пагубное заблуждение! Все элементы художественной формы, вместе с содержанием, даются жизнью и эволюционируют вместе с ней».

В статье А. Лобанова «Работа над современным спектаклем» особо важна та часть, где говорится о назначении так называемого «застольного периода» работы режиссёра с актёром. Некоторые театральные работники, ссылаясь на Станиславского и на его новый «метод физических действий», пытались отмахнуться от «застольного» периода репетиционной работы. Но этот своеобразный «нигилизм» не имеет никакого отношения ни к Станиславскому, ни к «методу физических действий». Он явился результатом вульгарного, деляческого понимания творческих идей Станиславского, результатом невнимания к литературной, идейной сути спектакля.

Без «застольных» репетиций, как справедливо утверждает автор, «фундамент современного спектакля будет шатким, и это неизбежно скажется на репетициях на сцене, куда актёр придёт неподготовленным, не оснащённым знанием пьесы, без необходимого внутреннего интеллектуального и эмоционального багажа. А этот «багаж» актёру особенно необходим потому, что современный спектакль — это прежде всего спектакль больших идей».

«Застольные» репетиции и следующие

за ними репетиции на сцене помогут актёру, создающему образ современника, уметь мыслить на сцене. Именно в этом залог успеха современного спектакля. «Ибо современный советский человек есть человек самого действенного активного мышления, самого передового мировоззрения, и правда спектакля о нём — это правда высочайших и побеждающих идей».

Режиссёр Н. Горчаков для своей статьи отобрал только три спектакля, поставленные им в годы Великой Отечественной войны. Это — «Русские люди», «Фронт» и «Офицер флота», показанные на сценах Московского театра драмы и Художественного театра. Осмысливая собственный творческий опыт, автор определяет для себя те условия, которые обеспечивают наиболее яркое и наиболее полное выражение в спектакле идейного замысла режиссёра и драматурга. Первое условие — совпадение, слияние идей драматурга с воззрениями режиссёра на основные конфликты драматического произведения. Следующее условие, необходимое для наиболее художественного и правдивого отображения в спектакле действительности. — длительное и пристальное наблюдение жизни, её изучение. Третье условие успеха — подчинение профессиональных навыков режиссёра и актёра тем новым требованиям, которые предъявляет к ним современная советская драматургия. Формулируя эти условия, автор исходит из утверждения, что пафос профессий режиссёра и актёра это прежде всего пафос их отношения к жизни, к новой, социалистической действительности. Подробно рассказывая о том, как осуществлялась им постановка трёх советских пьес, автор на интересном материале своего театрального опыта подтверждает правильность и жизненность выдвинутых им принципов режиссёрского творчества.

Сборник заключает статья Н. Петрова «Образ современности». В ней находит своё подтверждение и развитие основная мысль, пронизывающая весь сборник, — мысль о том, что сущность театра определяется прежде всего его современностью, непосредственной, живой связью с действительностью. Лишь через современную, боевую советскую драматургию актёр и режиссёр становятся активными участниками жизни. «Связь

театра с современностью — это основа основ театрального искусства, его жизненный нерв», — пишет Н. Петров.

Во имя этого и должны быть объединены усилия драматурга, режиссёра и актёра, направленные на создание образа современного героя. Как и Ал. Попов, автор придаёт чрезвычайно важное значение этическому началу в советском художественном творчестве. Он призывает в этом отношении следовать заветам и опыту Станиславского и Немировича-Данченко, создавших Художественный театр на основе новых этических начал.

«Говоря об эволюции положительного образа в советском театре, — пишет Н. Петров в своей статье, — мы одновременно говорим о сложной истории советского театра, о его возникновении, становлении и борьбе за советскую пьесу, о дифференциации и ожесточённой эстетической и политической борьбе среди режиссёров, о размежевании актёрской массы на способных и не способных создавать страстные образы нашей действительности, о спорах, устанавливавших новые эстетические нормативы современного спектакля...»

Как жаль, что именно эти вопросы почти обойдены в статье Н. Петрова, как и в других статьях сборника. В них не отражена та борьба, которая определяла большой и сложный процесс утверждения на советской сцене принципов социалистического реализма. Говоря о своём режиссёрском опыте, авторы сборника не затрагивают вопросы дальнейшего развития и совершенствования искусства социалистического реализма.

Ценность сборника была бы значительно большей, если бы ведущие советские режиссёры на основе своего многолетнего опыта попытались сформулировать требования, предъявляемые театром к советской драматургии, попытались наметить пути совершенствования профессионального мастерства советских драматургов.

Нет особой необходимости перечислять все те вопросы, которые следовало бы осветить на страницах книги «Работа режиссёра над советской пьесой». Поэтому необходимо продолжить издание новых книг, посвящённых богатейшему опыту советского театрального искусства.

Н. АБАЛКИН.

Недостатки интересной повести

Действие повести А. Рутько «Бессмертная земля» происходит на нефтяных промыслах Поволжья вскоре после Великой Отечественной войны. Главная тема повести — борьба за социалистическое новаторство. Автор противопоставляет передового начальника шахты комсомольца Раибова старому мастеру Мохову — начальнику другой шахты, работающему по старинке и утаивающему свои «секреты производства». Происходит столкновение двух по-своему сильных натур. Побеждает в этом столкновении Раилов, у которого целеустремленность в работе сочетается с мышлением коммуниста, передового советского человека.

С первых же страниц повести раскрывается и духовный облик Мохова, выразительно очерченный автором. Этот человек настойчиво стремится к своей цели — быть в первых рядах производственников. Но какими методами? Мохов — убежденный индивидуалист, ни во что не ставящий тех, кто работает с ним рядом, кто помогает ему добиться успеха. Ни старый опытный мастер Крылаев, ни молодежь, недавно пришедшая на буровую, — никто не существует для Мохова. Он живёт только своими собственными интересами, заботой только о своём успехе. Он скрывает поэтому от других начальников шахт новый метод бурения, предложенный его помощником, благодаря которому его шахта завоёвывает первенство. Властный, себялюбивый Мохов, однако, в конце концов терпит крах. Когда, желая выдвинуться, он просит у мастера Дымова рекомендацию в партию, тот отказывает ему в этом, объясняя причину своего отказа:

«Вон она какая земля! — Дымов на мгновение остановился возле карты мира и широким жестом как бы очертил её. — И у настоящего коммуниста, Алексей, сердце обо всей о ней болит, о каждом её уголке. Скажем, негров в Америке вешают. Касается меня? Касается!! Во Франции бастующих грузчиков бьют! Касается меня? А как же не касается?! — Взволнованный собственными словами, Дымов сделал несколько шагов молча и добавил тихо и

грустно: — А тебя даже на промысле ничто не касается. Было бы у тебя на буровой хорошо...»

В этих словах Дымова обнажён главный порок Мохова. Борьба нового со старым выступает в повести А. Рутько как борьба носителей подлинно коллективистического, коммунистического мировоззрения с теми, кто тащит старое в новую жизнь, кто не даёт простора свободной творческой мысли, кто своим себялюбием и эгоизмом невольно препятствует общему делу строительства народного счастья.

Тема творческого труда связана в повести прежде всего с образом комсомольца Раибова — человека социалистического образа мышления, новатора, источником духовной энергии которого является страстная увлечённость своим делом, как частью дела общенародного. У Раибова нет ни одной себялюбивой мечты, ни одного эгоцентрического помысла. И хотя писатель не показал Раибова всесторонне — он изображён почти исключительно как носитель одного стремления, одной страсти, одной мечты, — всё же главные черты его цельного характера автором раскрыты.

Новаторство Раибова раскрывается в «Бессмертной земле» как типическое свойство человека новой, советской эпохи. Для Басова, героя повести Ю. Крымова «Таинкер «Дербент», его новаторские достижения (это было в годы начала стахановского движения) явились необыкновенным событием, изменившим всю его жизнь. Для Раибова его открытие — тоже, конечно, первостепенное событие, но, вместе с тем, как бы и «норма поведения». Такого рода открытия стали в последние годы массовым явлением для передовых советских людей.

Добившись полной победы в реализации нового метода бурения, Раилов спешит сообщить о нём работникам других шахт.

Мохова, давно уже тайно от всех овладевшего этим методом, потрясает готовность Раибова поделиться секретом своего успеха. Он не понимает, что перед ним человек нового общества, ведущий борьбу за первенство в соревновании благородно, честно. Это моральное поражение заставляет Мохова задуматься. Хотя и с огромным запозданием, он всё же начинает понимать причины своего провала.

А. Рутько показал не только двух руководителей буровых — Раибова и Мохова, но и жизнь двух соревнующихся шахт, двух коллективов. В одном — живой пульс творческой, социалистической жизни; в другом — мертвящие навыки старины, отголоски буржуазного, собственнического отношения к делу и к людям. В одном — рост инициативы, технический прогресс; в другом — признаки упадка, отсутствие поэзии труда.

Интересен в повести образ старика Дымова. Дымов пережил тяжёлое несчастье: двое его сыновей убиты на фронте, третий — Константин — вернулся инвалидом. Глубоко потрясённый гибелью сыновей, старик Дымов с трудом возвращается к жизни. Только в конце повести мы видим, как начинают заживать его душевные раны. Благотворный труд в коллективе восстанавливает его подорванные силы.

Дымову глубоко чужды взгляды и методы работы Мохова. Он приветствует в лице Раибова молодёжь, которая своим энтузиазмом, чистотой и целеустремлённостью сродни ему самому. Образ мастера Дымова как бы связывает в повести два поколения. Вдохновенный труд Дымова и Раибова, так же как и труд многих миллионов советских людей, — частица силы и могущества Родины, труд, который должен предотвратить войну, разжигаемую империалистами.

Образы Раибова, Мохова, старика Дымова и конфликты, с ними связанные, составляют наиболее привлекательную сторону в произведении А. Рутько. Здесь автор верен жизненной правде, искренен, наблюдателен. Здесь он сильнее всего как художник. Именно эти образы обуславливают успех повести у читателей.

Но «Бессмертная земля» — удивительно неровное произведение. В нём нет художественной цельности, единства. Наряду с ясными реалистическими образами в повести возникают бледные, схематические фигуры. Сочная выразительная речь одних персонажей перебивается мелодраматическими, напыщенными словоизлияниями других. Художественно законченные эпизоды, правдиво отображающие действительность, чередуются с вялыми, необязательными для хода действия сценами. На смену реализму подчас приходит литература. Кажется необъяснимым, почему

автор, создавший несколько правдивых реалистических образов, оказался столь беспомощным в обрисовке других.

Неопределённое впечатление производит прежде всего образ главного героя повести — сына мастера Дымова — Константина. Константин Дымов — Герой Советского Союза, главный геолог промысла. Задуманный автором как человек незаурядный, он должен был служить живым воплощением лучших качеств, которые воспитала в советских людях большевистская партия.

Но этот замысел остался нереализованным. Константин Дымов то резонёрствует, то становится сентиментальным. Выступая во второстепенных и третьестепенных эпизодах повести, он не играет почти никакой роли в главном действии. Его роль на производстве неясна. Невозможно понять, что, собственно, он делает, как главный геолог промысла. Он появляется то на одной, то на другой шахте, время от времени высказывает правильные мысли, но на общий ход дел на промысле всё это никак не влияет.

Поэтому, когда автор пишет о своём герое, как о человеке, увлечённом своим призванием, это звучит пустой декларацией. Рутько к тому же впадает в этих местах повести в напыщенный, декламационный тон: «Он лучше других знал, как стране нужна нефть. (Почему лучше других? — А. К.). В разговорах о нехватке горючего, когда ему приходилось при них присутствовать, он всегда слышал упрёк себе, слышал потому, что знал: в тёмной глубине земли, за каменными дверями всяческих геологических эр и периодов, бьются нетерпеливые волны нефтяного океана». Но кто из геологов, да и не только из геологов, не знает того, о чём говорит здесь за своего героя писатель? Разве за этими банальными, но цветисто разукрашенными фразами, где есть и «геологические эры», и «волны нефтяного океана», скрывается какая-нибудь мысль? Когда же в одном из самых ответственных мест повести Константин Дымов говорит о роли людей в социалистическом труде, автор заставляет его объясняться общими сухими фразами:

« — Соревнование поднимает творческие силы всех. Наша обязанность — помочь этим силам возможно полнее про-

явиться, выразить себя. Задача сегодня — бурить на высоких скоростях. Какие детали оборудования, какие частности технологического процесса мешают увеличению скорости проходки? К решению этого вопроса мы должны подталкивать, подводить вплотную творческую инициативу людей. Последние годы принесли нам крупные изобретения: гурбобур, наклонно направленное бурение. Но есть тысячи мелких задач, ожидающих разрешения» и т. д.

Мы не ощущаем здесь творческого отбора слов, художественного воплощения мыслей героя. Здесь подряд шествуют фразы, составленные наспех из первых пришедших в голову слов, лишённые того индивидуального своеобразия, которое бывает присуще речи каждого человека.

Некоторые интимные размышления и чувства Константина, особенно когда речь идёт о семье Дымовых, переданы искренне, правдиво, но и они перебиваются банальными, мелодраматическими фразами, особенно в сценах, где появляется его бывшая жена.

Автор пытается опозитизировать Константина. Вспоминая о своей жене, Дымов размышляет наедине с самим собой:

«Мы встретились осенью. Ты любила осень: одетые в огненные плащи клёны, и берёзы в жёлтых сарафанах, трепещущих на ветру, — осень, её страстные (!) густосиние ночи, и настоянные на золоте дни, и стук молотилок на гумнах, заставленных бесчисленными шатрами скирд, в которых, казалось, жил весёлый ясноглазый богатырь Урожай, и грузную поступь голубых комбайнов, и жёлтую пыль над созревающей пшеницей, и трёхтонки, полные сыпучего золота, и раскалённое небо августа, и в лесу запах грибов, и розовые горы яблок» и т. д. И хотя в этом лирическом излиянии есть такие современные слова, как комбайн и трёхтонка — вся лексика здесь напоминает давно забытый стиль некоторых непритязательных «белых стихов» из дореволюционного «чтеца-декламатора». Когда Константин разговаривает с женой, мы видим перед собой не человека, способного на глубокие переживания, а заурядного мешанина. На её просьбы о прощении он отвечает:

«— Разве вам надоел уже полковник

Коростылёв? Он, кажется, бравый мужчина».

Ироническая интонация не оправдывает этой вульгарной по самому своему существу реплики.

Раскрытие сложных психологических взаимоотношений, создавшихся между Константином и его женой, совсем не удалось автору. Вместо того, чтобы показать, как стараются выйти из трудного положения два советских человека, А. Рутько чрезмерное внимание уделил развитию таких мотивов, как ревность, обида, уязвлённое самолюбие.

Описание облика жены Константина Светланы как бы заимствовано из давно забытой литературы декадентского толка: у неё были «глаза, как протянутые ему навстречу руки», и «губы, как лепестки шиповника». В словах её часто проскальзывают пошловатые нотки «психологического надрыва». «Но ведь я не могу уехать отсюда так. Лучше сразу под поезд. Ты должен понимать это, Костя. Ну вот. Ты помнишь, какая я была раньше? Разве я была подлая? Нет, Костя, я не была подлая, я никогда не была подлая! Я тебе никогда не изменяла и не лгала».

А. Рутько слишком бегло намечает характеры руководителей промысла — директора Владыкина, главного инженера Полуянова. Особенно неясен Владыкин, трудно даже приблизительно составить представление о том, что это за человек. Единственные отличительные особенности Владыкина — это его болезнь («его душила астма») и его глаза: «Пытливые глаза, окаймлённые красноватыми припухшими веками, смотрели спокойно, почти мудро; казалось, они видели что-то важное, невидимое другим». Такого рода мнимо значительными фразами автор старается придать весомость, зримость персонажу, который решительно ничем себя не проявляет. Лишь однажды обнаруживается активность Владыкина, когда он восторженно приветствует желание Мохова вступить в партию, хотя к этому нет никаких оснований. Любому герою повести, так же как и читателю, должно быть ясно, что такой человек, как Мохов, не должен быть в партии, и почему это неясно Владыкину — коммунисту, руководителю предприятия — объяснить невозможно.

Нельзя отнести к числу удач писателя и образ секретаря горкома партии Балахо-

нова. Показать качества Балахонова как партийного руководителя в действии, писатель не сумел. Направляющая роль партии, партийного руководства вообще не показана в повести. События, происходящие на шахтах Мохова и Раибова, выглядят поэтому изолированными от всей работы промысла. Жизнь целого промышленного коллектива и, в особенности, возглавляющей его партийной организации, почти не чувствуется в повести.

В этом крупный недостаток «Бессмертной земли».

Манерность, а порой просто небрежность языка мешают реалистической направленности этого произведения.

С изумлением мы читаем такие, например, фразы: «Встал Мохов, сияя лысиной и улыбкой», «Кланя посмеивалась и лицо её становилось похожим на букет роз», «У него же всё-таки каталась по жилам жемчужинка бродяжной матросской крови», «Тени ресниц лежали на его туго обтянутом кожей лице, словно нарисованные сажеей, рот напоминал шрам», «У Антона пятнами белели скулы, как будто выпачканные извёсткой», «В висках стучит кровь; каждый её удар отзывается холодным се-

ребряным (!) звоном по всему телу» — такого рода примеры можно было бы умножить.

Некоторые, должно быть полюбившиеся автору вычурные выражения дублируются на страницах повести. Причём автор навязчиво использует одну и ту же деталь при описании внешности совершенно различных действующих лиц. Например, у Раибова «блеснули слёзы — маленькие, острые, точно осколки стекла в углах глаз», а у Владыкина «глаза вспыхнули, как попавшие в солнечный луч осколки стекла». У героев повести: «словно текущие назад волосы», «на плечи вытекали из-за спины тоненькие струйки кос», «рубашка текла с его плеч кремowymi струями» и т. д.

Всё это — свидетельство небрежной работы и самого автора, и редактора этой повести над стилем, над языком. Многие здесь можно было бы исправить. «Бессмертная земля», несмотря на её недостатки, читается, благодаря жизненности её содержания, с интересом. Она заслуживала того, чтобы над ней поработали более серьёзно, более внимательно.

А. КОТЛЯР.

★

Солдаты новой Болгарии

Немало болгарских прозаиков и поэтов, принадлежащих к разным поколениям, посвятило свои книги последним месяцам второй мировой войны, которые были также и первыми месяцами жизни новой, народно-демократической Болгарии.

Об этом же периоде рассказано в военных повестях болгарского писателя Павла Вежинова — «Вторая рота» и «Златан». Их тема — создание народно-демократической армии, формирование человека, нового по своему мировоззрению, по своим моральным и боевым качествам.

Павел Вежинов был редактором фронтовой газеты в ту пору, когда освобождённый Советской Армией болгарский народ послал на борьбу с немецким фашизмом свои воинские части. Войска Третьего Украинского фронта и болгарская армия

в феврале—марте 1945 года ликвидировали попытки немецко-фашистских войск перейти в контрнаступление на юге Венгрии. В конце марта, прорвав укрепленную линию «Маргит», войска Третьего Украинского фронта и болгарская армия, перейдя в наступление, нанесли противнику сокрушительный удар южнее озера Балатон.

Эти события нашли своё отражение в военных повестях П. Вежинова, действие которых происходит в феврале—марте 1945 года. В обоих произведениях автор показывает жизнь небольшого подразделения болгарской армии. В первой повести речь идёт о солдатах роты одного из батальонов пехотного полка. В повести «Златан» изображена жизнь артиллерийского расчёта батареи противотанкового батальона.

«Плацдарм», выбранный писателем в обоих случаях, как будто бы и узок. Но удача П. Вежинова заключается в том, что

Павел Вежинов. «Военные повести». Перевод с болгарского А. Собковича и Н. Попова. Редактор Б. Шуплецов. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

малые подразделения он сумел изобразить как часть большого целого. На узком участке, в маленьком мирке происходят те же процессы, действуют те же силы, которые определили коренные изменения, происшедшие во всей болгарской армии.

Так, герой повести, вновь назначенный командир второй роты поручик Манев, принадлежит к числу тех болгарских патриотов, которые составили основу народно-демократической армии. Инженер-химик по специальности, Манев больше привык орудовать с пробирками в заводской лаборатории, чем руководить жизнью большого человеческого коллектива. Но Манев — коммунист-патриот, и его не останавливают никакие трудности при решении новых, чрезвычайно сложных задач.

Обстановка в полку, батальоне, роте, изображённая в повести, отражает общие для всей болгарской армии трудности роста. Ещё не у всех крестьян, ремесленников, рабочих, одетых в военную форму, пробудилось понимание целей и смысла войны, новое, сознательное отношение к своему воинскому долгу.

Старое, кадровое офицерство состоит преимущественно из людей, мало приспособленных для работы по созданию новой армии. Нередко это — честные, но ограниченные «военспецы», такие, например, как изображённый в повести лихой командир батальона. Он не изменит, не выдаст в бою, но ему и в голову не приходит, что забота о материальной стороне жизни бойцов, ответственность за моральное состояние части имеет непосредственное отношение к его обязанностям. Есть среди старого офицерства и такие его представители, как лентяй и обжора подпоручик Нейков. Он твёрдо придерживается принципа «моя хата с краю» и весь поглощён заботами о собственных удобствах.

И наконец, в армии орудуют и прямые агенты врага, фашистские последыши, с помощью ловких махинаций избежавшие народного суда, такие, как бывший командир второй роты подпоручик Личев.

Личев действует очень осторожно, он не притесняет и не оскорбляет бойцов. У наименее сознательной части роты он даже снискал себе популярность «либеральным» отношением к вопросам дисциплины и боевой учёбы. Личев настолько осторожен, что никому в роте, даже входящим в её

состав коммунистам, не приходит в голову заподозрить его в сознательно-враждебных действиях. Все неполадки кажутся им лишь цепью досадных случайностей, следствием бездарности, а не злой воли командира. Тем более, что у Личева и его агенты есть на каждый случай готовые и правдоподобные объяснения. Не доходят письма, посылки, газеты? Да, но ведь уже наступила распутица, машины застревают в грязи, переворачиваются. Жалованье не выдают? К сожалению, в штабе дивизии сидят бюрократы. Нет сапог, шинелей, мыла? Что поделаешь, республика ещё молодая и небогатая. Таким образом, всё как будто происходит независимо от воли и желания Личева. И предпринять что-нибудь для устранения этих неполадок тоже как будто нельзя. Да и много ли могут добиться два коммуниста роты и три члена союза молодёжи, тоже «случайно» расквартированные как раз в противоположных концах тихого венгерского села!

Клубок «случайностей» начинает разматываться лишь на первом совещании, созванном поручиком Маневым. Здесь маленький отряд коммунистов роты впервые начинает себя чувствовать организацией, частью великого целого, силой, способной и обязанной изменить положение в роте.

Это новое чувство испытывают все участники совещания — рабочие Димитр и Алекси, библиотекарь Стоян, партизан Цено — младший брат знаменитого партизанского командира, отчаянный парень маляр Бандера, получивший своё прозвище за то, что при фашистском режиме он во время работы запел итальянскую революционную песню «Бандьера росса».

Обмениваясь наблюдениями, сопоставляя факты, участники совещания приходят к мысли, что все неполадки, приведшие к развалу дисциплины в роте, — неслучайны, и включаются в борьбу за восстановление порядка.

Дело не только в том, что коммунисты роты борются за тысячи мелочей солдатской жизни: за крепкие сапоги, за мыло, баню, бельё, лужёный котел; дело в том, что, шаг за шагом строя солдатский быт, они не упускают из виду главной цели — воспитания из «людей, одетых в солдатскую форму», — сознательных и дисциплинированных бойцов-патриотов.

Парализовать вредительскую деятельность

ность Личева — неразоблачённого врага — не так-то просто, тем более, что у него есть поддержка в более высоких военных инстанциях. Но чем больше возрастает сознательность и активность бойцов роты, чем тесней сплачиваются они вокруг коммунистов, тем труднее становится действовать немногочисленной агентуре фашиста Личева.

Через два месяца вторую роту — до этого пассивную, расхлябанную — не узнать. «Солдаты похудели, почернели от холодных мартовских ветров, но с каждым днём глаза их становились более зоркими и весёлыми, всё чаще раздавался бодрый смех. Постепенно укрепился воинский боевой дух солдат второй роты, и в походе ни один из них не отставал, никто не вписывал своего имени в книгу санитарной части: простуда и инфлюэнца как будто осторожно обходили воинственную, весёлую и упорную роту».

Выросли не только самые отсталые члены боевого коллектива — от ординарца Гисто до подпоручика Нейкова, вырос и авангард роты. Застенчивый, робкий Стоян становится горячим, опытным политработником-пропагандистом; стал выдержанней излишне резкий Алекси; черты молодого вожака, организатора массы, будущего командира всё явственнее начали просгупать в облике Цено. И поручик Манев, несколько суровый и негибкий в начале своего командирского пути, научился быть более внимательным не только к мелочам быта, но и к особенностям характера, темперамента, душевного склада каждого из своих подчинённых.

Проверка новых качеств, приобретённых ротой, естественно, происходит в бою.

В первый же день наступления вторая рота, воинственная и упорная, вырвавшись вперед в своём наступательном порыве, занимает круговую оборону на высоте в тылу врага и два дня отбивает атаки противника, нанося ему тяжкие потери.

П. Вежинов мог бы закончить свою повесть апофеозом, показав, как вторая рота соединилась с перешедшим в наступление полком. Но писатель сделал иначе.

Бойцы второй роты слышат на своей высоте лишь нарастающий гул артиллерии — предвестие скорого избавления. Отбив очередную атаку фашистов, они стоят

на холме, изрытом минами и снарядами, вокруг мёртвого Цено — того, кто был впереди всех в боевых делах последних дней.

В правдивых, реалистических образах повести показаны важные, существенные для истории новой Болгарии процессы. В ней чувствуется большая свежесть и любовь к жизни, которой проникнута молодая и подлинно народная литература народно-демократической республики.

Эта любовь ощущается в том, как писатель изображает тихую, неторопливую жизнь Венгрии — чужой и в то же время близкой страны, жизнь, которая идёт, несмотря на войну, несмотря на все невзгоды. Война — войной, а старая венгерка всё равно купает в медном котле белого визжащего поросёнка, и смуглые девушки переглядываются с болгарскими солдатами и учатся у них по вечерам плясать «хоро».

Основная же сила книги — в доверии к человеку, в твёрдом убеждении, что теперь в стране для каждого открыт путь лучших, что нет границ роста для гражданина новой, народно-демократической республики, что соединённые усилия, воля коллектива могут преодолеть все препопятствия.

Сила эта и в стремлении писателя создать образ положительного героя, примеру которого захочет следовать каждый. В наиболее живых и выразительных образах положительных героев обеих повестей чувствуется неразрывная связь раскрытых писателем новых черт с лучшими чертами национального характера, с революционными традициями болгарского народа.

В повести «Златан» процессы, связанные с формированием новой болгарской армии, изображены более узко, чем во «Второй роте».

Тема воспитания новых кадров раскрывается здесь на отношениях двух боевых друзей — коммуниста Златана и мелкого буржуа Чудо. Но есть в этой повести и свои существенные достоинства. Образ болгарского труженика, рядового коммуниста Златана нарисован в ней более крупным планом, чем аналогичные герои «Второй роты». Кроме того, здесь более конкретно раскрыты темы боевой дружбы советского и болгарского народов, братской благодарности болгарских воинов Со-

ветской Армии-освободительнице, учёбы болгарских бойцов у бойцов Советской Армии. Артиллерист Златан — ученик советского артиллериста Леонида Авденча, и исход сражения, в котором участвует оружейный расчёт Златана, решает мощная поддержка советской артиллерии.

У каждой из двух повестей свои особенности и достоинства. Но один основной недостаток, к сожалению, свойствен им обоим. И в той и в другой повести автор почти упустил из поля зрения одну из основных сил, определивших процесс фор-

мирования новой болгарской армии, — институт заместителей командиров по политчасти.

И в той и в другой повести армейские политработники — это эпизодические лица, не оказывающие постоянного влияния на жизнь коллектива.

Этот недостаток тем более досаждает, что в своих талантливых повестях П. Вежинов проявил умение глубоко и всесторонне раскрыть внутренний мир нового человека молодой и свободной страны.

Е. КНИПОВИЧ.



Книга о борьбе простых людей Америки

Творчество Говарда Фаста до сих пор было известно советским читателям по романам «Последняя граница» и «Дорога свободы», переведённым на русский язык уже в послевоенные годы. Оба эти романа исторические — описываемые в них события относятся ко второй половине прошлого века. Но глубоко современная идейная направленность творчества Фаста, высоко принципиальная позиция писателя-коммуниста обусловили острую актуальность этих произведений, сделали их боевым оружием в борьбе прогресса против реакции, социализма и демократии против империализма, мира против войны.

«Кларктон» — первый роман, в котором Фаст обратился к современной ему американской жизни. Впрочем, для сегодняшней Америки «Кларктон» тоже уже является во многом «историческим» произведением. Действие романа относится к декабрю 1945 года. За прошедшие пять лет США превратились в фашизирующееся полицейское государство, где жестоко подавляется малейшее проявление свободной мысли, где антикоммунистическая свистопляска достигла своего апогея, где преданное и проданное своими профсоюзными вождями рабочее движение задыхается в тисках драконовского закона Тафта-Хартли. Многие из тех мизерных свобод, что ещё сохранялись в Кларктоне 1945 года — типичном среднеамериканском городке, — стали анахронизмом в Америке на-

ших дней, и, наоборот, сцены полицейской расправы с коммунистами, описанные в романе, бледнеют перед нынешним разгулом террора в США.

На заводе, принадлежащем капиталисту Лоуэллу, — единственном крупном предприятии города, — происходит забастовка. События четырёх дней этой забастовки, завершающейся вооружённым нападением полиции на рабочих — «кровавым воскресеньем» в жизни Кларктона, — составляют содержание романа.

Конец войны знаменовал собою начало новой полосы классовых боёв в США. Изменение внешней политики правящих американских кругов — переход к открытой подготовке новой войны, к яростной борьбе против лагеря социализма и демократии — сопровождалось новым наступлением на жизненные права трудящихся, усилением антикоммунистической истерии и полицейского террора. В ответ на это рабочий класс снова поднял знамя борьбы. Уже в 1945 году по стране прокатилась волна забастовок.

Описанная в романе забастовка на заводе Лоуэлла — первый крупный классовый конфликт в Кларктоне после длительного затишья. Этот конфликт сразу же определяет расстановку классовых сил в городке. Резкой чертой он разделяет город на два лагеря, и герои Кларктона — хотя они того или нет — неизбежно оказываются по ту или другую сторону баррикады.

В центре романа — фигура фабриканта Лоуэлла, фактического хозяина Кларктона. Он, точнее его капитал, является верховной властью города; все остальные власти,

Говард Фаст. «Кларктон». Роман. Сокращённый перевод с английского. Редактор Т. Сахранова. Военное Издательство Военного Министерства Союза ССР, М. 1950.

начиная от начальника полиции, типичного американского держиморды Джека Кэрзона, и кончая судьёй Кэртисом и хитрым ханжой попом О'Мэлли, — верные его слуги.

Лоуэлл — весьма противоречивый образ, пожалуй, даже слишком противоречивый. Забастовка выбила его из привычной колеи жизни, и он прокликает и завод, и забастовщиков, и своё «бремя капиталиста», что, впрочем, не мешает ему принять все меры для того, чтобы подавить сопротивление рабочих. Он пытается сохранить благородную мину при грязной игре, предоставляя своим наймитам любыми средствами расправляться с забастовщиками, лишь бы самому остаться в стороне. Он с отвращением наблюдает зверское избивание коммунистов полицией, но не делает ни малейшей попытки прекратить его. Безвольный, душевно опустошённый, он ищет морального оправдания своему поведению и не находит его ни в себе самом, ни в других.

В образе Лоуэлла, в описании его семьи Говард Фаст показал духовную деградацию, моральное разложение, характерные для американской буржуазии. Но всё же переживаниям Лоуэлла в романе уделено чересчур много места. Подобный «мятущийся» капиталист не является типичным для современной Америки, и писатель здесь несколько отступает от жизненной правды.

Гораздо более убедительна и типична для пресловутой американской демократии фигура Гамильтона Гелба — одна из наиболее примечательных в романе. Гелб — профессиональный провокатор. Впрочем, в стране, где гангстеры управляют сенаторами и где богомольный президент считает своим наиболее гуманным делом взрыв атомной бомбы в Хиросима, профессия провокатора никого не может удивить, и Гамильтон Гелб является вполне respectable американцем. Он даже считается выдающимся специалистом в своей области. «Целое поколение штрейкбрехеров училось у него», — говорит адвокат Голдштейн.

Гелб действительно мастер своей гнусной профессии. Беспринципность его поистине безгранична — все средства, как бы низки и грязны они ни были, хороши для него. Ни на миг не останавливается он

перед наглым беззаконием, организуя зверское избивание арестованных в полиции, чтобы понудить их стать на путь предательства. Он искусный лицемер, и его разговор с профсоюзным «вождём» забастовщиков Биллом Носка — образец беспардонной демагогии. Кулак полицейского и денежная приманка, засылка в ряды коммунистов мелкого шпика и прямое убийство забастовщиков, — таковы «методы работы» Гелба.

Гелб неглуп, он хорошо знает тех, против кого борется, и не строит излишних иллюзий. «Следует признать, что коммунисты очень сложные люди, — говорит он Лоуэллу. — У них большие организационные способности... коммунисты очень умно помогают рабочим убедиться в силе своего класса, убедиться в том, чего могут достичь рабочие, если придут в движение». В откровенной беседе со своим помощником Фрэнком Норманом Гелб заявляет без обиняков: «Вам надо выкинуть кое-что из головы. Надо выкинуть из головы, что эти люди являются участниками интернационального заговора, управляемого из Москвы, что они собираются совершить революцию и захватить все почтовые отделения и правительственные здания в каждом штате. Это детская болтовня, годная для сенаторов и конгрессменов, но не для той работы, которой мы занимаемся».

Гелб умеет и заглянуть вперёд, он понимает, каковы перспективы близкого будущего в политической жизни Америки. На наивный вопрос Лоуэлла: «Но ведь закон не запрещает быть коммунистом?» он отвечает снисходительно: «Будет и это. К сожалению, наши законодатели пока чертовски медлительны». «Настанет время, — пророчествует он, предвкушая будущую расправу с коммунистами, — когда мы должны будем раздавить их...» Как опытный слуга, превосходно знающий своих хозяев, Гелб отлично понимает, куда идут правящие круги США.

Прожжённый подлец Гелб — наиболее характерная фигура среди его подручных. Глуповатый, самодовольный управляющий заводом Вильсон, узколобый Норман, тупой полицейский изувер Джек Кэрзон, жалкий трус и предатель своего класса Фред Батлер дополняют — каждый по-своему — картину лагеря реакционных сил, впечатляюще нарисованную Фастом.

Ни изощрённые провокации, ни фашистские методы воздействия в полицейском застенке, ни даже расстрел мирных рабочих не приносят успеха Гамильтону Гелбу и его подручным. Они не в силах сломить волю забастовщиков. Сила рабочих — в их сплочённости, в спокойной решимости бороться до конца, в том, что руководят ими самоотверженные, решительные и закалённые борцы-коммунисты.

«..Быть в партии — в этом вся жизнь, это — единственное хорошее и достойное в нашей стране», — говорит Фаст устами коммуниста Эллиота Эббота. Роман убеждает читателя в справедливости этих слов. Коммунисты, изображённые в романе, — лучшие, самые достойные и честные граждане Кларктона.

С большой теплотой рисует Фаст образ руководителя местной коммунистической организации Динни Райана. Райан — простой рабочий человек. Кристальная честность, глубокая убеждённость в правоте того дела, которому он служит, ясное сознание целей борьбы, недюжинные организационные способности — все эти качества ставят его во главе забастовщиков. Он один из тех талантливых вожаков, которые неизбежно выдвигаются из среды рабочего класса в ходе самой борьбы. И новый, ещё недостаточно опытный, районный организатор партии Майк Сойер, приехавший в Кларктон в разгар событий, понимает, что ему скорее надо учиться у Райана, чем учить его.

Фаст даёт в романе и образ Билла Носка — председателя профсоюзного комитета, формально возглавляющего забастовку. Носка — типичный поэт, он всё время любит себя и больше всего озабочен тем, чтобы сохранить своё положение «вождя». Поэтому он враждебно и ревниво относится к «красным». Но силою обстоятельств он вынужден идти с коммунистами. Носка сознаёт, что, порвав сейчас с коммунистами, он потерял бы всякое влияние на рабочих. Именно поэтому он отклоняет все предложения Гелба и разыгрывает оскорблённую невинность, когда Гелб прямо пытается дать ему взятку.

Мелок и узок этот маленький профсоюзный «бонза» рядом с Динни Райаном, скромным, буднично-простым и в то же время одухотворённым высокой идейной целью, борьбе за которую он отдаёт все-

го себя без остатка. Как просто, душевно и одновременно гордо звучат его слова, обращённые к Биллу Носка: «Я рабочий. Я всю жизнь трудился. Я работаю с десяти лет. Я коммунист, ибо вижу, что никто, кроме коммунистов, не подставляет своё лицо под удары, свою грудь под нож, свою голову под пули за дело рабочих. Что касается других, то я не знаю никого, кто не продался бы!»

В этих словах коммуниста нет ни тени рисовки. Большая любовь к людям, вера в своё дело, в свою партию дают ему огромные моральные силы, перед которыми беспомощны дубовые кулаки Джека Кэрзона.

Сцена избияния Динни Райана в полиции — наиболее сильная в романе. Райан с презрением отменяет все попытки Гелба толкнуть его на предательство. Избитый, окровавленный, он смеётся в глаза своим озверелым палачам. И кажется, что автор описывает нам не полицию «свободной» Америки, а берлинские подвалы гестапо. То же садистское неистовство мучителей, та же негибкая стойкость коммуниста, с высоко поднятой головой встречающего все пытки.

И в друзьях Райана, несмотря на различие их характеров, мы всегда чувствуем ту же суровую простоту, готовность к борьбе и жертвам, свойственные коммунистам. Образ негра Джоя Рэя — ближайшего помощника и друга Райана — великолепно раскрыт в одной из лучших сцен романа — в разговоре Рэя с предателем Фредом Батлером. Джой Рэй выследил Батлера, возвращавшегося после своего очередного визита к Гелбу с донесением. Предатель с ужасом предчувствует страшную расплату. Но Рэй спокойно и проникновенно рассказывает ему историю своей жизни. Это история затравленного, забитого и тёмного негра-рабочего, который только среди коммунистов впервые почувствовал себя человеком, которому партия принесла свет знания и веру в людей. Сколько истинного человеческого достоинства, сколько жизненной мудрости заключено в последних словах Рэя: «Я говорю всё это тебе, Фредди, для того, чтобы ты знал, почему я не убиваю тебя. В этом нет никакого смысла, — тихо, почти грустно произнёс он. — Нет никакого смысла в том, чтобы стереть одно маленькое

пятнышко грязи. Это даст мне только личное удовлетворение, а я могу прожигь и без удовлетворения такого рода. — Он расправил свою огромную ладонь. — Я мог бы свернуть тебе шею, как цыплёнку, но что из этого? Ничего хорошего из этого не выйдет. Иди домой, Батлер! Собери жену и малышей, да поможет им бог, и сейчас же убирайся отсюда! Только смотри, никогда больше не возвращайся сюда!..»

Если в лице Райана и Рэя Фаст показал нам передовых рабочих-коммунистов, то чета Эбботов и адвокат Голдштейн представляют в романе ту часть прогрессивной американской интеллигенции, которая давно и бесповоротно связала свою судьбу с коммунистической партией. Особенно удачны образы доктора Эббота и его жены, семейные отношения которых дополняются глубоким чувством партийного товарищества. Здесь естественно напрашивается сравнение с семейством Лоуэллов, где господствуют только чисто внешние связи и во всё ощущается полная внутренняя разобщённость людей.

Однако во взаимоотношениях Эбботов с Лоуэллами не всё удовлетворит читателя. Многолетняя дружба этих двух семей, мотивированная только тем, что Лоуэлл и

Эббот были когда-то друзьями детства, — не представляется убедительной. Для такой дружбы нет почвы — слишком различны взгляды, интересы и стремления коммунистов Эбботов и типичных американских буржуа Лоуэллов.

...«Кларктон» — это книга о простых рабочих людях Америки, об их будничной, суровой и неравной борьбе, об их несокрушимой воле к победе, которую наёмникам Уолл-стрита не удастся задуть фашистским террором.

Издательство опустило некоторые главы, посвящённые Лоуэллу, и это вполне оправдано, динамика произведения в результате только выиграла. Но, к сожалению, сокращения в тексте сделаны несколько небрежно. Так, например, опущены те страницы, где описана случайная любовная связь Лоуэлла и происшедший отсюда семейный конфликт, но сохранена сцена примирения Лоуэлла с женой, что вызывает законное недоумение читателя, ничего не знающего о ссоре супругов.

Нельзя не пожалеть о том, что роман Фаста, вышедший в США ещё в 1947 году, появляется в русском издании только сейчас, с опозданием на три года.

С. СМРНОВ.

★

Борьба за мир. Международные отношения. История

Историческая победа китайского народа

Совсем недавно слово «Китай» вызывало у нас привычный образ отсталой, фео-

Кандидат исторических наук Г. Эренбург. «Национально-освободительное движение в Китае после Великой Октябрьской социалистической революции (1918—1924 гг.)». Редактор — доктор экономических наук В. Я. Аварин. Издательство «Правда», М. 1950.

В. Н. Никифоров. «Национально-освободительная война китайского народа против японского империализма (1937—1945 гг.)». Редактор—кандидат исторических наук С. Л. Тихвинский. Издательство «Правда», М. 1950.

М. Ф. Юрьев. «Историческая победа китайского народа над американским империализмом и гоминдановской реакцией (1945—1949 гг.)». Редактор — доктор экономических наук В. А. Масленников. Издательство «Правда», М. 1950.

Доктор экономических наук В. Я. Аварин. «Успехи Китайской Народной республики». Редактор Е. Ф. Ковалёв. Издательство «Правда», М. 1950.

дально раздроблённой страны, страны рабочего, беспросветного труда и чудовищного произвола властей, полуколониального государства — беззащитной жертвы алчных appetитов империалистических хищников. Как близки эти времена и вместе с тем как они далеки!

Гениально предвидя светлое будущее Китая, товарищ Сталин ещё в 1925 году, когда китайский пролетариат, руководимый своей только что созданной коммунистической партией, лишь становился на путь организованной политической борьбы, прозорливо указал: «Силы революционного движения в Китае неимоверны. Они еще не сказались как следует. Они еще скажутся в будущем. Правители Востока и Запада, которые не видят этих сил и не считаются с ними в должной мере, по-

страдают от этого»¹. Как быстро сбылся этот замечательный прогноз! Создание Китайской Народной республики явилось блестящим подтверждением предвидения товарища Сталина относительно судеб китайского народа. В долгой, упорной и тяжёлой борьбе завоевали трудящиеся Китая свою свободу и независимость.

Этой великой борьбе и посвящены четыре брошюры-стенограммы публичных лекций членов Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Их содержание охватывает важнейшие этапы национально-освободительной борьбы китайского народа, начиная с победы Великой Октябрьской социалистической революции в России и кончая разгромом гоминдановской реакции и развёртыванием экономического строительства Китайской Народной республики.

Ко времени окончания первой мировой войны Китай представлял собой полуколониальную, зависимую страну, связанную кабальными договорами, которые давали право крупным империалистическим державам хозяйничать во всех решающих отраслях китайской промышленности, на транспорте и в банках, держать на китайской территории свои вооружённые силы и т. д. Иностранцы хищники, а также национальная буржуазия и помещики жестоко эксплуатировали рабочих и крестьян. Рабочий класс не был организован, коммунистической партии Китая ещё не существовало.

Великая Октябрьская социалистическая революция сыграла огромную роль в развитии антифеодальной и антиимпериалистической борьбы китайского народа. «Орудийные залпы Октябрьской революции, — писал Мао Цзе-дун, — донесли до нас марксизм-ленинизм... Итти по пути русских — таков был вывод».² Победа Красной Армии Советской республики над войсками интервентов послужила китайским трудящимся наглядным примером того, что свободный народ в состоянии защитить себя от посягательств мирового империализма. Октябрьская революция и успехи Советской республики оказали огромное влияние на объединение рабочего класса Китая и превращение его в могучую революцион-

ную силу. В Китае под непосредственным воздействием Октябрьской революции были созданы марксистские кружки, из которых впоследствии родилась китайская коммунистическая партия. «...Пролетариат Китая, — пишет в своей брошюре Г. Эренбург, — руководимый своей героической коммунистической партией, воспитанной на трудах Ленина и Сталина, завоевал гегемонию в революции и привёл великий китайский народ в 1949 г. к исторической победе».

Для борьбы против реакции коммунистическая партия Китая создала свои вооружённые силы. Эти первые формирования были ядром, из которого в дальнейшем выросла могучая Народно-освободительная армия. В 1937 году Китайская Красная армия была переименована в 8-ю Народно-революционную армию. Позже была создана так называемая Новая 4-я армия.

В многолетней борьбе китайского народа против японских захватчиков главную и решающую роль играли эти две армии, руководимые китайскими коммунистами. Клика Чан Кай-ши готова была пойти на сговор с оккупантами, на позорный мир с Японией, лишь бы подавить в стране демократическое движение. Вместо того чтобы организовать борьбу против японских империалистов, грозивших поработить Китай, гоминдановские предатели вели военные действия против народных армий и партизанских отрядов, руководимых коммунистами.

Наступил период второй мировой войны. Китай присоединился к Объединённым Нациям, борющимся с фашистскими агрессорами. Но гоминдановцы попрежнему менее всего думали о действительной борьбе с японскими оккупантами, занявшими значительную часть территории страны. Готовясь при первом удобном случае нанести удар в спину сражающимся с японскими захватчиками частям 8-й и Новой 4-й армий, гоминдановская клика накапливала в своих складах получаемое из США оружие. А в это время героические партизаны Китая громили врага, порой применяя самодельные орудия, сделанные из выдолбленного бревна.

Японские империалисты отлично понимали, что в Китае реальную опасность представляют для них лишь народные войска,

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 293.

² Мао Цзе-дун. О диктатуре народной демократии, стр. 5—6. Госполитиздат, 1949.

и соответствующим образом группировали свои силы. В своей брошюре В. Никифоров приводит подтверждающие это данные: «В 1943 году против Освобождённых районов действовало 64 процента всех японских войск в Китае и 95 процентов всех марионеточных войск, а против гоминдановских войск — 36 процентов японских войск и 5 процентов марионеточных». Но несмотря на то, что главные силы японских войск в Китае действовали против народных армий, эти армии вместе с партизанскими отрядами к апрелю 1945 года создали 19 крупных Освобождённых районов с общим населением в 95,5 миллиона человек.

Верный своим обязательствам, Советский Союз после поражения гитлеровской Германии, в котором он сыграл решающую роль, нанёс мощный удар империалистической Японии. В несколько дней Советская Армия полностью разгромила отборную японскую Квантунскую армию и освободила всю территорию Маньчжурии, провинцию Жэхэ и часть провинции Чахар. Гоминдановские войска, фактически не воевавшие против японских оккупантов, пассивно наблюдали за героическими действиями Советской Армии и не оказали ей никакой поддержки. В то же время 8-я, Новая 4-я армии и партизанские отряды, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны с японскими оккупантами, перешли в решающее наступление и освободили почти всю территорию Северного и значительную часть Центрального Китая.

В тот период народные армии имели возможность освободить от войск японских захватчиков всю территорию страны. Но это не входило в расчёты американских империалистов. В годы, предшествовавшие второй мировой войне, они всячески поощряли империалистическую Японию к захватам в Китае, надеясь натравить её на Советский Союз. После капитуляции Японии они приложили все усилия, чтобы превратить Китай в свою колонию и в плацдарм для подготовки войны против Советского Союза, а китайский народ — в пушечное мясо для империалистической агрессии.

Для осуществления своих захватнических планов экспансионистским кругам Соединённых Штатов нужно было любой ценой сохранить в Китае продажный режим Чан Кай-ши. Так, во имя упрочения власти

своих гоминдановских прислужников и распространения её на всю территорию страны, американские империалисты спровоцировали в Китае кровопролитную, гражданскую войну. Но, посеяв в Китае ветер, они вызвали бурю, которая в конце концов смела с китайской территории гоминдановскую нечисть вместе с её заокеанскими хозяевами.

Китайский народ не оказался безоружным перед лицом опасности, которой угрожало ему наступление четырёхмиллионной гоминдановской армии, поддержанной японскими и американскими войсками. Численность 8-й и Новой 4-й армий к апрелю 1945 года достигала 910 тысяч человек. Конечно, эти силы были намного меньше тех, которыми располагали гоминдановцы. Но дело решало не простое соотношение сил. Гоминдановская армия была укомплектована главным образом принудительно мобилизованными крестьянами и рабочими, не желавшими воевать за интересы американских магнатов капитала и клики Чан Кай-ши. Остальную часть гоминдановской армии составлял преступный сброд. В рядах же 8-й и Новой 4-й армий, переименованных после победы над Японией в Народно-освободительную армию, сражались люди, воодушевлённые высокой идеей освобождения китайского народа от гнёта феодальной реакции и иностранных империалистов, идеей создания свободного и независимого Китая.

Под предлогом необходимости принять капитуляцию находящихся на китайской территории японских войск, империалисты Соединённых Штатов фактически организовали интервенцию в Китае. В различных пунктах были высажены морские и воздушные десанты американских войск, общей численностью свыше 100 тысяч человек. Они заняли ряд важных районов страны, чтобы воспрепятствовать освобождению их силами Народно-освободительной армии.

При помощи морских и воздушных транспортных средств США и под охраной американских войск части гоминдановской армии были переброшены в стратегически важные пункты, откуда они могли начать военные действия против Народно-освободительной армии. С благословения американского командования Чан Кай-ши приказал японским войскам в Китае сохранять оружие для «поддержания порядка», иначе

говоря, для расправы над мирным населением и борьбы против регулярных частей Народно-освободительной армии и партизанских отрядов.

Гоминдановцы отвергли все предложения китайской компартии об объединении страны на демократической основе. Клика Чан Кай-ши была уверена в том, что при активной поддержке со стороны США ей в короткий срок удастся разгромить силы демократии и распространить свой антинародный, террористический режим на всю территорию страны. В июле 1946 года гоминдановские войска начали широкое наступление в Северном и Центральном Китае. В течение первого года войны ценою огромных потерь им удалось добиться некоторых территориальных успехов. Но эти успехи были Пирровой победой. За год военных действий гоминдановцы потеряли свыше миллиона человек, тогда как численность Народно-освободительной армии за этот период увеличилась с 1200 тысяч до 1800 тысяч человек. Неизмеримо возросли также силы партизанских формирований и отрядов народного ополчения.

В своей брошюре М. Юрьев совершенно правильно подчёркивает: «Политические, экономические и культурные преобразования в освобождённых районах привели к необычайному укреплению сил демократии в Китае. Это не могло не отразиться на соотношении сил на фронтах гражданской войны». Действительно, к осени 1948 года Народно-освободительная армия увеличилась уже до трёх миллионов человек, между тем как потери гоминдановской армии только за осенне-зимний период 1948—1949 гг. составили около двух миллионов человек.

Так в ходе гражданской войны непрерывно и неуклонно менялось соотношение сил в пользу Народно-освободительной армии.

Проведение в освобождённых районах аграрной реформы и других демократических преобразований ещё более сплотило китайское трудовое крестьянство вокруг коммунистической партии. Новые тысячи крестьян-патриотов влились в ряды Народно-освободительной армии и партизанских отрядов, чтобы до конца разгромить ненавистного врага.

В гоминдановских войсках началось разложение. Сдавались в плен и переходили

на сторону Народно-освободительной армии полки, дивизии и даже целые армии.

К середине января 1949 года части Народно-освободительной армии очистили от противника всю Маньчжурию, Северный Китай и Центральную китайскую равнину. А в апреле того же года они форсировали полноводную реку Янцзы и устремились к югу, громя остатки гоминдановской армии. К концу 1949 года была освобождена вся территория страны, кроме Тибета и Тайвана, включая и Пескадорские острова.

Освобождение основной территории страны знаменует историческую победу китайского народа в борьбе за национальную независимость и социальное раскрепощение. Сбросив иго презренной клики Чан Кай-ши, продавшей американским империалистам, трудящиеся Китая создали Китайскую Народную республику во главе с Центральным народным правительством, председателем которого был избран вождь китайского народа Мао Цзе-дун.

Создание Китайской Народной республики ослабило империалистическую систему, нанесло сильнейший удар международной реакции и значительно усилило антиимпериалистический и демократический лагерь.

Великая победа китайского народа открыла новую страницу в истории всех угнетаемых империалистами народов Азии, подняла их национально-освободительную борьбу на новую, значительно более высокую ступень. «Историческая победа китайского народа, — говорит в своей брошюре М. Юрьев, — является одним из важнейших факторов, определяющих современное международное положение».

Завоевав свободу и независимость, китайский народ приступил к залечиванию ран, нанесённых стране войной, к мирному хозяйственному строительству, к проведению демократических социально-экономических, политических и культурных преобразований.

Взбешенные банкротством режима Чан Кай-ши и крахом своей интервенционистской политики в Китае, американские империалисты перешли в Азии к прямым актам агрессии. По приказу экспансионистских кругов США их южнокорейские марионетки развязали военные действия в Корее, тотчас же поддержанные американскими военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными силами. В это же время

президент Соединённых Штатов Трумэн приказал расширить американскую агрессию во Вьетнаме и на Филиппинах, а 7-му флоту США — вторгнуться в воды у острова Тайван и помешать освобождению этого острова частями китайской Народно-освободительной армии.

Таким образом, американские вооружённые силы по существу оккупировали часть территории Китайской Народной республики. Самолёты военно-воздушных сил США неоднократно бомбардировали населённые пункты Северо-Восточного Китая, убивая китайских граждан и уничтожая их имущество. Американский военно-морской флот, действующий в водах Кореи, нарушал законные права мореплавания китайского торгового флота.

После захвата Сеула американские интервенты, игнорируя справедливый протест и предупреждение Китая, двинули свои войска к рекам Ялуцзян и Тумыньцзян, поставив тем самым под угрозу безопасность Китайской Народной республики.

Демократические партии Китая в своём совместном заявлении правильно охарактеризовали этот акт, как враждебный китайскому народу, и разоблачили истинные цели американских империалистов в Восточной Азии. «Американские империалисты, — говорится в заявлении, — повторяют старый

трик японских бандитов, которые сначала вторглись в Корею, а затем в Китай. Всем известно, что хотя Корея и малая страна, однако она занимает очень важное стратегическое положение. Главной целью американской агрессии в Корею, как и агрессии японских империалистов в прошлом, является не Корея, а Китай».

Вполне понятно, что в этих условиях весь миролюбивый китайский народ поднялся на защиту своей страны и счёл своей священной обязанностью оказать братскому корейскому народу помощь в его сопротивлении американской агрессии. Тысячи китайских добровольцев отправились на поля сражений в Корею, чтобы под единым руководством Главного командования Народной армии Корейской Народно-демократической республики сражаться против американских интервентов.

Безопасность Китайской Народной республики зорко охраняет могучая Народно-освободительная армия. Из численно небольших, плохо вооружённых отрядов она превратилась в регулярную армию, вооружённую современной боевой техникой. Народно-освободительная армия, творчески освоившая опыт ведения крупных боевых операций, является могучим оплотом мира и безопасности народов Азии и всего мира.

Полковник М. ТОЛЧЕНОВ.

★

За чтением журнала «Сторонники мира»

Журнал продолжает давать живую, разнообразную, интересную хронику всемирного движения сторонников мира.

По мере возрастания военной опасности быстро растёт и энергия людей самых разнообразных убеждений, социальных положений, религиозных воззрений. Эти люди сходятся в одном: в решительном желании дать отпор империалистам, торгующим человеческой кровью во имя обнажённо своекорыстных интересов.

Журнал «Сторонники мира» №№ 10—19, 1950. Директор Жан Лаффит. Главный редактор Клод Морган. Издание Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Выходит два раза в месяц на немецком, английском, китайском, испанском, французском, венгерском, румынском и русском языках. Редактор издания на русском языке П. А. Вишняков.

Поджигатели войны перешли уже к открытым действиям. Возмущение, вызванное у всех честных людей бесчеловечными бомбардировками мирных корейских городов и деревень, истреблением корейских женщин и детей, способствовало громадному успеху в сборе подписей под Стокгольмским Воззванием. Стремясь к установлению мирового господства, американские поджигатели войны выступают против запрещения атомного оружия. Дело в том, что все надежды империалистов США на успехи в любой войне, которую им удастся спровоцировать в будущем, основываются именно на применении орудий массового истребления, на терроризации тыла, на «тотальной войне», о которой хвастливо говорят Ачесон, Брэдди и их достойные сообщники.

Правда, кое-кто из них иногда вспоминает Сталинград. Например, совсем недавно в своих речах и статьях Курт Шумахер и его заместитель Карло Шмит высказались самым решительным образом против «канцлера» Аденауэра, пообещавшего их общим американским хозяевам создать немецкую армию для будущей агрессии против Советского Союза. — Немецкая молодёжь ещё не оправилась от Сталинграда! — заявили они.

Однако из этого лицемерного, демагогического выступления, рассчитанного на популярность среди немецких трудящихся масс, совсем не следует делать вывода об антивоенных настроениях Шумахера. Эти прожжённые политики и провокаторы — и Шумахер, и Шмит — состоят на американской службе. Они остаются ревностными прислужниками генерала Макклоя, командующего американскими оккупационными войсками в Германии, и втихомолку играют на руку своим заокеанским хозяевам. Это с очевидностью доказывает полное негодование «открытое письмо» Иоганнеса Бехера, вице-президента Академии искусств Германии, опубликованное в журнале «Сторонники мира» и направленное против Шумахера.

Бехер напоминает о предшественниках господина Шумахера, очень много и пылко говоривших в том же стиле, что и Шумахер. «В нашем злосчастном прошлом, — пишет он, — немало было разговоров о всяких грандиозных вещах. Теперь же от грандиозных замыслов у нас остались лишь горы щебня да огромные опустошения». Господа шумахеры отлично знают, что война нужна только Трумэну, Ачесону, Даллесу и другим представителям биржевых и крупнопромышленных интересов в Америке, но что большинство немцев пламенно желает лишь одного: мира! Но это несколько господ шумахеров не останавливает.

Европейские сателлиты Соединённых Штатов не только в Германии, но и во Франции и в Англии, также страшатся мысли о запрещении атомной бомбы, в которой они видят чуть ли не единственное оружие для затеваемого ими третьего мирового побоища. Прежде они прикидывались совершенно равнодушными к успехам сбора подписей под Стокгольмским Воззванием, к успехам конференций сторонников мира и к другим манифестациям

этого рода. Но не надолго хватило их много равнодушия: теперь они открыто прибегают к самому грубому полицейскому насилию, к резиновым дубинкам, которыми они избивают до полусмерти мирных манифестантов, к самым кровавым призывам и наускиваниям, вплоть до наглого воздушного нападения, подвергшего смертельной опасности жизнь Тореза, летевшего на самолёте из Франции в СССР для лечения.

Приказчики и маклеры Уолл-стрита стараются изо всех сил. Президент США настойчиво повторяет, что именно он и никто другой отдал приказ о первом применении атомной бомбы. Немудрено, что американские интервенты, следуя этому доблестному примеру, творят в Корее ежедневно и ежечасно злодеяния, до которых, кроме гитлеровцев, никто ещё никогда и нигде не доходил.

Первый богач, он же «спекулянт номер первый в Японии» (как его там все называют) Макартур заявил 31 июля 1950 года в городе Тайбэй, столице острова Тайвань, что он «твёрдо решил в точности выполнить приказ президента Трумэна об охране Чан Кай-ши от покушения со стороны Китая». Разоблачая это нахальное заявление, журнал «Сторонники мира» одновременно регистрирует длинный ряд официальных сообщений, говорящих самым красноречивым языком о намерениях этих господ продолжать свой неслыханный разбой не только в Корее, но и в других странах Азии и Европы.

Журнал «Сторонники мира» с большим вниманием и интересом следит за одним любопытным феноменом в пропаганде поджигателей войны. Они не перестают пускать в ход курьёзнейшие выдумки, одна другой неправдоподобнее, с целью успокоить тех, кого они гонят на убой. Последней их вздорной фантазией является бессмыслица о каких-то «карманных атомных бомбах», которые якобы будут розданы американским солдатам и обезопасят этих доблестных защитников «христианской цивилизации». Очередное смехотворное американо-газетное враньё!

Журнал приводит любопытные данные об успехе Стокгольмского Воззвания в тех странах, правительства которых в той или иной степени «маршаллизованы». Грандиозный, поистине общенациональный характер

принял сбор подписей под Воззванием в Италии. Для этого сбора образовано не более и не менее как семнадцать тысяч департаментских и муниципальных комитетов, не считая комитетов на фабриках, в мастерских и торговых предприятиях.

Размах движения сторонников мира усиливается с каждым днём, охватывая всё более широкие слои населения, в том числе и церковные круги. Журнал отмечает заметное усилившийся протест всех христианских церквей против войны и шантажных американских запугиваний.

Даже из среды служителей церкви в Западной Германии раздался решительный протест против канцлера Аденауэра, продающего теперь американцам своих соотечественников в качестве пушечного мяса для грядущей войны. Этот протест облечён был в своеобразную форму. Пастор Нимейер, глава протестантской церкви в Гельсен-Гану, в прямом обращении к Аденауэру предложил ему произвести общие выборы в боннский парламент, поставив перед избирателями единственный вопрос: согласны ли они с планом включения Западной Германии в систему милитаризованных стран или несогласны? Другими словами: согласны ли они на ремилитаризацию Западной Германии, которую требует Ачесон и на которую уже вполне согласился Аденауэр? Но господин «канцлер», как и следовало ожидать, уклонился от положительного ответа на это предложение, так как хорошо понимал, каковы будут результаты предлагаемого опроса.

Ещё в апреле 1950 года совет английских церквей всецело присоединился к принятой в Женеве в феврале декларации Всемирного совета церквей, в которой «выражается протест против положения, создавшегося в связи с угрозой водородной бомбы, и настоятельно предлагается всем правительствам немедленно вступить в переговоры для установления контроля над атомной энергией». Специальное выступление в Нью-Йорке епископа Джона Уоллса перед Комитетом представителей различных церквей было посвящено заявлению Трумэна о водородной бомбе. Уоллс заявил: «Публично выраженное намерение изготовить водородную бомбу можно считать самым пагубным политическим решением, которое обойдётся нам очень дорого». Комитет экстренно командировал четырёх

наиболее видных представителей церкви, чтобы передать это мнение правительству.

Но Трумэн руководствуется не столько мнениями епископов, сколько мнениями дельцов Уолл-стрита, которые прямо заинтересованы в создании паники, а не в её устранении. Показательно, что уже с лета 1950 года в США ведётся деятельная правительственная пропаганда, имеющая целью превратить американскую школу в филиал казармы. Генерал Эйзенхауэр, Конант, президент Харвадского университета, и Янсен, главный инспектор штата Нью-Йорк, выпустили воззвание в виде брошюры. В ней говорится: «Так как война фактически уже неизбежна, то она требует новой ориентации всего американского народа, а не только нескольких его правителей, которые стоят во главе управления и которые уже психологически приспособились к этому новому положению».

Все три автора этой брошюры, носящей характерное название «Американское воспитание и напряжённость международных отношений», приветствуют «благие» последствия войны. «Война, — пишут они, — даст людям направление к определённой цели, даст ясно очерченный путь, даст ощущение участия в коллективных усилиях...».

Последние выпуски журнала «Сторонники мира» говорят о том, что народы пришли к следующему твёрдому заключению: Организация Объединённых Наций идёт на поводу у империалистов США; у Ачесона имеются послушные и рабски исполнительные орудия при осуществлении самых гнусных, самых разбойничьих замыслов Уолл-стрита в лице Трюгве Ли и других преданных ему чиновников Лейк-Саксеса.

Но именно это сознание и заставляет всех искренних борцов за мир, чувствующих свою ответственность перед человечеством, удесятерить свою энергию.

Громадный моральный успех Второго Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве показал, что недаром Эттли с Бевином не решились допустить представителей миролюбивых народов на английскую почву в Шеффилд. Решительный тон всех выступлений на конгрессе показал могучую волю народов к продолжению и усилению борьбы против шайки Уолл-стрита, борьбы за мир

Академик **Е. ТАРЛЕ.**

Страницы героической борьбы болгарского народа

Годы второй мировой войны ознаменованы подъёмом вооружённой борьбы болгарского народа против фашизма и активной подготовкой народно-демократической революции.

Фашистское правительство Болгарии предало свою страну. Во время войны оно впустило в Болгарию иностранные войска и отдало страну во власть гитлеровской Германии. Но болгарский народ не примирился с участью, уготованной ему правящей кликой. Несмотря на свирепый террор, он вёл беззаветную борьбу за своё национальное и социальное освобождение. Болгарские коммунисты, руководимые товарищем Г. М. Димитровым, сумели сплотить и объединить под знаменем Отечественного фронта все патриотические силы страны и повести их на штурм фашистского строя.

Национально-освободительное движение, возникшее в Болгарии сразу же после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, было теснейшим образом связано с героической борьбой советского народа против фашистских захватчиков. Успехи Советской Армии вселяли в болгарских патриотов моральные силы для освободительной борьбы и уверенность в конечной победе демократии. Разгром гитлеровской армии на Балканах дал возможность болгарским патриотам успешно осуществить 9 сентября 1944 года победоносное восстание.

Этому важнейшему периоду в истории Болгарии посвящена книга Л. Б. Валева «Из истории Отечественного фронта Болгарии».

В первой части своей работы автор показывает обстановку, сложившуюся в стране накануне второй мировой войны. После фашистского переворота 9 июня 1923 года и поражения сентябрьского восстания в этом же году власть захватила продажная антинародная клика, представлявшая наиболее реакционные слои болгарской крупной буржуазии и её агенты. Эта клика установила режим дикого насилия и произвола.

Л. Б. Валева. «Из истории Отечественного фронта Болгарии (июль 1942 г.—сентябрь 1944 г.)». Ответственный редактор доктор исторических наук С. А. Минитин. Издательство Академии наук СССР, М.—Л. 1950.

Разгул фашистской реакции принял особенно разнузданные формы после нападения фашистской Германии на Советский Союз. К этому времени гитлеровцы осуществляли уже полный контроль над экономической и политической жизнью Болгарии. Они, по существу, захватили в свои руки всю промышленность, банковское дело, внешнюю торговлю. Благодаря холопской угодливости болгарского правительства немецкие фашисты проводили планомерное и широко организованное ограбление страны. Из Болгарии непрерывным потоком шло в Германию продовольствие, вывозились промышленные товары. Гитлеровцы бесцеремонно вмешивались во внутренние дела страны, направляли её внешнюю политику, требовали принятия угодных им законов. Дело дошло до того, что германский посланник Бекерле принимал непосредственное участие в решении государственных дел Болгарии. Наконец с согласия правительства Филова в страну вступили немецкие войска. Болгария была фактически оккупирована Германией.

Болгарская правящая клика взяла курс на полную фашизацию страны. Так называемое «Народное собрание» принимало один за другим свирепые законы, направленные на удушение малейших проявлений несогласия с правительственной политикой. Преследование прогрессивных элементов ещё более усилилось, тюрьмы переполнились заключёнными.

Стремясь втянуть Болгарию в войну с СССР в качестве союзника Германии, правительство Филова драконовскими методами пыталось искоренить вековую дружбу болгарского и русского народов. Печать и радио вели оголтелую клеветническую кампанию. Правительственная клика открыла гнусную «антибольшевистскую выставку» в Софии, разгромила магазин советской книги, организовала хулиганский налёт на советское консульство в Варне.

Однако обмануть болгарский народ не удалось.

В тот день, когда гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз, Центральный комитет Болгарской рабочей партии (коммунистов) обратился к болгарскому народу с воззванием, в котором призывал его всеми силами бороться против фашистских захватчиков, против вовлече-

ния Болгарии в войну на стороне Германии. По призыву партии народные борцы уходили в горы; началась партизанская война.

С каждой новой победой Советского Союза над гитлеровскими полчищами движение сопротивления росло и крепло.

В июле 1942 года товарищ Димитров обратился к народу с призывом сплотить свои силы в единый Отечественный фронт. Тогда же тов. Димитровым была намечена его программа.

Болгарская рабочая партия развернула энергичную работу по выполнению указаний своего вождя.

В невероятно трудных условиях зверского террора, несмотря на противодействие со стороны правых лидеров демократических партий и подлую, предательскую деятельность Трайчо Костова, коммунисты сумели сплотить болгарский народ и повести его на освободительную борьбу под знаменем Отечественного фронта. Перед восстанием 9 сентября уже вся страна была покрыта сетью комитетов Отечественного фронта, партизанскими отрядами и четами (боевыми группами).

Приводя убедительные цифровые данные, автор наглядно показывает, какой всенародный характер приняло движение сопротивления к осени 1944 года. Вместе с тем он вполне правильно подчёркивает, что одними только собственными силами болгарский народ не смог бы добиться победы. Решающим фактором явился разгром советскими Вооружёнными Силами гитлеровских армий; вступление Советской Армии на территорию Болгарии спасло болгарский народ не только от гитлеровского рабства, но и от англо-американских оккупантов, готовивших Болгарии участь Греции.

«Победа Советского Союза над фашистской Германией, — пишет в заключение Л. Б. Валева, — и успех народного антифашистского восстания 9 сентября 1944 года открыли новую эру в истории Болгарии, — «эру глубоко революционных политических, экономических, социальных преобразований, расчищающих путь новому общественному строю, строю без эксплуатации человека человеком — социализму» (Г. Димитров)».

Работа Л. Б. Валева представляет несомненную ценность. Особенно благоприят-

ное впечатление оставляют страницы книги, посвящённые Отечественному фронту.

К сожалению, книга эта носит в основном описательно-повествовательный характер, — в ней почти полностью отсутствуют теоретические выводы и обобщения. Правда, в кратком введении автор попытался кое-что сделать в этом направлении, однако поставленные им вопросы не получили в книге развития.

Автору следовало бы значительно подробнее рассказать о глубоких симпатиях болгарского народа к Советскому Союзу, о прочных и давних традициях дружбы между двумя народами. Эти традиции сыграл немаловажную роль в деле срыва агрессивных планов фашистского правительства Болгарии, направленных против СССР. Опасаясь народного возмущения, правящая болгаро-фашистская клика, несмотря на давление Германии, не осмелилась послать на советско-германский фронт ни одного болгарского солдата.

Неправильно утверждение, что боевые группы разрастались в партизанские четы и отряды, а до того играли лишь подсобную роль, занимаясь укрытием запасов продовольствия и т. п. В действительности боевые группы действовали одновременно с партизанскими отрядами. Но партизанские четы и отряды, как правило, развивали свою деятельность в сельских местностях и укрывались в лесах, боевые же группы действовали главным образом в крупных промышленных и политических центрах, на железных дорогах, вблизи важных военных объектов.

Можно было бы указать и на некоторые другие, более мелкие ошибки. Например, изменение к «Закону о защите государства» было принято не в июле 1943 года, а в сентябре 1941 года. Закон «Об изменениях и дополнениях военно-судебного закона», в том числе и статья 681, был принят не в июле 1943 года, а в июле 1941 года.

Перечисленные недостатки несколько снижают ценность книги. Тем не менее эта работа, посвящённая важному, мало изученному в нашей литературе периоду истории болгарского народа, представляет значительный интерес и для историков и для широких читательских кругов.

Кандидат исторических наук
М. ПОЗОЛОТИН.

США — полицейское государство

Соединённые Штаты Америки выполняют сейчас позорную роль лидера сил реакции и фашизма в их борьбе против великого и всё растущего лагеря социализма и демократии. В любой части света реакционеры всех мастей опираются на помощь правящих кругов США, получают американское вооружение и американские доллары для подавления национально-освободительного движения, для разгрома рабочего класса, для восстановления силой оружейной власти капиталистических монополий. Фашисты Греции, Испании, Югославии, антинародные режимы Чан Кай-ши, Ли Сын Мана, Бао-Дая, реакционные классы и партии в Европе, Азии, Латинской Америке находят в Соединённых Штатах своего покровителя, без поддержки которого они не смогли бы просуществовать и короткое время.

Реакционная роль правящих классов США в международной политике неразрывно связана со всей историей США. Соединённые Штаты Америки — это страна, где всевластие капиталистических монополий достигло в настоящее время предела, где узкая кучка магнатов финансового капитала безраздельно господствует в экономической и политической жизни. Как самая мощная страна капиталистического мира, разбогатевшая во время двух мировых войн, Соединённые Штаты Америки выступают в роли «спасителя» капиталистической системы, показавшей свою полную несостоятельность в соревновании с системой социализма. Подавление революционных и освободительных движений во всём мире, люта я ненависть к великой стране социализма — Советскому Союзу, ярый антикоммунизм и стремление уничтожить и подорвать строй народной демократии в странах, сбросивших с себя иго империализма, — характерны для всей внешней политики США в послевоенное время.

Связь этой политики с внутренним строем США часто ещё не бывает ясна трудящимся других стран. Буржуазная пропаганда в Америке и Европе давно создала и всячески культивировала легенду о пресловутой американской «демократии», о

так называемом «американском образе жизни». Всемирно поддерживает эту легенду и современная американская пропаганда, пытающаяся изобразить США, как государство «свободы» и «демократии». Даже реакционнейшая внешняя политика Трумэнов и Ачесонов, политика открытой поддержки антинародных сил, изображается этой пропагандой, как... «защита» демократии во всём мире.

Показать, каков на самом деле, без прикрас, этот «американский образ жизни», проиллюстрировать фактами характер американского государства, всё более приобретающего облик фашистского заповедника, — одна из важнейших задач советской публицистики. При этом особенно важно дать правильный, глубокий анализ не только настоящего, но и прошлого хваленной американской «демократии», показать весь процесс постепенного превращения США в полицейское государство, каким оно является в наши дни.

Эту задачу поставил перед собой В. Минаев в своей работе «Американское гестапо». В книге подробно рассказывается о системе террористического подавления свободы и демократических прав американского народа, господствующей в США. Автор, собрав интересные и важные факты, показал, что сеть шпионских, полицейских и полуполицейских сыскных организаций, осуществляющих организованный террор правящих классов Америки, существует уже давно, что в настоящий момент все эти организации сплелись в сложную паутину американской охраны, которая держит в своих лапах личную жизнь каждого американского гражданина.

Частные детективные агентства в США существуют с 1852 года, и почти сразу после своего возникновения они использовались американской буржуазией для борьбы с рабочим движением, для организации самых грязных провокаций против профсоюзных активистов, для убийств рабочих вождей и штрейкбрехерства. «Это — огромная армия, исчисляемая многими сотнями тысяч человек, — пишет В. Минаев. — Известно, например, что задолго до второй мировой войны лишь три детективных агентства — Пинкертон, Барнс и Тила — имели 135 тысяч платных сотрудников, об-

служивавших 100 районных контор и 10 тысяч местных отделений. Семьдесят пять процентов этого персонала было занято непосредственно «производственной работой», т. е. занималось шпионажем в среде трудящихся».

Эти шпионы заполняют профсоюзы, входят в состав руководства крупнейших профсоюзных объединений — АФТ и КПП, проникают во все слои американской интеллигенции, в круги артистов, писателей, журналистов и даже в многочисленные религиозные организации. Каждый передовой, прогрессивный деятель в США давно уже занесён в секретные списки подобных агентств. В борьбе против рабочего движения банда шпионов и провокаторов применяет самые подлые, самые бандитские методы и средства. При подавлении любой рабочей стачки убитые и тяжело раненные рабочие насчитываются десятками — это «работа» наёмных гангстеров, «обслуживающих» интересы предпринимателей.

Всячески поощряя эту систему «частного» сыска, которая сама по себе вызвала в США массовое и систематическое нарушение так называемых «гражданских свобод», провозглашённых конституцией, правящие круги Соединённых Штатов давно уже создали разветвлённую государственную систему политического сыска. Пресловутое Федеральное бюро расследований — ФБР — было организовано в 1908 году. На его содержание правительство США ассигновывало крупные средства. Глава ФБР — Дж. Эдгар Гувер — это достойный последователь Гимmlера, главы гитлеровского гестапо. Гувер даже опередил Гимmlера, взяв ещё в 1919—20 гг. на специальный «учёт» 500 тысяч американцев. Накануне второй мировой войны Гувер поставил перед собой задачу охватить секретным учётом всех прогрессивно мыслящих граждан США. Сейчас, по сообщению газеты «Нью-Йорк таймс», картотека ФБР насчитывает уже около 72 миллионов персональных карточек. Кроме того, ФБР располагает отпечатками пальцев 113 миллионов американцев.

Во время войны американская тайная полиция, под предлогом борьбы с фашистским шпионажем, фактически предавала национальные интересы США, попустительствуя и способствуя разведывательной работе гитлеровских агентов. В то же вре-

мя ФБР продолжала вести борьбу со всеми прогрессивными элементами в США.

Огромные средства, затрачиваемые государством на содержание тайной полиции — частной и государственной, — не избавляют американское население от бандитов и гангстеров. Наоборот, статистика показывает, что США — это страна наибольшей преступности. Гангстеры и рэкетиры, как правило, остаются безнаказанными. Это объясняется тесной связью преступного мира с полицией и, что важнее, с ведущими политическими партиями, республиканской и демократической, избирательный «аппарат» которых не может обойтись без теснейшего сотрудничества с самыми тёмными уголовными элементами. Партийные «боссы» и крупные гангстеры «работают» сообща, и очень часто бандиты приобретают «вкус» к политической деятельности и соответственно меняют профессию. Вся история «Таммани холла» — этого официального клуба демократической партии, к которой принадлежит, в частности, президент Трумэн, — это сплошная цепь преступлений, колоссального грабежа и политического террора.

Автор посвящает много страниц рассказу о влиянии гангстеров на всю общественную жизнь США, о растлении детей и подростков культом детективов и убийств в американской литературе и кино. Особую главу отводит он исследованию истории фашистских организаций в США — Ку-Клукс-Клана, «Американского легиона», «Чёрного легиона» и других террористических банд, созданных американской буржуазией для подавления свободы мысли, для убийства передовых рабочих и прогрессивных деятелей, для насаждения господства англосаксов над всеми другими, «неполноценными» нациями в Америке.

Глава «Методы и техника американской охраны» рисует зверство американских гестаповцев, их бесчеловечные способы травли, избений, физического уничтожения всех честных, свободомыслящих людей в стране.

В последней главе «Американское «правосудие» показан классовый суд американской буржуазии, ничем по существу не отличающийся от позорного «суда Линча», то есть самосуда толпы изуверов над беззащитной, невинной жертвой. Абсолютным беззаконием была «судебная» расправа

американской юстиции с лидерами американской компартии. И в то же время самые отвратительные уголовные преступники могут твёрдо рассчитывать на безнаказанность, если они располагают средствами для подкупа суда, если их защищают «влиятельные» круги.

Во всей своей неприглядности встаёт перед читателем картина американского полицейского государства, где разветвлённая система частного и государственного шпионажа, фашистского террора и беззакония давит и душит человека труда, преследуя малейшее проявление свободной и независимой мысли. Разоблачение этой системы всеобщего сыска имеет не меньшее значение, чем раскрытие других сторон пресловутой американской «демократии» с её фальшивой и лицемерной избирательной системой, обеспечивающей господство монополий и их ставленников из двух главных буржуазных партий. Дело в том, что американская пропаганда, а за нею и пропаганда английская, а также «идеологи» капиталистической системы «свободного предпринимательства» Трумэн, Черчилль и им подобные в своих бесчисленных выступлениях против коммунизма и подлинной народной демократии больше всего напирают на так называемую «свободу частной личности» в США и Англии. На деле — это «свобода» заключённого в гигантском концлагере, в который ныне превращены страны, находящиеся во власти американских монополий и их наёмного аппарата — охранки, полиции, террористических фашистских организаций, их продажной прессы, их «партий».

В этом отношении ценная и серьёзная работа В. Минаева заслуживает самого широкого распространения. Собранные вместе исторические данные об американской охранке, о фашистских организациях, об американской судебной практике, о закулисной деятельности демократической и республиканской партий — это убийственный обвинительный документ против правящих кругов США.

Книга В. Минаева не лишена и существенных недостатков. Важнейший из них состоит в том, что само расположение материала лишило читателя возможности обнаружить ту «роковую грань», которая отделяет прошлое, правда, весьма неприглядное прошлое, от нынешнего этапа

ускоренной фашизации США в послевоенный период. Да, мы видим, что шпионаж в рабочем движении широко был развит ещё в конце прошлого века, что Ку-Клукс-Клан существовал задолго до первой мировой войны, возникал вновь, изменял и расширял свою деятельность. Однако в прошлом фашистское беззаконие никогда не приобрело в США таких форм, такого влияния, как в наши дни.

Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала. Переход правящей буржуазии от методов скрытого господства в условиях соблюдения некоторого минимума «демократии» к открытой диктатуре всегда бывает вынужденным; переход этот говорит о слабости буржуазии, о невозможности для неё управлять прежними методами. И он всегда связан с агрессивной внешней политикой, так как война и фашизм неразделимы.

В. Минаев указывает в предисловии к книге, что США вступили на путь создания фашистского государства. Но автор не показывает в дальнейшем изложении, как произошёл тот «скачок», когда гестаповские методы Гувера изменили обстановку в США, когда фашистский антирабочий закон Тафта-Хартли резко изменил правовое положение рабочих, когда инсценировка процесса над лидерами американской компартии дала сигнал к травле, убийствам, к физическому уничтожению тысяч и тысяч американских демократов.

Внимательный читатель книги «Американское гестапо», разумеется, увидит это резкое «качественное» изменение, книга поможет ему проследить новейший этап фашизации США. Но автору следовало резче подчеркнуть особенности послевоенного периода истории США, когда американский империализм встал во главе международного лагеря фашизма и реакции.

Заключение книги, в котором автор говорит о борьбе американского народа за мир и демократию, следовало бы значительно расширить. Автор не показал другой Америки, Америки простых людей, честных и искренних сторонников мира, тех, кто ведёт борьбу против воинствующей реакции в труднейших условиях фашистского террора, кто не склоняет го-

ловы перед лицом всемогущего врага. Если в США, в условиях невиданной травли и запугивания, два с половиной миллиона человек поставили свои подписи под Стокгольским Воззванием, что грозило каждому из них тюрьмой или по меньшей мере безработицей, то это свидетельствует о силе демократического лагеря в США. Не-

верно представление, будто бы фашизм уже окончательно победил в Америке. Силы демократии и социализма растут во всём мире, и это не может не оказывать решающего влияния на борьбу американских трудящихся за мир, демократические права и свободы.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

★

Экономика

Слабая книга о транспорте

Чем значительнее по своим размерам страна, чем выше уровень её промышленного производства, тем большую роль в её жизни играет транспорт.

Велика и разнообразна роль транспорта в Советском Союзе, с его необъятными просторами, с его бывшей ключом полнокровной народнохозяйственной деятельности.

Ещё в директивах к составлению первого пятилетнего плана XV съезд ВКП(б) признал необходимым «...такое расширение сети транспорта и его работы, которое покрывало бы потребности расширяющегося производства и товарооборота, приобщая к народно-хозяйственной жизни страны новые районы, открывая новые громадные источники развития производительных сил и обеспечивая нужды обороны».¹

Без широко разветвлённой транспортной сети, в первую очередь железнодорожной, было бы невымыслимо осуществление грандиозных новостроек, изменивших лицо нашей Родины. Высоко ответственной будет роль транспорта в создании величайших гидротехнических сооружений современности, к строительству которых с изумительным энтузиазмом приступил советский народ.

Благодаря повседневным заботам партии и правительства в нашей стране из года в год увеличивается сеть транспортных путей, транспорт оснащается наиболее современными техническими средствами и новейшими типами машин, железные дороги электрифицируются, водные пути оснащаются каналами и шлюзами, растёт протя-

жённость и улучшается качество автомобильных дорог.

Однако работу советского транспорта характеризуют не только его высокие количественные и качественные показатели, но и присущее всему народному хозяйству СССР строго плановое начало. Этой большой проблеме посвящена книга А. Галицкого «Планирование социалистического транспорта». Задача, которую поставил перед собой автор, тем более важна, что до сего времени по этому вопросу имеется чрезвычайно мало не только популярной, но и специальной литературы. К сожалению, приходится признать, что рецензируемая книга не сможет восполнить этот существенный пробел.

Читателя постигает разочарование с первых же страниц. Естественно было бы ожидать, что автор сразу же раскроет то глубокое принципиальное различие, которое существует между транспортом социалистическим и транспортом капиталистическим. А. Галицкий этого не сделал. А между тем подобное сопоставление познакомило бы читателя с тем, насколько ярко в буржуазных странах на работе транспорта отражается присущая капитализму общая анархия производства. Все виды транспорта принадлежат там, как правило, отдельным собственникам — трестам, синдикатам, ожесточённо конкурирующим между собой. Эти глубокие противоречия капиталистического хозяйства, эта грызня между крупными хищниками за высокие прибыли исключает возможность планомерного развития транспорта в интересах государства, в интересах всего народа.

Иное положение существует в нашей социалистической стране. Единый народнохозяйственный план предопределил и единст-

¹ «ВКП(б) в резолюциях и решениях», ч. II, изд. 6-е, стр. 240.

А. Галицкий. «Планирование социалистического транспорта». Редактор **Б. И. Эйдельман.** Госпланиздат, М. 1950.

во всей транспортной сети, тесную взаимосвязь различных видов транспорта и всестороннее гармоничное развитие их. Именно этим в большой степени объясняются успехи нашего транспорта.

Приведём лишь одну цифру: по густоте движения на железных дорогах Советский Союз уже в 1937 году занимал первое место в мире. Объём железнодорожных перевозок в нашей стране превысил в настоящее время уровень 1913 года в точках — в пять с половиной раз, а в тонно-километрах — в одиннадцать раз.

Особо следовало отметить создание во время сталинских пятилеток мощного автомобильного транспорта, занявшего по количеству перевозимых грузов первое место.

Об этом гигантском скачке, который совершил наш транспорт после Великой Октябрьской социалистической революции, автор, к сожалению, не сказал ни слова.

Но основным недостатком книги А. Галицкого является то, что она не оправдывает своего названия: в ней отсутствует научное обобщение теории и практики комплексного планирования транспорта. Правда, круг вопросов, освещаемых в книге, обширен. В ней имеются главы «Планирование грузовых перевозок», «Планирование пассажирских перевозок», «Планирование капитальных работ на транспорте» и т. д. Но читатель не увидит между этими главами внутренней связи, не почувствует решающего влияния социалистического планирования, которое направляет к единой цели всю сложную и многогранную работу советского транспорта. Автор ограничился лишь тем, что привёл существующие правила и технические приёмы планирования отдельных элементов транспортного хозяйства. Таким образом, книга как бы распадается на изолированные части. Автор не сумел раскрыть и динамику развития транспорта, как части всего народного хозяйства СССР.

Совершенно недостаточно освещено в книге революционизирующее значение на транспорте достижений советской науки и техники. А ведь в Советском Союзе развитие передовой техники и внедрение её в народное хозяйство, в том числе и на транспорте, планируется государством, для

чего специально создан Государственный комитет — Гостехника СССР.

А. Галицкий должен был рассказать читателю, что для удовлетворения всех многосторонних нужд транспорта работают целые отрасли промышленности, создан ряд научно-исследовательских институтов и специальных лабораторий.

Серьёзное внимание обращено у нас в стране и на обеспечение транспорта квалифицированными кадрами. Свыше десятка высших учебных заведений готовят инженеров различного профиля — будущих командиров транспортного производства. Широкая сеть техникумов и курсов ежегодно выпускает тысячи специалистов. И об этом автор книги не рассказал читателю.

В должной мере не раскрыл автор и качественное различие между отдельными видами транспорта.

В главе «Планирование себестоимости перевозок» говорится лишь о железнодорожном транспорте общего пользования. Об особенностях планирования себестоимости водных и автомобильных перевозок почему-то не сказано ни слова.

Приняв в основном описательный метод изложения, автор слишком фотографически, без критического анализа изображает существующие практические формы планирования транспорта.

Текст книги перемежается образцами таблиц и примерами элементарных расчётов. При этом примеры, взятые из практики железнодорожных перевозок, далеко не всегда могут быть применены для других видов транспорта. Возникает законный вопрос о цели включения в книгу подобных приложений, одинаково неинтересных как для квалифицированных специалистов, так и для массового читателя.

Остаётся загадкой, на какого читателя рассчитывал Госпланиздат, выпуская эту книгу, тиражом в 7000 экземпляров. Книга не является ни учебным пособием, ни трудом, который мог бы претендовать на самостоятельное научное значение, ни, тем более, научно-популярной брошюрой.

Неудачу автора следует частично отнести и за счёт издательства, которое не сумело помочь ему правильно подойти к решению поставленной задачи.

В. ЛЕВАЧЕВ.

Философия

Книга о советском социалистическом обществе

Разработке вопросов теории советского социалистического общества было уделено большое внимание на философской дискуссии 1947 года. Раскрытие закономерностей развития социалистического общества, постепенного перехода от социализма к коммунизму имеет огромное значение для коммунистического воспитания нашего народа, нашей интеллигенции.

Вместе с тем эта проблема чрезвычайно важна и для народов, недавно вступивших на путь социалистического строительства. Опыт нашей борьбы, нашего движения к коммунизму облегчает им их путь. Опираясь на наш опыт, страны народной демократии смогут быстрее завершить у себя строительство социалистического общества. В этой связи нельзя не приветствовать появление рецензируемой книги, в которой собраны статьи на самые актуальные темы.

Положительной стороной сборника следует считать то, что в нём всесторонне показаны преимущества и превосходство советского социалистического общества над капиталистическим обществом, раскрыты этапы развития советского социалистического общества.

«Конкретизируя ленинскую теорию о возможности победы социализма в одной стране, — пишет П. Н. Федосеев в статье «И. В. Сталин о строительстве коммунистического общества», — товарищ Сталин сделал научно обоснованный вывод о возможности построения коммунизма в одной стране и в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Товарищ Сталин учит, что коммунизм в одной стране вполне возможен, особенно в такой стране, как Советский Союз. Развивая ленинские указания о социалистическом строительстве, обобщая великий практический опыт этого строительства, товарищ Сталин раскрыл законы строительства коммунизма, законы неуклонного роста, непрерывного восходящего движения коммунистической общественной формации».

П. Н. Федосеев рассматривает такие во-

«О развитии советского социалистического общества». Сборник статей. Редактор П. Павелкин. Госполитиздат, М. 1950.

просы, как создание материально-технической базы коммунизма, преодоление противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом.

В статье убедительно показана научная разработка товарищем Сталиным задач и принципов коммунистического строительства. Товарищ Сталин определил роль советского государства и коммунистической партии как руководящей и направляющей силы великого движения к коммунизму, указал на значение советской интеллигенции в борьбе за коммунизм, показал значение стахановского движения, критики и самокритики, определил великое значение нашей науки в коммунистическом строительстве.

Открытие товарищем Сталиным законов и путей движения к коммунизму играет огромную организующую и мобилизующую роль не только для нашей страны, но и для всего международного коммунистического движения.

Статья Ц. А. Степаняна «О роли советского государства в построении коммунизма в СССР», как бы продолжая работу П. Н. Федосеева, освещает роль товарища Сталина в разработке научной теории социалистического государства, его роль в строительстве и всемерном укреплении советского государства.

«Разрабатывая программу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму, — указывает Ц. А. Степанян, — И. В. Сталин уделяет первостепенное внимание Советскому государству как главному орудию построения коммунизма... Социалистическое государство, направляемое партией большевиков, призвано осуществить гигантские задачи, связанные с переходом от социализма к коммунизму: выполнить основную экономическую задачу СССР — создать материально-техническую основу высшей фазы коммунизма и обеспечить изобилие материальных благ; выполнить основную политическую задачу в условиях новой полосы развития СССР — преодолеть классовые различия между рабочими, крестьянами, интеллигенцией, осуществить коммунистическое воспитание масс, преодолеть пе-

режитки капитализма в сознании людей, достичь изобилия духовной культуры; защитить мирный созидательный труд советского народа».

Ц. А. Степанян далее говорит о диктатуре пролетариата, о Советах как государственной форме диктатуры пролетариата, об охране общественной социалистической собственности и о военной защите страны от нападений империалистических хищников. Все эти вопросы разобраны с достаточной обстоятельностью. Однако статья Ц. А. Степаняна содержит два крупных недостатка.

Во-первых, почти полностью опущен вопрос о борьбе советского государства за мир. А между тем нельзя в наше время отделить вопрос о строительстве коммунизма от вопроса борьбы за мир.

Второй недостаток статьи состоит в том, что в ней отсутствует смелая постановка новых вопросов. В статье больше всего говорится о прошлом советского государства, значительно меньше о настоящем и почти ни слова о будущем.

Раскрытию величайшего превосходства социалистического способа производства перед капиталистическим посвящена статья П. Т. Белова «К вопросу о трёх особенностях производства в условиях социализма». Эта статья — одна из интереснейших в сборнике, хотя имеющиеся в ней упущения снижают её ценность. Опираясь на высказывания классиков марксизма-ленинизма и прежде всего на классическое определение И. В. Сталиным трёх особенностей производства, автор, не отрываясь от действительности, поставил и удачно разрешил задачу: проанализировать причины превосходства источников развития общественно-го производства при социализме и коммунизме — источников, заложенных во внутренней природе самого социалистического производства.

Однако в вопросе о соотношении стихийного и сознательного факторов в развитии общественного производства П. Т. Белов допускает ошибки и неверные утверждения. Говоря о противоречивом характере исторического прогресса, он пишет:

«Напуганные «прелестями» прогресса, инстинктивно чувствуя, что они идут лишь на подтопку истории, трудящиеся массы вплоть до первых выступлений промышленного пролетариата боролись под лозунгами

возврата к старым, уже отжившим общественным порядкам. Рабы и крепостные мечтали о возврате к патриархально-общинным отношениям, ремесленники и рабочие на первых этапах борьбы разрушали машины, добиваясь восстановления ручного ремесла, мануфактуры. Мечты о «золотом веке» были обращены в прошлое.

И тем не менее именно эта, по субъективно выдвигаемым целям носившая ретроградный характер борьба трудящихся масс против социального гнёта объективно являлась главной движущей силой во всех исторически прогрессивных преобразованиях. Настолько противоречиво складывался ход исторического развития».

Подобное утверждение П. Т. Белова является научно несостоятельным. Нельзя утверждать, что русские крестьяне под знамёнами Болотникова, Степана Разина или Емельяна Пугачёва вели борьбу за возврат к первобытно-общинным отношениям. Тем более нельзя об этом говорить, имея в виду другие крестьянские войны или крестьянские восстания в России в первой, да и второй половине XIX века. Во всех крестьянских войнах и объективно и субъективно борьба велась против феодальных отношений за новые, свободные отношения в сельском хозяйстве. Даже не все выступления рабов происходили под лозунгом возврата к первобытным порядкам. Поэтому считать, что вся борьба трудящихся до появления организованного движения рабочего класса субъективно была устремлена в прошлое, значит по меньшей мере допускать серьёзное искажение подлинной истории борьбы трудящихся, которая довольно часто была устремлена в будущее не только объективно, но и субъективно.

Нельзя согласиться и с другим утверждением П. Т. Белова. «Раз на протяжении всей истории, до капитализма включительно, — пишет он, — люди не поднимаются до способности регулировать главное условие жизни — ход развития общественного производства, то они, подобно животным, вынуждены лишь пассивно приспособляться к необходимости в общественном процессе». Или «Научившись изменять природу, они, как безвольные животные, оставались слепыми пешками сти-

хийной игры объективных законов общественного развития».

Эти положения автора явно антиисторичны и антинаучны. Люди создали мощную многовековую культуру, сбросили ярмо капитализма и строят социализм, и нам представляется, что о них можно и нужно говорить иначе.

Неправильно трактует П. Т. Белов и вопрос о взаимоотношениях между стихийным и сознательным при социализме. «При социализме, — пишет автор, — ...предвидятся и контролируются именно эти общие, решающие направления общественного развития, а «стихийными», не всегда предусмотренными оказываются лишь конкретные детали, в которых раскрывается и осуществляется общий ход сознательно направляемого движения в целом». А немного ранее к области стихийных явлений П. Т. Белов относит рождение Советов, коллективных хозяйств, стахановского движения и т. д. Как можно эти явления отнести к разряду «конкретных деталей» социалистического строительства — остаётся загадкой!

Заслуживают положительной оценки статьи И. С. Шарикова «Критика и самокритика — движущая сила развития советского общества» и М. А. Процько «Роль советской интеллигенции в строительстве социализма», раскрывающие значение очень важных вопросов коммунистического строительства. Однако и в них содержится недостаток. Так, И. С. Шариков пишет:

«Оружие критики имеет огромное значение для Советского Союза и стран народной демократии, для рабочего класса всех стран в борьбе против подготавливаемой империалистами новой войны, в борьбе за укрепление лагеря демократии и социализма, в борьбе против империалистической агентуры в лице правых социалистов, фашистской клики Тито и т. п. Конечно, в этой борьбе оружие критики не может заменить критику оружием; материальная сила эксплуататоров, как говорил Маркс, должна быть ниспровергнута материальной же силой».

Этот абзац не содержит чётких и ясных марксистских положений и сформулирован так, что читателю приходится самому разбираться, какое оружие когда пригодно.

В полном противоречии с наукой И. С. Шариков пишет о том, что для всех клас-

совых формаций законом общественного развития являются политические и экономические катастрофы. «Во всех предшествующих социалистическому обществу классовых формациях развитие идёт в форме классовой борьбы, в форме экономических и политических катастроф...» И. С. Шариков говорит также о преодолении каких-то националистических пережитков советских народов.

Серьёзным недостатком работы М. А. Процько следует считать уход от насущных проблем, боязнь показать нашу сегодняшнюю интеллигенцию в её борьбе за коммунизм, за мир между народами. Полностью обошёл автор вопрос о критике и самокритике в рядах интеллигенции, о борьбе за развитие творческих дискуссий. «Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики» (И. Сталин).

Борьба против начётничества, против зубрёжки и заучивания цитат, вместо изучения законов развития, внутренне присущих той или иной науке, борьба против отрыва от жизни, от действительной борьбы за коммунизм — важнейшая задача всей нашей интеллигенции. Молчать обо всём этом — значит скрывать болезнь некоторой части нашей советской интеллигенции.

Представляет несомненный интерес статья М. М. Розенталя «И. В. Сталин об особенностях противоречий и формах их преодоления в период борьбы за социализм». Однако основное внимание автор сосредоточил на анализе материалов, относящихся к периоду перехода от капитализма к социализму, уделив слишком мало внимания основной теме в условиях нынешнего времени — перехода от социализма к коммунизму.

Статья Н. Джандильдина «О некоторых особенностях поступательного развития социалистического общества» отличается абстрактностью и схоластичностью. В ней отсутствует конкретный анализ развития социалистического общества в послевоенной пятилетке, анализ гигантской борьбы советского народа за ликвидацию тяжёлых последствий войны. У автора получается всё слишком просто, легко и красиво.

Известно, что в своём поступательном развитии советскому социалистическому государству приходилось и приходится преодолевать огромные трудности и внутренне-

го и внешнего порядка. Партия и правительство, весь советский народ напряжением всех своих сил преодолевают сопротивление старого, отжившего, особенно в области науки, в области идеологии. Но обо всём этом Н. Джандильдин почему-то умолчал. В результате статья оказалась поверхностной, оторванной от жизни.

Касаясь общих недостатков рецензируемой книги, следует прежде всего указать на боязнь авторов смотреть вперёд. Почти все статьи трактуют вопросы, в основном относящиеся к прошлому, носят историче-

ский характер. Поэтому материал книги в некоторой мере уже устарел, не поспеяв за быстро текущими событиями нашей жизни.

Недостаток сборника состоит ещё и в том, что одни и те же вопросы трактуются в нескольких статьях. Отсюда повторения и известный схематизм. В этом вина не только коллектива авторов, но и редактора книги П. Павелкина.

Кандидат философских наук
М. СИДОРОВ.

★

Техника

Новаторы отечественного машиностроения

С гордостью оглядываясь на прошлое нашей науки, мы находим много образцов смелого творческого дерзания и упорного, преодолевающего все препятствия труда передовых русских учёных и изобретателей, стремившихся отдать все свои силы и знания родному народу.

Углублённое изучение путей развития отечественной науки и техники имеет интерес не только исторический. Оно принесёт большую пользу молодым советским учёным, инженерам, конструкторам, знакомит их с полузабытыми, но подчас чрезвычайно ценными и остроумными техническими идеями и сможет оказать помощь в создании новых, совершенных машин и механизмов.

Мы знаем немало примеров того, как лишь в советское время нашли своё воплощение научные предвидения великих русских учёных, деятельность которых была скована гнетущими условиями царской России.

В этой связи всяческого одобрения заслуживает начинание Машгиза, приступившего к изданию серии книг под общим названием «Из истории отечественного машиностроения».

Велики успехи советского машиностроения, представляющего собой одну из важнейших отраслей нашей промышленности. Продукция машиностроительной промышленности СССР в настоящее время в десятки раз превышает продукцию всех ма-

шиностроительных заводов царской России в 1913 году. Советскому машиностроению присущ непрерывный технический прогресс. Путём автоматизации и механизации всех производственных процессов машиностроители добиваются роста производительности труда, стремятся облегчить труд советских людей.

Видное место в машиностроении занимает котлостроение.

Паровой котёл — основной агрегат энергетических цехов всех без исключения промышленных предприятий и электростанций. Ещё не так давно понятие «паровой котёл» ассоциировалось с простейшим понятием о металлическом сосуде с водой, в котором под влиянием подводимого извне тепла образуется пар. Современный котёл — это мощный генератор пара с чрезвычайно сложными конструктивными формами. Длинный и сложный путь развития различных типов парового котла прослежен в книге Г. А. Матвеева «История отечественного котлостроения».

Книга эта предназначена для широкого круга инженерно-технических и научных работников. Однако содержание её выходит за рамки исследования чисто технической проблемы. Наряду с этой основной задачей автор поставил перед собой другую — доказать приоритет отечественных учёных в ряде изобретений, сыгравших значительную роль в дальнейшем развитии мирового котлостроения. Эту задачу автор выполнил со строгой научной объективностью, основываясь на точном фактическом материале. Вот почему книга Г. А. Матвеева

Г. А. Матвеев. «История отечественного котлостроения». Редактор А. Б. Маркин. Машгиз, М. 1950.

привлечёт внимание читателей, интересующихся историей развития отечественной науки и техники. В книге убедительно показано, что и в области котлостроения ряд ценнейших открытий и изобретений наших соотечественников был беззастенчиво присвоен зарубежными «учёными», пользовавшимися тем, что царские власти раболепствовали перед иностранщиной, не верили в гений русского народа.

Книгу «История отечественного котлостроения» автор начинает с описания выдающегося изобретения конца XVIII века — «огненной машины» Ивана Ивановича Ползунова — горного мастера, солдатского сына.

О Ползунове, создателе первой в мире универсальной паровой машины двойного действия, в которой котёл и цилиндр стали обособленными друг от друга, имеется большая литература, созданная усилиями советских историков науки и техники. Ползунов заложил фундамент котлостроения и теплотехники, теоретические основы которой впервые разработал великий современник Ползунова — М. В. Ломоносов.

Машина Ползунова ознаменовала начало новой эры в развитии промышленности — «век пара». Паровые котлы и паровые машины изменили облик заводов, парусные суда уступили место паровым, появился новый вид транспорта — железнодорожный.

Несмотря на техническую отсталость царской России, пытливая мысль русских изобретателей, в значительной своей части вышедших из народа, намного опережала технические достижения Западной Европы и Америки. Приведём несколько примеров из области котлостроения.

Россия подарила миру не только первую промышленную паровую машину И. И. Ползунова, но и усовершенствованный паровоз, построенный отцом и сыном Черепановыми, новую технику судостроения, новый тип двигателя — паровую турбину. Выдающийся инженер-изобретатель А. П. Бородин первым применил в паровозах двойное расширение пара (кстати, автору следовало бы указать, что это изобретение было впоследствии присвоено иностранцем Малетом). В 1818 году профессором Петербургского технологического института Г. Ф. Депп впервые была доказана целесообразность нового способа сжигания топлива — пылевидного. Это привело к значительному конструктивному совершенство-

ванию паровых котлов и позволило использовать многочисленные низкосортные виды топлива.

Впервые в мире в 1832 году в России была построена для парохода «Геркулес» безбалансирная машина. Такие машины появились за границей лишь через несколько лет.

Уральским и алтайским мастерам принадлежит первенство в создании цилиндрических котлов, что незаслуженно приписывается англичанину Вульффу.

В 1899 году в России Е. Е. Нольтейн создал первый сочленённый паровоз, идея которого впоследствии была присвоена американцами.

Талантливому русскому инженеру-изобретателю, впоследствии почётному академику В. Г. Шухову принадлежит изобретение оригинальных русских горизонтально-водотрубных котлов промышленного значения, получивших широкое распространение. За границей вскоре же появились многочисленные конструкции, фактически копирующие шуховскую. Это характерно для нравов, господствующих в капиталистических странах. Некоторые конструкторы беззастенчиво приписывали шуховский котёл себе, «забывая» об авторе. В Японии, например, появился котёл инженера Мики, представлявший собой не что иное, как точную копию первых котлов Шухова.

От японцев не отстали американцы. Скопировав, уже значительно позднее японцев, в промышленных котлах кипятильные батареи, изобретённые Шуховым, они, передёрнув исторические факты, приписали создание этой оригинальной конструкции Инглису.

Новые технические принципы и идеи котлостроения получили в нашей стране наиболее полное воплощение в условиях советского строя. Успешное выполнение и перевыполнение первого сталинского пятилетнего плана и грандиозные задачи второй пятилетки явились решающим условием в развитии советского котлостроения.

Уже в первые годы второй пятилетки советская котлостроительная промышленность, полностью освободив страну от импорта паровых котлов, создала серию мощных котлоагрегатов.

В 1933 году на ТЭЦ Мосэнерго был установлен первый советский прямоточный котёл высокого давления конструкции Л. К.

Рамзина. Этот котёл, до сего времени успешно работающий, был первым в мире по всем параметрам и своим появлением ознаменовал одно из наиболее крупных и оригинальных достижений нашей энергетической промышленности.

Отмечая в своё время появление котла Рамзина, заграничная техническая литература пыталась представить его как неумелое подражание прямооточному котлу Бенсона. Этот случай, к сожалению, не отражён в книге, хотя доказать полную необоснованность этого утверждения не представляло большого труда. Дело в том, что германское прямооточное котлостроение находилось в ещё полузачаточном состоянии, когда появился первый котёл Рамзина. Первые котлы Бенсона, построенные фирмой Сименс, осваивались вплоть до 1935 года, тогда как котёл Рамзина уже в 1933 году успешно работал в промышленной установке.

К началу третьей пятилетки уровень советского котлостроения превысил уровень котлостроительной промышленности стран Западной Европы как по качественным, так и по количественным показателям.

В разделе, посвящённом паровозным котлам, автор устанавливает, что с момента появления у нас паровозов Е. А. и М. Е. Черепановых конструктивная форма паровозных котлов ни в одной из стран по существу не изменилась. Таким образом именно Черепановы явились основоположниками формирования и развития паровоза и его котла.

Автор справедливо отмечает, что в США позднее, чем в России, пришли к этой надёжно работающей конструкции. Вплоть до 1844 года в Америке применялись паровозные котлы с вертикальными дымогарными трубками. В России, раньше чем в Европе и США, появилось и было внедрено на паровозах такое важное усовершенствование как пароперегрев.

Подлинный расцвет отечественного паровозостроения наступил после Великой Октябрьской социалистической революции.

Советские учёные, инженеры, изобретатели создали различные типы мощных паровозов «ИС», «ФД», «СО», «Л» и другие.

СССР опередил США в области применения на паровозах котлов высокого давления с перегревом пара. Наши конструкторы впервые в мире использовали в паро-

возном котлостроении оригинальный советский прямооточный котёл. Кроме того, в СССР создан тип водотрубного паровозного котла, который в конструктивном отношении представляет один из возможных путей дальнейшего развития паровозостроения.

В период второй и третьей сталинских пятилеток появился ряд оригинальных отечественных конструкций паровых котлов, отвечавших самым высоким современным требованиям.

В книге хорошо описан современный период развития отечественного котлостроения, характеризующийся достижением высших ступеней технического совершенства.

Наряду с несомненными большими и серьёзными достоинствами книги следует отметить и ряд её недостатков.

Полнее следовало отразить работы советских инженеров и учёных в области унификации котельных агрегатов, вызванной необходимостью строить котлы, приспособленные для работы на различных видах низкосортных топлив, которыми богата наша родина.

Лишь в одном абзаце упоминает автор о таком немаловажном этапе отечественного котлостроения, как восстановление котлоагрегатов, повреждённых фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Восстанавливая повреждённые котлы, советские инженеры и учёные проявили подлинные чудеса находчивости и изобретательности, смело и остроумно решая эти труднейшие технические задачи.

Ничего не говорит автор о такой важной проблеме, как использование тепла отходящих газов в различных отраслях промышленности. Между тем нашими конструкторами были созданы различные типы котлов-утилизаторов, благодаря чему достигается значительная экономия энергии и топлива.

Разбирая конструкции котлоагрегатов, автор недостаточно останавливается на развитии отдельных их частей: топков водяного и воздушного подогревателей, горелок, форсунок и т. д.

Совершенно не затронуты в книге вопросы автоматизации, хотя автоматические регуляторы внедрены на всех мощных современных котлоагрегатах

М. ГОЛЕЯ.

География

Покоритель льдов

В истории морских географических открытий России принадлежит почётное место. Известны десятки значительнейших по своим научным и практическим результатам экспедиций, совершённых русскими людьми. Уже в очень далёкие времена настойчивое проникновение в моря и океаны было в нашей стране предметом народной гордости, предметом неумолимого состязания отважных исследователей. Это и естественно: ведь наша страна — хозяйин огромных водных пространств, обладатель самой обширной в мире водной границы.

Попытки проникновения на север, в полярные страны, отмечаются в России уже в XI веке, а во времена Петра организуется «Великая Северная Экспедиция», и её участники начинают кропотливый, опасный и дерзновенный труд исследования Арктики.

Памятными вехами на героическом пути русских в Арктику явились планы и труды Ломоносова по исследованию северных морей, далеко опередившие науку того времени; плавание лейтенанта Фёдора Литке к Новой Земле; путешествия знаменитого флотоводца Макарова, создателя и командира первого русского ледокола «Ермак»; трагические искания и безвременная гибель Георгия Седова, замыкающего собой длинный ряд исследователей-одиночек в дореволюционной России.

Описанию жизни и подвига Георгия Яковлевича Седова посвящена книга С. Нагорного. Это не научное исследование, а живой, интересный рассказ о тернистом пути мужественного человека, чьим дерзаниям и талантам не дано было в условиях царской России раскрыться во всей полноте.

Уже начальные страницы книги, повествующие о первых шагах Седова на поприще гидрографа, рисуют незаурядность натуры Седова: его неукротимость, настойчивость, твёрдость.

Выходец из народа, Седов, подобно многим другим выдающимся русским людям, учился на медные гроши. Детство прошло в рыбацкой семье на Дону. Потом

мальчик пошёл в люди. Сначала он тянул лямку работника у хозяев, а в семнадцать лет, тайком от семьи, ушёл в Ростов искать счастья в морской службе.

За семь лет юноша проделал поистине головокружительный путь — от простого матроса на парусном боте до блистательной сдачи экзаменов за морской корпус и зачисления в службу по адмиралтейству. Разумеется, не деньги и не связи были причиной такого взлёта. Седов был одинок и в Ростове, когда учился в мореходных классах, и тем более в Петербурге, когда поручиком запаса приходил в своё штатском платье в морское министерство просить о назначении в гидрографическую экспедицию. Жажда знаний, которую можно назвать поистине неистовой, и упорный труд позволили рыбацкому сыну состязаться с людьми «киной породы», со сверстниками, которые с детства обучались у десятков учителей.

Через три дня после долгожданного зачисления «в службу» Седов уехал в Архангельск и на судне «Пахтусов» отправился на север. Это было в 1902 году.

«Два плавания на «Пахтусове» навсегда привязали его к северу... Он полюбил север и его пустынное безмолвие, но не потому, что любил одиночество, — напротив, он был по-ребячески общителен, — а потому, что по склонностям своим он был пионером и мечтал о заселении безлюдных островов, о постройке новых портов, о пароходах, которые пойдут по дорогам, проведённым на новых картах его рукой».

С. Нагорному удалось выразительно показать, как эта страсть, мечта пионера-исследователя сочеталась в Седове с широким государственным взглядом на вещи, с патриотической заботой об интересах и славе Родины. Уже в отчёте о своей первой экспедиции на Колыму Седов далеко выходит за рамки вопросов, подведомственных гидрографическому управлению. Опираясь на свои исследования, он говорит о том многом, что может «сделать переворот в жизни Колымского края» — о русском торговом мореплавании к берегам Колымы, о целой системе решительных преобразований в жизни полуголодного, полудикого населения.

Характерно, что именно такой государственный подход Седова к делу, его самостоятельность и инициативность определили отрицательное отношение к нему начальства. Это отношение особенно проявилось позднее, когда Седов выдвинул свой план посылки первой русской экспедиции на полюс.

История уже знакомила нас с подобными судьбами. Вспомним Невельского с его открытием пути к Тихому океану и проектами освоения дальневосточных земель и вод. Как и Седов, Невельской жаждал деятельности на пользу отечества, искал больших и важных дел и тоже был вынужден действовать в одиночку, на свой страх и риск. Царские чиновники лениво и неохотно откликались на новые идеи, особенно если эти начинания рождались не во всемогущих канцеляриях, а в умах талантливых представителей народа.

Пири уже побывал на полюсе, зачем посылать Седова? — к этому сводились рассуждения людей, решавших судьбу экспедиции на полюс.

Чувство боли и возмущения вызывают страницы, рассказывающие о мытарствах Седова в поисках поддержки и денег, о травле его министерскими чиновниками и газетами, травле, вызванной, главным образом, тем обстоятельством, что Седова «никто не знает».

Документы, цитируемые С. Нагорным, убедительно показывают, как и почему лишили Седова государственной помощи. После того как совет министров принял точку зрения морского ведомства, противники Седова решили, что с его «завиральными идеями» покончено. Седов был в угнетённом состоянии. «Казалось, плоды трёхмесячной работы погибли, и вместе с этим навсегда погибла надежда на осуществление задуманного плана. Напрасно, значит, уговаривал он этих холеных господ из национального союза, дежурил в приёмных у министров, напрасно давал свою подпись под всякие воззвания и обращения к чуткому обществу и отзывчивому правительству. Не к чему было читать лекции, после которых воодушевлённая публика осторожно опускала серебряные монеты в чью-либо шляпу. Всё рухнуло, потому что до августа осталось всего два с половиной месяца, а денег нет».

Нужно было обладать неуёмной энергией и несокрушимой верой в необходимость затеянного дела, чтобы, в конце концов, добиться и разрешения на отъезд, и минимума необходимых средств. Правда, деньги были отпущены не «казной», а собраны под векселя влиятельного лица комитетом содействия экспедиции, но так или иначе 27 августа 1912 года «Святой мученик Фока» — судно первой русской экспедиции к северному полюсу снялось с якоря.

«Не радиотелеграф, а икону внесли на судно в последний час перед отплытием. Не о посылке вспомогательного судна с углём и продовольствием заверяли Седова духовные, штатские и военные чиновники на палубе «Фоки», а о том, что будут они усердно молиться «за плавающих и путешествующих».

Экспедиция была обеспечена плохо, опоздание с отплытием на целый месяц роковым образом затрудняло работу. Седов это знал, но у него не было выхода. В письме на родину, посланном уже с Новой Земли, он писал, что «...рвался в рейс потому, чтобы скорее избавиться от тех мучений, которые я переносил от окружающих. Для меня было уже пыткой остаться дома до 1913 года, кроме того, кто знает, мои враги сумели бы за это время победить меня и отнять у меня родное, мною созданное дело...»

«Святой Фока» пробыл в Арктике два года. Это был трудный рейс. Команде и её начальнику приходилось преодолевать не только штормы, мели и ледяные торосы, но и претерпевать острый недостаток в воде, в угле, в пище, снаряжении.

15 февраля 1914 года больной и истощённый Седов с двумя матросами отправился на трёх нартах с места второй зимовки судна, из бухты Тихой в свой мученический (как он сам писал в дневнике) путь на Землю Франца Иосифа.

Дежурный прочитал в кают-компании последний приказ Седова: «Итак, сегоднешний день мы выступаем к полюсу; это — событие и для нас, и для нашей родины. Об этом дне мечтали уже давно великие русские люди — Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильное научное и идейное завоевание в полярном

исследования на гордость и пользу нашего отечества...»

Седову не удалось дойти до цели. Он умер на пятнадцатый день пути.

С искренним волнением написаны страницы книги, повествующие о последних днях Седова и об обстоятельствах его гибели. Когда уже было ясно, что экспедиции необходима самая неотложная помощь, в петербургских ведомствах совещались о том, следует ли погасить долги экспедиции и с какой целью посылать суда в Арктику: только со спасательной или также с научной?

Завязалась длительная переписка между главным гидрографическим управлением и главным морским штабом. Начальник гидрографического управления в своём донесении, клеветая на русских моряков, утверждал: «я очень сомневаюсь, чтобы нашёлся русский морской офицер, который по доброй воле отправился бы на розыски Седова».

Постыдную возню вокруг экспедиции чиновники и торгаши продолжали и тогда, когда Седова уже не было в живых.

Советская родина высоко чтит память бесстрашного полярника. Именем Георгия Седова назван ледокольный пароход, 812 дней дрейфовавший в широтах, которых не достигало ещё ни одно судно. «Седовцы» — это слово сделалось для советских людей синонимом легендарного мужества и настойчивости.

* *
*

Книга С. Нагорного «Георгий Седов» впервые выпущена в свет в 1939 году. В новом издании автором расширена документация, привлечены новые данные, касающиеся жизни и работы Седова, заново написана глава, рассказывающая правду об иностранных «завоевателях» полюса, о той атмосфере стяжательства и спекулятивной шумихи, которая окружала экспедиции, снаряжаемые на север предприимчивыми западноевропейскими и американскими дельцами.

Во всей своей неприглядности предстаёт перед советским читателем история тщеславного состязания между двумя амери-

канцами — печальной известности доктором Куком, который, совершив плавание на север, пытался путём фальшивок уверить мир, что он и в самом деле побывал на полюсе, и Робертом Пири, который, оказавшись в центральной части полярного бассейна, воскликнул в азарте: — «Полюс мой!» — а на самом деле не дошёл до полюса по меньшей мере 167 километров.

По сути, эта глава книги — сжатый исторический обзор попыток завоевания полюса, предпринимавшихся в разное время путешественниками разных национальностей. Но только русским — и это с неопровержимой ясностью показано в книге — суждено было достигнуть полюса, этой «вершины мира», осуществить мечту Седова об освоении Севера.

Точность исследования сочетается в книге С. Нагорного с удачно беллетризованным изложением материала, драматичного в самой своей основе. Личность героя показана автором в её ярком своеобразии и гражданской значительности.

Однако, желая вместить в повествование как можно больше фактического материала, дать место интересным архивным находкам, автор иногда не соблюдает меры и загружает свой рассказ излишними подробностями, растянутыми описаниями. Именно поэтому интерес читателя к страницам, описывающим плавание Седова на карбасе по Колыме или способы передвижения на оленях, не повышается, а напротив — падает.

Затрудняет чтение и скачкообразность тех глав, в которых — вероятно, с целью дать неожиданный, эффектный поворот повествованию — хронологически непосредственно воспроизводятся некоторые события жизни Седова (его первая экспедиция, потом участие в войне с Японией, потом обстоятельства детства). Здесь положительное свойство манеры, в которой написана книга, — её динамичность — приходит в противоречие с самой задачей автора — нарисовать стройную и цельную картину жизни героя в рамках сжатого историко-биографического повествования.

Л. МИХАЙЛОВА.

*

Журнал, которому нехватает занимательности

Хорошо знакомый советским читателям молодёжный журнал «Вокруг света» не раз менял свой профиль. В течение многих лет он был журналом литературно-художественным, посвящённым приключениям, научной фантастике, краеведению, путешествиям, открытиям и т. д. Последние три—четыре года он был географическим научно-популярным и литературно-художественным журналом. Наконец, с мартовского номера 1950 года с обложки журнала исчезли слова «литературно-художественный». Теперь «Вокруг света» — географический научно-популярный журнал.

Перед его редакцией стоит ясная, чётко очерченная задача — в живой, увлекательной форме знакомить советскую молодёжь с жизнью всех стран света. Помещаемые в журнале материалы должны давать конкретное и в то же время яркое представление о географических особенностях стран, их природе, экономике и политическом устройстве, о жизни и быте населяющих их народов. Журнал призван возбуждать интерес к географической науке у молодёжи, расширять и углублять полученные ею в школе географические познания. В журнале «Вокруг света» читатели должны находить красочные рассказы, талантливые очерки, записки очевидцев, побывавших в тех или иных уголках земного шара, увлекательные описания исследовательских работ, ведущихся нашими географами, статьи, содержащие разнообразный материал, которого не найдёшь ни в учебниках, ни в справочниках.

В прежнем своём виде «Вокруг света» мало удовлетворял читателей. Лицо его было весьма расплывчато и неопределённо. Он не оправдывал своего названия, так как слабо освещал зарубежную тематику. На недостаточной высоте находились и печатавшиеся в нём художественные произведения. Большой частью бледными и сухими бывали статьи.

В прошлом году наметился перелом к лучшему. В журнале уже опубликовано немало статей, представляющих большой познавательный интерес, уделяется вполне достаточно места зарубежным темам.

Журнал систематически знакомит мол-

дэжь с биографиями крупнейших русских учёных-географов, путешественников. В нём, например, можно найти сведения и о первом исследователе Средней Азии Н. А. Северцове, и о крупнейшем русском геологе и географе И. В. Мушкетове, об академиках В. А. Обручеве и А. Е. Ферсмани и многих других. Большое внимание уделяет редакция истории географических открытий. Значительный интерес для читателей представляют такие, например, исторические справки, как статья С. Узина «Антарктида открыта русскими». Весьма удачны коротенькие, по несколько строк, заметки, помещающиеся под рубриками: «О чём рассказывает карта», «В ботанических садах», «Наша летопись».

Очень хороши такие материалы, как, например, путевые записки проф. Б. Тихомирова «На Таймыр за мамонтом» (№ 8), статья Б. Федоровича «Почерк ветра в пустыне» (№ 4) и т. п. Они не только содержат интересные факты, но и прекрасно написаны.

В журнале помещается большое количество очень своевременных и очень актуальных статей. Назовём среди них статью «Корея» В. Зайчикова (№ 9), очерк К. Андрианова «В свободном Китае» (№ 3), «Вьетнам — страна юга» В. Васильевой (№ 9), «Тибет» Б. Александрова (№ 6). Можно было бы составить также длинный список статей на разные темы, написанных очень обстоятельно и добросовестно, — таких, как иллюстрированная отличными фотографиями статья Б. Левина «В новой Чехословакии» (№ 6), «Лондон» Б. Изакова (№ 7), «Республика Сан-Марино» Т. Агаркова (№ 7) и т. д. Каждая из них даёт множество полезных сведений.

Таким образом, познавательная ценность журнала несомненна. И, однако, при всех перечисленных его достоинствах читается он не только без увлечения, но с довольно большим трудом. Для того, чтобы прочитать номер от начала до конца, требуется немало усилий.

Чем же это объясняется? Причина здесь в том, что научно-популярные материалы хорошо воспринимаются в большом количестве только тогда, когда они мастерски написаны. А как раз форма подачи материалов является слабой, уязвимой стороной журнала.

В композиции и силе подавляющего большинства напечатанных в «Вокруг света» статей есть что-то удивительно напоминающее учебники географии, статьи энциклопедического словаря.

Упомянутая уже статья В. Зайчикова «Корея» посвящена волнующей теме, а между тем написана она так, что читать её просто скучно. Нет слов—очень полезно получить сведения о природных богатствах, климате, животном мире Кореи. Но нам кажется, что эти сведения можно найти и в Большой Советской Энциклопедии или даже просто в учебниках географии. В журнале «Вокруг света» хочется прочесть живой, эмоциональный рассказ о Корее. Читатель хочет увидеть её такой, какой она открывается глазам посетившего её советского человека. А вместо этого он читает, например, такие строки: «Разнообразны и богаты недра корейских гор. Здесь таятся залежи самых различных полезных ископаемых: железной руды, цветных и благородных металлов, каменного угля, графита, химического и другого сырья. Большая часть минеральных богатств сосредоточена в Северной Корее, в особенности в районах Мусана (железная руда), Унсана (золото), Пхеньяна (антрациты), Аоди (бурые углы)». Эти и подобные данные были бы очень важны и интересны в качестве объяснения одной из причин стремления американцев захватить Корею. Но статья В. Зайчикова написана совсем в ином плане. Основное место уделяется в ней не политическим событиям последних лет; о них речь идёт лишь в самом конце статьи. В целом же она носит академический учебный характер.

В статье «Кантон — южный порт Китая» (№ 5) уделено довольно большое внимание положению кантонских трудящихся в прошлом и настоящем, говорится о переменах, происшедших в городе после победы Народно-освободительной армии и изгнания гоминдановцев. Но написана статья без темперамента, таким же сухим, невыразительным языком, как «Корея» В. Зайчикова.

Статья А. Тимашева «Зелёная Силезия» (№ 8) посвящена описанию Силезии, ныне входящей в состав Народно-демократической Польши. Тема сама по себе интересная, но, прочитав первую страницу, невольно взглядываешь на обложку — уж не

ошибся ли ты, не взял ли какой-нибудь специальный журнал вместо «Вокруг света»? «Моренные гряды защищают местность от северных ветров», «Большую часть территории Народно-демократической Польши составляют бассейны двух рек — Вислы и Одера...», «По развитию текстильной промышленности Присудетский район занимает в Польше второе место. Важнейшие центры: Еленя-Гура с фабрикой оптических стёкол, заводом ткацких машин, деревообделывающим и бумажным производством; Любань с крупными заводами электротранспортного машиностроения; Свидница с электрическим и часовым производством; Шклярска По-ремба со стекольной и текстильной промышленностью».

Правда, «моренным грядам» предпосланы такие словесные орнаменты, как: «Весной здесь расстилается зелёный ковёр лугов, перемежающихся с чёрными пятнами вспаханной земли и лиственными лесами, в которых сохранилось немало прекрасных старых деревьев». Но подобные вставки всё же не превращают сухие статьи в увлекательные.

Не этого ждут читатели от журнала «Вокруг света», а между тем, к сожалению, именно этот стиль характерен для большинства напечатанных в нём статей.

Готовя статью или очерк о какой-либо стране или тем более о городе, редакция, очевидно, стремится прежде всего к тому, чтобы дать побольше сведений, сказать сразу всё, что вообще можно сказать на нескольких страницах о целой стране. По такому принципу построены статья В. Бодрина «По городам Венгрии» (№ 7), очерк Б. Изакова «Лондон» и множество других. Все эти материалы написаны очень добросовестно, но не дают всё же никакого зрительного представления о стране или о городе.

Нам представляется, что целая страна и даже некоторые отдельные города, отражающие культурную и политическую жизнь народа, вполне заслуживают того, чтобы журнал помещал о них не по одному, а по несколько очерков. Читатель с трудом одолеет сухое описание, но с большим интересом прочтёт пять или шесть талантливых очерков, таких, например, как Ванда Василевская писала о Париже.

К сожалению, подобных материалов в

журнале нет вовсе. Преобладают в нём полуочерки-полустатьи типа «Кубы» В. Боровского (№ 8), «Поездки на Капри» В. Соколова (№ 8), «По городам Закарпатья» В. Максаковского (№ 6). Читая «Кубу», невольно вспоминаешь, какие яркие страницы посвятил ей Владимир Маяковский в своём «Открытии Америки». Боровский цитирует некоторые абзацы этого произведения, и каким бесцветным кажется в сопоставлении с ними его собственный очерк!

В каждом номере журнала мы находим по одному рассказу. Редакция вполне правильно делает, уделяя им место: они очень оживляют журнал. Однако качество напечатанных рассказов оставляет желать лучшего. Большая часть их написана на острые, актуальные темы, в них неплохо описывается природа, но схематичны они до крайности. Это не только снижает их художественную ценность, но иногда приводит к самым неожиданным результатам. Например, в рассказе И. Валентинова «Конго» (помещённом в номерах 5, 6, 7) герои — негры племени батако — получили какими-то примитивными, немыслимыми существами — точь-в-точь такими «дикарями», какими их принято изображать в буржуазной литературе. Произошло это явно против воли самого автора, так как противоречит замыслу его же рассказа. Всё дело здесь в том, что, уделив основное внимание описанию природы Конго и порядков, установленных там белыми колонизаторами, автор совершенно забыл о внутреннем мире людей.

Журнал «Вокруг света», несмотря на все перечисленные нами недостатки, приносит пользу читателям, так как содержит много познавательного материала. Но редакции следует серьёзно задуматься над тем, как сделать его по-настоящему увлекательным и интересным. Нам кажется, что в журнале следует больше места уделять художественным произведениям различных жанров: географическим рассказам, очеркам, художественно обработанным запискам, воспоминаниям, а также описаниям исследовательских работ. Следует привлекать к сотрудничеству в журнале не только научных работников, но и писателей.

Редакция сделала прекрасный почин, поместив в № 9 перевод некоторых глав социально-географического исследования бразильского учёного Жозуе де Кастрс «География голода» и в № 10 записки Эллен Робсон. Очень хотелось бы видеть в журнале также переводы произведений прогрессивных писателей, наиболее ярко и полно рисующие жизнь той или иной страны.

Молодые читатели вправе надеяться, что редакция будет из номера в номер помещать в журнале не только насыщенные полезными сведениями, но и яркие, запоминающиеся материалы, сделает журнал по-настоящему увлекательным и интересным.

Кандидат географических наук
Л. КАМАНИН.
Е. ДОНСКАЯ



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Ноябрь—декабрь 1950 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

М. Д. Багиров. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля. 32 стр. Цена 50 к.

Н. А. Булганин. 33-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 32 стр. Цена 30 к.

И. С. Тихонов. Советский народ в борьбе за мир, против поджигателей новой войны. 30 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Вл. Бахметьев. Из плена лет. Избранное. 350 стр. Цена 13 р.

Б. Вадецкий. Простой смертный. Роман. 242 стр. Цена 4 р. 50 к.

Самед Вургун. Поэмы и стихи. Перевод с азербайджанского. 236 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. Галсанов. Байкальские стихи. Перевод с бурят-монгольского. 124 стр. Цена 3 р.

С. Гудзенко. Дальний гарнизон. Поэма. 126 стр. Цена 3 р.

Иван Демьянов. Рассвет. Стихи. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Кулаковский. Закалка. Авторизованный перевод с белорусского С. Родова. 228 стр. Цена 6 р.

Янка Купала. Собрание стихотворений. Вступительная статья Е. Мозолькова. Примечания И. Айзенштока и Е. Мозолькова. Редакция перевода Н. Брауна и А. Прокофьева. 442 стр. Цена 11 р.

Ксения Львова. На лесной полосе. Повесть и очерки. 222 стр. Цена 6 р.

А. Малышко. За синим морем. Стихи. Перевод с украинского. 142 стр. Цена 2 р. 50 к.

Кави Наджми. Весенние ветры. Роман. Авторизованный перевод с татарского А. Садовского. 464 стр. Цена 11 р.

Е. Усневич. Владимир Маяковский. Очерк жизни и творчества. 310 стр. Цена 7 р.

Поэты Хакассии. Сборник стихотворений. 122 стр. Цена 2 р. 50 к.

Аугуст Якобсон. Пьесы. 220 стр. Цена 5 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Абдурагим Ахвердов. Избранное. Перевод с азербайджанского. 328 стр. Цена 6 р. 50 к.

С. П. Бабаевский. Свет над землей. Книга 1. 216 стр. Цена 5 р. 50 к.

Демьян Бедный. Избранное. 492 стр. Цена 14 р.

В. Н. Билль-Белоцерковский. По ту сторону. Рассказы. 152 стр. Цена 2 р. 25 к.

В. В. Вишневский. Незабываемый 1919-й. Пьеса в 3-х актах с прологом и эпилогом. 100 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в шести томах. Том VI. Избранные статьи и письма. 360 стр. Цена 9 р.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 6. Пьесы. 1901—1906. 560 стр. Цена 12 р.

Георгий Гулна. Повести и рассказы. 296 стр. Цена 5 р. 65 к.

В. Каверин. Два капитана. 672 стр. Цена 11 р.

Джозуэ Кардуччи. Избранные стихи. Перевод с итальянского. 104 стр. Цена 2 р.

Берды Кербабаяев. Решающий шаг. Перевод с туркменского. 736 стр. Цена 13 р. 50 к.

Мария Конопницкая. Пан Бельцер в Бразилии. Перевод с польского. 196 стр. Цена 5 р.

Л. Леонов. Барсуки. 352 стр. Цена 7 р. 60 к.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения и поэмы. 184 стр. Цена 2 р.

Песни о Сталине. 204 стр. Цена 5 р.

В. Реймонт. Мужики. Роман в двух томах. Перевод с польского. Том 1. 448 стр. Цена 8 р. Том II. 524 стр. Цена 9 р. 50 к.

Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). За рубежом. 320 стр. Цена 5 р. 50.

С. Н. Сергеев-Ценский. Избранное. 732 стр. Цена 13 р.

Современная американская литература. Сборник статей. 240 стр. Цена 4 р.

Стендаль. Красное и чёрное. Хроника 1830 года. Перевод с французского. 560 стр. Цена 11 р.

Манаф Сулейманов. Тайна недр. Роман. 232 стр. Цена 5 р.

А. Н. Толстой. Хождение по мукам. Том I. Книги первая и вторая. (Сёстры. Восемнадцатый год). 608 стр. Цена 11 р.

А. Н. Толстой. Хождение по мукам. Том II. Книга третья. (Хмурое утро.) Хлеб. Повесть. 648 стр. Цена 11 р.

И. С. Тургенев. Рудин. 136 стр. Цена 2 р. 80 к.

К. А. Федин. Необыкновенное лето. 684 стр. Цена 12 р.

Е. А. Фёдоров. Каменный пояс. Книга первая. Демидовы. 400 стр. Цена 6 р. 50 к.

Д. И. Фонвизин. Бригадир. Недоросль. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

Кузьма Чорный. Избранное. Перевод с белорусского. 472 стр. Цена 8 р.

Т. Г. Шевченко. Повести. 184 стр. Цена 3 р.

В. Я. Шишков. Емельян Пугачёв. Историческое повествование. Книга I. 696 стр. Цена 13 р. Книга II. 752 стр. Цена 14 р. 50 к. Книга III. 568 стр. Цена 11 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Азбукин. Человек идёт к цели. Повесть. 320 стр. Цена 8 р. 50 к.

В. Антохина и Н. Раковская. За тремя озёрами. (Работа юннатов Птицеградской школы.) 96 стр. Цена 85 к.

В. Белинский. Сочинения в одном томе. 798 стр. Цена 25 р.

В. Болховитинов, А. Буянов, В. Захарченко, Г. Остроумов. Рассказы о русском первенстве. 424 стр. Цена 18 р.

Р. Д. Брусничкина. Учитель и пионерская организация. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

Б. А. Воронцов-Вельяминов. Стреление вселенной. 24 стр. Цена 60 к.

Анатоль Гидаш. Шандор Петефи. Второе дополненное издание. Перевод с венгерского Анны Красновой. 368 стр. Цена 6 р. 50 к.

Жан Грива. По ту сторону Пиренеев. 184 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. Ермашёв. Свет над Китаем. 472 стр. Цена 13 р.

Василий Захарченко. Утро мира. Сборник стихов. 168 стр. Цена 5 р.

А. Кронов, К. Василенко. Свободная, полноправная советская молодёжь. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Лапоногов. В свободной Венгрии. 142 стр. Цена 4 р.

А. Листовский. Калёные тропы. 376 стр. Цена 11 р.

Н. Н. Михайлов. Пространства и богатства нашей Родины. 48 стр. Цена 80 к.

Вл. Немцов. Семь цветов радуги. Научно-фантастический роман. 536 стр. Цена 14 р.

В. Охотников. Дороги вглубь. 216 стр. Цена 6 р.

Л. Ошанин. Дети разных народов. Стихи и песни. 104 стр. Цена 4 р.

А. Первенцев. Честь смолоду. 472 стр. Цена 12 р.

Александр Пидсуха. Я требую мира. 160 стр. Цена 4 р.

П. И. Попов. Солнце и земля. 20 стр. Цена 60 к.

Конст. Федин. Первые радости. Роман. 296 стр. Цена 9 р.

Конст. Федин. Необыкновенное лето. Роман. 592 стр. Цена 15 р.

В. К. Фельдский. Небесные камни — метеоры и метеориты. 20 стр. Цена 60 к.

В. Чачин. О друзьях-товарищах. 80 стр. Цена 75 к.

Что читать пропагандисту начального политкружка. Сборник. 48 стр. Цена 80 к.

В. В. Шаронов. Есть ли жизнь на планетах. 24 стр. Цена 60 к.

Е. Шатров. Ульяна Бабина. 160 стр. Цена 1 р. 50 к.

Е. Шевелева. Подруги. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Ф. Шевляков. Было ли начало и будет ли конец мира. 28 стр. Цена 70 к.

М. Шейнман. Ватикан — враг мира и демократии. 64 стр. Цена 60 к.

Н. Шпанов. За жизнь. Повесть. 192 стр. Цена 6 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

В. Билль-Белоцерковский. В чужом мире. 254 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Т. Брыкин, Д. С. Якубенко. Гимнастика. Пособие для инструктора-общественника. 244 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Каржанский. Как избиралась и работала Московская дума. Издание второе, переработанное и дополненное. 62 стр. Цена 1 р.

Г. Е. Киселёв. Опыт цветоводов москвичей. 242 стр. Цена 24 р.

Н. Козев. Социалистическая система хозяйства и её превосходство над капиталистической системой хозяйства. Второе дополненное издание. 74 стр. Цена 1 р. 35 к.

С. Косауров. Развитие животноводства в колхозах и совхозах. 66 стр. Цена 1 р. 25 к.

Н. Матюшкин. Равноправие и сотрудничество наций в СССР. 80 стр. Цена 1 р.

Н. Немов. Выборы в местные Советы депутатов трудящихся. (Беседы с избирателями.) Второе дополненное издание. 52 стр. Цена 1 р.

Ответы на вопросы трудящихся. Сборник. Выпуск V. 74 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. Поляков. Руководство партгруппами на предприятии. 40 стр. Цена 75 к.

По методу инженера Ф. Ковалёва. Сборник статей. 94 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Сиваков. Агитационная работа на избирательном участке. 40 стр. Цена 75 к.

В. Соседов. Советская торговля и её роль в развитии народного хозяйства СССР. Второе дополненное издание. 50 стр. Цена 1 р.

ПРОФИЗДАТ

В. Кузнецов. Профсоюзы СССР в борьбе за укрепление могущества нашей Родины. 46 стр. Цена 45 к.

На вахте мира. 208 стр. Цена 4 р. 70 к.

Под солнцем Сталинской Конституции. Второе, дополненное издание. 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Соловьёв. Забота партии и правительства о здоровье советских людей. Издание второе, переработанное. 40 стр. Цена 50 к.

ДЕТГИЗ

А. Алексин и С. Баруздин. Флажок. Стихи. 18 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Бегалин. Сатжан. Рассказы. Перевод с казахского А. Маркова. 64 стр. Цена 2 р.

Л. Богаткова. В лагере и в школе. 464 стр. Цена 7 р.

Болгарские рассказы. Перевод с болгарского. 128 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Голубов. Из искры — пламя. Исторический роман. 456 стр. Цена 6 р. 20 к.

Г. Комаровский и Н. Комаровский. Повесть о корейском мальчике. 80 стр. Цена 90 к.

М. Коцюбинский. Фата-Моргана. Перевод с украинского. 144 стр. Цена 2 р.

М. Миронов. На далёкой реке. Историческая повесть. 272 стр. Цена 9 р.

Н. Михайлов. Твоя Родина. 394 стр. Цена 9 р. 30 к.

И. Нехода. Мой папа. Перевод с украинского Е. Благининой. 14 стр. Цена 2 р. 50 к.

Песня о Сталине. 184 стр. Цена 10 р.

Ш. Петефи. Витязь Янош. Повесть в стихах. Перевод с венгерского Б. Пастернака. 68 стр. Цена 2 р. 30 к.

Г. Рублёв. Песнь мира. 32 стр. Цена 50 к.

Н. Саконская. Плащ партизана. Поэма. 16 стр. Цена 50 к.

П. Стрелков. Электротехника в пибнерском отряде. 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Тигане. Друзья Петера. Перевод с эстонского Л. Чевычеловой. 164 стр. Цена 5 р. 50 к.

Н. Томан. По светлomu следу. Приключенческие повести. 270 стр. Цена 8 р. 70 к.

А. И. Ульянова. Детские и школьные годы Ильича. 40 стр. Цена 2 р. 20 к.

К. Д. Ушинский. Бишка. Рассказы. 32 стр. Цена 30 к.

В. Чаплина. Кинули. 64 стр. Цена 2 р.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. А. Воронов. Элементы теории автоматического регулирования. 318 стр. Цена 11 р. 50 к.

В. Ф. Лобода и И. П. Каргальцев. Ордена и медали СССР. Справочник. 238 стр. Цена 9 р.

К. Седых. Даурия. Роман. 814 стр. Цена 18 р.

Б. Н. Скворцов. Сбережение охотничьего ружья. Советы военному охотнику. Второе издание. 38 стр. Цена 50 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

П. В. Албычев, П. В. Войнилович. Источники энергии. 56 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. П. Аркаченкова. Кимрская городская библиотека. 48 стр. Цена 1 р. 50 к.

Библиотека самообразования. Выпуск II. (Круг чтения — естествознание, история русской науки и техники, география.) 170 стр. Цена 5 р. 50 к.

Т. А. Гурев. Земля в мировом пространстве. 144 стр. Цена 4 р.

Клубная сцена. Сборник. Выпуск IV. 94 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. В. Кляровский, В. Стоянов (Владимиров). Будь спортсменом. 70 стр. Цена 1 р. 80 к.

Колхозные песни. Сборник. 94 стр. Цена 3 р.

Р. С. Липец. Рыбачьи песни и сказы. 218 стр. Цена 20 р.

Одноактные пьесы. Сборник. 142 стр. Цена 4 р.

Е. М. Перлин. Работа среди детей. 46 стр. Цена 70 к.

А. А. Петров. Естественно-научная пропаганда в клубе. 48 стр. Цена 70 к.

Г. С. Победоносцев, Ю. П. Егоров. Три солдата. Пьеса. 78 стр. Цена 2 р. 50 к.

М. А. Потопов, М. П. Сафонов. Библиотечная работа в районе. 96 стр. Цена 3 р.

Н. С. Соколов. Борьба с сорняками на полях колхозов и совхозов. 64 стр. Цена 1 р. 60 к.

Тебе, страна Советов. Сборник. 158 стр. Цена 5 р.

СЕЛЬХОЗГИЗ

С. М. Давидович. Тракторы и автомобили. 816 стр. Цена 18 р.

П. Ф. Дуброва. Организация садоводства в колхозах. 440 стр. Цена 9 р. 70 к.

С. А. Ефремов. Учёт общественных земель колхоза. 112 стр. Цена 1 р. 80 к.

П. Н. Серебряков. Основы физиологии сельскохозяйственных животных. Издание второе, дополненное. 168 стр. Цена 3 р.

Н. Г. Соловьёв. Семеноводство многолетних кормовых трав. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

ГЕОГРАФИЗ

И. Осипов. Сахалинские записи. 120 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Пришвин. Моя страна. 454 стр. Цена 7 р. 70 к.

Справочник путешественника и краеведа. Том II. 688 стр. Цена 21 р.

А. П. Федченко. Путешествие в Туркестан. 468 стр. Цена 13 р. 35 к.

Лидия Чуковская. Декабрист Николай Бестужев — исследователь Бурятии. 46 стр. Цена 80 к.

МЕДГИЗ

С. А. Арцыбашев. Физика. Пятое издание. (Учебник для студентов-медиков.) 506 стр. Цена 16 р. 60 к.

Борьба с гельминтозами. 124 стр. Цена 4 р.

Г. М. Бошнян. О природе вирусов и микробов. Второе издание. 144 стр. Цена 7 р. 30 к.

А. Г. Бржозовский. Частная хирургия. (Учебник.) Второе издание. 728 стр. Цена 23 р.

В. Х. Василенко. Внутренние болезни. (Учебник для средних медицинских школ.) 472 стр. Цена 9 р. 25 к.

Гигиена питания. Под редакцией Т. Е. Болдырева и А. И. Штенберга. 462 стр. Цена 22 р. 80 к.

Н. Е. Гранат. Аборт. 44 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Л. Егоров и В. В. Бочкарёв. Кроветворение и ионизирующая радиация. 224 стр. Цена 7 р. 90 к.

А. Л. Каплан. Акушерство. (Учебник.) Второе переработанное издание. 526 стр. Цена 10 р. 15 к.

Э. М. Кравец. Уход за недоношенным ребёнком первого месяца жизни. 24 стр. Цена 30 к.

Т. П. Краснобаев. Костно-суставной туберкулёз у детей: 670 стр. Цена 36 р. 10 к.

Т. П. Краснобаев. Рентгенографический атлас. 174 стр. Цена 17 р. 20 к.

А. В. Рейслер. Гигиена. 78 стр. Цена 2 р. 70 к.

С. А. Чугунов. Клиническая электроэнцефалграфия. 310 стр. Цена 14 р. 90 к.

В. А. Юшкова. Почему вреден аборт. 24 стр. Цена 20 к.

Н. А. Яблоков. Заразные кишечные заболевания — брюшной тиф и дизентерия. 22 стр. Цена 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

И. В. Давыдовский. Процесс заживления ран. 20 стр. Цена 75 к.

Р. О. Еолян. Хирургические осложнения малярии. 92 стр. Цена 6 р.

Кроснабжение центральной и периферической нервной системы человека. Под редакцией проф. Б. В. Огнева. 184 стр. Цена 22 р. 20 к.

И. И. Лихницкая. Изменения кислородосвязывающих свойств крови в эмбриональном периоде. 96 стр. Цена 5 р. 70 к.

С. Д. Несмеянов. Донные отложения и кислородный режим водоёмов. 160 стр. Цена 11 р.

Р. П. Ольянская. Кора головного мозга и газообмен. Под редакцией и с предисловием акад. К. М. Быкова. 156 стр. Цена 9 р. 30 к.

ГОСПЛАНИЗДАТ

В. А. Голощавов. Бухгалтерский учёт. 488 стр. Цена 12 р. 50 к.

Московский государственный экономический институт. Учёные записки. 106 стр. Цена 3 р.

Б. И. Пестряков. Инвентаризация основных фондов. 124 стр. Цена 3 р.

ГИЗЛЕГПРОМ

И. Ф. Бельчиков. Технические требования к оформлению книжно-журнальных текстовых оригиналов. 48 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. И. Былинский и Л. И. Служивов. Справочник корректора. 388 стр. Цена 19 р.

П. Г. Воронин. Как вырабатывать пряжу отличного качества. 36 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. А. Левкович, Н. Б. Соркин, Н. Г. Гулидов, И. И. Хохлов, П. В. Байдюк. Первичная обработка хлопка. 280 стр. Цена 10 р.

А. В. Моница и И. И. Ленчевская. Устройство и обслуживание механических шелкоткацких станков. 120 стр. Цена 4 р. 65 к.

В. В. Пуськов и Н. М. Поткина. Фото-механические процессы в высокой печати. 258 стр. Цена 9 р.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

В. Г. Досталь. Борьба за повышение рентабельности леспромпхозов. 60 стр. Цена 2 р. 55 к.

А. Л. Кашеев. Распространение и лесоводственные свойства древесных пород и кустарников для полезащитных лесонасаждений. 80 стр. Цена 4 р.

А. М. Кирюхин, Ю. В. Михайловский, И. А. Ширнюк. Справочник механика ремонтно-механических мастерских. 296 стр. Цена 17 р. 10 к.

А. К. Плюснин. Организация ремонта машин и монтаж оборудования на лесозаготовительных предприятиях. 556 стр. Цена 19 р.

И. Я. Поляков, Б. Ю. Фалькенштейн. Борьба с мышевидными грызунами при полезащитном лесоразведении. 44 стр. Цена 1 р. 75 к.

«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

Ю. В. Емельянов и Р. Н. Шибеев. Водно-моторный спорт. 190 стр. Цена 5 р. 55 к.

Ю. Илясов. Прыжок в высоту. 34 стр. Цена 55 к.

А. В. Корягин и Г. М. Соловьёв. Учебник автолюбителя. 248 стр. Цена 9 р. 50 к.

И. Т. Осипов. Многоборья по комплексу ГТО. 48 стр. Цена 80 к.

Ф. Ф. Спешнев. Обучение гимнастике. 150 стр. Цена 2 р. 20 к.

Стрельба из малокалиберного и боевого оружия. (Правила соревнований.) 80 стр. Цена 90 к.

М. П. Сушков. Обучение игре в футбол. 168 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. И. Фёонов. Футбол в вопросах и ответах. 90 стр. Цена 1 р. 45 к.

ГРОЗНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Е. П. Киреев. Рабочий класс и большевистская организация Грозненского нефтепромышленного района в революции 1905—1907 гг. 204 стр. Цена 5 р. 30 к.

О. Краснопольская. Создание полезащитных лесонасаждений в условиях Грозненской области. 76 стр. Цена 1 р. 75 к.

Ю. Лаптев. Заря. Повесть. 228 стр. Цена 6 р. 30 к.

П. Орешкин. Основные полевые сорняки Грозненской области и меры борьбы с ними. 80 стр. Цена 1 р. 60 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГРУЗИНСКОЙ ССР**

А. Бочоришвили, Ш. Чхартишвили. Психология. 500 стр. Цена 16 р.

И. Иоффе. Органическая химия. 496 стр. Цена 13 р. 25 к.

Ш. Кекелия. Учебник грузинского языка. (Для русских отделений высших школ.) 332 стр. Цена 10 р.

И. Курдиани. Основы метеорологии. 484 стр. Цена 12 р.

Е. Сухиашвили, Н. Лорткипанидзе и А. Ахобадзе. Сборник упражнений по русской грамматике. (Для грузинских школ.) 252 стр. Цена 7 р.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА ВОСТОКА»**

(Ташкент)

С. Висков. Как провести занятия по теме: «Советский Союз — оплот мира, демократии и социализма». 24 стр. Цена 60 к.

Вопросы партийно-организационной работы. 54 стр. Цена 1 р. 20 к.

Парда Турсун. Правильный путь. 104 стр. Цена 2 р. 25 к.

КРЫМИЗДАТ

Евг. Ильичёв. Руда и сталь. Очерк. 48 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Коваленко. Сильные, ловкие, смелые. Очерки о спортсменах Крыма. 124 стр. Цена 4 р. 50 к.

М. А. Кочкин. Сталинский план преобразования природы в действии. 48 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Лупачик. За высокую культуру производства. 40 стр. Цена 1 р.

Дм. Холендро. Горы в цвету. Роман. 536 стр. Цена 17 р.

**НОВОСИБИРСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

В. Гордиенко. Ферма колхоза «Красный партизан». 40 стр. Цена 65 к.

И. Загороднев. Животноводы Бердского совхоза. 24 стр. Цена 45 к.

В. Кислов, В. Овчинников. Очередные задачи сельского хозяйства. 20 стр. Цена 25 к.

Командант снежной крепости. Сборник. 120 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Ларионов, Е. Иванов. Стенная газета. 56 стр. Цена 55 к.

Е. Павличенко. Вместе с друзьями. Стихи. 48 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Таранин, М. Лыков. Механизаторы. 56 стр. Цена 95 к.

Эстрада. Сборник для кружков художественной самодеятельности. 192 стр. Цена 5 р. 80 к.

**СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Ставропольский альманах. Орган Ставропольского краевого отделения Союза советских писателей. 228 стр. Цена 7 р. 50 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТАМБОВСКАЯ ПРАВДА»**

Литературный Тамбов. Альманах тамбовского областного литературного объединения. Книга 2. 200 стр. Цена 6 р. 50 к.

**ТАДЖИКСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Таджикистан. Литературный альманах Союза советских писателей Таджикистана. 124 стр. Цена 5 р.

**ЧКАЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Степные огни. Литературно-художественный альманах. Чкаловского отделения Союза советских писателей. 436 стр. Цена 15 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский.**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 1/XII-50 г.

А 09608.

Объем 18 печ. л.

Подписано к печати 22/XII-50 г.

Тираж 104.000

Заказ № 2644.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.